

Н. А. НЕКРАСОВ

СОЧИНЕНИЯ

9

КНИГА II



Ник. Некрасов

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Н. А. НЕКРАСОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА 1—10



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984

Н. А. НЕКРАСОВ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

КНИГА ВТОРАЯ

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984

Н $\frac{4702010100-731}{042(02)-84}$ Подписное

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава I

СТЕПАН ГРАБЛИН И СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Был пятый час утра. Двадцатиградусный мороз давал себя знать каждому, кто не принял против него надежных мер. Но он, казалось, не имел никакого влияния на молодого человека в холодной шинели, который, быстро переходя широкую улицу, размахивал руками и говорил сам с собою:

— Партикулярное место... да! наконец у меня есть партикулярное место... теперь я буду иметь средства...

Тут он стал рассчитывать по пальцам и наконец остановился у огромного дома, испещренного множеством вывесок. Глаза его обратились на окна второго этажа, над которыми красовалась вывеска во всю длину дома. Окна не были освещены.

Постояв перед ними, молодой человек начал прохаживаться мимо дома.

Фонари, зажженные с вечера, еще горели, и освещенный безлюдный проспект представлял воображению его чудную картину спокойствия и счастия жителей роскошной улицы. Очень грустной показалась ему недавно покинутая комната в полусгнившем домике Семеновского полка с перегородкою, из-за которой слышались тоскливые вздохи старухи матери. Почти с первых дней юности он жил в этом домике и прожил в нем немало лет; но не жаль ему полусгнившего домика, где он бесплодно убил свои свежие силы в вечной битве с нуждой, в этой всесокрушающей битве; не нашел он в памяти своей ни одного отрадного дня из нескольких лет, прожитых в полусгнив-

шем домике... и не жаль ему этого домика. Но серьезное лицо его проясняется. Он снимает шляпу и благоговейно крестится на Казанский собор. В перспективе у него теперь сухая квартира; чрез несколько месяцев приведет он в эту квартиру свою старуху, ничего не подозревающую теперь о близкой перемене в их жизни,— и успокоятся и отдохнут наконец старые косточки, так долго, долго и много странствовавшие по горькому пути нищеты; а наконец сам он не будет кашлять и пугать старуху опасностью лишиться в нем последней опоры.

Так мечтал молодой человек и не чувствовал двадцатиградусного мороза, и кашель его глухо отдавался в морозном воздухе, возбуждая подозрительное внимание будочника, готового прозакладывать голову, что этот кашель недаром, что этот кашель — сигнальный кашель, на который вот сию минуту ответит тем же кашлем забравшийся куда-нибудь на чердак вор и сбросит с крыши какой-нибудь узел с бельем или другим чем,— и чуткому уху его чудится уже и ответный сигнал, и узел, летящий к ногам молодого человека. Таково уже свойство людей — смотреть на всё с точки зрения своей специальности!

Дело, однако ж, было гораздо проще и чище. Молодой человек так обрадовался своему партикулярному месту, что, обязавшись являться к пяти часам утра, пришел гораздо раньше и теперь дожидался, пока осветятся окна магазина.

Звали его Граблиным, Степаном Петровичем. Был он сын смотрителя и детство свое провел в деревне. Из жизни детства у него мало сохранилось воспоминаний. Помнил он реку с крутыми песчаными берегами, пастуха, с которым летом пропадал с утра до вечера. Он делился с пастухом колобками, которые давала ему мать, а тот ему делал разные свистульки и учил его играть на них. Помнил две-три песни, петые пастухом, когда он лежа смотрел на бегущие облака, между тем как в горах вторилась и переливалась звонкая песня. Помнил, как отец, передав ему всё, чему сам выучился самоучкой, то есть выучив его читать и писать, всё тосковал потом, что его долго «господь не приберет», потому что сироту скорее примут в школу. Да еще: как в одно утро он бегал в саду... в саду было весело, хорошо... его позвали домой — там стоял гроб, в нем лежал его отец, у гроба в ногах рыдала мать. А потом приехали незнакомые люди и увезли сироту в школу. В школе он долго заливался слезами, забравшись

в угол в темном коридоре и перебирая в горячем воображении то рыдающую мать, провожавшую его до первой станции и оторванную наконец силою от него, то реку, пастуха и беседку, торчавшую на холме, в виде гриба, где он укрывался с пастухом от дождя; а между тем дровяной двор с бесконечным забором тоскливо смотрел на него и, казалось, тоже плакал. Дикарь не раз замышлял побег.

Образование кончилось благополучно: мальчик не приобрел слишком больших сведений, но и не утратил естественного смысла. Сидя в классе и уставив на толкующего учителя глаза, по-видимому полные внимания, он имел способность улетать в то же время воображением далеко-далеко — на родину, в «зелены луга». К тому же учителя щадили себя, и толкования в классах были не часто, а чаще в них раздавались голоса учеников, отвечавших один за другим уроки, вызубренные по тетрадкам и книгам. Впрочем, Граблин, заткнув уши, покачиваясь и повторяя по тысяче раз сряду одну фразу, не хуже других вытверживал всё, что велели, точно так же как охотно пел свои песни по требованию старшего ученика; только песни его не беспокоили, а крепко заученный урок часто преследовал его и наяву и во сне. Ни с того ни с сего вдруг пробарабанит он в мозгу, так что мальчик проснется и вздрогнет:

> «Когда земля станет между солнцем и луною, тогда земная тень падает на луну и на оной усматривается круглое черное пятно, а как круглые тени происходят от круглых тел, след<овательно>, земля кругла».

В другой раз как будто его же собственный голос дробит ему в ухо таблицу умножения или однообразно повторяет:

> «Озера, в кои реки впадают и из них вытекают; озера, в кои реки впадают, но из них не вытекают; озера, в кои реки не впадают, но из них вытекают...»

Даже по окончании ученья целые два года неотступно преследовали его уроки. Примеры же на прилагательное «полный» во всех его изменениях:

> «свет полон обмана, жизнь полна забот» —

решительно не давали ему покоя среди тяжких трудов и угрожали проводить его в могилу.

Получив место с небольшим жалованьем, он вызвал

к себе из деревни мать. Глубоко запали в его память и в сердце те редкие минуты, когда вдруг, бывало, среди общего жужжанья школьной братии, вызубривающей школьную мудрость по тетрадкам, раздается чей-нибудь голос:

— Обрадовать тебя, Граблин?

— Ну,— отвечает он, вздрогнув вдруг от какого-то отрадно болезненного чувства, быстро пробежавшего по всему его существу.— Ну? — повторяет он, веря и не веря мелькнувшей уже в уме догадке и страшно боясь обмануться.

— Да ты не пугайся,— продолжает добрый товарищ,— вот уж и побледнел!.. Ступай — мать приехала!

И жужжавшие товарищи вдруг утихают, провожая глазами счастливца, который бросался бегом в приемную.

Там старушка, ни жива ни мертва, робко и нетерпеливо глядит на дверь, читая про себя молитву,— и вдруг она вскакивает со стула, хочет броситься навстречу вбежавшему сыну, но колени ее дрожат, и она падает снова на стул, а сын уж у нее на груди; и долго замирают они, крепко обнявшись, и улыбаясь и обливаясь слезами в одно и то же время.

Глубоко запали в душу его эти минуты, которыми старушка дарила его почти каждый год, являясь как снег на голову из-за четырехсот верст бог знает какими способами — взглянуть на сынка, обласкать, полакомить и опять уйти, опять ждать целый год какой-нибудь оказии в Петербург. И как ни были бедны его средства, он выписал свою мать и жил мыслью доставить ей спокойную старость. Партикулярное место значительно увеличивало его средства, и он горел нетерпением приступить к делу.

И вот наконец в окнах второго этажа мелькнул свет, и вместе с первым вспыхнувшим газовым рожком вспыхнула торговая деятельность «Книжного магазина и библиотеки для чтения на всех языках Кирпичов и К°».

Счастливый обладатель партикулярного места, вошедши в магазин, застал в нем одного Петрушку, с которым уже немного знаком читатель.

Отец его, заседавший в качестве чего-то в думе, год тому назад встретившись с Кирпичовым, упросил его взять к себе сына в *учение*. Отпуская его учиться уму-разуму, родитель говорил: «С богом, Петруша, поди-ка, поди, полно тебе за голубями бегать по улицам; отцу твоему некогда с тобой возиться, а матери нет у тебя,— ступай, Петруша, чужой человек лучше выучит. Да смотри же,—

прибавил он,— я пристроил тебя, так ты чувствуй: чтоб я не слышал о тебе от почтенного хозяина твоего ничего, кроме хорошего, а не то... Ну, ступай, ступай,— заключил он, заметив покатившиеся слезы по бледному лицу мальчика.— Благослови Христос!» И вот Петрушка стоит теперь у дверей магазина в качестве швейцара, возит в почтамт посылки, получает по повесткам деньги, а по утрам убирает магазин.

Петрушка страшно возился с коврами и подымал метелкой пыль с полу, полок и прилавков, приводя таким образом магазин в надлежащий вид. Пыль ходила туманом. Молодой человек чихнул. «Будьте здоровы!» — прокричал где-то Петрушка и снова принялся возиться и стучать метелкой сильнее прежнего. Защитив платком нос и глаза от пыли, будущий сподвижник Кирпичова начал осматриваться. Он остановился в комнате, в которой производилась упаковка посылок и которую Кирпичов назначал теперь для конторских занятий. Она была уже преобразована и имела вид конторы значительного торгового дома: по стенам тянулись полки с кипами бумаг; под полками огромные шкафы; на дверцах одного из шкафов приклеена надпись: «Архив». Посреди комнаты большие письменные столы, забросанные большими книгами. Особенно бросалась в глаза по своей громадности книга с надписью золотыми литерами: «Для записки требований иногородних». Молодой человек развернул ее; в ней было уже записано несколько адресов рукою Кирпичова, тщательно и с соблюдением всех каллиграфических украшений в заглавных буквах.

Не успел он перечесть всех адресов, как явился Кирпичов.

Читатель давно уже не встречал Кирпичова, с которым познакомился в начале романа. Наконец, если угодно, ему представляется случай узнать разом всё, что случилось замечательного с знаменитым книгопродавцем в течение почти двух лет. Прежде он видел Кирпичова только с одной стороны, теперь увидит и с другой.

Долг справедливости заставляет сказать, что Кирпичов не всегда предавался разгулу и расточительности. У него были свои периоды трудолюбия и бережливости. Такие периоды наступали обыкновенно после многих дней сильного разгула, когда наконец кутить охота пропадала и вместе с головной болью являлось сознание, что много денег прокучено, а между тем подходят сроки векселям,

что дела запущены, а между тем приказчики и ухом не ведут: кутят в свою очередь и, того и гляди, растащат весь магазин.

Теперь он находился в таком периоде, и толчок был сильнее, чем когда-нибудь. Когда горбун, озлобленный неудачей в похищении Полиньки, устроенном при его помощи, потребовал немедленной уплаты по векселю, Кирпичов, добыв с неимоверными усилиями нужную сумму, смутно почувствовал, что, случись такая беда в другой раз,— не миновать ему гибели! При одной мысли о банкротстве, о тюрьме, о толках, которые пойдут о нем по городу, страх охватил его такой, что не день и не два, а целую неделю сидит он постоянно в магазине, вставая почти вместе с приказчиками, и ему и в голову не приходит отправиться покутить. С каждым днем деятельность его разгорается. Он дрожит над каждой копейкой, доходит до последних мелочей. Подозрительность ко всем окружающим, даже робость, недоверчивость к самому себе волнуют его душу!

Харитон Перечумков еще в магазине, но он уже не пользуется прежним доверием своего хозяина. Кирпичов, еще не зная ничего решительного, уже подозревает его.

Он счел необходимым отделить конторские дела и сдать их другому. Выбор пал на Граблина, с которым Кирпичов познакомился, наводя нужные справки в присутственном месте, где служил молодой человек.

— Какое зрелище! Степан Петрович! — воскликнул Кирпичов, довольный, что Граблин уже явился к своему делу.— Ну, в добрый час начать! Авось всё у нас пойдет хорошо. Право, я давно думал: вы лучшей участи достойны; и рассуждение у вас есть — без лести, ей-богу! — и пишете хорошо, правильно... А я, верите ли, не знаю здесь такого человека, который бы и письмо мог написать, и о деле поговорить, и то-се по конторе сделать: ведь всё народ... что за народ! пошлешь куда на час — пропадает пять часов, всё в трактирах: готовы во всякое время чай пить... Да что чай! А лихачи, а Крестовский, а «Марьина роща»... А усмотри поди,— усмотри вот хоть за этим пройдохой Перечумковым, что у меня теперь приказчиком, покуда найду в Москве другого: ведь рублевую книгу за пятак мне покупает,— ну, можно ли?.. А отчего? известно: дешево купил, дешево и продай!

Сделав еще несколько замечаний насчет приказчиков, Кирпичов принялся записывать адреса иногородних тре-

бователей в толстую книгу, а молодой человек расположился на бюро писать письма по данному списку.

В магазине одна возня сменилась другой; там теперь однообразно раздавался мрачный голос Харитона Сидорыча, который кричал заглавия книг, требуемых иногородними лицами; вслед за произнесенным названием летела сверху, с той или другой стены обширного магазина, вызываемая книга и с шумом падала к ногам приказчика, сопровождаемая голосом Петрушки, который беспрестанно перебегал вместе с лестницей от одной стены к другой, смотря по тому, где находилась книга, вызываемая приказчиком.

Рассвело. Начали являться покупатели. При входе каждого Кирпичов вскакивал со стула и, выглядывая в щель двери, наблюдал за действиями приказчика.

— Ну, так! — говорил он молодому человеку, смотря в щель.— Опять не продал, опять, разбойник, упустит покупателя. Книги продать не сумеет! сноровки нет никакой... А вот я пойду, смотрите, и... того...

И он выбежал было в магазин, но вдруг вернулся и взглянул на незапертое бюро, на котором писал молодой человек.

— Вам, Степан Петрович,— сказал он, подходя к бюро,— кажется, мешает ключик-то.

— Какой ключик?

— Да вот... Он, кажется, упирает вам в грудь.

Ключик, торчавший в замочной скважине, нисколько не мешал писать молодому человеку, который даже и не заметил его.

— Нет, ничего,— отвечал молодой человек простодушно.

— Кажется, мешает... Или уж пусть, если ничего.

И Кирпичов сделал шаг к двери, но тотчас же опять вернулся.

— Нет, кажется, мешает,— сказал он и, торопливо подойдя к бюро, взялся за ключ. Замок щелкнул. Молодой человек вздрогнул и вспыхнул, догадавшись, в чем дело, а Кирпичов, поспешно выдернув ключ, побежал в магазин к покупателю, оставив молодого человека в страшном смущении.

Выбежав в магазин, Кирпичов схватил с полки две книги и, хлопнув ими одну о другую со всего размаха под самым носом покупателя, сказал:

— Вот-с!.. пожалуйте.

— Мне не нужно в переплете,— отвечал оглушенный покупатель, приготовляясь чихнуть,— у вас переплет дорог.

— Как дорог-с? Сафьянный корешок-с. Сами закажете, дороже возьмут-с.

Покупатель с этим не совсем соглашался и хотел что-то сказать, но лицо его вдруг стало подергиваться, ноздри расширились, и, уставив на Кирпичова глаза, покрывшиеся слезой, он закинул голову и широко раскрыл рот. Кирпичов понагнулся вперед и, казалось, прицеливался нырнуть к покупателю в рот, но в самом деле он только приготовлялся сказать: «Исполнения желаний», чего сказать, однако, не пришлось, потому что покупатель вдруг привел свою физиономию в прежнее положение и, повернувшись к Кирпичову спиной, пошел из магазина.

— Как угодно-с, всё равно-с,— говорил ему вслед Кирпичов,— магазин наш для иногородних, они выписывают всё более в переплетах; а для здешних и держать не стоит: кошкам на молоко не добудешь!

И, обиженный небрежным обращением ускользнувшего покупателя, Кирпичов накинулся на Харитона Сидорыча, которому, по какой-то непостижимой игре случая, пришла небывалая охота завернуть в бумагу книжку журнала, выдавая ее подписчику.

— Ведь бумага-то денег стоит, ведь вас кормить, поить надо,— ворчал он,— а вам ничего хозяйского не жаль.

— Вы не сказывали, чтоб журналы не завертывать в бумагу,— отвечал Перечумков.

— Не сказывал! А у самих догадки нет. Ведь видите, что за человек пришел: даровой, и по билету видно, что даровой.

— Он сотрудник журнала,— пробормотал приказчик себе под нос.

— Сотрудник! А что нам в нем? Я спрашиваю вас, что нам в нем? Не напоит, не накормит, не оденет, не обует он нас с вами тем, что он сотрудник. У самого вон холодная шинелишка... а у вас шуба, да еще новенькая. Так вы и берегите хозяйское!

Затем Кирпичов снова сел вписывать адреса в толстую книгу и составлять счета, а молодой человек отправился на службу.

Когда письма и посылки были отправлены на почту, хозяин уехал по делам.

Но, оставаясь всё еще под влиянием неопределенного страха, Кирпичов во время своего отсутствия из магазина

находился в состоянии песенного любовника, разлученного с своей возлюбленной. Сильно беспокоился он, что делается в его магазине или с его магазином. Ни с того ни с сего вдруг покажется ему, что в доме, где его магазин, может быть, теперь пожар и что вот, пока он разъезжает безрассудно, гоняя своих лошадей, сгорит у него магазин весь дотла, так что и места не отыщешь, где он стоял; то вообразит он, что в магазине его толпа покупателей, и Перечумков, бестия, упустит их всех от своей неспособности, неповоротливости, неуменья подать книгу с этою необходимою ловкостию, хлопнув ею под носом у покупателя. И он летит, летит, погоняя кучера. Таким образом, чрез каждые почти полчаса Кирпичов возвращался и, опрометью вбежав в магазин, расспрашивал Перечумкова и других приказчиков, что продано и что происходило без него вообще, и глаза его подозрительно останавливались на приказчике или бегали по полкам и всем углам магазина, как бы ожидая, что вот-вот выскочит откуда-нибудь покупатель и обличит Перечумкова в продаже книги, о которой тот умолчал, а деньги взял себе. Иногда он делал Перечумкову замечание, что в его отсутствие покупателей является меньше, нежели когда он сам бывает в магазине. Но как приказчик молчал, не зная, что хозяин хотел этим сказать: то ли, что книг, предполагал он, продано более, чем показано, или что хозяин его обладает чудным свойством притягивать покупателей против их воли, единственно своей счастливой особой,— то Кирпичов наконец махал рукой и уходил обедать.

Книжная продажа, если нельзя сказать не выручает для торговцев *даже кошкам на молоко,* как говорил Кирпичов, то по крайней мере дает приказчикам полную возможность и свободу спать в магазине после обеда. Поэтому и в магазин Кирпичова после обеда покупатели являлись редко, и торговая деятельность в это время засыпала в нем вместе с приказчиками. Хозяин тоже имел обыкновение после обеда отдохнуть четверть часика, что означало никак не менее двух часов. Это обыкновение, впрочем, нарушалось, когда была необходимость съездить куда-нибудь по неотложному делу. Тогда Петрушке грозила неминуемая потасовка. Стоя у дверей в магазине после обеда, как ни старался он ободрять себя,— набивал нос табаком и даже — когда не случалось табаку — пылью, как ни старался он представлять, все разом, угрозы, делаемые ему хозяином при всяком случае,— воображение его решитель-

но не поддавалось никаким ужасам и настраивалось, против его воли, совсем на другой лад. Оно представляло ему стаю голубей, усевшихся возле лабаза, которые со всею птичьей беспечностью занялись рассыпанным кормом и не отнимают от него ни на минуту своих носов. Минута решительная. Сильно бьется сердце птицелова. Вот он ловко взмахнул уже гибельной веревкой с свинцовым наконечником и, пошатнувшись от этого движения, вдруг рухнулся прямо к ногам вошедшего в эту минуту хозяина, который и принимался, не говоря худого слова, щипать его, пока птицелов, ошеломленный таким неожиданным оборотом дела, не обнаруживал наконец самосознания дрожащим криком, выражавшим в одно время и испуг, и боль, и мольбу о пощаде.

Впрочем, страдания Петрушки скоро кончились. Кирпичов приобрел себе другого верного слугу. В числе бедняков, отыскивающих работы и хлеба, в магазин Кирпичова забрел однажды полузамерзший седой старик с мальчиком лет осьми. Белая борода старика, покрытая инеем, блестела на солнце, которое проглядывало в магазин через окно полосой.

— Не прогоните, бога ради, старика,— говорил мужик глухим, дрожащим голосом.— Будьте милосливы!

И старик объяснил Кирпичову, что хотел бы у него работать что-нибудь. Кирпичов залился смехом.

— Ну что ты у меня будешь работать? что умеешь? — спросил он старика.

Старик понурил голову и, подумав немного, отвечал:

— Тягости всякие подымаю.

Кирпичов посмотрел на него с любопытством, словно он был в самом деле новоизобретенная машина для подъема тяжестей.

— Вот и мальчишко, внучек мой,— продолжал мужик,— стал бы тоже, что ни заставите...

— Да нет у меня такой работы,— прерывал в досаде Кирпичов,— вот, правда, посылки бы на почту возить, для них я каждый день нанимаю ломового извозчика, да ведь не запряжешь же тебя в воз вместо лошади, ведь не запряжешь, а?

Мужик что-то думал и, казалось, грустно соглашался, что человек в иных случаях точно не может заменить лошади.

— Ведь ты человек, а? Вот если б ты был лошадь.

И Кирпичов снова захохотал. Мужик кланялся и повторял:

— Возьмите хоть одного мальчишку,— может, пригодится на что-нибудь; а со мной он что? окромя что мерзнет да мрет с холоду и голоду.

— Да нет, говорят тебе,— перебил его опять с досадой Кирпичов,— нет у меня работы ни для него, ни для тебя. Ищи у кого-нибудь другого.

— К кому пойдешь? — спрашивал себя мужик.— Я здесь как в лесу,— ни души не знаю.

— Незачем было идти сюда,— упрекнул его Кирпичов,— жил бы себе в деревне.

— Да сгорела деревня-то,— поспешно сказал старик, спохватившись, что он не рассказал еще своего горя,— вся выгорела, полтораста душ по миру пошло; а вот мать его, моя-то дочь, так сгорела и сама тут же.

Старик вздохнул и положил свою руку мальчику на голову.

— Возьмите его, бога ради,— молил он дрожащим голосом.— Парнишко послушной такой, понятливой, по гроб был бы слугой верным благодетелю.

Мальчик поднял было глаза на Кирпичова, полные слез, но тотчас же робко опустил их, встретив нетерпеливое движение Кирпичова.

— Эк пристал! — закричал Кирпичов.— Ну что мне в нем? Ведь его надо хлебом кормить, ведь он овса есть не станет, ведь не станет? — спрашивал он, как будто это подлежало еще сомнению.

Не получив ответа, Кирпичов велел приказчику выдать старику грош и, махнув рукой, сказал: «С богом!»

Старик с мальчиком вышли.

Но вдруг Кирпичов велел их воротить. У него наконец мелькнула счастливая мысль воспользоваться случаем к приобретению преданного человека, которого он спасет от видимой погибели. Старик перекрестил своего внука на добрый путь,— и через несколько времени Павлушка (так звали нового мальчика), одетый и остриженный по-немецки, караулил и охранял Петрушку, спавшего у дверей после обеда, от нечаянных нападений Кирпичова. Верный слуга крепко помнил наставление своего благодетеля и обещание сделать его человеком.

Только в комнате для конторских занятий деятельность не прерывалась и после обеда. Там Граблин, кончивший одну службу и пообедавший наскоро, плотно усажи-

вался за толстую книгу и, заглядывая по временам в адреса и счета, записанные в нее Кирпичовым, продолжал отписываться на письма иногородних требователей. Высидев убитым до девяти часов вечера, он гордо выпрямлялся, вовсе не обращая внимания на боль в груди, плечах и спине,— и шел спать, казалось совершенно довольный своей судьбой.

На другое утро молодой человек опять приходил, когда еще весь Петербург погружен в сладкий предутренний сон. Дворник, которого ему приходилось будить, потому что парадная лестница не отпиралась так рано, ворчал, отпирая калитку: «Ишь ты! теперь только домой вернулся, а добрые люди скоро вставать начнут»; но, видя, что на другой день повторилось то же, на третий — то же, свыкся с этой неизбежностью и не ворчал уже более на неисправимого ночного гуляку.

Раннее освещение в магазине среди общего мрака во всех других окнах большой улицы многих заставляло предполагать тут бог знает какие дела. Трубочист на крыше противоположного дома невольно простаивал несколько минут лишних, занятый зрелищем, как неловко карабкался Петрушка в магазине по лестнице, сбрасывая книги с полок, для отправления на почту, под диктовку приказчика. «Заставил бы я тебя карабкаться по крышам!» — думал трубочист. Запоздалый гость, возвращавшийся грустный и усталый, проезжая мимо ярко освещенной квартиры, утешал себя этим обстоятельством, открыв, таким образом, что не один он так поздно возвращается, а что вот эти люди, которые, вероятно, теперь танцуют, играют и предаются всем удовольствиям бала, будут возвращаться домой еще позже и, может быть, более его усталые и проигравшиеся... Только будочник, стоявший у будки противоположного дома, не мог делать подобных ошибочных заключений насчет раннего освещения у Кирпичова. Видывал он всякие виды в продолжение своей долгой службы, и окна другого магазина когда-то так же светло смотрели на проспект по утрам, а потом стали те окна блестеть и по ночам и в них стали мелькать тени с бокалами в руках, а потом официальные лица вдруг стали иметь разные касательства до владетеля ярких окон... а потом повар владетеля блестящих окон, свидетельствовавший ему, будочнику, по утрам, на пути за провизией, свое *наиглубочайшее*, докладывал, что провизию-то давно уже закупает он *на свои*, и просил у него, будочника, настав-

ления относительно мер к получению денег с задолжавшего хозяина, а потом и потухли светлые окна и стали мрачно смотреть на свет божий, как смотрят грустные очи из глубоких впадин преждевременно отжившего, но еще живого человека.

Глава II

КОЛЕСО БЕЖИТ ШИБКО

Житель отдаленной провинции, имеющий иногда нужду до столичных книгопродавцев, решительно лишен возможности судить о них по чему-нибудь, кроме их собственных объявлений и журнальных отзывов.

Журналы, считая неважным делом исполнить просьбу богатого книгопродавца, который мог и сам в свою очередь пригодиться им, провозгласили Кирпичова человеком известной честности, исправности и аккуратности и время от времени повторяли свою похвалу с легкими вариациями. Что касается до объявлений, то Кирпичов не скупился на них, и они были действительно заманчивы. Между прочим, Кирпичов сильно добивался звания комиссионера разных мест. Имя каждого из тех мест приплеталось к его титулу, который в объявлениях и письмах его эффектно заканчивался словами «и проч., и проч.»: это должно было, по его расчету, внушать иногородним покупателям всесовершеннейшее доверие к его особе и заменять им, таким образом, отсутствие солидной его физиономии, которая неотразимо внушала то же самое его покупателям петербургским.

Таким образом, в то время когда в столице уже начинали поговаривать, что Кирпичов совсем не так деятелен и богат, как кричат журналы,— слава его во внутренней России только еще достигала полного своего развития.

В комнате, назначенной для конторских занятий, то и дело прибывали толстые книги с надписью: «Для записки требований иногородних». Число иногородних покупателей с каждым днем возрастало, и наконец их было уже столько, что Харитону Сидорычу пришла однажды мысль, что «если бы ему удалось „приобресть“ со всех этих господ хоть по целковому с каждого, он тотчас мог бы открыть свой магазин, да еще почище кирпичовского». В магазине явились новые приказчики. Они имели благовид-

ные и франтовские наружности; можно было бы сказать даже, что они не уступали самым лучшим приказчикам, если б не были постоянно подвержены глубокой апатии, заставлявшей их при появлении покупателя — нарушителя своего покоя — корчить гримасу и отвечать ему угрюмо и бестолково... Погрузив руки в карманы, новые приказчики Кирпичова смотрелись в зеркало или засыпали в сладких мечтах о субботе, к чему обыкновенно направлены были все действия их в течение недели и чем единственно заняты были их красивые напомаженные головы, покрытые, как и весь костюм, густым слоем пыли. В субботу и воскресенье всякий из них старался вознаградить себя, как мог и успел *подготовиться,* за всю неделю заключения в магазине или в душной и грязной комнате, где отведено было им помещение.

Громадные книги с адресами иногородних покупателей грозили раздавить молодого человека, который работал теперь и по праздникам. Он прочитывал полученные письма, рылся в толстых книгах и часто останавливался в недоумении над счетами, записанными в них Кирпичовым. Но он не просил у Кирпичова разгадки своему недоумению: Кирпичов не любил таких объяснений.

— Видно, что не коммерческий человек! — говорил он.— Что тут за объяснения! Дело в том состоит, чтоб послать что-нибудь, а не удержать деньги... Знаю я, что делаю! А то объясни ему всё по пальцам; да еще учить вздумал: это повредит, говорит, моим делам!

Граблин скоро привык безмолвно писать и переписывать письма с необъяснимыми счетами и дал себе слово держаться в стороне от всего, что бы ни делалось в делах или с делами Кирпичова, и более дорожить своим *партикулярным местом,* чем будущею судьбою торговли Кирпичова. Живо представлялся ему в памяти гнилой домик в Семеновском полку со всеми грустными подробностями и безобразной обстановкой нищеты, и он скоро привык обходиться со счетами без объяснений с Кирпичовым насчет разных несообразностей их с требованиями корреспондентов. Если книга не послана, он отвечал наугад, что ее «нет за распродажею» или «вышлется по получении из Москвы»; если книги или вещи высланы не скоро, причину медленности он относил к «случайному стечению множества разнородных требований со всех концов России, которых исполнить в одно и то же время не было никакой возможности»; даже если приходилось похоронить кого-

нибудь, для того чтоб вывернуться за Кирпичова, наделавшего путаницу,— молодой человек не задумывался: «Хозяин фабрики,— писал он в таких случаях,— с которой вы поручили взять требуемые вещи, умер, и пока вводятся во владение наследники, производство продажи приостановлено; поэтому вещи взяты с другой фабрики, с которою магазин имеет постоянные сношения и за достоинство вещей может ручаться», и проч., и проч. Короче: молодой человек сделался чрезвычайно изобретателен на выдумки и сочинял такие письма, что Кирпичов после не нарадовался своим письмоводителем и подписывал не читая. При этом случалось, что конторщик, переписывавший счета, ошибался в итоге, а Кирпичов смерть не любил, если цифра написана на скобленом месте.

— Вот и наврал! — вскрикивал про себя переписчик.— Вот и не уйдет!

Но, подумав, говорил:

— А нет же, уйдет; приставлю ноги, и уйдет!

. . . .

Корреспондент, получив счет с переделанными цифрами, который препровождался иногда, если было кстати, с вежливым поздравлением с праздником и искренними пожеланиями всяких радостей, не знал, что и думать, благодарил в следующем письме Кирпичова за поздравление, но счет просил исправить. Кирпичов не уступал, утверждая, что цены верны; завязывалась переписка, требовавшая всей изобретательности молодого человека, и кончалась, однако, тем, что корреспондент обращался уже к другому книгопродавцу.

Несмотря на всё это, почетные прибавления к имени Кирпичова продолжались и значение его начинало уже принимать колоссальные размеры в некоторых отдаленных уголках России. Раз Кирпичов получил письмо с таким адресом, что хоть бы и не книгопродавцу... Добрый корреспондент, сбитый с толку объявлением магазина «на новых основаниях, соответствующих его назначению» и необозримым исчислением мест, сделавших Кирпичова своим комиссионером, вообразил в Кирпичове что-то особенное, не имеющее ничего общего с обыкновенными книгопродавцами. Посылая деньги, он объяснял, что «никак не осмелился бы утруждать его особу своею просьбой, если б не прочитал собственными глазами объявление Кирпичова, который с великодушной решимостью благоволил

снизойти до нужд их, бедных иногородцев, и высылать по их требованиям книги и вещи, жертвуя, без всякого сомнения, многими условиями светской своей жизни в обширном и блестящем кругу и подвергая себя хлопотам и беспокойствам». И всё письмо было наполнено одним вступлением; только под конец корреспондент решился открыть цель своего послания, прося Кирпичова выслать ему «чучелу на крякву, свисток и хлыст».

Возвеличенный книгопродавец читал, и незнакомое чувство сильно охватывало его душу и необъятно широко раздувало его ноздри. И много чего прочитал он умственными очами в письме простодушного провинциала, и умственные очи его далеко прозревали в счастливую будущность. Ясно слышал он, как имя его произносится во всех концах просвещенной России вместе с его великолепнейшими изданиями, как векселя его ходят в народе с кредитом несомненным и неизменным, как счастливая солидная физиономия его, на память потомству и удивление современникам, вылилась в портрете и гуляет по всей пространной России, между тем как оригинал его собирается показать свою особу в подлиннике и насладиться плодами своей «великодушной решительности, с которою он благоволил снизойти до нужд иногородцев»,— и как, наконец, разъезжает уже его собственная особа в подлиннике по всем сторонам необозримой России, всюду встречаемая радостными приветствиями, преисполненными глубокой признательности и уважения к человеку «блестящего круга, пожертвовавшему для иногородцев, без всякого сомнения, многими условиями своей светской жизни». И явилась в нем вера в счастливую звезду свою, под влиянием которой он смело может делать всё, что ему ни вздумается,— не только может, он даже должен делать что бы то ни было, лишь бы более и более расширять круг своих благодетельных для человечества действий и не давать заглохнуть своим великим способностям,— должен действовать скорее: взойдет другая звезда на горизонте торгового книжного мира, и будет поздно...

— Что за книгопродавец, в самом деле, который не издает журнала или газеты! — говорил Кирпичов однажды Граблину.— Все спрашивают, отчего я не издаю журнала? Говорят, что мне непременно надо иметь, так сказать, собственное орудие; ну, понимаете, душенька? начинайте, говорят, начинайте, ведь у вас колесо заведено хорошо, шибко идет!.. У вас, говорят, всё есть, и деньги и извест-

ность, недостает только одного — славы умного издателя... Отчего бы не взять мне, в самом деле, журнал, а? Ведь если один год и оборвемся, в другой поправимся; ведь не испортим же в один год всего, Степан Петрович, а?

И Кирпичов в сильном волнении шагал по комнате, потирая руки. Он уже решился.

Молодой человек отвечал, что дела его в десять лет не испортишь — шибко идет! «Да и зачем же,— прибавил он,— предполагать только худое,— можно отстранить убытки... разными мерами».

— Да,— продолжал Кирпичов, бегая по комнате,— можно, например... того... А какими бы то есть, вы думаете, мерами?

— Я не знаю, что вы хотите издавать.

— Положим, хоть «Умственную пищу». Мне предлагал редактор купить у него право.

Молодой человек задумался. «Умственной пищей» именовался журнал, который раз пять уж падал, увлекая в своем падении и неосторожного издателя, дерзнувшего идти против злополучной судьбы, написанной, казалось, на роду горемычному журналу. Однако Граблин подал свое мнение: предложить его многочисленным корреспондентам Кирпичова.

— Я тоже думал,— сказал Кирпичов,— да и как им не подписаться! особы всё богатые, помещики — что им! А я ведь исполняю их поручения, хлопочу для них. Пусть они найдут другого... того...

И вскоре потом расторопный книгопродавец «имел честь препровождать» к каждому из своих корреспондентов, «зная — бог знает почему — просвещенную любовь их к отечественной словесности», билет на «Умственную пищу», «которая, подвергаясь совершенному преобразованию, будет издаваема в новом, гораздо обширнейшем виде, соответствующем ее благонамеренной цели». Сверх того, к некоторым он «принимал смелость препровождать» еще по десятку таких же билетов, «сознавая необходимость в участии в этом деле истинных ценителей, обращающих внимание публики на всё изящное и полезное в журнальном мире, и зная то влияние, которое они могут иметь на успех предпринимаемого журнала, предложив своим знакомым подписаться на него».

Через несколько времени Кирпичов начал получать ответы, вроде следующего: «М<илостивый> г<осударь>. Благодарю вас за предложение подписаться на

„Умственную пищу“, но, к сожалению, не могу этим воспользоваться; также не могу, при всем желании, раздать и десяти билетов, присланных для моих знакомых; а потому, возвращая при сем ваши билеты, прошу вас возвратить мне деньги, заплаченные почте за пересылку их к вам. Слуга покорный такой-то».

Вообще очень немного оказалось охотников заплатить деньги единственно за то, что их ни с того ни с сего называют «ценителями всего изящного» и «просвещенными любителями отечественной словесности». Но у Кирпичова было еще довольно корреспондентов, которых он, как-то промахнувшись, не успел еще с первого разу ошеломить своими дивными счетами; эти-то добрые люди, из одного неудобства отказаться от его предложения, подписались на «Умственную пищу». Но их мало. Подписных денег не хватит и на бумагу. Что нужды! Кирпичов не унывает.

. . . .

Корреспонденция увеличивается с страшной быстротой. Колесо бежит шибко! Грудами приносит с почты Петрушка пакеты с пятью печатями.

— Эк везет .....!..— замечают другие книгопродавцы.— Уж чего лучше; сам в петлю лезет, а ничего!

Шибко бежит колесо! Кирпичов это знает. Бойко и торопливо подписывает он письма, заготовленные молодым человеком. Подписал.

— Эй, ты! — кричит он, обратясь к дверям.— Ты!!

Один из мальчиков прибегает к Кирпичову, но в ту ж минуту летит прочь, смущенный грозным голосом хозяина:

— Разве тебя я звал? ты!!

Прибежал другой мальчик.

— Узнай поди, пришел ли Алексей Иваныч.

Мальчик убегает и, через минуту воротившись, говорит:

— Нет еще-с.

Кирпичов налагает нетвердую, но неумолимую руку на черновые счета в толстой книге,— и цифры растут, растут от магического прикосновения его руки, далеко оставляя за собою всякое вероятие. И это кончено.

— Эй, ты!

Подбегают оба мальчика, и один из них опять летит к дверям, между тем как другой убегает, получив приказание:

— Узнай!

Кирпичов в нетерпении барабанит по столу.

— Пришел-с,— докладывает возвратившийся мальчик.

И Кирпичов исчезает.

Изредка еще является он в магазин, прикрикнет на одного, распечет другого и опять пропадет. Поздно и нетвердыми шагами возвращается он домой. Засыпает. Но кровь, густая, черная кровь,— несмотря на то что он бросает ее раза четыре в год,— не дает ему спокойно спать.

— Ты барин, ты литератор,— бредит он,— а я не литератор... я купец... да у меня и слава... и деньги... что мне литератор...

(Это относится к одному литератору, который заметил Кирпичову, что он *не купец,* когда тот торговался, покупая у него рукопись.)

— У меня будут и кареты и лакеи... связи в высшем кругу... еще год-два... дом свой... могу и теперь... на векселя могу... векселя мои... банкирские... бил... Кирпичов!.. знают везде... да! кха-кха-к-х-а!!

Он начинает давиться от приливающей крови в груди. Поворачивается на другой бок и снова продолжает бредить.

Встает он поздно, как раз к тому времени, когда приходит Алексей Иваныч и другие благоприятели. «Какое зрелище!» — приветствует их Кирпичов, и на столе вместе с чаем является бутылка шампанского, потом другая; бутылки не застаиваются, а чай стынет нетронутый. В конторе опять Кирпичов торопится подписать письма и счета, списанные с пересмотренных им черновых,— и скрывается, условившись с Алексеем Иванычем увидеться ужо *там.* И опять возвращается домой поздно и нетвердыми шагами; опять всю ночь слышится его бред и «кха-к-х-а!»

Голова его постоянно в чаду; мысли и язык бестолковы. Приходит к нему приезжий корреспондент и решительно не понимает его на первых порах, при всем напряженном внимании.

— Что это я в толк не возьму,— говорит приезжий корреспондент тихонько своей жене,— что это, Марья Тимофеевна, говорит он про иногородних-то?

— Вы говорите,— спрашивает жена его, обращаясь к Кирпичову,— что только и хлопочете, что для иногородних?

— Да-с... нет-с,— бормочет Кирпичов,— то есть, оно нельзя сказать... того-с... А дело в том состоит, например, вот — Камчатка!.. где там?.. того-с. А мы — с первою почтою!.. Здешним что-с!

И вдруг перед дамой бок Кирпичова, изогнувшегося, чтобы запустить в нос обыкновенные три приема, один за другим, не вынимая пальцев из табакерки.

— Да вот-с,— продолжает он, выпрямившись,— теперича, пожалуйте!

Подбегает к толстым книгам, приподнимает одну из них и вдруг опускает ее на загремевший стол. Дама вздрагивает.

— Петропавловский порт-с! пожалуйте,— бормочет Кирпичов, водя пальцем по раскрытой книге.— И сухим путем и морем-с... укупорка двадцать рублей серебром-с... и на лошадях, и на собаках... И доставили-с! За пятнадцать тысяч (верст) с первою почтою — вот-с!

И струя пыли полетела на посетителей из толстой книги, вдруг захлопнутой Кирпичовым.

— Зато вам все, я думаю, благодарны,— сказала дама, закрывая нос платком.

— Могу сказать-с! множество писем... благодарят... Встаем раньше дворников!..

И снова перед дамой очутился бок Кирпичова.

Глава III

СУДЬБА «УМСТВЕННОЙ ПИЩИ».— КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРАВОЙ РУКИ.— ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.— НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

А что «Умственная пища»? Злополучная судьба видимо тяготела над бедным журналом: на другой год подписчиков не оказалось и половины против прошлого.

Кирпичов роздал векселя на сумму убытков. Но первая неудача еще более раздражила его упрямство.

— Так пусть же не подписываются,— говорил он в азарте,— а я вот потрачусь на него еще больше в нынешнем году, издам на славу — и посмотрим, то ли будет в будущем году!

И он точно начал сильно тратиться на свой журнал, но журнал от того не выиграл. Статьи в нем были из рук вон, хотя редактор, продавший Кирпичову право издания

и продолжавший редижировать журналом, помещал в нем нередко статьи литераторов известных, своих приятелей, и платил им, по желанию самого Кирпичова, сколько просили; несколько отделов журнала взял от редактора один молодой неизвестный литератор, который смотрел на литературу с практической стороны и отделывал эти отделы сплеча, сообразно дешевой плате.

Не выиграл от этого и Кирпичов: векселей всё прибывало. Убытки по журналу, беспорядок и беспрестанные пиры начали обнаруживать гибельное влияние на дела книгопродавца. Приказчики тоже с своей стороны не упускали случая помочь делу, особенно Харитон Сидорыч, которого краткая биография теперь следует.

Детство и первую молодость свою провел он на толкучем рынке, где, может быть, и родился. Там, торгуя на ларях книгами, приобрел он те знания, за которые был наконец принят в контору одного знаменитого в то время книгопродавца. Кроме этих сведений, отличался он еще красивым почерком. Но дела знаменитого книгопродавца были уже так запутаны, что никакая опытность и конторские способности не могли помочь, и хозяин решительно не знал, что ему делать с красивым почерком Перечумкова. Ежедневно осаждаемый требованиями и угрозами петербургских кредиторов и иногородних его покупателей, давно уже не получавших ничего за высланные деньги, знаменитый книгопродавец оторопел со всею своею смышленостью и изворотливостью. Никакие уже новые книжные предприятия, новые издания не были возможны (за бумагу и печать платить нечем, а кредит потерян); оставалось изворачиваться одними только деньгами, всё еще поступавшими из провинций,— и растерявшийся хозяин хватал принесенные с почты пакеты, проворно разрезал их с ловкостию, приобретенною навыком в этом деле, и, вынув деньги, уплачивал более неотвязчивым кредиторам и вымаливал отсрочку у тех, кто поснисходительнее; потом он выбегал из конторы в магазин и принимался распекать своих приказчиков да переставлять книги с одной полки на другую с такою торопливостью, как будто от этого именно зависело спасение его торговли от угрожающего банкротства. Приказчики — всё люди почтенных лет и наружности, с солидными животами — переглядывались между собою, насмешливо кивая на развозившегося хозяина; а усердный Перечумков брал между тем письма, из которых только что вынуты хозяином деньги, и прини-

мался вписывать их в толстую книгу, как бы от скуки, щедро рассыпая все красоты своего красивейшего почерка. Этим и ограничивались все распоряжения относительно требований, полученных из провинций.

Перечумков ясно видел, к чему вело такое направление дел знаменитого книгопродавца, и положил себе во что бы то ни стало открыть свою торговлю, пользуясь таким благоприятным случаем.

И он открыл ее. Дела нового книгопродавца, скромно поместившегося в небольшой лавчонке в Гостином дворе, пошли превосходно: он уведомил неудовлетворенных корреспондентов прежнего своего хозяина о плачевном состоянии его дел и предложил им свои услуги; почти все они перешли к нему. Много и еще разных изворотов употреблял он, чтоб подняться с гроша, с которым начал свою торговлю.

Никто лучше него не знал, где какую книгу купить дешевле, то есть так дешево, как не купить никому другому, не посвященному в таинства торговли толкучего рынка. Ему известно было значение всех палочек и крестиков, выставляемых тамошними торговцами на внутренней стороне обертки или переплета книг и означавших, что книга стоит себе. Взглянув на эти хитрые знаки, он тотчас уличал продавца, что он требует за книгу в десять раз более своей цены. «Давно бы сказал, что знаешь!» — говорил торговец и отдавал ему книгу за *настоящую* цену. Харитон Сидорыч знал, сверх того, наизусть публикованные цены почти всех книг, прежние и нынешние, и слыл за это ходячим каталогом.

. . . .

В делах своих с авторами Перечумков держался особенной системы, о которой сам с гордостию рассказывал иногда таким образом:

— Что с ними артачиться? Ведь они, сочинители-то, можно сказать, дети. С ними умей только дело повести, так твори, что хочешь. Раз отдает мне на комиссию один доктор свою книгу, пятьсот экземпляров. Отдал, а сам и пропал; книга идет, шибко идет, а его нет! Наконец месяца через четыре приходит.

— Я,— говорит,— в отлучке был; что, как идет моя книга?

— Да нейдет-с. Всего экземплярчиков сорок продано-с.

Побледнел мой доктор.

— Неужели,— говорит,— только сорок? Не может быть!

— Если угодно, можете посмотреть. Они у нас в кладовой. Извольте приходить завтра.

— Хорошо, приду.

Ушел; вот я и думаю: как быть? книги экземпляров четыреста продано, не хочется почти три тысячи платить. Думал, думал; в кладовой, знаете, темновато, а в ту пору я только что купил по семи копеек за рубль всё издание «Прогулки по Лифляндии», точно такой величины, и оберточка такая же, желтая, бог с ней! Вот я впереди положил его сочинение, что оставалось, а потом, понимаете, «Прогулочки» да «Прогулочки». Приходит, повел его в кладовую; взял одну книгу, другую, окинул глазом.

— Да что,— говорит,— считать. Не хотите ли купить у меня гуртом всё издание?

Я того и ждал. Торговались, торговались и порешили на четырехстах *карбованцах*... да еще и деньги не все отдал, только двести пятьдесят, а на последние расписочку. Он уж потом ходил, ходил с ней, я всё просил потерпеть; да, видно, деньги ему крепко понадобились: он на меня рассердился, а расписку продал соседу, Колесову. Тот сейчас же ее и принес ко мне — круговая порука! Уж посмеялись мы!

При таком взгляде на дело Перечумков наживался довольно быстро; но была у него одна страсть, которая сгубила его: он любил покутить и даже иногда пил запоем. Сперва запой продолжался по неделе, потом по две, наконец вот уж скоро и месяц, а Перечумков не унимается. Тогда приказчик, страшнейший плут, которого Перечумков держал из гордости особенного рода, убежденный, что он его не переплутует, принялся обделывать свои делишки и в короткое время обделал всё так, что лавчонку Перечумкова припечатали, а его притянули к ответу. В то самое время Кирпичов, только что открывший магазин, искал опытного приказчика. Ему посоветовали взять Перечумкова. Кирпичов спас его от тюрьмы, скупив его векселя, и Перечумков, закаявшись пить, три года был его правой рукой. Но неровное и часто дерзкое обращение хозяина скоро восстановило против него приказчика, который еще помнил, что сам был хозяином. Упреки в неряшестве, как самые, по его мнению, незаслуженные и несправедливые, особенно бесили его. Он с удовольствием взялся помогать горбуну, который скоро смекнул, что

Кирпичову несдобровать. Но открыто восставать против хозяина Перечумков не решался, опасаясь, что Кирпичов предъявит ко взысканию векселя и засадит его в тюрьму. И только когда векселя были *зажиты*, он стал действовать смелее, начал даже грубить своему хозяину. Кирпичов охладел к нему и почти каждый день повторял, что прогонит его, однако ж не прогонял. Убедившись, что тут не уживешься, Перечумков принялся снова кутить и все свои способности и старания стал употреблять уже единственно на то, чтобы *подготовиться побогаче* к воскресенью.

. . . .

Настанет суббота, и Перечумков пропадет с той самой минуты, как запрут магазин, до понедельника. Возвращался он прямо в магазин, весь в пуху, и хрипло и отрывисто отвечал на вопросы покупателя, а дождавшись наконец послеобеденной льготы, растягивался за прилавком и высыпался там под звеневшую еще в голове его песню:

Как по питерской по дороженьке.

И слышались ему в этой песне и мерный топот тройки, и подзваниванье колокольчика, и заливанье дружных голосов разгульной молодежи, и подсвистыванье, и подщелкиванье... Кто слышал эту песню, когда тройка, под такт ей, мерной рысью бежит по хрупкому снегу, кто слышал, как смолкала эта песня и скрывалась из глаз тройка, пущенная во весь дух, и как потом лишь изредка свистнут да гаркнут вдали, так что дрогнут окрестности,— тот поймет, что происходило в голове приказчика, высыпавшегося после воскресенья... Проснувшись, Харитон Сидорыч самым беспечным образом смеялся и над головною болью, и над своими праздничными приключениями.

— Вот хоть бы на табак осталось! — говорил он, обращаясь к пустым своим карманам.— Всё фукнул! ха-ха-ха!..

. . . .

. . . .

Кирпичов кутил, приказчики кутили, редактор «Умственной пищи», бравший с Кирпичова хорошее жалованье, тоже кутил,— всё кутило! Даже Граблин увлекся общим примером и стал покучивать.

Минувшее горе забывается скорее, чем минувшее счастие. Человек, оттаявший от холода жизни, при благоприятных обстоятельствах не ценит настоящего благополучия, о котором прежде едва мог мечтать.

Граблин, пригретый партикулярным местом, забыл ежедневно повторявшиеся в его жизни внутренние терзания, мелкие и незаметные для глаза постороннего наблюдателя, но которые неотразимо разрушают одно за другим все светлые верования души и доводят ее до того полумертвого состояния, в котором мир человеку кажется *огромным комом грязи*. Он забыл важность и силу денег. Доставив старухе матери спокойную и довольную жизнь, не стоившую ему и третьей доли заработываемых денег, он распоряжался остальными довольно неблагоразумно. То он сошьет себе пальто в пятьсот рублей, и это оправдывалось необходимостью стать на солидную ногу, поставить себя в самостоятельное, независимое положение, по совету одного молодого литератора, который принял в нем участие, видя, что молодой человек далеко не получал того от Кирпичова, чего стоили его труды. То вдруг в кругу приятелей, одинаково любивших всякий напиток — от сотерна до рома голью,— являлась у него бутылка шампанского, не доставлявшая тем другого удовольствия, кроме случая потолковать после о фанфаронстве и расточительности молодого человека и приписать эту расточительность, по всем вероятиям, легкому приобретению денег на купеческой конторе, не совсем согласному с правилами чести. Не отказывал он себе также по воскресеньям в театре или маскараде, хотя после этих развлечений грустно ему было возвращаться домой и невыносимо больно подумать о целой неделе нескончаемого, беспрерывного труда, о неизбежной необходимости умереть на это время для всего, что ни есть в мире, притиснувшись грудью к рабочему столику.

В одно воскресенье Граблин был в маскараде. Маскарад собственно не занимал его, и дамы— что касается до него — смело могли бы ходить и без масок: он не узнал бы ни одной; но маскарад этот был с лотереею аллегри. Молодой человек сначала равнодушно смотрел на пытателей счастья, прохаживаясь по разбросанным около заветных колес пустым билетам, разбросанным, может быть, с наружной небрежностию и тайным негодованием на несчастливую судьбу. Мало-помалу он начал заглядывать в чужие билеты, развертываемые дрожащими руками, прислушиваться к разговорам. Какой-то господин, стоявший у колеса, очень серьезно уверял, что он выигрывает в каждых пяти билетах, и тут же предлагал большое пари жела-

ющим поспорить с ним; возле господина стоял черкес и смотрел на него с благоговейным удивлением, готовый, казалось, воскликнуть: «Велик Аллах!» У другого колеса Граблин собственными глазами видел, как какой-то низенький человек взял один билет и выиграл серебряный сервиз. У молодого человека завертелась мысль, не рискнуть ли и ему каким-нибудь десятком целковых — куда ни шло! «Ведь выигрывают же люди,— думал он,— и на один билет, а я возьму двадцать. Ведь если выиграю что-нибудь в 500—600 целковых, я получу в минуту почти то, за что работаю целый год». Он решительно оглянул залу. Зала блестела. Музыка гремела какой-то торжественный марш. Девочки с привлекательными наружностями, поставленные у колес на возвышении и раздававшие билеты, казались нимфами, раздававшими кому радость, кому горе — по заслугам; но в лице их мечтатель читал столько неземной доброты, столько желания всем радости, одной радости, что он поспешно достал бумажник, вынул ассигнацию и протянул руку за билетами. Двадцать билетов развернуты: на одном из них стоял нумер; счастливец справился по лотерейному списку, лежавшему у колеса: он выиграл — хлыстик. Грустная улыбка пробежала по его лицу, однако он пошел смотреть свой хлыстик. Глаза его долго скользили по всем вещам, эффектно расставленным в несколько ярусов, и он забыл о своем жалком хлыстике; невольно смотрел он на груды серебра, золотые табакерки, часы, зрительные трубки. Молодой человек очутился опять у колеса. Еще развернуты сорок билетов — и брошены. Губы несчастливца дрожали от злости.

— Еще сорок билетов! — сказал он, протягивая руку с последними деньгами; и голос, и рука его дрожали; лицо выражало истомление, как после десяти часов сряду тяжелой работы. И эти сорок билетов разлетелись по полу — хоть бы хлыстик! Вдруг раздались вокруг него восклицания: «На один билет! серебряный сервиз! вот счастливец!» И опять перед Граблиным стояла низенькая фигурка, улыбалась и вертела в масляных руках билет, выигравший сервиз. Он оглянул залу. Зала блестела по-прежнему, только становилось более душно и жарко. Музыка, которой он решительно не слышал в продолжение лотерейной игры, теперь вдруг грянула и, казалось, разразилась хохотом. Сильно стучало в висках у молодого человека. Он боялся насмешливого взгляда, хотя за ним никто не думал

наблюдать, и, закинув голову, смотрел на музыкантов, на огромную люстру и, казалось, ничего так не желал в эту минуту, как если б и раек с музыкантами и люстра с грохотом рухнулись и раздавили под собой его, жалкого несчастливца... Но кто-то ударил его по плечу.

— А, здравствуй,— сказал Граблин, протягивая руку своему знакомцу.

— Что ты смотришь таким... будто наступили тебе на мозоль?

— Нет, ничего...

— Э, брат, хитришь? ведь я видел издали: ты брал билеты. Проиграл, видно? а?

— Да,— отвечал Граблин, стараясь казаться равнодушным.— Нет, не совсем: выиграл хлыстик.

— Хлыстик! во-от... Да, впрочем,— ободрял приятель,— если б и не выиграл ничего, денег у тебя, слава богу! Я сам бы на твоем месте... А то есть, правда, депозитка, не менять же мне ее для лотереи... А сколько взял билетов?

— На пятьдесят целковых.

— Гм... нет, я так провел время хорошо, даже поужинал здесь, разумеется не на свои: знакомый попался... А то лотерея... не разберешь, кто выигрывает?

— Выигрывают,— заметил Граблин и рассказал о низеньком человеке, выигравшем сервиз на один билет.

— Горбатенький? — спросил его приятель.

— Да, немного.

— Смотрит обезьяной такой?

Приятель сделал рожу.

— Кажется... Без перчаток.

— Ну, он! это один кассир, родственник еще мне дальний, да не хочет и знать меня, а знает, что родственник; забыл, как без сапог ходил! Да бог с ним... Так за ним-то вздумал ты гоняться? Ему счастье! он и в прошлом году выиграл сервиз и еще что-то... поди с ним! Может быть, уж и руки у него такие кассирские: что зажмет в кулак — дрянь, а разожмет — выигрыш. Иль уж так родится иной, что, если б он спал себе спокойно дома, и тогда у него был бы выигрыш... А ты вот,— продолжал он, взяв Граблина за пуговицу,— взял сто билетов, а... Да, правда, у тебя тоже выигрыш,— прибавил он смеясь,— хлыстик! Один хлыстик? а жаль, что один; уж лучше бы два: чтобы так уж тебя можно было, как говорится, в два кнута...

И приятель захохотал. Граблин тоже засмеялся, и они разошлись.

Граблин поплелся домой пешком. На другой день благоразумный приятель с неразмененной депозиткой рассказывал своим товарищам о подозрительной расточительности Граблина, проигравшего пятьдесят целковых.

А Граблин, возвращаясь из маскарада, думал о судьбе своей игры и незаметно перешел к игре Кирпичова, который тоже, думал он, наконец дорежет себя кутежом, безалаберщиной и бесталанным журналом. С некоторого времени векселя уплачивались уже деньгами, поступавшими от иногородних корреспондентов на разные закупки; а это скоро остановит колесо, как бы шибко оно ни бежало. Кирпичов рассчитывал поправиться новыми изданиями, которые предполагал изготовить на новые векселя, и он мог это сделать, потому что настоящее положение дел его не было вполне известно торговым домам; было известно только, что «у Кирпичова идет шибко!», но книжные издания тоже более или менее сопряжены с риском, и успех той или другой книги не может быть рассчитан наверное, при всем знании современных интересов читающей публики; бывает, что дельная и, по-видимому, нужная для всех классов книга остается не проданною в убыток издателю, а книга пустая расходится в продаже быстро. В случае неудачи и этих вновь предполагаемых изданий Кирпичову уже не будет спасения. А теперь он может еще всё поправить, согласив кредиторов переписать векселя и назначить более продолжительный срок платежа по ним, на что кредиторы, конечно, волею или неволею, согласятся, зная последствия несостоятельности, всегда невыгодные для кредиторов.

Граблин, впрочем, знал, что Кирпичов слишком глуп и горд, чтобы решиться на эту меру; однако рассказал ему при первом случае о своей игре в маскараде,— рассказал в виде поучительной притчи и ждал, не набредет ли он на мысль, подобную той, какая явилась у молодого человека на пути из маскарада: не захочет ли бросить игру, пока еще не поздно.

Кирпичов слушал рассказ внимательно: его занимала сумма, проигранная рассказчиком в один вечер.

— Пятьдесят целковых-с? — спросил он, быстро взглянув на Граблина, так что молодому человеку послышался из-за этого вопроса другой вопрос.— А где вы берете деньги — проигрывать по пятидесяти целковых в вечер?

После этого Граблин не в силах был уже перейти к делам Кирпичова ни прямо, ни косвенно,— не в силах был продолжать даже ради своего партикулярного места, к которому почувствовал глубокое отвращение.

Вскоре после этой поучительной притчи с ее благодетельными следствиями Кирпичов целый час заготовлял новые векселя, подписывая на них свою фамилию с великолепнейшим росчерком, и лицо его выражало величайшее наслаждение. Потом он совершенно углубился в свои новые издания: заказывал нарочно бумагу, долго любовался принесенным из типографии мокреньким, только что отпечатанным листом, подравнивал, обрезал его, приговаривая:

— Экой шрифт-от какой, словно бисером... А бумага-то — атлас! Погладьте, Степан Петрович,— решительно атлас!

И Граблин гладил вместе с Кирпичовым каждый лист, принесенный из типографии.

Только урывками от этих занятий и пиров Кирпичов обращался к поручениям иногородних и еще свирепее нападал на их счета, ожесточенный потерями по изданию журнала, еще бестолковее исполнял их поручения,— и то поручения только мелкие, а крупные лежали, придавленные тяжелыми пресс-папье, в ожидании будущих благ от новых изданий.

— Подождут,— говорил Кирпичов молодому человеку об этих поручениях,— вы напишите уж только, что деньги получены и вещи заказаны.

— Да это уж было писано давно; теперь спрашивают о причине остановки, грозят полицией.

— Ну вот, причину?.. Напишите что-нибудь... выдумайте; вам ведь не привыкать стать,— говорил Кирпичов, дружески ударив по плечу молодого человека.

И молодой человек отписывался, напрягал силы свои в изобретении разных причин «невольно происшедшим» остановкам в исполнении поручений: он видел, что таким образом колесо может вовсе остановиться,— и спасал свое партикулярное место.

Наконец огромное объявление возвестило о выходе новых роскошных изданий Кирпичова. Они пошли, но не так, как ждал Кирпичов. А между тем вот и лето. Летом застой и в литературе и в книжной торговле. Денег с почты получает Кирпичов немного, а векселя поступают и поступают. Он мечется, ищет занять, наконец решается

прибегнуть к горбуну. Вдобавок ко многим прежним горбун принял в свои подвалы его новые издания, по гривне с рубля. Но хоть Кирпичов и взял с Добротина слово держать сделку в секрете, однако ж молва о плохом состоянии его дел начинает доходить даже до собственных ушей его.

— Нам только до зимы,— говорит Кирпичов Граблину.— Будет зима, будут и деньги. Вы только напишите объявленьице половчее, поговорите побольше об улучшениях, и... того... уж вы знаете.

У Кирпичова зима и деньги всегда составляли совершенно одно нераздельное понятие. По его мнению, что бы ни делалось с его торговлей, он мог ждать их зимой непременно,— и ждал, как ждут люди зимой снегу, летом дождя и других неизменных явлений природы.

— Говорят, что дела мои плохо идут! — продолжал Кирпичов.— А я вот теперь же созову всех этих, кто говорит... знаю я, кто говорит... созову да и задам, примерно, обед, какого им во сне не снилось! вот ей-богу. Пусть посмотрят, как худы мои дела!

И в самом непродолжительном времени Кирпичов точно дал обед. Он продолжался до рассвета, и как всё уже было выпито и съедено, а благодетель Иван Тимофеич, отпиравший свой погреб для друзей во всякую пору дня и ночи, давно уже приказал долго жить, пристукнутый апоплексией, то под конец пошла, после шампанского, *лекарственная,* настоянная на пеннике, которая употреблялась Кирпичовым раза три и более в день, во уважение многих целебных ее свойств.

Обед стоил половины денег, занятых у горбуна.

Глава IV

КОЛЕСО ОСТАНОВИЛОСЬ

Зима давно уж на дворе, а деньги не сыплются к Кирпичову как снег на голову: колесо пошло тише. Петрушка много приносит с почты писем простых и страховых, но мало денежных. В простых и страховых письмах требуют выслать вещи или возвратить деньги, грозят полицией. Новые издания продаются не так шибко, как рассчитывал Кирпичов, несмотря на их атласную бумагу и бисерный шрифт, а дурные толки о делах Кирпичова распространя-

ются в торговых домах более и более, несмотря на чудовищный обед, данный для уничтожения их. Ни кредита, ни денег. В магазин являются кредиторы напомнить о наступающем сроке векселям, являются иногородние корреспонденты узнать о причине невысылки вещей.

Кирпичов принимает меры. Мера первая: при появлении корреспондента, пришедшего сделать справку, приказчик сообщает его адрес в комнату конторы; там конторщик, приставляющий счетам ноги, поспешно раскрывает толстую книгу и, отыскав в ней счет по адресу корреспондента, отмечает против этого счета: «отправлено тогда-то», после чего корреспондента просят *пожаловать*.

— Скажите, пожалуйста,— с удивлением спрашивает он, смотря на отметку,— отчего же я не получил, если вещи отправлены уже полгода тому назад?

— Не знаем-с,— отвечает конторщик,— надо справиться на почте; пожалуйте через несколько дней.

— Позвольте,— быстро прерывает корреспондент конторщика, который хотел было закрыть книгу.— Что это? — говорит он, смотря на отметку.— Чернила, кажется, свежие... как будто сейчас только написано... а?

И он подозрительно смотрит на конторщика, а конторщик старается не смотреть на корреспондента.

— Такие уж чернила-с,— отвечает, поправившись, конторщик и закрывает скорее книгу.

— А если я узнаю, что вещи не были посланы?

— Нет-с! как можно-с! У нас — исправность. Известно всему иногороднему человечеству... Сколько благодарственных писем; можем показать-с.

И конторщик идет к шкафу показывать благодарственные письма, а корреспондент уходит, махнув рукой на благодарственные письма и обещаясь прийти через несколько дней за справкой.

Этой проделкой нельзя долго скрывать тайны, но Кирпичову только бы выиграть время. У него много надежд. Он разъезжает. Едет он к одному человечку, о котором было и позабыл, а этот человечек когда-то приставал к нему: возьми его в компаньоны, да и только; не придумаю, говорит, что делать мне с деньгами, а вы, мол, знаете, что с ними делать; да тогда Кирпичову что за охота была связываться; у него первый пункт всякого условия по торговле: «А в дела мои, Кирпичова, не вмешиваться»; а теперь вот он и пригодился, этот человечек.

Приезжает он к нему.

— А подо что? — спрашивает человечек.— Под движимое или недвижимое?

Человечек знал уже, каковы дела у Кирпичова.

— Вот дурак! — говорит про себя Кирпичов и едет к *береговым ребятам*, с которыми *сошелся* не так давно. Береговые ребята — славные ребята! шампанское у них — ковшами. Для друга — ничего заветного. Деньги — плевое дело: не откажут, только заикнись. Только трудно застать; здесь им тесно: как раскутятся, норовят всё в Кронштадт аль в Шлюшин — вон куда! Зато в нужде — якорь спасения!

Приезжает.

— Что не приходил вчера! — пеняют ему береговые ребята.— А уж как мы!.. ящик целехонький уходили, слышь ты, вот сквозь землю провалиться! Да ведь ты знаешь, голова. И уха была на шампанском, стерляжья уха. А топерь и денег нет. Погоди вот ужо.

Едет теперь Кирпичов — у него много надежд — едет к одному старичку, чтоб он помог ему просить помощи от правительства во внимание к понесенным убыткам, а равно к полезной деятельности его на коммерческом поприще и несомненным заслугам, заключающимся в распространении просвещения в отечестве изданием полезных книг и быстрою рассылкою их к покупателям, рассеянным по обширному пространству России. Кирпичов везет с собой и записку, где изложено всё его дело,— дело страшное, вопиющее противу неблагодарности иногородних к его неутомимым трудам, которые добровольно, бескорыстно нес он для них, проникнутый сознанием доброго дела; в ней изложено и как он устроил свой магазин на новых основаниях, соответствующих его назначению, и как он не щадил себя, исполняя разнородные поручения иногородних, и как неблагодарно отплатили они ему возмутительным невниманием к благим его предприятиям, невниманием к его журналу, к его изданиям... Слеза прошибла негодующего Кирпичова, когда он подъезжал к старичку, припоминая всю изложенную в записке историю своей торговли, *сочиненную* Граблиным,— и он входит к старичку с решительною уверенностью, что правительство пособит ему.

Старичок, лишенный зрения и слуха, радушно принял Кирпичова, усадил его в кресло, предварил, чтоб он читал как можно громче, потом предался весь слуху и ожидал, в чем дело. Кирпичов читал.

— Как? — прерывал его старичок после всякой фразы.— Ничего не слышу, ничего,— повторял он грустно.

И Кирпичов перечитывал снова. Наконец история прослушана; оставалось заключение.

— «Затем,— продолжал читать Кирпичов,— мне не было другого выхода из этого затруднительного положения, в которое я поставлен был в отношении к кредиторам, как продать весь лучший товар по самой убыточной цене...»

— Как? — прервал опять старичок.

Кирпичов надседался, перечитывая снова прочитанное. Старичок прокричал наконец: «Гм! хорошо!» Чтение продолжалось.

— «...а впоследствии удовлетворять кредиторов деньгами, поступавшими на разные закупки от иногородних лиц, в прилагаемом списке означенных...»

Старичок остановил Кирпичова.

— В прилагаемом списке? — спросил он.— Где же список?

Кирпичов показал.

— Читайте же теперь прилагаемый список. Всё по порядку.

Вспотевший Кирпичов читал, обтершись платком:

— «Из Полтавы, ***, 600 р., дамские наряды. Из Енисейска, ***, 200 р., шуба. Из Ярославля, ***, 400 р., флигель, слуховая труба...»

— Какая труба?

— Слуховая! — кричал Кирпичов.

— А на что ему?..

— Вероятно, глух.

— А?

— Вероятно, глух-с! — крикнул Кирпичов старичку в самое ухо.

— Да. А вы и не послали...

Лицо старика выразило тоску. Кирпичов продолжал:

— «Из Перми, ***, 800 р., ружье, дамские наряды...»

Старичок дремал.

— «Из Перми, ***, 100 р., разных назидательных книг и образа...»

Старичок остановил Кирпичова.

— Назидательных книг? Что же? — спросил он, забыв, в чем дело.

— Он выписывал назидательные книги,— объяснял Кирпичов,— с приличным титулом.

— Да. Ну и посланы?

Кирпичов молчал.

— А?

— Никак нет-с. Это список лиц-с, которым...

— Как нет? назидательные-то книги?..— восклицал старичок в изумлении, поднимаясь с кресел и уставив глаза на Кирпичова.— Да молитесь ли вы, батюшка, богу?

— Что ж делать,— отвечал струсивший Кирпичов.— Вот принимаю меры-с...

Старичок ничего не слышал и боязливо пятился от Кирпичова.

— А читали ли вы Уголовное уложение? — спрашивал он.— Ведь вы... ведь вы... знаете ли, кто вы?.. Подите, подите!!

Старичок затрясся.

Кирпичов бормотал что-то и молил его спасти от банкротства.

— От чего спасти?

— От банкротства.

— А?

— От банкротства! — крикнул Кирпичов во всю мочь и боязливо прислушивался, как зловещее эхо в больших комнатах старичка несколько раз повторило: «Банкротство!»

Старичок велел оставить записку и обещал сделать, что может, повторив Кирпичову:

— А назидательные книги пошлите. Теперь же пошлите.

«Эк напугал, старый шут!» — подумал Кирпичов, отправляясь развозить такие же записки к другим лицам.

Приняв, таким образом, *все нужные меры*, Кирпичов возвратился домой через черную лестницу и заперся в своей комнате, где, бывало, весело беседовал он с Алексеем Иванычем и куда теперь являлись под вечер забытый некоторое время приятель Кирпичова, очень смирный книгопродавец, имевший обыкновение соглашаться со всем, что бы вы ему ни сказали, да один господин, часто навещавший Кирпичова с тех пор, как Граблин начал отписываться по жалобам иногородних корреспондентов; да еще являлась одушевлявшая беседу бутылка хересу или бутылка мадеры, не считая лекарственной, постоянной домашней собеседницы Кирпичова. Уходя, гости брали по нескольку книг у Кирпичова, вероятно в знак дружбы, а один из них, *соглашавшийся* приятель,— в знак того

еще, что он завтра принесет деньжонок, которые и приносил действительно. У этого приятеля давно уже был свой магазин, но он не соперничал с Кирпичовым и не принимал никаких почти мер к развитию своей торговли; он ждал покупателей, открыв магазин, как ждут волков, выкопав яму: авось забежит. И покупатели забегали, так что безмятежный книгопродавец имел деньжонки. Судьба!

К этим собеседникам, немного погодя после описанных мер Кирпичова, присоединились Уголовное уложение и том торговых законов, раскрытый на главе о торговой несостоятельности.

Меры Кирпичова повторились еще раз. Еще раз съездил он к береговым ребятам, но ребята уехали в Кронштадт *по делу*. Съездил он и к Добротину, своему главному кредитору, упрашивал его повременить, дать еще денег под старый залог, но горбун был неумолим. Еще раз съездил он к глухому старичку, но старичок не принял, увидав, вероятно, в *прилагаемом списке* много еще назидательных книг, не посланных Кирпичовым по требованиям господ иногородних. Впрочем, в записке Кирпичов просил ссуды под залог магазина, рубль за рубль, а магазин его не в состоянии был отвечать и гривной за рубль. Кирпичову хотелось только *принять нужные меры*. «Уж вы только напишите»,— говорил он Граблину, и Граблин написал.

В магазин Кирпичов не заглядывал, избегая встречи с кредиторами. Там теперь было тихо. Приказчики не возились с посылками, не стучали по счетам; они подумывали о местах в других магазинах. Петрушка с Павлушкой беспечно засыпали у дверей пустого магазина или возились, будучи совершенно упрочены насчет своей дальнейшей участи воспитанием Кирпичова, обещавшего сделать их человеками. Они точно могли теперь по справедливости носить это имя, кончив курс своих наук и зная, как вычистить платье, снять шинель или шубу, подать трубку и вообще всё, что нужно знать исправному человеку. Только Граблин сильнее прежнего налегал на рабочий свой стол и, казалось, старался удержаться за ускользавшее из-под него партикулярное место. Ему теперь сданы были все книги, бумаги и письма по магазину для приведения в порядок книг. Роясь в бесчисленном количестве счетов и писем, Граблин наткнулся на одно письмо, которое поразило его. В нем дело шло не о высылке какой-нибудь пороховницы или руководств, не о жалобе на неисправ-

ность, а о вещах более нежных и отвлеченных, нисколько не относящихся к занятиям магазина «на новых основаниях». Прочитав конверт, Граблин увидал, что оно было собственно не к Кирпичову, а прислано к нему для передачи по означенному на нем адресу. Сжалось сердце Граблина, когда, продолжая рыться, нашел он целый десяток таких же писем, адресованных к Кирпичову той же рукой для передачи по тому же адресу. Иные были даже не распечатаны, а просто смяты и брошены в кучу других с пятью печатями, вскрытых, по-видимому, единственно затем, чтоб вынуть из них деньги.

Граблин тогда же дал себе слово отнести все эти письма по адресу при первом удобном случае.

На другой день у Кирпичова отслужили молебен.

— Знать, скоро! — с улыбкой злобного удовольствия сказал Харитон Сидорыч и пошел отыскивать места к приятелю.

— Лопнет! — сказал франт приказчик другому франту приказчику.

— Лопнет! — отвечал тот.

— Что здесь делать теперь? пойдем-ка хоть *по чаям!*

— В *славный город*, что ли?

— Нет, в новооткрытый. Зеркала, брат, там какие! А орган — двенадцать валов! Как поставят «Не одна ли во поле дороженька», так я те скажу... ревел, брат, я вчера за ним что силы было,— не слышно! А «Роберт» — что супротив него палкинский? там, брат, почище будет. Пойдем.

— Пойдем.

И пошли.

Еще немного погодя в магазин явилось официальное лицо. Вслед за ним явился еще человек, державший в одной руке какую-то книгу, в другой сургуч и печать. Официальные посетители потребовали свечку и подошли к двери магазина. «Какое зрелище!» — тут впервые воскликнуть Кирпичову было бы кстати, но его тут нет. Он у себя в комнате. Он позвал Граблина.

— Это ничего, Степан Петрович,— говорит он ему,— ничего, что там, в магазине-то, того... с вами-то я всё-таки рассчитаюсь ужо, только уж вы того... вон там, в законах-то — уголовный суд! если книги не в порядке; да до этого не дойдет: я вот только съезжу к одному человеку — и велят распечатать. А всё оно не мешает... ишь, время уж такое вышло!

Молодой человек сел работать, а Кирпичов поехал с официальным лицом.

Едут они по Мещанской; едут по Гороховой: вот перед ними дом, где Кирпичов весело проводил время,— мимо; переезжают Сенную, перед ними еще дом, напомнивший Кирпичову много веселых вечеров,— мимо; едут по Обуховскому шоссе, перед ними опять дом, но его не знает Кирпичов; он читает вывеску: «Долговое отделение тюрьмы».

— Стой,— сказало официальное лицо.

Колесо остановилось!

Глава V

ПИСЬМА ДОШЛИ ПО АДРЕСУ

Струнников переулок находился в большом волнении: имя Полиньки переходило из уст в уста. Девица Кривоногова, по праву ее прежней хозяйки, кричала сильнее всех. Она была источником всех странных слухов о Полиньке, повергавших скромных жителей переулка в истинное удивление.

— Мне уж, верно, на роду написано,— говорила она кстати и некстати каждой встречной и каждому встречному,— только о чужом счастье и заботиться! Ну, эта хоть смазлива с лица, а то жила до нее у меня, так просто перед ней дрянь, а как устроилась-то! в шелковом салопе гуляет, и шляпа с пером!

— Так-таки она за барским столом и сидит? — с удивлением спрашивали любопытные слушательницы.

— За столом?.. да чего? она в карете ездит, и два лакея сзади! — с гордостью отвечала девица Кривоногова.

— Ах ты, господи! — с ужасом произносили слушательницы.

— И смеху-то сколько! — с усилием продолжала девица Кривоногова, поощряемая их возгласами.— Я прихожу и говорю ему (она указала на венецианское окно Доможирова), что его-то невеста... ведь туда же, старый шут, сватался к ней! (Красное лицо девицы задергалось, а глаза злобно забегали.) Небось, теперь двумя руками крестится, что бог избавил его от такой жены. Вот уж так прибрала бы его к рукам!

— Ну да что бы ей в нем? — заметила одна кумушка.

— Что!? как? а дом!! а деньги в ломбарде! Ведь он, как жид, скуп!

Этими восклицаниями девица Кривоногова высказала все свои тайные помышления, задушевные планы.

— Да ведь сын есть,— заметили ей.

— Сын!! Что ж такое, что сын? Это благоприобретенное: он властен не только жене, да хоть своим котятам отдать... вот как-с! — я дело-то лучше другого крючка знаю! Ишь, не поверил, как я ему сказала, что в карете ездит: побежал сам посмотреть. Ха-ха-ха! он ей шапку снял, а она отвернулась... ха-ха-ха!

И девица Кривоногова долго хохотала.

— А этот немчура,— продолжала она с новым жаром,— кажись, уж как сладко смотрел на нее, словно она сестра ему, а небось, как я стала рассказывать, глаза выпучил, рот разинул; я ему говорю, а он не верит! А потом плакать начал: ишь, зависть какая, подумаешь, у человека!

И девица Кривоногова тяжело вздохнула, поближе придвинулась к своим слушательницам и продолжала таинственным голосом:

— Да она мне тогда же не раз говорила: «Что,— говорит,— моя голубушка Василиса Ивановна, за бедного-то выходить? Слава те, господи, я рада-радехонька, что отделалась: я себе найду мужа, как деньги будут, а пока поживу в свое удовольствие!»

Такие толки повторялись беспрестанно, каждый день разрастаясь и питая праздное любопытство жителей всего переулка, в которых страсть к новостям, сплетням и пересудам была развита почти столько же, как в уездных городках. Всякая мелочь, будь только новая, возбуждала в них живейшее движение. Так, в одно утро общее внимание было привлечено молодым человеком, который, бог знает откуда взявшись, бродил по Струнникову переулку и читал надписи на воротах. Девица Кривоногова в то время занята была делом: она секла небольшого щенка, очевидное отродие Розки, нисколько не перещеголявшее красотой свою родительницу. Щенок визжал на весь переулок, а девица Кривоногова приговаривала за каждым ударом:

— Не бегай на чужой двор, не играй с кошками; вот тебе! вот тебе!!

— Это дом Кривоноговой? — спросил молодой человек, смотря на поучительную сцену.

— Я, а что? кого нужно? — запыхавшись, спросила девица Кривоногова, придерживая за шиворот собачонку.

— Девица Климова не здесь ли живет?

— Кто? Палагея Ивановна?

И девица Кривоногова выпустила из рук собачонку и радостно отвечала:

— Она около четырех лет у меня жила; я, можно сказать, знаю ее как свои пять пальцев.

— Можно ее видеть? — поспешно спросил молодой человек.

— Нет, она уж не живет, но она четыре года жила... я...

— Где же она? скажите скорее ее адрес,— перебил молодой человек.

— Адрес? как не знать мне ее адреса? да кому же, как не мне, и знать-то его! да я ее и пристроила-то на это место; она, можно сказать, должна век помнить мое усердствие; уж я такое доброе сердце имею! я за зло...

— Хорошо-с, только скажите скорее, куда она переехала? — с нетерпением перебил ее молодой человек.

Девица Кривоногова, рассерженная, что ей мешают перечесть свои добродетели, переменила тон и сухо спросила:

— А вам на что?

— Как! да мне нужно, я имею дело! — отвечал молодой человек, удивленный таким вопросом.

— Какое? что вам за дело? То есть, примерно, вам следует знать, где она проживает, или просто так: любопытство? Так я всё знаю: я сама видела, как она в каретах разъезжает!.. Да-с, у меня тридцать рублей платила за квартиру с дровами; а я по два месяца денег ждала, бывало...

— Извините, мне некогда слушать, прошу только сказать скорее, куда она переехала? — сердито сказал молодой человек.

Грудь девицы Кривоноговой заколыхалась.

— Я не указчик,— отвечала она с гордостью.— Честью всё сделаю, силой — ничего не заставите! Извольте идти, ищите сами, если так!

И, поймав опять собачонку, она принялась сечь ее с новым увлечением.

Молодой человек с минуту стоял как потерянный.

— Да скажите хоть, где живет какой-то Карл Иваныч? — закричал он наконец девице Кривоноговой, кото-

рая, повернувшись к нему своей массивной спиной, повторяла визжавшей собачонке:

— Не играй, не играй, не ходи, не ходи на чужой... Да что пристал, прости господи! — ответила она молодому человеку, повернувшись, и потом снова обратилась к своей жертве.

В это время Доможиров надсаживал горло, крича из своего окна молодому человеку:

— Кого надо? кого?

Молодой человек сказал ему, что ищет девицу Климову и Карла Иваныча.

— Погодите,— крикнул Доможиров и сбежал вниз.— Вы ее знаете? — сказал он впопыхах, выбегая из ворот.

— Нет, но...

— Так вы не знаете? а! так вы не знаете. Да она...

В ту минуту собачонка, отчаянно взвизгнув, вырвалась из рук своего палача и пустилась бежать. Девица Кривоногова, забыв свою полноту, с криком пустилась догонять ее, грозно потряхивая в воздухе розгой.

Доможиров позабыл молодого человека и пристально следил за щенком и его преследовательницей; он дрожал, если она настигала щенка, и заливался радостным смехом, когда щенок увертывался. И молодой человек невольно увлекся зрелищем, которое давала девица Кривоногова всему Струнникову переулку.

— Ай, кажись, поймает! — с ужасом кричал Доможиров.

Точно, девица Кривоногова схватила уже собачонку за короткий обрубленный хвостик, уже воздух потрясся ее победоносным криком «Ага!», но вдруг собачонка скользнула между ног девицы Кривоноговой и пустилась бежать назад; а девица Кривоногова, запутавшись в платье, стала на четвереньки.

Доможиров сел у ворот, скорчившись, как будто ему сводило живот, и неистово смеялся.

— Что, упустили? ха! ха! ха! — сказал он, когда девица Кривоногова, подобно полководцу, возвращающемуся с поля проигранного сражения, уныло приблизилась к своему дому.

— Погоди,— пробормотала она сквозь зубы, бросив злобный взгляд на своего соседа.— Я вот повешу ее перед твоим носом, так уж она не будет тебя больше тешить да играть с твоими котятами!

Доможиров повел молодого человека к башмачнику.

Башмачник лежал за перегородкой, бледный, исхудалый.

Узнав, что молодой человек ищет Полиньку, чтоб отдать ей письма от жениха, найденные в конторе Кирпичова, он приподнялся и сказал ему слабым голосом:

— Я не советую вам ходить к ней: она... она никого не хочет знать.

И он стал кашлять.

— По письму, которое я прочел,— заметил молодой человек, в котором читатель узнал Граблина,— видно, что она не из таких...

Башмачник быстро вскочил и замахал руками.

— Вот-с всё так,— шепнул Граблину Доможиров.— Начнешь дело ему говорить, а он на стену лезет. И ведь как изменился! иной подумает, что он человек пьющий: так извелся!

— Я раз двадцать был у нее,— начал с жаром башмачник,— меня не пустили, да и никого! Она никого не хочет видеть. А сама... я знаю... да, я знаю! она ходит в шелковых салопах и катается. Вот он,— продолжал башмачник, вздрогнув и указав на Доможирова,— вот он видел ее, поклонился ей, она отвернулась! А что говорит прислуга... Боже мой!

И он закрыл лицо руками и зарыдал было, но кашель помешал ему.

— Я всё-таки считаю долгом своим отдать ей письма,— сказал решительно Граблин.

— Не ходите, прошу вас, не ходите! не отдавайте ей его писем: уж теперь поздно, поздно! — умолял башмачник.

— Конечно,— начал Доможиров.— И что ей теперь в женихе? слава богу, не в бедности...

— Замолчите, замолчите! — отчаянно воскликнул башмачник, зажимая уши.

Он бросился лицом в подушки и стал кашлять.

Граблин ушел. Провожая его, Доможиров рассказал с мельчайшими подробностями всё, что знал о Полиньке: как она жила мирно и тихо в их переулке, как у ней явился жених, как уехал, как она тосковала, как потом задумала переехать на место и, переехавши, не стала принимать никого из старых знакомых, даже свою приятельницу Надежду Сергеевну, которая была ей всё равно что сестра. А люди, говорил Доможиров, такие ужасы говорят про нее, что волос дыбом становится: будто она по ночам

бегала из своей комнаты! В доме, изволите увидеть, лакеев тьма-тьмущая и барин молодой; говорят, что она приколдовала и самую барыню и так морочит ее, что та ничего не видит, какие у них там шашни с сынком, и позволяет ей всем домом ворочать... Да, видно,— продолжал Доможиров, переведя дух,— правду сказано, что худые дела не остаются без наказания: говорят, извелась, такая бледная стала и всё плачет... Ну а уж нам и не след лезть к ней: чего доброго, еще велит и в шею вытолкать. И что стыда натерпелся вот несчастный-то немец, как бегал к ней, пока ноги служили. Люди смеются над ним, потом ее начнут бранить такими словами... Ах ты, господи! вот что наделала, быстроглазая!

Несмотря на общие советы не отдавать Полиньке писем Каютина, Граблин решился видеть ее и отправился в дом Бранчевских.

Швейцарская полна была лакеями. При имени девицы Климовой они насмешливо переглянулись, и высокий детина в гороховых штиблетах грубо отвечал:

— Дома нет.

— Когда же она бывает дома?

— А мы почем знаем?

— Да кто же должен знать? — сердито спросил Граблин, и повышение голоса подействовало,— лакеи пошептались, и дюжий детина спросил Граблина довольно кротко:

— А как доложить? кто вы такой?

В эту минуту послышался стук подъезжавшего экипажа. Лакеи пришли в волнение: кто бежал вниз, кто в комнаты, кто прятался за двери. Граблин остался один. Два лакея высадили Бранчевскую из кареты и ввели в швейцарскую. Вместе с ней вошла девушка лет двадцати трех, одетая довольно богато и со вкусом. Граблин слегка поклонился. Бранчевская остановилась и, указывая на него головой, обратилась к лакеям:

— Кто это?

Лакеи медлили ответом; молодой человек поклонился еще раз и отвечал:

— Я имею важное дело к девице Климовой. Не ее ли я имею счастие видеть? — прибавил он, кланяясь молодой девушке.

— Кто это? — гордым и строгим голосом спросила ее Бранчевская.

Вся вспыхнув, она молчала.

Бранчевская тревожно смотрела на нее и ждала ответа.

— Я пришел по делу и сам имею удовольствие только в первый раз видеть их. Моя фамилия...

— Ты знаешь его? — повелительно спросила Бранчевская.

— Нет,— тихо отвечала девушка.

— Я... от господина Каютина...— тихо произнес молодой человек.

Радостный крик вырвался из груди молодой девушки, в глазах блеснули слезы.

— Он жив? — едва слышно спросила она.

— Жив... я имею к вам письма.

— О, дайте, дайте мне их! — с восторгом сказала Полинька, кинувшись к молодому человеку.

Бранчевская остановила ее, заметив сухо:

— Если ты знаешь этого молодого человека, то здесь не место говорить; пригласи его наверх.

Затем два лакея чуть не внесли ее на лестницу, устланную коврами. Граблин и Полинька последовали за ней.

В зале Бранчевская остановилась и, пытливо поглядев на Граблина, сказала:

— Если вы имеете дело до нее (она указала на Полиньку), то прошу вас говорить. Я надеюсь, что не могу вам помешать?

— Я имею письма...

— Письма? от кого? — быстро спросила Бранчевская.

— От очень близкого им человека,— отвечал Граблин, бросив взгляд на Полиньку, которая, казалось, немного была испугана и нетерпеливо кусала губы.

— Да-с... этих писем я давно ждала... мне нужно! — бормотала она, глядя умоляющими глазами на Граблина, как будто просила его помощи.

Он догадался и сказал:

— Кроме писем, должен я вам сообщить по секрету важное дело!

Бранчевская тревожно поглядела на Полиньку и вышла. Проводив ее глазами, они кинулись друг к другу: он поспешно сунулся в карман, а Полинька протянула к нему руку.

Писем было около дюжины. Почти все, кроме двух, были запечатаны. Полинька стала быстро читать их одно

за другим. Лицо ее попеременно то улыбалось, то хмурилось.

— Эти письма я нашел в бумагах Василья Матвеича,— сказал Граблин, заметив в лице Полиньки изумление.

Она вдруг покраснела и, с досадой разорвав письмо, сказала взволнованным голосом:

— А, меня обвиняют!

И она продолжала читать.

— Мне не советовали к вам нести их.

— Кто? — язвительно спросила Полинька, продолжая читать...

— Да все... ваши знакомые...

Полинька гордо подняла голову и, посмотрев прямо в лицо молодому человеку, твердым голосом спросила:

— Они, верно, вам много дурного обо мне говорили, не правда ли?

Граблин потупил глаза. Он хотел отвечать, но Полинька продолжала:

— Я всё знаю, что обо мне они говорят и думают. Они бросили меня в чужом доме и сами потом пишут ко мне, что знать меня не хотят, уверяют, будто я не хочу их видеть, что я поступаю нечестно, что я... Нет, я не буду вам говорить всего! я только вам скажу одно, что я ничего не понимаю, что делают со мною все; я потеряла голову; отсюда меня не выпускают, а там отрекаются от меня. В доме здесь мне скучно и тяжело; но куда мне идти, когда все мои прежние знакомые отказались от меня?

Полинька пришла в такое волнение, что руки ее дрожали; она не могла продолжать говорить. Оправившись, она распечатала последнее письмо и, пробежав несколько строк, в отчаянии опустилась на стул.

— И он тоже! — сказала она с негодованием.

Потом опять стала читать, и негодование всё сильней выражалось в ее лице.

Окончив письмо, она разорвала его на мелкие клочки и далеко бросила от себя, отвернулась от молодого человека и тихо заплакала.

— Вы напрасно оскорбились: он, вероятно, не знал, что вы не получаете его писем,— сказал Граблин.

— Он не знал? — с досадой повторила Полинька.— А отчего же я, не получая его писем, не писала ему, чтоб он бросил мое кольцо, которое я ему дала? что я не желаю, чтоб оно было отдано другой? что я не буду ему мешать и постараюсь забыть его? Отчего я его не упрекала,

что я скучаю, что он, может быть, загубил мою жизнь, мою молодость? Нет, я ничего и никого знать не хочу! они все против меня! Боже мой!

И она горько зарыдала.

Вошел человек и доложил Полиньке, что Бранчевская просит ее к себе. Полинька отерла слезы, поклонилась Граблину и хотела идти; но он удержал ее:

— Вы позволите мне вам принести письмо, если еще получится...

— Нет, я не хочу: мне и так тяжело! Пусть их думают что хотят обо мне, теперь мне всё равно, если уж и он то же думает! — в негодовании отвечала Полинька.

И пошла в двери, но вдруг вернулась и прибавила:

— Извините меня, я вам очень, очень благодарна. Но мне... мне тяжело!

И она опять заплакала.

— Вас барыня ждет,— сказал вошедший лакей.

Полинька, закрыв лицо руками, выбежала из залы.

Глава VI

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

В ночь, когда Полинька сидела у постели мнимоумирающего, когда неизбежная гибель, подготовленная предательским умыслом, угрожала ей,— положение ее совершенно изменилось. Привезенная домой перепуганной Анисьей Федотовной, она тотчас же была позвана к Бранчевской. Больная, сильно расстроенная Бранчевская долго расспрашивала ее, помнит ли она своих родителей, есть ли у ней родные и что было с ней в детстве. Ей отвели комнату близ спальни Бранчевской. Наутро те же расспросы. С той поры Бранчевская почти каждый день требовала, чтоб Полинька повторяла ей историю своего детства. Она вникала в мельчайшие подробности, и часто Полиньку поражали и трогали слезы, мелькавшие в глазах Бранчевской; напротив, голос ее замирал, когда она подмечала холодный взгляд своей слушательницы. Полинька рассказала всю свою жизнь, умолчав только о преследованиях горбуна. Она заметила, что горбун с того самого дня, как произошла перемена в ее положении, начал довольно часто появляться в доме Бранчевской. Бранчевская говорила с ним всегда без свидетелей, и после таких свиданий По-

линька замечала в ней сильное волнение, и еще резче тогда бросалась в глаза странность и неровность в обращении Бранчевской. Бранчевская была с нею то ласкова и нежна, то вдруг становилась холодна и резка. О горбуне Полинька узнала от Анисьи Федотовны, что он прежде был управляющим у Бранчевских и что до сих пор у Бранчевской есть с ним какие-то дела. К этому Анисья всегда присоединяла упрашиванья, чтоб Полинька не проронила слова при Бранчевской о горбуне, иначе она может испортить счастье, которое скоро ей откроется. Она также советовала Полиньке во всем слушаться Бранчевскую, не противоречить ей: «У нее, матушка вы моя, характер вспыльчивый; рассердится, так всё пропало!» Перемена в обращении Бранчевской, двусмысленные намеки Анисьи Федотовны, таинственность, окружавшая Полиньку,— всё приводило ее в страшное недоумение. Она начала догадываться, не скрывается ли тут тайна ее рождения. Сердце ее сильно билось, голова шла кругом при одной мысли, что она наконец найдет отца, мать или хоть кого-нибудь из родных, в которых так нуждалась в эту минуту. Положение ее было ужасно. Не зная о строгом приказании Бранчевской никого к ней не пускать, кто будет ее спрашивать, она думала, что все ее бросили, как только она вступила в этот дом. И точно: Надежда Сергеевна и башмачник, получив грубые отказы через людей, переданные им за собственные слова Полиньки, пришли в негодование. Сначала они не совсем верили странным слухам, распускаемым Анисьей, горбуном и всей дворней; но потом, когда увидели сами, что Полинька ездит в карете, уже трудно было примирить их с ней. Горбун окончательно восстановил их против нее. Будто раскаявшись в своей безумной любви к Полиньке, он в минуту притворной откровенности рассказал за страшную тайну Надежде Сергеевне, как Полинька сама завлекала его, как Надежда Сергеевна была для нее предметом постоянной зависти, как Полинька старалась ссорить его с нею, чтоб он взял от ее мужа капитал, и как, наконец, сам он доведен был до страшного положения ее кокетством, увез ее, чему она была рада и даже соглашалась выйти за него замуж, но только с условием, чтоб он взял свой капитал от Кирпичова. Много было наговорено горбуном страшных вещей о прошедшей и настоящей жизни Полиньки, и в заключение он прибавил, будто она потому никого знать не хочет, что задумала выйти замуж за сына Бранчевской, которо-

го она так же свела с ума, как прежде и его, бедного старика. Вследствие всего этого раздраженная Надежда Сергеевна написала Полиньке оскорбительное письмо, которое заключалось так: «Как ни ничтожны твои старые знакомые в сравнении с теми, которых ты нам предпочла, однако ж мы сами знать тебя не хотим, и ты лучше не приходи к нам» и пр.

Полинька, не понимая причины этого гнева, с своей стороны была возмущена несправедливостью тех, которых любила, в которых привыкла видеть снисхождение и защиту. Наконец, даже тот, с чьим именем соединены были ее лучшие надежды, кому она всем жертвовала, и тот оскорбил ее! Конечно, он не знал, что его письма, которые он с некоторого времени адресовал в магазин Кирпичова, думая, что они верней будут доходить, именно потому не доходили до Полиньки (Кирпичов бросал их, по просьбе горбуна),— но можно ли быть столько малодушным, столько низким, чтоб сделать такие заключения, какие он сделал? Негодующая Полинька позабыла, что сама она, не получая с полгода писем Каютина, легко поверила, что он давно уже забыл о ней и даже женился, и сердце бедной девушки кипело враждой к любимому человеку.

Теперь, в этом страшном положении, одно только поддерживало ее — участие, которое приняла в ней Бранчевская, и темные, неопределенные надежды, соединенные с этим непонятным и причудливым участием. Но что же это такое? чем же всё это кончится? Сколько уже прошло времени, а мучительная неизвестность продолжается и бог знает когда кончится!

В тот день, когда Полинька получила письма Каютина и когда все эти мысли, сильнее, чем когда-нибудь, тревожили ее, Бранчевская рано отослала ее спать. Был двенадцатый час вечера. Оставшись одна, Бранчевская долго ходила по комнате. На ее гордом и надменном лице видны были следы страшного страдания и тревоги. Она часто вдруг останавливалась среди комнаты как статуя и прислушивалась; потом с досадой снова начинала ходить.

Пробило двенадцать часов,— и занавеска у двери заколыхалась: безобразная и огромная голова высунулась и снова спряталась. Чуткое Бранчевской ухо, казалось, различило знакомое движение; она быстро повернулась и повелительно произнесла:

— Войди!

С низким поклоном вошел в комнату горбун и остановился у двери. Не отвечая на его поклон, Бранчевская величаво опустилась в кресло. Несколько секунд продолжалось молчание.

На губах горбуна блуждала его обычная улыбка.

— Ну, что же? — с сердцем и нетерпеливо сказала Бранчевская, не глядя на горбуна, который, заложив одну руку назад и придерживаясь пальцем другой за петлю сюртука, спокойно смотрел на нее.

— След найден,— отвечал он медленно.

Бранчевская радостно вскрикнула и привстала.

— Говори! — сказала она дрожащим голосом, стараясь принять спокойный и холодный вид.

Не спуская своих блестящих глаз с Бранчевской, которая видимо их избегала, горбун с расстановкой повторил:

— След найден.

— Говори же скорее! — нетерпеливо крикнула Бранчевская.

— Пока я больше ничего не могу сказать! — равнодушно отвечал горбун.

Бранчевская подскочила к нему и грозно закричала:

— Послушай! я, наконец, потеряю терпение! ты обманываешь меня! я знаю, ты так черен, что способен на всё! говори сейчас же, какие следы?

И она приняла гордый вид; но гнев ее, казалось, не действовал на горбуна.

— Кажется,— отвечал он спокойно,— в течение стольких лет я имел много случаев доказать вам мою усердную готовность...

— Замолчи!.. о прошлом ни слова! — повелительно перебила Бранчевская.

— А если дело требует? — возразил с усмешкой горбун.

— Неправда! — сказала Бранчевская, подавляя свой гнев.— Дело тебе известно! я требую одного, чтоб скорее всё кончилось. Я не хочу оставаться долее в ложном, неизвестном положении. Я скорей готова отказаться... но уже поздно! — прибавила она с отчаянием.— Я привязалась к ней... мне страшно.

Она остановилась и потом продолжала спокойнее:

— Я имею доказательства ясные: так или иначе, но ты обманул меня, и теперь я тебе не верю!

— Если к человеку не имеют доверия, как же можно ждать его помощи? — заметил горбун.

— Отыщи мне ту женщину.

— Она давно умерла,— твердо произнес горбун.

Бранчевская с ужасом повторила:

— Умерла?!

— Да, но есть еще одна женщина, которая знавала ее...

— Ну, что же?.. говори, кто она и что знает? — умоляющим голосом сказала Бранчевская.

— Дело очень темно...

— Злодей! ты, кажется, намерен меня замучить! Говори, ты видел ее, ты говорил с ней? а?

— Нет еще; но она сейчас же явится ко мне по одному моему слову. Я должен вас предупредить, что она женщина хитрая,— даром рта не раскроет, ей нужны деньги.

— Сколько ей нужно, я всё заплачу!

— Потом... не знаю, согласитесь ли вы...

И горбун замялся.

— На что?

— Вам самой нужно ее видеть.

И горбун впился своими пытливыми глазами в лицо Бранчевской, в котором мелькнул испуг. Она долго думала и наконец нерешительным голосом сказала:

— Я решаюсь!.. с одним условием, чтоб ты мне поручился, что она будет нема как мертвая!

— Вы желаете сказать, как я...— кланяясь и усмехаясь, сказал горбун.

— Молчание твое слишком связано с личной твоей выгодой,— заметила Бранчевская.

— Если так, то что же может заставить молчать эту женщину? она...

— Ты! — гордо сказала Бранчевская.

Горбун вздрогнул, но, тотчас же победив свой испуг, с злобой посмотрел на Бранчевскую и сказал:

— Вы, кажется, сейчас изволили гневаться на меня, зачем я говорю о прошлом? Я сказал бы в свое оправдание, но боюсь...

— Говори смело! я убеждена, что в своих поступках ты его не найдешь.

Горбун молчал, будто о чем-то думал. Наконец он быстро поднял голову и, не спуская глаз с Бранчевской, сказал:

— Ваш сын...

— Что мой сын? он занял у тебя денег? сколько? ты их сейчас получишь! — перебила презрительно Бранчевская.

— Нет-с... не то-с...

— Что же?

— Он, может быть, дорожит...

Горбун остановился и значительно поглядел на Бранчевскую.

— А, понимаю! наглец! неужели ты думаешь, что он поверит тебе? Одно мое слово, и ты можешь погибнуть... Да, ты доведешь меня до того, что я пожертвую всем, чтоб наконец наказать тебя за все твои преступления!

Горбун побледнел.

— Я их наделал! — сказал он задыхающимся голосом.— Заемные ваши письма...

— Они недействительны! — перебила Бранчевская.

— Так мне остается напомнить вам одно...

И горбун огляделся во все стороны.

Бранчевская с ужасом тоже огляделась кругом; потом они в одно время сделали движение друг к другу.

Горбун понизил голос и мрачно сказал:

— Ночь в Париже... вы призвали меня, я вам отдал пук писем, вы бросили их в камин...

И он опять оглянулся кругом.

Бранчевская жадно слушала его и нетерпеливо кивала головой. Ее черные глаза сделались огромными, брови сдвинулись, ноздри расширились. Она походила на одушевленную статую гнева. Горбун, казалось, наслаждался ее волнением.

— Вы поспешили их бросить в камин,— продолжал он медленно с страшной улыбкой.— Хе-хе-хе! (он тихо смеялся), но ваши письма были только сверху, а остальные я спрятал... хе! хе-хе!

Бранчевская помертвела. Стиснув зубы, будто желала остановить стон, готовый вырваться, она прислонилась к креслам. Горбун продолжал:

— Да, я предчувствовал, что вы не сдержите своего слова, и вот мое предчувствие оправдалось!

Бранчевская долго стояла молча и неподвижно. Наконец, упав в изнеможении на кресло, она слабо сказала:

— Доказательства, какие ты имеешь против чести моей и нашего семейства, ничтожны!

Горбун улыбнулся. Бранчевская продолжала:

— Да, я сама буду просить сына, чтоб он взял их у тебя. Я решилась на всё, но зато и ты хорошо будешь наказан!

И она опять пришла в страшное негодование. Смущенный ее угрозами, горбун потупил глаза.

— Да! — продолжала она.— Ты, верно, хорошо знаешь законы, так скажи же мне, какое наказание назначено за подлог подписи? а?

Горбун повесил голову, согнулся, как дряхлый старик, и молчал.

— Ну, говори же! — повелительно сказала Бранчевская.

Горбун продолжал молчать.

— Я тебя спрашиваю, какое наказание бывает за подлог руки? — грозно закричала Бранчевская.

— Сибирь...— мрачно произнес горбун.

Бранчевская дико засмеялась. Горбун вздрогнул.

В ту минуту резкий стук послышался в соседней комнате. Смех Бранчевской замер.

— Нас подслушивают! — с ужасом сказала она и кинулась сперва к одной двери, потом к другой.

— Подслушивают? — пугливо повторил горбун.

Схватив свечку, Бранчевская отворила дверь, которая вела в ее спальню; горбун, тоже взяв свечу, исчез в другую дверь.

Через минуту они воротились; лица их были спокойны.

— Никого! — сказала Бранчевская, свободно вздохнув.

Но они долго еще не решались продолжать разговор, прислушиваясь. Бранчевская первая нарушила молчание, но так понизила голос, что ее едва можно было слышать.

Через полчаса горбун вышел, низко кланяясь; Бранчевская с отвращением проводила его глазами. Но голова его тотчас опять показалась между занавесками.

— Завтра! — сказал он тихо с насмешливой и злобной улыбкой.

Бранчевская вздрогнула, кивнула ему головой и с ужасом закрыла лицо. Так она сидела долго, полная грустных мыслей. С тяжким вздохом достала она с своей груди маленький образок, долго рассматривала его, осыпала поцелуями. Слезы брызнули из глаз ее, и, упав на кушетку, в бархатных подушках заглушала она свои стоны.

Полинька в своей комнате тоже рыдала. Угрызения совести терзали ее. Когда она пришла в себя и раздумалась, ей стало так грустно, так невыносимо тяжело, что она кинулась к Бранчевской, готовая рыдать и умолять ее, сама не зная о чем; но Бранчевской в спальне не было. В соседней комнате слышались голоса; один принадлежал Бранчевской, в другом Полиньке нетрудно было узнать голос горбуна. Мучимая неизвестностью, невольно приблизилась она к занавеске и стала вслушиваться в их разговор. Она не сознавала, что делает, и плохо понимала, что они говорили. Дикий хохот Бранчевской так испугал ее, что она кинулась вон, забыв всякую осторожность, и задела стул...

Многое было непонятно Полиньке в разговоре, который она невольно подслушала. Но она уверилась в одном, что тайна ее рождения наконец будет открыта и что она, может быть, даже найдет свою мать. И когда прошел первый порыв стыда, сердце ее забилось радостью; тысячи планов столпились в ее голове; она торжествовала при мысли, как поразит эта весть ее врагов, к которым уже причислила Кирпичову и башмачника.

Наступило утро. Полинька истомилась, ожидая, когда ее позовут к Бранчевской. Но утро прошло — она не видала Бранчевской. Наступил и вечер — ее всё не зовут к ней. Полинька трепетала при мысли, не догадалась ли Бранчевская о ее поступке. «Может быть, она не хочет больше меня видеть»,— с ужасом думала она.

Но Бранчевская ничего не подозревала; только к вечеру встала она с постели и перешла в комнату, где накануне виделась с горбуном. Жаль было ее видеть: из гордой и бодрой женщины она превратилась в слабую и дряхлую старуху.

Бранчевская поминутно смотрела на часы: пробило уже одиннадцать, но тот, кого она, по-видимому, так нетерпеливо ждала, не приходил. Наконец занавеска заколыхалась. Бранчевская приподнялась, и на ее бледном лице появилась улыбка. Вошел горбун.

— Наконец всё кончено? говори! — нетерпеливо сказала Бранчевская.

— Нет еще... мне необходимо видеть ее! — отвечал горбун.

— Ты хочешь ее видеть? — с ужасом спросила Бранчевская.

— Напрасно вы боитесь! Тайна, которую хранил я с лишком двадцать лет, умрет со мною! — торжественно произнес горбун.

— Неужели нельзя избежать свидания? — умоляющим голосом сказала она.

— Нет! — твердо отвечал он.

Подумав с минуту, она протянула руку к снурку, висевшему у кушетки, но горбун быстро остановил ее.

— Без свидетелей,— сказал он.

— Неужели даже я не могу присутствовать? — с удивлением спросила она.

Горбун кивнул головой.

Бранчевская остановила на нем долгий, пристальный взгляд и потом, указав на дверь своей спальни, сказала:

— Иди, только помни, что ты не должен ни одним словом...

— Будьте покойны! — перебил он и вышел.

Полинька в то время уже готовилась ко сну; распустив свои длинные черные волосы, покрывшие, будто черной мантией, ее худые, но всё еще прекрасные плечи, она стояла перед зеркалом. Зеркало висело против самой двери.

Вдруг Полинька дико вскрикнула, уронила гребенку и пошатнулась, закрыв лицо руками.

Горбун стоял в дверях и пожирал ее жадными глазами. Белая немного короткая юбочка выказывала вполне ее грациозные ножки; руки и плечи были открыты, и черные волосы, свесившись наперед, почти касались пола. Горбун быстро повернул голову и провел рукою по глазам. Следы слез блестели еще на его ресницах, когда он тихо сказал:

— Как изменилась!

Полинька, отняв медленно руки от лица, встретила кроткий взгляд горбуна; лицо его больше изумило, чем испугало ее. Точно, в эту минуту он был скорее жалок, чем страшен или отвратителен. Тоска и страдание резко изображались в чертах его лица.

— Как попали вы сюда? — спросила Полинька, оправившись.

— Не пугайтесь! вы в безопасности: малейший ваш крик услышат; к тому ж я не ступлю шагу, не скажу слова без вашего согласия. Вы хотите меня выслушать?

— Говорите; но если вы сделаете шаг вперед, я стану кричать!

Горбун пожал плечами, тяжело вздохнул и прошептал грустным голосом:

— Всё то же дитя! Не беспокойтесь,— продолжал он, обратясь к Полиньке.— Я уже сказал, что не ступлю шагу без вашего согласия. Мы видимся, может быть, в последний раз; мое объяснение с вами будет очень коротко. Я только спрошу вас: что вы думаете о своем положении и надеетесь ли вы, что оно долго может продлиться? а?

— На что вам это знать? по какому праву вы меня спрашиваете? — гордо отвечала Полинька.

— По праву человека, в руках которого ваша участь! — надменно отвечал горбун.

Полинька вспомнила подслушанный ею разговор и вздрогнула. Горбун продолжал:

— Желаете ли вы богатства? желаете ли узнать, кто была женщина, которой вы обязаны жизнию?

— Умоляю вас, скажите, кто она? где она? — в волнении сказала Полинька.

— Позвольте! — спокойно отвечал горбун.— Я хочу знать прежде, поняли ли вы, какова жизнь девушки без защиты, без родных, без состояния? Я знаю, хорошо знаю, как вы жили здесь прежде. Но вдруг...

— Я сама ничего не понимаю! — с жаром перебила Полинька.— Я чуть с ума не сошла в этом доме; меня все притесняли, я жила наравне с прочими людьми, я терпела страшное унижение... и вдруг меня ласкают, заботятся обо мне, даже та, которая прежде смущала меня своим презрением, стала со мной добра, нежна... Если вы всё знаете, скажите мне, что это значит?

Горбун тихо засмеялся.

— А подозревали вы,— спросил он,— мое участие в том, что сюда переехали?.. Нет!.. Знайте же, что этим вы обязаны мне... Я имел свои причины желать, чтоб вы вполне изведали нужду и горе. Но теперь вы в довольстве...

И горбун злобно оглядел комнату. Она была убрана просто, но роскошно, в сравнении с прежней комнатой Полиньки.

— Вы сыты, вы одеты, вам не нужно думать о завтрашнем дне, вы можете даже ничего не делать; вас ласкают; но ваше довольство непрочно: мне стоит сказать одно слово — и вы лишитесь всего!

— А, понимаю! — сказала Полинька.— Вы всё старое... Но предупреждаю вас, что я не приму никаких условий, если б даже дело шло о моей жизни!

— Я тоже предупреждаю, что один только знаю тайну, которая может переменить вашу участь,— сказал он.— Подумайте! Вы теперь привыкли к довольству, вам невозможно воротиться к прежней жизни, вы не вынесете! И куда пойдете вы? Ваши друзья вас отвергли; да и что они могут сделать?.. Но ваше счастье в ваших руках. Всё зависит от вашего благоразумия... Мы здесь одни?..

И горбун огляделся:

— Я запру дверь...

— Замолчите! нет счастья во всем мире, которое я решилась бы купить такой ценой!

— К чему горячиться? — кротко возразил горбун.— Я прошу вас перестать ребячиться и хладнокровно взвесить обстоятельства...

Долго и много говорил горбун Полиньке о счастье, которое ожидает ее, если упрочится положение, в котором она теперь находится. Мрачными красками описывал вечную нужду и унижение, которые угрожают ей, если она своим упрямством вооружит его. Опять повторены были все обещания, все клятвы сделать ее счастливою, принести ей в жертву и состоянье и жизнь, но красноречивые, страстные убеждения его не действовали. Полинька сильно качала головой и не хотела слушать его. Истощив бесполезно все свои убеждения, мольбы и слезы, горбун наконец пришел в бешенство.

— Гордый и безумный ребенок! — сказал он грозно.— Помни, что со мной нельзя шутить! Тысячу раз клялся я не щадить тебя больше, и если теперь, после всех оскорблений, которыми ты осыпала меня, я увлекся опять, пожалел тебя, снова унижался у ног твоих,— я дорого выкуплю мое унижение: и счастьем, и жизнью, и честью поплатишься ты за свои детские капризы! Ты вспомнишь мои слова, когда придешь к моим воротам, оборванная и голодная. Да я велю прогнать, я не дам гроша за последнее тряпье твое, которое принесешь ты, чтоб достать кусок хлеба... хе! хе-хе! Много видал я таких примеров. Хе! хе-хе!

Горбун тихо и злобно хохотал, будто мрачное предсказание его уже сбылось и перед ним уже стояла с бедным узелком своим несчастная женщина, которую он казнил презрительным хохотом.

— В последний раз,— сказал он немного спокойнее,— спрашиваю, согласны ли вы?.. Если да, я упрочу ваше счастие... Если нет...

— Не беспокойтесь! — насмешливо перебила негодующая Полинька.— Я знаю, кто мать моя. Сначала я думала, что образок, который висел у меня на груди, с того времени как я себя помню, пропал в ту самую ночь, как — помните? — вы *умирали*... но теперь я знаю, у кого он, и знаю...

— Вы думаете, что она? — спросил горбун, указывая на дверь.

— Да! видите, я тоже знаю вашу тайну!

Горбун покачал головой. Насмешливая и злая улыбка обезобразила его лицо.

— Да, да! я всё знаю, всё! — продолжала Полинька.— Вы думаете, что она напрасно заставляла меня сто раз повторять ей одну и ту же историю о моем детстве? А ее слезы, когда я говорила, сколько страдала в своей жизни? А образок? я всё поняла... Он висел в моей комнате и пропал в ту ночь, как я поехала к вам... (Низкий обман! и вы еще думали, что я могу чувствовать к вам что-нибудь, кроме отвращения?) пропал, а она, я знаю, была в ту ночь в моей комнате: мне Анисья Федотовна, ваша же сообщница, сказывала. И как я приехала, она тотчас же стала меня расспрашивать... А потом я раз видела, как она рассматривала и целовала мой образок. Что всё это значит?— с торжеством спрашивала Полинька.

Горбун презрительно засмеялся.

— Дитя! дитя! — сказал он.— Если на этом основываются ваши надежды, если из этого выходит ваше сопротивление, то, клянусь вам, вы ошибаетесь!

— Увидим,— отвечала гордо Полинька.— Если я точно дитя, то мне еще нужней мать... и, как ни клянитесь, вам не удастся отнять ее у меня!

Насмешливый и недоверчивый тон Полиньки довел горбуна до крайней степени бешенства. Он злобно топнул ногой, и огнем неумолимой, жестокой решимости сверкнули дикие глаза его.

— Прощайте! — сказал он.— Наше последнее свидание кончилось так же дурно, как все прежние. Не моя вина. Я всё сделал, что мог! Но что ж делать, если вы верите своим пустым фантазиям больше, чем моим словам? Раскаетесь, но будет поздно!

Он ушел, скрежеща зубами.

До поздней ночи горбун оставался в комнате Бранчевской. Двери кругом были крепко заперты, и они говорили шепотом.

Глава VII

ПОЛИНЬКА НАХОДИТ НОВУЮ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦУ

Утром, довольно рано, горничная позвала Полиньку к Бранчевской. Волнуемая ожиданием, Полинька нетвердыми шагами вошла в спальню. Ноги едва держали ее.

В спальне был полусвет. Бранчевская еще лежала в постели. Полинька приблизилась к ней, чтоб поцеловать, по обыкновению, ее руку, но Бранчевская поспешно закуталась в одеяло и пугливо сказала:

— Не надо, не надо!

Холодный пот выступил на бледном лице Полиньки; она пошатнулась и оперлась на стул. Итак, нет сомнения: горбун исполнил свои низкие угрозы!

— Вас обманули! — в волнении сказала Полинька.— Вам наговорили на меня; не верьте ему, он...

— Что такое? — протяжно, нахмурив брови, перебила ее Бранчевская, медленно приподымаясь.

Голос у Полиньки замер: по одному слову она узнала в Бранчевской прежнюю свою госпожу! Кровь застыла у ней в жилах; она отшатнулась и горько зарыдала.

— Что это?.. слезы! — тоскливо и с отвращением сказала Бранчевская.— Перестань,— прибавила она повелительно,— ради бога, перестань, я не могу их слышать!

Слезы стеснились у Полиньки в груди, она дико смотрела на Бранчевскую, которая, избегая ее взглядов, сказала смущенным голосом:

— Я очень довольна тобой... но я... я желаю, чтоб ты оставила мой дом!

Полинька с диким криком кинулась к кровати, упала к ногам Бранчевской и, целуя их, умоляющим голосом твердила:

— Он вас обманул, он способен меня лишить матери! защитите меня, я погибну, погибну!

Страшно было отчаяние бедной девушки, но Бранчевская с отвращением отталкивала ее от себя и плачущим голосом сказала:

— Боже! она уморит меня!

Полинька вздрогнула, медленно подняла голову и устремила свои большие полные мольбы и муки глаза на Бранчевскую. Бранчевская быстро дернула за снурок колокольчика и холодно сказала:

— Я слаба, избавь меня от таких сцен. Я прошу... нет, я приказываю тебе оставить мой дом, и чем скорее, тем лучше! Вот тебе на первое время.— И она подала Полиньке пакет и прибавила:— Живи, как прежде жила!

Полинька сорвала печать, болезненно вскрикнула и бросила пакет.

— В нем есть деньги, возьми их,— поспешно сказала Бранчевская.

Полинька презрительно взглянула на пакет и с отчаянием сказала:

— Я буду просить вас об одном...

— Что? — дрожащим голосом спросила Бранчевская.

— Образок, который вы у меня взяли... это единственная память моей матери! отдайте мне его, отдайте!

Бранчевская громко засмеялась.

— Ты, кажется, помешалась,— сказала она.— Что такое? какой образок твоей матери? ты забываешься!! Не советую,— насмешливо прибавила она.

Полинька взглянула на нее и вздрогнула, встретив ее презрительный и холодный взгляд. С минуту она стояла неподвижно, с дикими, блуждающими глазами, наконец сделала отчаянный жест и выбежала из спальни.

Как сумасшедшая пришла она в свою комнату, бралась за вещи, увязывала их, но вдруг с ужасом бросала, вспомнив, что они принадлежат Бранчевской. Она не плакала, растерзанное сердце ее было полно негодованием. Накинув салоп и шляпку, она быстро выбежала из дому. И вот она среди улицы. Несчастная долго стояла на одном месте, спрашивая себя: куда ей идти? К Кирпичовой? Но с какими глазами придет она к женщине, которая не постыдилась оскорбить ее самыми черными подозрениями? И притом Кирпичова сама предупредила, что выгонит ее... К башмачнику?

И, будто испуганная, Полинька побежала прямо. Долго бродила она из улицы в улицу, останавливалась, осматривалась кругом, будто искала кого... Силы начинали изменять ей, волнение всё увеличивалось. «Куда я пойду? что буду делать? — спрашивала она себя.— Боже мой! что они со мной сделали!» И она заплакала. Вдруг раздались звуки шарманки и крикливое пенье. Полинька встрепенулась. Многое напомнили ей эти звуки, и особенно крикливый, пронзительный голос. Утро пасмурное и холодное. Низенький домик в три окна, бедная комната, загроможденная лоскутками, и посреди них старуха, ря-

бая, безобразная, с очками на носу. Бедное семейство шарманщика, идущее на скудный свой промысел...

Вот оно! Полинька так обрадовалась, как будто встретила лучших друзей. Слезы выступили у ней на глазах.

— Ради бога, возьмите меня с собой,— сказала она, подбежав к шарманщику.

Шарманщик, высокий и тощий немец, переглянулся с своей долгоносой женой; видно было по всему, что они совершенно забыли о Полиньке. Девочка в шерстяной сеточке долго всматривалась в нее и наконец заболтала по-немецки своим родителям.

— Отведите меня хоть к вашей хозяйке! — продолжала Полинька умоляющим голосом.

Поговорив с дочерью, шарманщик приподнял фуражку и сказал:

— Не распознал! вы худая такая выглядит!

Потом он обратился к жене и начал говорить ей по-немецки, указывая на Полиньку.

— Ja, ja, ja! *— воскликнула немка.— Пойдемте, *либе мамзель,* пойдемте!— прибавила она ласково, обратясь к Полиньке.

Шарманщик взвалил на спину свою тяжелую шарманку, согнулся в дугу и пошел; за ним двинулось всё семейство и Полинька.

Они проходили улицы, слишком знакомые Полиньке. Издали завидев Струнников переулок, она слабо и радостно вскрикнула, но потом стала упрашивать шарманщика как-нибудь обойти его. Ей было страшно пройти мимо дома девицы Кривоноговой, Доможирова и всех соседей. Когда они пришли в длинный переулок с заборами и поравнялись с единственным сереньким двухэтажным домиком, Полинька содрогнулась; она пугливо прижалась к шарманщику и дрожащим голосом спросила:

— Скоро ли мы придем?

— Тотчас, либе мамзель,— отвечал он, подозрительно глядя на ее испуганное лицо.

И вот они пришли в переулок, обставленный дрянными домишками. Шарманщик, перекинув шарманку наперед и поддерживая ее одной ногой, бойко заиграл; всё семейство прибавило шагу; девочка стала прискакивать и весело постукивать в бубны; мальчик, спавший на руках матери, проснулся. Лай собак и крики мальчишек, играв-

---

* Да, да, да! *(нем.)*

щих посреди улицы, встретили их и проводили до самого домика о трех окнах, вросших в землю. Полинька тотчас узнала его.

Девочка скользнула под ворота и раскрыла извнутри калитку.

Шарманщик указал Полиньке на калитку и сказал:

— Идить, либе мамзель.

В сенях их встретила старуха лоскутница. Она нисколько не переменилась с той поры, как Полинька ее видела. То же рябое, страшно безобразное лицо с седыми нависшими бровями, даже всё тот же старомодный чепчик с изорванными кружевами. На носу очки, опутанные нитками, в руках ножницы.

— Что так рано домой, а? — сказала она с удивлением, но, заметив Полиньку, замолчала.

— Мамзель вас спрашивает,— сказал старухе шарманщик.

— А! верно, менять угодно? — с усмешкой спросила лоскутница.— Милости просим!

Она растворила дверь своей комнаты. Полинька вошла. В комнате лоскутницы было всё так же мрачно и сыро. Только куча лоскутьев и старого платья, лежавшая в углу, увеличилась. Всё остальное было по-прежнему.

— Ну, моя дорогая гостья, чего желаешь, ситцу ли, аль шелку, аль шерстяной какой материи? всё есть! — говорила лоскутница, жадно осматривая Полинькин салоп.

Но Полинька не слушала ее. В изнеможении упала она на тот самый оборванный диван, на котором, полная отчаяния, сидела в ту памятную и страшную ночь, когда бежала от горбуна... Но тогда она не была еще всеми покинута, не была одна-одинехонька в большом городе; у нее было свое пристанище, были друзья, были надежды!..

Полинька горько заплакала.

— Что с тобой, что ты, что ты? — пугливо спросила лоскутница, прислушиваясь к ее рыданьям.

Полинька продолжала плакать, вполне предавшись отчаянию.

Лоскутница перекрестилась.

— Господи, господи! — сказала она, пугливо оглядываясь по сторонам и бледнея.— Что это? точно, она плачет! Ну, что плакать-то,— продолжала старуха с участьем, наклонясь к Полиньке.— Полно, лебедушка! лучше расскажи мне свое горе! деньги, что ль, обронила?

— Нет... мое не такое горе,— проговорила Полинька всхлипывая.— У меня нет никого, никого... ни родных, ни знакомых... ни дома, где бы переночевать!

— Как так, сударыня ты моя, ведь ты здешняя? — с удивлением спросила лоскутница, подвигаясь к Полиньке.

— Здешняя! — отвечала она.

— Ну как же это? ишь, салоп-то шелковый и шляпка... а?

— Да, но зато ни куска хлеба, ни дома!

— Да где же ты жила?

— Меня выгнали оттуда! — в негодовании сказала Полинька.

— За что? — быстро спросила лоскутница.

— Я не знаю! — отвечала Полинька и еще сильнее прежнего заплакала.

— Ах ты, моя злосчастная! Ну что же я стану с тобой делать? — растроганным голосом заметила лоскутница.

— Позвольте мне хоть переночевать у вас, я вам салоп отдам, дайте только мне хоть день пожить, завтра я пойду искать себе места,— умоляющим голосом сказала Полинька.

— И полно! ну ночуй хоть и две ночи, Христос с тобой. Ведь ты в покраже не была замешана? а?

— Что? — в испуге спросила Полинька.

— В по-кра-же! — отвечала протяжно лоскутница.

Полинька с отчаянием покачала головой.

— Ну так погости у меня, погости; дай я салоп-то твой повешу, а то изомнешь его.

И лоскутница сняла с Полиньки салоп и стала его рассматривать; долго она вертела его в руках, потом подсела к Полиньке и сказала:

— Ну хочешь, я тебе деньгами дам? а? ну, сколько возьмешь?

— Что дадите! — машинально отвечала Полинька, погруженная в свои мысли.

Мучительно было ее положение. До встречи с Бранчевской она легче вынесла бы и нищету, и бесприютность, и всякое унижение. Но она успела уже привыкнуть к мысли, что Бранчевская ее мать; она уже привязалась к ней. И вдруг всё рушилось... А что, если она точно ей мать?.. И мать выгнала родную свою дочь из дому!

Лоскутница, как могла, угощала Полиньку, утешала ее, обещала ей сыскать место или работу, а покуда на

другой же день усадила ее за перешивку разного тряпья.

Полинька охотно принялась за дело, радуясь, что может сколько-нибудь заработать и не быть ей в тягость. Лоскутница работала рядом с ней и расспрашивала ее о причине горя. В расспросах старухи было столько участья, столько доброты, что Полинька решилась рассказать ей свою историю с самого детства, до той минуты, как пришла к ней, думая, что по крайней мере старуха не будет бояться держать ее.

Заваленная грудами тряпья, вооруженная то ножом, то ножницами, старуха внимательно слушала ее, и участие к судьбе бедной девушки видимо возрастало в ней. Иногда она переспрашивала ее, справлялась об именах некоторых лиц. Когда же наконец Полинька дошла до рассказа, как жила у Бранчевской, какие надежды поселила в ней странная перемена гордой барыни и как, наконец, ее выгнали,— старуха отбросила ножницы, выпрямилась и уже не спускала глаз с Полиньки. Казалось, она боялась проронить слово, и ужас всё резче и резче обозначался на ее безобразном лице.

— Так это ты?! — наконец вскрикнула лоскутница.— Так они тебя-то злодеи выгнали!.. а?.. так??

Голос изменял ей; дрожа всем телом, едва переводя дыхание, она делала отрывистые вопросы, которые удивляли и пугали Полиньку.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать два! — отвечала Полинька в испуге.

— Господи! Палагея... да ведь ей имя Палагея... она Палагея! — с рыданьем воскликнула лоскутница.— Голубушка ты моя! — продолжала она, обращаясь к Полиньке.— Голубушка ты! ради-то бога, дай мне перевести дух. Господи, пресвятая богородица! что я наделала? А он злодей... они обманули, обманули меня!.. Слушай, я расскажу тебе. Сядь... сядем, вот увидишь...

Лоскутница, сильно взволнованная, посадила Полиньку подле себя на груде тряпья и продолжала:

— Я давно знавала этого злодея. Он менял мне старые свои вещи,— скряга такой... только как-то раз приходит ко мне... Да... да, именно вот с месяц тому... и завел разговор про одну женщину, Марью Прохоровну. Я знавала ее давно-давно; то есть я не видала ее в лицо: меня, видишь ты, тогда здесь не было... да я писала к ней по одному нужному делу, вот мы так и спознались, и письмо

от нее было ко мне. Вот про нее-то да про письмо ее часто я говорила с кумой... а кума моя знается с ним, злодеем: сынишка ее, еще крестник мне приходится, живет у него, у горбатого злодея.

— Ну знаю, знаю! — сказала Полинька.— Рыжий, Осипом зовут?..

— Да, да,— подхватила лоскутница.— Такой азартник, будет еще матери слез с ним... ну да не о нем я хочу говорить. Господи! я уж и не помню. Да, да! вот он мне и говорит, этот горбатый злодей, отдай я ему письмо, что мне писала Марья Прохоровна. Я дело смекнула; думаю, уж, значит, ему нужно письмо, коли просит,— и говорю: заплати! Вчера и покончили: я за сто рублев и продала ему письмо! Так уж, говорит злодей, по доброте такую сумму даю, а то чего стоит дрянной писанный лоскутишка? и вправду, я и сама рада была. А выходит, ведь я, значит, сгубила тебя, красавица ты моя... да ты бы в золоте ходила!

Полинька ничего не понимала. Сердце в ней громко билось и болезненно ныло.

— Так она моя мать? — наконец невольно спросила Полинька, волнуемая темными догадками.

Лоскутница зарыдала. Она упала лицом к ногам Полиньки, обхватила их руками и радостно проговорила:

— Матушка, родная ты моя! ведь я знавала твою мать, твоего дядю, твою бабушку. Я их в гроб клала!

Полинька вскочила.

— Так не она моя мать? — радостно спросила она.

— Нет, нет! — отвечала лоскутница.— Твоя мать точь-в-точь как ты была. Она давно умерла.

— Так зачем же она меня ласкала, зачем отняла образок моей матери? — спросила Полинька.

— Они ошиблись, ошиблись, моя красавица.

Лоскутница с восторгом глядела на Полиньку, смеялась, гладила ее волосы, целовала ее руки и всё повторяла:

— Я нашла, нашла ее! Я всё, всё тебе отдам,— говорила она Полиньке.— Ты будешь со мной жить, ты будешь моя дочь! да, дочь моя! ты не убежишь от меня?

И она пугливо ждала ответа.

— Нет, я буду с вами жить! — отвечала Полинька.

Лоскутница дико засмеялась и стала изо всей силы стучать в стену и кричать:

— Сюда, сюда, все сюда! я ее нашла! скорее, скорее сюда!

Дверь распахнулась, и перепуганное семейство шарманщика явилось на пороге.

— Что, пожар? а? — с ужасом спросил шарманщик.

Старуха схватила его за руку, подвела к Полиньке и, остановив перед ней, с странными ужимками сказала:

— Ну, гляди, немец, ну, гляди!

— А? что?..— спросил он.

Старуха лукаво глядела на него, потом, как девочка, начала смеяться, прикрывая рот рукой. Шарманщик в недоумении глядел то на Полиньку, то на старуху, которая дико смеялась. Наконец она забила в ладоши и, схватив шарманщика за плечи, гнула его книзу.

— Ну, становись, становись на колени... погляди... а? что? теперь узнал ее! Глаза-то ее, и волосы ее!

Лоскутница проворно распустила у Полиньки волосы и, торжественно указывая на нее, сказала шарманщику:

— Ты забыл Катерину, твою невесту? а?

Шарманщик вздрогнул, радостно всплеснул руками и закричал:

— Мейн гот! А, мейн гот!

— Что, похожа? а?

Он закивал головой и не спускал глаз с Полиньки. Старуха сказала ей:

— Слышь, он тоже узнал тебя! Ну, и вы все,— повелительно продолжала она, обратясь к жене и детям шарманщика, стоявшим в дверях и пугливо смотревшим на эту сцену,— ну, и вы все на колени, просите у нее прощения за него (она указала на шарманщика). Ну же!

И старуха погрозила им. Полинька умоляющим голосом сказала:

— Ради бога, скажите мне скорее о матери моей, об отце!

— Да, тебе надо, надо рассказать,— задумчиво сказала старуха и потом, притопнув ногой, крикнула:

— Вон, все отсюда вон!

Семейство шарманщика выбежало из комнаты, а старуха заперла дверь на ключ. Потом она кинулась к Полиньке и, лаская ее, умоляющим голосом говорила:

— Погоди, я всё тебе расскажу, дай мне прежде насмотреться на тебя, мое солнышко, моя радость. Сколько-то лет я искала тебя, сколько слез пролила!

И лоскутница начала душить Полиньку в своих объятиях.

Глава VIII

ПОЛИНЬКИНЫ РОДНЫЕ

...На Васильевском острову, тогда еще бедно обстроенном, в Шестнадцатой линии, стоял одноэтажный деревянный домишко, довольно жалкий и старый. В комнатке с кривым полом, бледно-зеленоватыми стенами и небольшими покрытыми льдом окнами на ветхом диване у овального стола сидела старушка, закутанная в ситцевую кацавейку. На голове ее был чепчик, густая фалбала которого скрывала половину ее доброго лица; сверх чепчика была еще надета шерстяная шапочка. В руках ее было вязанье, и она быстро шевелила спицами. Несмотря на огромную изразцовую печь, возле которой стоял диван, руки старушки посинели от холода, глаза слезились, может быть, и оттого, что она поставила себе свечку под нос. Всякий раз, когда петля спускалась, старушка ворчала про себя. Против нее сидела девушка лет семнадцати, очень красивая; черты лица у ней были нежные, глаза и волосы черные как смоль. Склонив голову, она прилежно шила. В ее чистеньком, но полинялом ситцевом платьице и во всей обстановке комнаты довольно ясно обнаруживалась нищета. Кроме дивана, стола и стула, на котором сидела девушка, в комнате был еще старый комод; на нем красовался чисто вычищенный самовар с подносами и чашками. По перегородке, отделявшей другое окно комнаты, стояло три стула, а у замерзшего окна маленький столик.

Тихо было в холодной комнате, уныло и монотонно стучали стенные часы, изредка заглушаемые сухим кашлем, выходившим из-за перегородки, где был также огонь.

Пробило семь часов; старушка вслух сочла их и тяжело вздохнула, положила чулок на стол и начала дыханьем согревать свои руки.

— Ничего не вижу,— тихо бормотала она, потирая их,— в глазах застит, а руки словно окоченели, спицы валятся! Эх, и чай-то весь... хоть бы погреться... да что-то и Иван Карлыч нейдет! хоть бы у него заняла. А то и лавки запрут.

Девушка еще ниже опустила голову и продолжала шить.

— Катя, скоро ли ты кончишь рубашки? — спросила старуха, еще больше понизив голос.

— Уж последняя, маменька,— нехотя отвечала Катя.

Старушка, указывая головой на перегородку, шепнула дочери:

— То-то, ведь у Мити сапог нет!

— Опять шептаться! не стыдно вам! — раздался из-за перегородки слабый, но сердитый голос.

Старушка в испуге приложила руку к губам и, как молоденькая девочка, пойманная врасплох отцом, лукаво глядела на свою дочь и грозила ей пальцем, будто та была всему виной.

— Ну вот теперь и замолчали! — с горячностью крикнул тот же голос, и скорые шаги раздались за перегородкой.

Это восклицание произвело совершенно различное действие на мать и на дочь. Катя побледнела и уколола палец, пугливо подняв глаза на свою мать. Старушка, напротив, обиделась и разворчалась:

— Ну что это, Митя, разве можно так понукать? Ну мы шептались, да замолчали; ну что тут такого? Мы говорили,— прибавила она более кротким голосом, подмигнув Кате,— говорили, что пора бы ставить самовар.

— Ну о чем же тут шептаться?.. Пора, так и поставьте! — отвечал раздраженным голосом человек, ходивший за перегородкой.

Старушка пожала плечами, покачала головой и задумалась, но через минуту она, кряхтя, встала с дивана и поплелась к двери, сказав:

— Катя, посвети!

Катя встала, пошла вслед за старушкой и, проходя мимо дверей перегородки, слегка кашлянула. Шаги в ту же секунду замолкли, и ей отвечали таким же легким кашлем.

Старушка осталась в темной, холодной и маленькой кухне ставить самовар. Катя возвратилась в комнату. Проходя мимо дверей перегородки, она опять кашлянула и села на прежнее место. Старушка поворчала в кухне, что вода в кадке замерзла, и стала отколачивать лед. Под этот шум Катя на цыпочках подкралась к перегородке, стала на стул и тихо произнесла:

— Митя, скорее!

В то же самое время дверь в перегородке скрыпнула, и худое бледное лицо, с растрепанными волосами, высунулось в комнату с тихим восклицанием:

— Катя!

Девушка легко спрыгнула со стула и подкралась к дзери, а между тем бледное лицо показалось над перегородкой, в том месте, откуда ушла Катя.

— Да где ты?

Слезы досады слышались в том вопросе.

Катя печально улыбнулась. Но Митя страшно рассердился; он подошел к двери и сердито протянул руку к Кате.

Катя пугливо подала ему серебряную монету.

— Два рубли,— прошептал он,— а сколько?.. час?

— Нет, два,— отвечала Катя.

— Бессовестный! — презрительно сказал Митя.

— Катя, а Катя! — раздался голос старушки из кухни, откуда запахло дымом.

Катя быстро кинулась к столу; старушка показалась на пороге и с упреком сказала:

— Что ты, не слышишь, что ли, Катя?

— Сейчас, маменька! — складывая шитье, отвечала девушка.

— Скорее, ишь, как задымил самовар; вынеси-ка его в сени.

Катя побежала в кухню исполнять приказание старушки, а старушка нерешительно подошла к двери перегородки и как будто к чему-то готовилась.

— Митя, а Митя! — робко произнесла она, заглядывая в щелку дверей.

— Что вам, маменька? — спросил Митя.

— Голубчик мой... Митя... у нас... нет чаю! — нерешительно отвечала старушка.

— Вот деньги! — быстро раскрыв двери, сказал Митя и подал матери монету, которую передала ему Катя, а сам сел к столу, на котором стояла неоконченная копия с портрета довольно тучной купчихи.

Радостная улыбка озарила доброе лицо старушки, когда она увидела деньги на своей ладони; но вдруг она как будто что-то вспомнила и, глядя в недоумении на сына, спросила:

— Митя, откуда эти деньги? а?

— Как откуда? я достал! — быстро отвечал Митя, не поворачивая головы.

— Как достал? ты никуда сегодня не выходил! Утром я шла на рынок,— у тебя их не было,— строго сказала старушка.

С минуту длилось молчание. Наконец Митя, тяжело вздохнув, отвечал:

— Я, маменька, эти деньги спрятал было на краски, чтоб окончить вот этот портрет.

И он указал на толстую купчиху.

— Ах, боже мой, Митя! — пугливо перебила старушка.— На, возьми их назад. Возьми!

И старушка вошла за перегородку.

— Полно, Митя,— продолжала она,— мы и без чаю ляжем! полно! Как это можно тратить их? хуже, работу проволочишь, а вишь, у тебя сапоги худы... жилет-то я штопаю, штопаю... весь в дырах! Сестра что-то ленится: уж как давно взяла рубашки! Ну, впрочем, известно, девушка молодая, не понимает еще хорошенько горя.

— Что тут говорить! будут деньги, так всё купим! — раздражительным голосом перебил Митя и так отчаянно схватил себя за голову, что старушка только махнула рукой и побрела от него... Она села к столу, подняла свои полные слез глаза на образ, висевший в углу, и оставалась неподвижною, пока Катя не внесла в комнату кипящий самовар. Старушка очнулась и, подойдя к самовару, стала греть свои холодные руки.

Катя вопросительно глядела на стол и на перегородку, наконец спросила громко:

— Что же, нужно купить чаю?

— Купи шалфею да меду,— смотри, не больше как на гривенник: деньги нужны,— строго и тихо шепнула старушка.

За перегородкой Митя сердито двинул столом и быстро вышел оттуда.

Он был еще очень молод, высок ростом, но страшно худ. Несмотря на бледность и худобу, в чертах его было поразительное сходство с сестрой. Только на его губах беспрерывно блуждала злая улыбка. Длинные черные волосы придавали его лицу страдальческое выражение. Сюртук его, запачканный красками, лоснился от времени, локти были худы.

— Разве хорошо по ночам ее посылать? — сердито сказал Митя старушке.— Я сам пойду.

И с сердцем взяв фуражку и шинель, висевшую в углу на гвозде, он вышел из комнаты. Старушка и Катя тревожно следили за его судорожными движениями, и только когда он ушел, старушка заговорила, крестясь:

— Господи, что это с ним?.. Разве я ей не мать! — продолжала она, рассуждая сама с собою.— Разумеется, я человек бедный; но разве я пошлю свою дочь куда не следует? да и в первый ли раз я ее посылаю в лавочку?..

Старушка вздохнула.

— Что это, господи! — прибавила она.— И как он страшно иногда стал глядеть,— мороз пробежит по телу!

И она снова вздохнула тяжелей прежнего. Катя стояла не шевелясь, с поникнутой головой, бессмысленно устремив глаза в пол. На ее еще свежем и юном личике было столько немого отчаяния, что если б пар от кипящего самовара, густо наполнивший холодную комнату, не скрыл этого лица от слабых глаз старушки, то не так бы еще дрогнуло сердце бедной матери. Митя принес чай и сахар, молча положил на стол и быстро удалился за перегородку. Старушка долго пересчитывала принесенную им сдачу и покачивала головой. Но через несколько минут на грустном лице ее появилась улыбка самодовольствия, и она с наслаждением постукивала чашками, перетирая их.

Катя уселась на прежнее свое место и продолжала шить.

Вдруг вдали послышались звуки шарманки. Катя боязливо взглянула на свою мать, которая в то время, приподняв дрожащей рукой крышку у чайника, с улыбкой заглядывала, настоялся ли чай.

Печальные звуки «Лучинушки» слышались всё ближе и ближе, наконец раздались у самого окна.

Старушка прислушалась и весело сказала:

— А вот и Иван Карлыч!

И она лукаво посмотрела на Катю, которая вся вспыхнула и с каким-то ужасом прислушивалась к звукам шарманки. Вдруг они замерли, и через несколько минут в кухне послышался шорох и отрывочный, плачевный звук: видно, нечаянно задели ручкой шарманки.

— Катя, посвети! — с упреком заметила старушка.

Но было уже поздно: в комнату вошел высокий молодой человек с добрым и кротким лицом. Одет он был очень легко для зимнего времени. Очень потертая бекешь табачного цвета, а под ней шерстяной вязаный красный шарф, служивший ему вместо сюртука, в руках фуражка с ушками и с кисточкой. Он неловко поклонился старушке и Кате, которая сидела к нему спиной. Катя привстала с работой и, не поднимая от нее лица, поклонилась шарманщику.

Шарманщик старался улыбнуться, но не мог: губы его окоченели от холоду.

— Милости просим, садитесь,— приветливо говорила повеселевшая старушка.— Катя,— продолжала она с неудовольствием, обратясь к дочери,— Катя, что же это ты, подай кружку!

Катя поспешно кинулась в кухню.

Шарманщик бил свои красные руки одну об другую, дышал на них, грел их над самоваром и в то же время следил за Катей.

— Палагея Семеновна,— обратился он к старушке, выговаривая слова не совсем чисто по-русски,— ваш дочь из лица похудела.

Старушка вздохнула и печально отвечала:

— Ох, Иван Карлыч, невеселая им жизнь-то! они у меня и без того слабые; да еще работа! оно, знаете, не расцветешь.

— Маменька! — чуть не рыдая, произнесла Катя, появляясь на пороге и указывая головой на перегородку.

Старушка печально махнула ей рукой и замолчала.

— Ваша здоровье, Катерина Петровна? — застенчиво спросил шарманщик, поглядывая с робостью в то же время то на мать, то на дочь.

Катя ответила: «Хорошо-с» — и скрылась в угол комнаты.

— Митя, хочешь чаю? — спросила старушка.

— Нет! — сердито отвечал Митя, но в ту же минуту прибавил более кротким голосом:— Не хочется, маменька.

Шарманщик, услышав голос Мити, привстал и уже хотел поклониться, но опомнился и сел опять.

— Налейте чаю, я подам брату, может, он и выпьет,— подойдя к столу, тихо сказала Катя.

— Отнеси,— радостно прошептала старушка и с упреком прибавила:— Он не так *на тебя* сердится!

Катя взяла чашку и пошла к брату за перегородку. Положив голову на руки, Митя сидел у стола, по которому валялись краски и кисти; две нагорелые свечи тускло освещали портрет толстой купчихи и неоконченную копию. При появлении сестры Митя быстро поднял голову, и на его впалых щеках показался яркий румянец. Катя поставила чай и, встретив глаза брата, отчаянным жестом указала на другую комнату. Краска бросилась ей в лицо, и она закрыла его руками.

Митя, ломая руки и весь дрожа, с упреком смотрел на сестру; Катя быстро отняла руки от лица, вытерла слезы и с испугом посмотрела на него. Он был угрюм, и лицо его выражало упрек и отчаяние. Катя принужденно улыбнулась, поправила волосы, ласково кивнула головой брату и вышла. Проводив ее глазами, Митя вскочил со стула и кинулся к мольберту, стоявшему в углу с большой картиной, покрытой простыней; он судорожно сдернул простыню, схватил свечу, поднес к картине и отшатнулся немного.

Картина была только еще начата. Для одного творца ее доступны были неопределенные, бледные черты, обозначавшие фигуру женщины в полулежачей позе.

Митя долго глядел на начатую картину, и на губах его блуждала какая-то злая улыбка. Но вдруг его лицо стало смягчаться; он поставил свечу на стол, уселся с ногами на оборванный диван и не спускал с своей картины глаз, полных необыкновенного блеска.

Между тем у самовара старушка пресерьезно рассказывала свои сны шарманщику, который внимательно слушал и в то же время не спускал глаз с Кати, усевшейся за свою работу. Старушка усердно угощала и занимала шарманщика, который в свою очередь передавал ей всё, что заметил в продолжение дня на улице.

— Вот уж богатые-то похороны я видал сегодня! что каретов, каретов-то, а позади за гробом народу сколько шло!

— Богатому, Иван Карлыч, сполагоря и умирать-то,— заметила со вздохом старушка и тихо прибавила: — Ну умри я теперь, право, лучше было бы — меньше им забот; да как вспомнишь, что траты-то им будет, так сердце кровью обольется.

Катя с упреком взглянула на мать и указала на перегородку.

Старушка потупила глаза и завела совершенно посторонний разговор.

Пробило девять часов, шарманщик встал и раскланялся с Катей и со старушкой, которая побрела за ним в кухню и вышла проводить его в сени. Казалось, она хотела что-то сказать ему, и когда он уже начал сходить с крыльца, старушка робко произнесла:

— Иван Карлыч!

— Что вам нужно, Палагея Семеновна? — спросил шарманщик.

Старушка, запинаясь, сказала:

— Батюшка, нет ли у вас мне взаймы?

— Сколько желаете? — смущенным голосом спросил шарманщик и начал шарить в кармане.

Он вынул худенький носовой платок, развязал узелок, и два гривенника блеснули в темноте.

— Еще тридцать копейка меди есть,— заметил он, шаря в другом кармане,— это мне барына выкинула из форточки.

Старушка закрыла лицо руками и дрожащим голосом сказала:

— Право, мне совестно; а что делать! хоть умирай! Митя болен, да еще картину к выставке задумал: расход большой, а работы заказной нет, да и время у него на свою картину идет... Ей-богу, иной раз подумаешь, да за что же это нас так бог наказал? за какие грехи тяжкие? Сегодня, голубчик Иван Карлыч, я взяла у Мити два рубля; он их отложил было на краски; ведь если красок-то не купить, так хуже будет: просто есть нечего будет; а вот скоро и за квартиру срок!

Старушка расплакалась. Шарманщик утешал ее, как умел.

— Ах, право, тяжело жить,— рыдая, говорила старушка,— и за что я их век заедаю?

— Палагея Семеновна, ну, как можно! — восклицал пугливо шарманщик.

Пока старушка плакала в сенях, дочь ее также рыдала, стоя за перегородкой у брата, который ходил скорыми шагами и умоляющим голосом говорил:

— Не плачь, перестань, она ничего не узнает!

— Митя, Митя! мне страшно! — с ужасом сказала сестра.

— Ну, не надо! я всё брошу! — в отчаянии закричал Митя, схватив себя за голову.— Я дурак, ну где мне, нищему, быть художником!

И он, весь дрожа, сел у стола, взял палитру и краски и с язвительной улыбкой смотрел на неоконченную копию толстой купчихи.

Под окнами раздались печальные звуки «Лучинушки». Катя вздрогнула и, сказав решительно: «Я завтра не пойду!» — выбежала от брата. Он бросил далеко от себя палитру и кисть и страшно закашлялся.

В это время старушка с принужденно-веселой улыбкой

вошла в комнату, но продолжительный кашель сына опять вызвал слезы на влажные еще глаза ее.

— Митя, полно работать,— нежно сказала она,— ляг... хочешь, я тебе грудного чайку сделаю? самовар не остыл еще.

— Не надо! — слабо отвечал Митя.

Катя и старушка по-прежнему уселись у стола и молча работали. Наконец старушка посмотрела на часы и, зевая, сказала:

— Ого! скоро десять часов. Митя! Митенька! не хочешь ли поужинать?.. а?.. Чай, простыли,— продолжала она, рассуждая сама с собой.— Я чуть только протопила сегодня печку-то.

— Нет, я ничего не хочу! — отвечал Митя.

Старушка покачала головой и, обратясь к Кате, спросила:

— А ты хочешь ужинать?

Катя замотала головой.

— Ну и я тоже не буду,— сказала старушка.— Оно и лучше: завтра, небось...

И старушка нахмурилась и договорила шепотом:

— Завтра, небось, придет опять Дарья к нему, надо позавтракать дать!.. Господи! кажись, я бы лучше согласилась, чтоб дочь моя умерла, чем этакой сделаться, как она. И что за охота Мите непременно ее брать? чай, есть и другие натурщицы.

Сильный кашель раздался за перегородкой, и Митя сказал:

— Что вы всё бормочете? пора бы вам спать!

— Ну что я такое сказала, Митя? — разгорячась, возразила старушка.— Уж нынче ты мне рот не даешь раскрыть,— продолжала она запальчиво.— Право, ты такой чудной стал! уж не приворожила ли она тебя? слова не дашь сказать о ней! уж как хочешь, а она нехорошая женщина! вот что!

Старуха спохватилась и со страхом ожидала ответа на свои слова.

— Как вам не стыдно! ну не всё ли равно трудиться? ведь она тоже себе хлеб достает. А вы как наладили на одно, так вот ничем вас не разуверишь. И что она вам такое... разве она что дурное делает?

Митя тоже горячился.

— Уж ты мне лучше не говори, не говори о ней,— вся покраснев, перебила его старушка.— Я вот что тебе ска-

жу,— продолжала она решительным голосом:— Если, боже упаси, что случится... Она уж хвастает и нос подымает у меня в доме... я брошу всё!.. я в богадельню пойду, а уж жить с такой женщиной не буду! да, не буду!

И старушка застучала кулаком по столу и залилась слезами.

Катя во всё время, пока разговаривала старушка с сыном, зажав уши, лежала головой на столе, и когда старушка заплакала, она вскочила со стула и выбежала в кухню.

Старушка продолжала всхлипывать и говорила:

— Ты, кажется, брат Катин и на порог бы ее не должен пускать. Она, чего доброго, и ее такой же сделает. Я слышала, как она тихонько куда-то звала Катю танцевать! Митя! Митя! смотри! — возвысив голос, заключила старушка.

За перегородкой была мертвая тишина, никакого ответа. Старушка позвала Катю и очень рассердилась, заметив, что у ней красны глаза.

— Господи, уж мне нельзя слова сказать! ну зачем замечать, что я сержусь! старый человек иногда неволен в своих словах!

И добрая старушка, при глубоком молчании сына и дочери, искренно обвиняла старость и сердилась от души на нее.

Пришло время ложиться спать. Катя постлала постель на диване для своей матери, которая этим временем стояла на коленях у образа, шептала молитву и усердно клала земные поклоны. Окончив молитву, старушка поправила себе подушки и нежно сказала:

— Митя, прощай!

— Прощайте, маменька! — глухим голосом отвечал Митя.

Катя поцеловала у старушки руку. Старушка заботливо перекрестила свою дочь. Кряхтя, улеглась она в постель, а Катя в головах ее сделала себе из стульев кровать и тоже легла. Старушка, засыпая, рассуждала:

— Ну, вот мало-мало, а пойдет фунт мыла — сорок копеек, на реку два гроша, да поденщице четвертак, а еще, чего доброго, одним днем не управится. Катя, а сколько чистых рубашек у Мити осталось? а?

Катя закутавшаяся в одеяло с головой, отвечала:

— Две!

— Ах, господи! надо скорее вымыть белье-то. Господи, господи! — позевывая, повторяла старушка.

Наконец в комнате настала тишина. Старушка и Катя уже не ворочались на своих постелях. Митя тихо вышел из-за своей перегородки и подошел к постели матери. Старушка вздрогнула и, открыв глаза, перекрестилась.

— Ах, господи! Митя! — сказала она.— Я тебя испугалась, вздремнула.

И она, протирая глаза, старалась улыбнуться.

— Прощайте!

И Митя поцеловал мать, которая, обхватив шею своего сына, нежно его целовала в лоб и в глаза и шептала дрожащим голосом:

— Митя, голубчик, не сердись на свою воркунью мать! ну, ты знаешь, я старый человек, да еще горе, я вот разворчусь да надоедаю вам!

— Маменька! не сердитесь вы на меня,— сказал он голосом, полным глубокого чувства.

— Чего сердиться?

И старушка еще жарче стала целовать своего сына, который также отвечал ей ласками. Она с радостью поглядела ему в глаза, пригладила его длинные волосы и с упреком сказала:

— Ну что ты, Митя, всё худеешь! ты береги себя, я уж стара,— тихо прибавила она,— ну, если что случится, что тогда будет с ней?

Она указала головой на Катю и продолжала чуть слышно:

— Иван Карлыч вот уж сколько раз мне говорил, что желает на ней жениться, и давно бы женился. Да уж мы, верно, такие несчастные. Ведь, право, отчего же это? а, Митя?.. Всё шло хорошо, а как задумал он жениться, отец у него умер, банкрут оказался, магазин закрыли. Нищий просто стал, как и мы. А я было уж радовалась: думала себе, устрою Катю, легче тебе будет; ан нет, еще хуже стало!

— Жаль, очень жаль его; он честный человек,— задумчиво заметил Митя.

Старушка радостно улыбнулась, притянула Митю к себе и, указывая глазами на Катю, тихо сказала:

— Она что-то изменилась к нему! уж не оттого ли, что он обеднел? — пугливо спросила старушка.

— И, полноте! — перебил Митя.

— То-то, голубчик, мне бы страшно подумать, что моя дочь такая. Она хорошо знает, что ее мать пуще всего не любит — это спеси да гордости. Она, верно, помнит, что я вам рассказывала, как я вышла замуж за вашего отца. Чем мне ни грозили: и что мои дети-то солдаты будут, а муж непременно пьяницей будет, только потому, что он был музыкант, а его отец был крепостной, да барин отпустил на волю; я на всё плюнула! Меня тетка выгнала из дому, ничего не дала, а, слава богу, дай всем такого счастья, как я имела, как жила с ним! Если бы не вы, я его бы не пережила: так мне было тяжело одной. Ах, Митя, кабы твой отец был жив, не горевали бы мы так с тобой, жили бы весело!

И старушка украдкой вытерла слезы и с принужденной веселостию продолжала:

— Ну уж, Митя, как-нибудь пробьемся до сентября! авось, бог даст, справимся. Я бы и не пикнула,— слава богу, сыта! да вот что: на вас-то глядя, у меня сердце надрывается. Ни платья, ни сапог, шинелишка холодная, а время зимнее, да ты же еще и кашляешь.

— Ну, что делать, погодите, маменька, вот если мне удастся картина, что я начал... о! я тогда не буду двадцать раз рисовать какую-нибудь тупую рожу, вот как теперь. Всё одно и то же за какие-нибудь пять рублей. У меня будут покупать картины и заказывать, а если пошлют в Италию... ах, маменька!

И Митя в каком-то восторге обвил шею матери и заплакал. Долго мать и сын мечтали о будущем счастии. Пробило два часа.

— Митя, пора спать! — заметила старушка.

— Да, пора, прощайте!

И Митя простился с матерью и пошел за перегородку. Долго он еще сидел у стола с карандашом в руках и что-то рисовал. Глаза его блистали, румянец ярко играл на щеках, и веселая улыбка не сходила с его губ. Портрет толстой купчихи и копия с него были брошены под стол. Свечи догорели. Митя с неудовольствием оставил карандаш и кинулся на диван, но, прежде чем заснул, долго еще кашлял...

Утром, едва рассвело, Катя встала, не спуская глаз с матери, еще спавшей, оделась, накинула старый салоп и шляпку и на цыпочках прокралась в кухню. Через минуту мимо замерзшего окна мелькнула ее тень. В это самое время дверь скрыпнула в перегородке, и Митя высунул

голову и пугливо оглядел комнату. Улыбка удовольствия разлилась по его изнеможенному лицу при виде пустой кровати сестры, и он проворно притворил дверь.

Пробило девять часов. Старушка перевернулась на другой бок. Митя высунул голову и тревожно смотрел на мать, которая, не открывая глаз, сказала:

— Катя, а Катя? вставай!

Митя на цыпочках прокрался в кухню и стал шуметь в ней.

— А, ты уж встала, ну?.. сейчас, сейчас... заболталась с вечера! — пробормотала старушка и замолкла.

Митя выглянул из кухни и, видя, что мать опять заснула, прокрался в свой угол и занялся около своей картины. Он так углубился в работу, что не слыхал, как старушка проснулась. Она сидела на постели и ощупывала голову и грудь.

— Катя, Катя! — слабым голосом сказала старушка.

Митя кинулся в комнату и быстро спросил:

— Что вам?

— Катю мне нужно! пошли ее ко мне, Митя! — и, как бы рассуждая сама с собою, она продолжала:— Верно, это я вчера в сенях простудилась?.. Что-то так тяжело!.. да где же Катя? — с сердцем спросила старушка.

— Я ее послал купить мне красок,— отвечал Митя из-за перегородки.

— Уж, право, Митя, мне, признаться, не нравится, что ты ее стал так часто усылать из дому: она девушка молодая, чего доброго, еще встретится кто с ней да... Ох!— вскрикнула вдруг старушка.— Что-то колет в грудь!.. Митя, вынь хоть ты мне фуфайку из комода: такой холод здесь!

— Истопить, что ли? а вы полежите,— сказал Митя, выглянув из двери.

Старушка горько улыбнулась и сказала:

— Истопить?.. ах, Митя, Митя! у нас еще вчера дрова все вышли.

В кухне послышался шорох. Митя кинулся туда, а старушка радостно крикнула:

— Катя, что ли?

Ответа не было. Из кухни слышался шепот. Старушка с беспокойством стала прислушиваться, и вдруг на ее лице показалось сильное беспокойство. Она стала одеваться и крикнула:

— Митя! да с кем это ты говоришь?

Митя, бледный, вошел в комнату; руки его дрожали, губы как-то странно улыбались.

— Кто? Катя? — спросила мать.

— Нет!.. это... Дарья приходила... спрашивать, нужна ли она сегодня? — задыхающимся голосом отвечал Митя, стараясь повернуться спиной к матери.

— Она не нужна сегодня тебе? — радостно спросила старушка.

— Нет, нужна,— отрывисто отвечал Митя.

Старушка тяжело вздохнула.

Через десять минут всё было прибрано старушкой, которая охала, что Катя долго нейдет и что у ней боль в груди.

Митя, не отвечая на вопрос: куда он? — накинул шинель и ушел. Через четверть часа Катя возвратилась домой, а вскоре за ней воротился и Митя. Старушка, поворчав, улеглась на диван, жалуясь на холод. Катя села шить, прибрав всё в кухне и в комнате. Кушанье не готовилось, потому что не было дров. Митя сидел за работой, по временам вставал и ходил скорыми шагами за своей перегородкой. Вдруг сильный стук раздался из кухни. Старушка вскочила с дивана и кинулась туда, Катя, побледнев, тоже привстала, и Митя поспешно раскрыл свою двѐрь.

— Что, дома? — громко насмешливым голосом спросил кто-то.

— Дома, пожалуйте к нему! — холодно отвечала старушка, возвращаясь в комнату.— Митя, к тебе пришли,— сказала она.

Позади старушки шла высокая, стройная женщина. Черты лица ее были неуловимы: оно было изрыто страшными рябинами; глаза дико блестели под нависшими веками, густые брови были местами как будто выжжены; черные волосы резко выставляли глубокие рябины на открытом лбу. Она как-то надменно улыбалась, идя позади старушки.

— Катерина Петровна, здравствуйте,— закричала, смеясь, высокая женщина и сделала было шаг к Кате, но старушка заслонила ей дорогу и, указывая на дверь к Мите, сказала:

— Нет-с, сюда!

— Я знаю дорогу! — нагло отвечала высокая женщина и опять крикнула Кате:

— Ишь, какая гордая! не хочет и поклониться мне! ха-ха-ха!

Митя распахнул дверь. Смех замер на губах высокой женщины; потупив глаза, молча вошла она за перегородку.

Старушка с ворчаньем улеглась снова на диван, а Катя, закрыв лицо шитьем, сидела неподвижно.

Высокая рябая женщина была та самая натурщица Дарья, которую старушка так не любила. Благодаря болтливости соседок старушка узнала, что Дарья была очень коротка с ее сыном еще до ее приезда в Петербург... Она боялась дальнейших последствий этой странной связи.

За перегородкой слышалось шептанье и грубый смех Дарьи, в котором было что-то дикое и натянутое.

Не прошло часу, как Дарья громко сказала:

— Я устала и есть хочу!

— Еще хоть десять минут,— умоляющим и тревожным голосом сказал Митя.

— Десять да десять минут — вот тебе и целых полчаса! — бормотала Дарья.

Старушка, нахмурив брови, поднялась, вошла в кухню и скоро застучала тарелками.

— Катерина Петровна! мне, что ли, ваша матушка-то готовит кушать? а? — тихо спросила Дарья, потягиваясь и выходя из-за перегородки.— Уф! что-то устала, да и холод какой у вас сегодня!

И Дарья повернулась спиной к Кате и сказала:

— Потрудитесь-ка застегнуть мне платье.

Катя, побледнев, с ужасом глядела в кухню.

— Ну, что же?

И Дарья захохотала.

— Дарья! перестань! ты не в трактире! — грозно сказал Митя.

— Господи, уж будто я не вижу, где я! разве нельзя и смеяться при его сестре? ишь, как важно! за завтрак хочет, чтоб я два часа сидела, да еще и не пикнула! Ну-с, а вы устаете, Катерина Петровна? — спросила Дарья у Кати.

Митя быстро выскочил из-за перегородки и закричал:

— Замолчи!

Дарья вся вспыхнула.

Страшен был взгляд; брошенный ею на Катю и на ее брата.

— Ну что вы раскричались? — сказала она с презрением.— Разве я хуже, что ли, вас, да и она... что такое?..

И Дарья указала на Катю. Катя затрепетала и, слабо вскрикнув, кинулась к брату, который, обняв сестру одной рукой, другой указывал на кухню и грозил натурщице.

Вдруг старушка вошла в комнату и застала эту немую и странную сцену.

— Дарья! — покраснев и задыхаясь от гнева, сказала она.— Прошу убираться из моего дому; здесь живут честные люди!

Дарья вопросительно взглянула на Митю.

— Маменька! — произнес он с укором и ужасом.

Это невольное восклицание страшно раздражило старушку, и, вся задрожав, она закричала, указывая на дверь:

— Вон отсюда!

Дарья вздрогнула и дико оглядела всех; на ее рябом и безобразном лице мелькнула на одну секунду какая-то робость; она потупила глаза; но вдруг, будто сделав над собою усилие, она тяжело вздохнула и гордо подняла голову; лицо ее всё задергалось, и она залилась диким и презрительным смехом, который потряс всех. Заметив это, Дарья одушевилась, глаза ее заблистали, грудь поднялась высоко от ускоренного дыхания, и, злобно глядя на старушку и ее детей, она сказала:

— Так я, по-вашему, нечестная женщина? а? так меня вы выгоняете из вашего дому?.. Уж если на то пошло, так знай же, что твоя...

С раздирающим криком «Молчи!» Митя в эту секунду кинулся к Дарье, схватил ее за плечи и вытолкнул в кухню. Захлопнув дверь, он стал к ней спиной, как бы защищая вход; но он едва стоял на ногах, дико глядя на мать и на сестру, рыдавшую на груди старушки.

Всё это так быстро совершилось, что старушка едва верила своим глазам. Опомнясь от первого испуга, она стала утешать свою дочь, горько рыдавшую.

— Полно, дурочка, ничего! так ее и надо проучить! ишь, как нос подняла, и диво бы кто, а то натурщица! уж известно, что за птица натурщица!

— Отчего ж...— вырвалось у Мити, но в то время Катя упала на колени перед матерью, и он замолчал в каком-то новом испуге.

— Митя! — закричала старушка.— Господи! что это с ней?.. Боже мой! это всё она, скверная женщина, перепугала ее!

Катя ломала руки, била себя в грудь и страшно рыдала у ног матери, которая тоже заливалась слезами, продолжая бранить Дарью и всех натурщиц.

— Митя! видишь, что она наделала? не позволяй ей больше приходить!

Митя, бледный, с блуждающими глазами, в каком-то ожидании смотрел на сестру. Он вздрогнул при словах матери и с презрением сказал:

— Это последний раз, что она была здесь!

Через час в комнате с замерзшими окнами всё было по-прежнему. Бедным лю́дям даже некогда предаваться долго своему горю. Катя, еще с красными глазами, шила у окна. Старушка бодрилась и тоже взяла свой чулок. Только Митя лежал за перегородкой и поминутно кашлял. Об обеде никто и не упоминал.

Старушка поминутно поглядывала на свою дочь, которая, заметив это, еще усерднее шила.

— Катя, хочешь кофею? — спросила старушка.

Катя с удивлением посмотрела на мать. Кофей в их хозяйстве считался роскошью. Теперь старушка желала сколько-нибудь развеселить свою дочь.

— Нет-с, я не хочу! — отвечала Катя.

Через несколько времени старушка сказала:

— Господи, что это так мне сегодня хочется кофею!

И побрела в кухню.

Катя улыбнулась вслед ей, поняв ее хитрость.

Вечером, как только послышались печальные звуки «Лучинушки», Митя накинул шинель и вышел из дому. Он шел очень скоро и через полчаса вошел в раскрытую калитку каменного дома. Пройдя пустой и огромный двор, он подошел к деревянной лачужке, спустился несколько ступенек по каменной лестнице и раскрыл дверь. Холодный воздух в минуту наполнил паром всю комнату. Митя закашлялся.

— Кого нелегкая принесла? — крикнул кто-то.

Пар поднялся вверх, и яркий огонь на тагане осветил грязную маленькую кухню. Безобразная горбатая старушонка, с седыми волосами, выбивавшимися из-под черной косынки, стояла у огня и что-то ворчала, шевеля подбородком, который выдавался клином.

— Дарья дома? — спросил Митя.

— А кто ее знает! — крикливо отвечала старушонка, мешая что-то в горшке.— Я сама не была дома. Машка, а Машка! дома Дарья? — закричала старушонка, заглянув на печь, которая была увешана сухими травами и какими-то кожами.

— Дома; а что? — отвечало точно такое же безобразное и старое существо, которое, сидя на печи, гадало в карты.

— Мне нужно ее видеть,— сказал Митя.

— Лучше приди завтра: чай, не узнает и родного отца теперь! — со смехом отвечала та, которую товарка ее назвала Машкой.

Митя пошел к двери, Машка свесила с печи свое безобразное сморщенное лицо и весело сказала:

— Сестрица, а сестрица!

— Ну что? — нехотя отвечала старушонка, занятая стряпаньем.

— Она, вишь, была такая печальная, всё ревела... Я ей и купила вина, выпей, говорю, легче будет! Ха! ха! ха!

И обе старухи залились отвратительным смехом.

Митя в это время вошел в комнату Дарьи, которая сидела, опершись локтями на стол и закрыв руками лицо. Перед ней стояло вино и нагорелая свеча.

В комнате было грязно, стены почернели от сырости; кровать, стоявшая в углу, была вся измята; подушки были разбросаны по полу. На комоде стоял небольшой туалет. Зеркало в этом туалете было разбито в мелкие куски.

Митя, кусая губы, глядел на Дарью, которая не слышала его прихода.

— Дарья! — сказал он растроганным голосом.

Дарья вскочила на ноги. Увидав Митю, она нахмурилась, сжала кулаки и сквозь зубы спросила:

— Что... опять меня бить?

Митя закашлялся и слабым голосом сказал:

— Как тебе не стыдно! посмотри, похожа ли ты на женщину?

Дарья была страшна: рябое ее лицо было красно, глаза опухли и дико блистали, сжатые кулаки и злая улыбка придавали ей еще более грозный вид.

— Ну что ж? если я не похожа на женщину, так кто виноват? ты!

И Дарья села на стул, подперла голову рукою и смотрела на одну точку. Слезы потекли градом по ее рябому лицу.

Митя тоже стоял в каком-то раздумье. Увидав слезы Дарьи, он окликнул ее. Дарья вскочила и вытерла слезы, потом язвительно усмехнулась и налила себе вина.

— Я не дам тебе больше пить! — повелительно закричал Митя и выхватил стакан из ее рук.

Дарья засмеялась и спросила:

— Пить мне нельзя, а бить меня можно?

— Кто же тебя бил? — в отчаянии закричал Митя.

— Ты! — задыхаясь от ярости, отвечала Дарья.

— Неправда, ты лжешь! я тебя вытолкнул, потому что ты чуть не выболтала всего! — плачущим голосом сказал Митя.

— А зачем твоя мать меня назвала нечестной женщиной, и при тебе? а?

И у Дарьи всё лицо задрожало.

— Если я тебе позволяю,— продолжала она,— многое мне говорить, так это дело другое! Ты ведь знаешь, у меня не было никого — ни отца, ни матери, ни брата. Я была брошена семи лет на произвол судьбы, и вот что из меня она сделала! обезобразила да еще и ум оставила, чтоб я понимала, когда меня вытолкают, как самую последнюю женщину! Хоть бы уж она сделала меня слепой, чтоб я не видала своего лица!.. хоть бы она отняла у меня слух, чтоб я не слышала о своем безобразии!

И Дарья ломала руки; стон вылетел из ее груди. Она села, склонила голову на стол и, глухо рыдая, продолжала говорить:

— Если бы я не была тебе противна, я стала бы жить иначе, я всё, всё бы сделала для тебя!

Митя судорожно мял фуражку в руках. Дарья вдруг вытерла слезы и с нежной грустью сказала:

— Сядь! ты у меня давно не был!

— Ты сама виновата,— заметил глухим голосом Митя.

— Я виновата? ах! если бы ты знал хоть сколько-нибудь, что вот у меня иногда здесь делается.

Дарья указала на грудь.

— По мне,— продолжала она,— гораздо легче камни ворочать, чем быть натурщицей: лежать в одном положении по два часа; голова одуреет, косточки все болят; холодно — тебя одевают в кисею, жарко — в сукно драпируют. А шуточки насчет моего рябого лица! Господи! чего я не перечувствовала в это время! Подчас я готова бог знает что с собою сделать. Я для тебя одного только решилась быть натурщицей! — с упреком заключила Дарья.

— Дарья, разве я тебя просил об этом? — с горячностью сказал Митя.

— Ты не просил! Да я не имела другого средства видеть тебя!

— Дарья, уж я тебе сказал раз навсегда, что я не люблю тебя! — решительно произнес Митя.

Дарья забила в ладоши и залилась диким смехом.

— Перестань! — сердито сказал Митя.

— Я не у твоей матери: я у себя дома! — гордо отвечала Дарья.

— Хорошо! но слушай: ни одного слова никому, ни даже мне о моей сестре! не то я...

Митя остановился и грозно смотрел на Дарью, которая быстро спросила:

— Ну, что ты сделаешь?

— Я уж знаю,— грозно отвечал Митя.

— Ты очень любишь свою сестру? а?

И, делая этот вопрос, Дарья побледнела и, злобно улыбаясь, заглядывала ему в лицо.

— Тебе на что знать?

— Так!.. говорят, что она...

Митя заскрежетал зубами и кинулся к Дарье, которая с какою-то радостью тоже кинулась к нему, как будто готовая принять удар, но Митя вдруг опустил поднятую руку, бросил презрительный взгляд на ошеломленную Дарью и пошел к двери.

— Чтоб нога твоя не была у меня! — твердо сказал он, выходя.

Дарья побледнела и кинулась к нему с таким отчаянным криком, что он вздрогнул и быстро повернул к ней голову; но на его бледном лице не было сострадания, он еще грознее и презрительнее произнес:

— Не смей! — и вышел, захлопнув дверь.

Дарья долго оставалась неподвижною на одном месте; потом вдруг кинулась в кухню.

— Где он? ушел! а? — как помешанная спрашивала Дарья старушонок, которые покачивали своими клинообразными подбородками и улыбались.

— Улетел! — прошипела одна и тихо засмеялась; другая начала вторить ей и вдруг, указывая на Дарью, которая, скрестив руки на груди, стояла в каком-то ужасе с потупленной головой, закричала:

— Сестрица! что это с ней? а?

Товарка погрозила ей пальцем, схватила кружку и, набрав в рот воды, прыснула Дарье в лицо. Машка захохотала. А Дарья, застонав, упала на пол, и ее начало ломать; она дико кричала и била себя в грудь.

Две старушонки прыгали около нее и что-то нашептывали.

— Сестрица! смотри, чтоб она не умерла! — заметила одна.

Дарья, точно, вытянулась и лежала без чувств.

— Молчи! уходит! это из нее уходит нечистый... закрой трубу и дверь!

И старушонка, что-то напевая, стала посыпать Дарью какой-то сухой травой, снятой с печи, и нашептывать в нос...

На другой день рано утром Катя и Митя шептались в кухне. Катя, закрыв лицо руками, отрицательно мотала головой и указывала на дверь, где спала старушка.

— Митя, я не пойду, я не пойду! — умоляющим голосом говорила Катя.

Митя махнул отчаянно рукой и кинулся к себе за перегородку. Он сдернул простыню с своей картины и долго смотрел на нее с какою-то жадностию. Он взял мел и сделал черту на полотне, но вдруг с ужасом отскочил и бросил мел; столкнув с мольберта картину, он начал топтать ее ногами и потом с диким плачем упал на диван.

Старушка проснулась от шуму и, шепча молитву, кинулась за перегородку. Отчаянный крик вылетел из ее груди. Митя лежал без чувств, с посинелыми губами. Старушка чуть не помешалась от горя; она звала дочь, плакала, целовала руки у бесчувственного своего сына.

Соседки сбежались на крик старушки и помогли ей привести в чувство сына. Первое слово Мити, когда он очнулся, было о сестре.

— Ее нет дома! — угрюмо отвечала старушка и потом прибавила нерешительно: — Митя, ты ее брат, ты должен узнать, куда она стала бегать из дому!

Митя дико огляделся, вскочил с дивана и стал одеваться. Старушка в слезах уговаривала его не ходить со двора, но он, несмотря на ее мольбы и слезы, выбежал из дому.

— Господи! Господи! — прошептала старушка, когда он ушел, и упала в изнеможении на свою постель.

Не прошло десяти минут, как дверь скрыпнула и рябое лицо Дарьи показалось в дверях. Она злобно и на-

смешливо кивнула головой испуганной старушке, которая поспешно, с ужасом сказала:

— Его нет дома!

— Да я не к нему пришла! — отвечала Дарья и смело подошла к старушке, смотревшей на нее с отвращением.

— Вчера меня выгнали отсюда,— глухо сказала Дарья, оглядывая комнату и как бы припоминая прошедшее.

Лицо ее всё задергалось; она радостно засмеялась, бросила к ногам старушки Катин салоп, который был у ней под мышкой, и сказала:

— Так не меня одну нужно выгнать отсюда! Жди своей дочери, готовь ей жениха поскорее!

И Дарья, сияющая торжеством, гордо вышла из комнаты, оставив старушку в тревожном недоумении: сплеснув руками, с ужасом смотрела она на салоп своей дочери, лежавший у ее ног. Так долго она сидела, и если б не стук в кухне, заставивший ее вздрогнуть и поднять голову, то она не заметила бы прихода Мити.

— Она была здесь? — спросил Митя, появившись на пороге и весь задрожав.

— Митя, Митя! — отчаянным голосом завопила старушка, протянув к нему руки.

Митя кинулся к матери, которая, упав к нему на грудь, горько зарыдала.

— Что такое вам говорила Дарья? — в ярости спросил Митя.

— Боже мой, неужели я так прогневила бога, что дочь моя Катя... Нет, Митя, не может быть!

И старушка в ужасе оттолкнула ногой салоп и, указывая на него, с отвращением тихо сказала:

— Сестра твоя.. она, она... натурщица!

Митя вскрикнул и закрыл лицо руками; старушка грозно продолжала:

— Я не хочу ее видеть, пусть идет куда хочет! у меня нет больше...

Митя с криком кинулся в ноги матери и задыхающимся голосом сказал:

— Она не виновата!

— А! ты хочешь оправдать ее? нет, она осрамила нас!

У Мити недоставало голосу... он зарыдал и дико закричал:

— Это я, я, злодей, погубил ее!

И он упал в ноги матери, которая с ужасом привстала и, грозно подняв руки, с минуту оставалась в этом поло-

жении. Но вдруг по ее страдальческому лицу ручьями потекли слезы; без воплей и рыданий опустила она свою голову в подушки.

Митя робко взглянул на мать и, не вставая с колен, взял ее руку и, обливаясь слезами, дрожащим голосом говорил:

— Выслушайте меня только, и вы увидите, что сестра ни в чем не виновата. Я клянусь вам моим отцом, я сам не понимаю, как всё это случилось. Я всё, всё вам расскажу, только простите, простите ее!

И Митя зарыдал; он, как преступник, дрожал, стоя на коленях, и не смел поднять глаз на свою мать. Она подняла его голову и в недоумении глядела на него. Он продолжал:

— Я сохну, я чувствую с каждым днем, что силы мои слабеют...

Старушка сделала к нему движение; он поднял глаза и взглянул на нее первый раз с той минуты, как стал на колени.

— Это не от работы, а от недостатка,— прибавил он поспешно.— Я чувствую иногда в себе силы написать хорошую картину, но ожидание удобного времени и неимение материалов так меня измучат, что я упаду духом, потеряюсь в тысяче планов, которые вертятся в моей несчастной голове. Неужели вы думаете, что только ночи без сна и голодные дни были причиной моей болезни? Нет, нет! у меня постоянная тоска, я постоянно изнемогаю от стыда и желания: мои товарищи уже давно в Италии, ждут меня! А я! я, которому все завидовали, остаюсь здесь, делаю копию какой-нибудь безобразной фигуры, при взгляде на которую у меня все нервы подергиваются! Да я ли это? Неужели я должен навсегда остаться так?!

И Митя вопросительно смотрел на мать, которая сидела молча, в каком-то отчаянии.

— Вы часто видели, что я сидел сложа руки, а?.. Но я готов был бы лучше целый день проработать, чем так проводить время. Я, может быть, тысячу картин самых трудных по́том и кровью написал... только не на полотне, а в моей голове. Боже! как это тяжело, как ужасно! Я, наконец, почти дошел до безумия. Я вас обижал, да, я знаю, я помню!

И Митя поцеловал руку у матери, которая глядела на него с испугом и качала головой.

— Полноте! я много зла сделал! но я не виноват! Я стал бояться смерти... да, я сделался трусом. Мне казалось иногда, что потолок обрушится надо мною, вот я и умру, ничего не оставивши после себя... Я дал себе слово во что бы то ни стало писать картину; три месяца я боролся с преступной мыслью, которая пришла мне в голову. Наконец я занял денег, купил красок и полотно. Нужно было купить время... я забыл всё, я только видел одно будущее: мне казалось, что счастье и слава моя — всё зависит от этой картины. Она меня душила, я состарился! я всякий день до изнеможения уставал, горя нетерпением работать и работать ее!.. Я не мог без отвращения взять кисть в руки для другой работы, кроме моей картины. А чем кормить себя? да я сам не подумал бы об этом, но совесть... но мысль, что там сидит моя мать, и я, я, сын ее, морю ее голодом... Я прибегнул к сестре, я молил ее памятью нашего отца помочь мне, чтоб улучшить нашу жизнь. Я смотрел на нее как на спасительницу... И она, тронутая моими слезами, согласилась быть... натурщицей!

Митя едва договорил последние слова.

Старушка с упреком, с ужасом воскликнула:

— Митя! Митя!!

— Теперь вы видите, она не виновата, это я погубил всех вас, я, которому следовало заботиться о вас. Я человек низкий... прокляните меня!

И Митя в исступлении бил себя в грудь и рвал волосы на голове.

Старушка в испуге схватила голову своего сына и крепко прижала к сердцу, обливая ее горячими слезами. Митя старался спрятать лицо в колени матери и, как дитя, всхлипывал.

Они так были погружены в свое горе, что не слыхали прихода Кати, которая давно уже с распущенными косами, в одном платье, сверх которого накинуто было какое-то черное сукно, стояла как тень, бледная, на пороге и жадно слушала.

Старушка, утешая сына, целовала его и наконец сказала:

— Митя, голубчик, не плачь; я знаю, что ты не пожелал бы своей сестре ничего дурного, ты сам, вишь, как плачешь, перестань!.. Отнеси ей лучше салоп, а то она перепугается да еще по морозу и так прибежит. Да не говори ей, что я знаю; нет, это ее будет мучить; я уж знаю!..

Катя при этом слове тихо, но быстро скрылась в темную кухню.

Вечером все трое печально сидели за самоваром; на всех лицах заметны были следы тяжелого горя, но из их груди не вырвалось ни одного вздоха; они, казалось, своим наружным спокойствием желали обмануть друг друга. Одна старушка обнаруживала небольшое беспокойство. Она поглядывала на часы и как будто к чему-то прислушивалась.

Было уже десять часов вечера. Жители Шестнадцатой линии, не слышав в обычный час печальных звуков шарманки, не обратили на это внимания. Зато старушка, утомленная напрасным ожиданием услышать «Лучинушку», неохотно улеглась в постель, лицом к стене, и поминутно сморкалась. Катя изредка всхлипывала, заглушая свои рыдания в подушке, а Митя, как дикий зверь в первые минуты своего заключения в клетке, метался за перегородкой, посылая проклятия Дарье, злоба которой могла раскрыть и шарманщику их семейную тайну...

С этого дня болезненные стоны наполнили комнату. Митя лежал за перегородкой, а старушка на диване. Катя, потеряв всю свежесть лица, ухаживала за больными; но каждое утро она их оставляла на несколько часов... Больные ждали с нетерпением ее возвращения...

Иногда по вечерам в кухне слышался шепот; старушка тревожно спрашивала: кто там? Катя отвечала ей, что соседка; но она лгала: то была Дарья!

Когда первый порыв злобы прошел у Дарьи, она сама ужаснулась своего поступка. Нет слов высказать ее отчаяние, когда она узнала о болезни Мити. Встретив Катю на улице, она кинулась ей в ноги, умоляла дать ей хоть тихонько взглянуть на ее брата.

— Я тебя не буду больше мучить, никто из вас не услышит больше даже моего имени, только дайте мне в последний раз взглянуть на него и проститься с ним!

Катя тронулась отчаянием Дарьи и вечером впустила ее в кухню. Когда ее позвал Митя, она раскрыла дверь так, чтоб Дарья могла его видеть.

На другой день Дарья принесла лекарства, уверяя, что ей дал знакомый аптекарь.

С этих пор всё, что Дарья заработывала, она приносила Кате, и две натурщицы кормили больных. Дарья не разговаривала с Катей; она вечно сидела на дровах за печкой. Но если Катя плакала, то Дарья становилась на

колени перед ней и отчаянным голосом просила ее перестать.

— Я вас всех загубила,— говорила она,— я это очень хорошо знаю! так ты лучше не плачь. Я и жить-то бы не стала ни одного дня; да кто же станет их кормить?

И Дарья робко указывала на комнату, где лежали больные, и продолжала:

— Я обманывала тебя, у меня нет знакомого аптекаря, я на деньги покупаю лекарство. А ты одна разве можешь их прокормить? Не терзай меня, погоди! когда я не буду никому нужна, делай тогда со мною, что хочешь!

Катя слушала и переставала плакать, а Дарья ложилась на дрова за печь.

Мите как-то сделалось очень плохо, он стонал. Дарья привела доктора, который, узнав, что она чужая в доме, прямо сказал ей, что ему недолго жить.

Дарья едва добрела до своего обычного места и легла на дрова; она не помнила, что потом с нею было, и когда очнулась, то руки ее были в крови и все искусаны, клоки волос были вырваны, и каждая косточка болела у нее. Ночью, наблюдая за больными, Дарья подсела к Кате и сказала:

— Хочешь, я тебе расскажу мою жизнь? может быть, я тебе не буду противна, и, если что случится, ты простишь мне.

— Говори, только тише, чтоб они не услышали,— заметила Катя.

— Я бы хотела, чтоб и она слышала! — тихо сказала Дарья, указывая на комнату, где лежала старушка.— Может быть!.. да нет, уж теперь не поправишь!

И Дарья отчаянно махнула рукой; помолчав, она начала:

«Еще ребенком осталась я круглой сиротой; помню только свою мать, да и то когда уж она лежала в гробу, бледная, с распущенными волосами. Я так же смутно помню богатые комнаты и игрушки, какие у меня были. Меня баловали, возили в карете. Но кто был мой отец, кто мать, я ничего не знаю, да, кажется, и никто не знает... Потом я воспитывалась у какой-то женщины, толстой и злой, которая никогда и слова мне не говорила о моей матери; она меня била и заставляла голодать на своей кухне; когда мне минуло четырнадцать лет, она стала меня наряжать и выдавать за свою племянницу. Я была красива собой... что, веришь ли ты? а?»

И Дарья насмешливо заглянула Кате в лицо.

«Чем больше я хорошела,— продолжала она,— названная моя тетка тем реже и реже меня била; но она строго меня держала. Я поняла свое положение и не ужаснулась его. Я так ненавидела эту женщину, что задумала ей мстить за всё, что от нее вытерпела. Я понравилась одному старику, страшному богачу, и не испугалась его любви; напротив, хитро и ловко завлекала его. Иногда мнимая тетушка трогалась моими уловками и со слезами говорила мне: „Ну, Даша, я вижу, что ты будешь мне утешением под старость...“ Когда моя власть была сильна над стариком, я выгнала из дому свою мнимую тетку, а вскоре отделалась и от самого старика. Я была молода,— стало быть, глупа. Я так обрадовалась свободе, что не подумала о деньгах, которых много мог бы подарить мне старик. И через несколько месяцев я с ужасом увидела, что я нищая; я привыкла к роскоши и лени. Но благодаря школе моей мнимой тетушки я скоро разбогатела. У меня были великолепные экипажи, наряды; я жила в роскоши. Мне были все мужчины ровно гадки... Я видела, что одно тщеславие заставляет их быть со мной ласковыми, щедрыми. С каждым годом я всё хорошела, глаза мои были ясны, лицо нежно и гладко, как твое; на меня даже дети заглядывались, не то, что теперь... укажи на меня ребенку да скажи: у! у!.. так весь затрясется и голову спрячет... Я жила, как все живут из нас, как, верно, жила и моя мать: то есть не думая о завтрашнем дне. Иногда от скуки на меня находили минуты сострадания, и я сыпала деньгами без разбора тем, кто подвертывался под руку. В такие минуты, если я шла по улице и нищий протягивал мне руку, я отдавала всё, что у меня было в кошельке, и его немое удивление тешило меня...

Вот как теперь помню, утром мне привели в первый раз твоего брата, чтоб снять с меня портрет. Я сидела на бархате, в позолоченных комнатах, разодетая в пух, все брильянты надела на себя. Увидав меня, он ужасно сконфузился, голос у него дрожал. Брильянты или лицо мое поразили его,— не знаю; но я в первый раз покраснела при мысли, что он может подумать обо мне и моем богатстве. Вдруг как будто все брильянты раскалились и жгли мне шею и руки; я выбежала из комнаты, сняла с себя все эти вещи, сняла бархатное платье, надела белый утренний капот, сорвала белую розу, стоявшую на окне, и приколола в волосы. Мне сделалось легко, Сама не знаю

отчего, я долго гляделась в зеркало, как будто по предчувствию, что уж недолго мне быть такой. Когда я опять вошла в комнату, то твой брат как дурак глядел на меня. Не знаю отчего, но он мне понравился; я в первый раз не чувствовала ни злобы, ни желания кокетничать перед мужчиной. Я много болтала; мне было весело его конфузить, смотря ему прямо в глаза. Я, признаться, почти не видала таких мужчин. Мы простились до другого дня. Мне было и весело, и в то же время слезы душили меня. В этот-то вечер мне пришли сказать, что одна из моих знакомых, таких же как и я, просит меня прислать хоть сколько-нибудь денег, что она лежит в больнице. Будь это в другой раз, я не была бы так сострадательна, но тут я расплакалась и поскакала к ней. Я посидела у ней и, возвратившись домой, вскоре почувствовала какой-то жар и головную боль; и чем бы мне лечь, я поехала гулять. В ночь у меня так усилился жар, что я лишилась памяти. Я долго лежала, ничего не помня и не видя, и в первый раз, когда я открыла свои опухшие еще глаза,— кровь остановилась у меня в жилах. Я лежала в большой комнате, окруженная всё кроватями. Я не верила своим глазам: мне казалось, что я лежу в гробу; я стала кричать, плакать, метаться точно сумасшедшая; верно, в припадках я царапала лицо, и потому мне завязали руки; но было уже поздно!..

Когда я оправилась, я узнала всё: от страху, что у меня оспа, меня безжалостно все бросили и ни одна душа не навестила меня в больнице. Твой брат сначала забегал ко мне на квартиру узнавать обо мне, но люди мои грубо обошлись с ним, и он не являлся больше. Ну, как бы ты думала, кто приходил навещать меня в больницу? Старик нищий. Он сидел недалеко от моего дома, и я часто ему подавала милостыню. Он мне рассказал, как сначала доктора приезжали ко мне, потом перестали; люди целый день сидели у ворот, шатались по трактирам, таскали мое добро. Потом меня свезли в больницу, из которой я вышла... безобразной... и нищей: всё, что было у меня, взяли за долги. Старик нищий приютил меня у себя; мне смешно было глядеть на него: тот, которому я бросала, что мне было не нужно, теперь кормит и призревает меня. Я не решалась просить милостыню, а начать прежнюю жизнь я не могла. К тому ж я только и думала, что о твоем брате. Я живо его помнила, хоть видела только один раз; я отыскала, где он жил, я подсматривала за ним, я знала,

куда и зачем он идет. Я долго не решалась показаться ему на глаза; наконец узнала, что он задумал писать картину и что ему нужна натурщица. Я решилась идти к нему. Ну, как я тебе расскажу всё то, что я перечувствовала, когда я вошла к нему? Верно, мое безобразное лицо было страшно, что он усадил меня и дал мне воды».

Дарья улыбнулась и, опустив свое рябое лицо, спросила Катю:

— Что, я очень страшна? а?.. Я после болезни только раз взглянула было на себя в зеркало, да так испугалась, что с тех пор и не смотрюсь. Не знаю, может быть, еще хуже стала!

И Дарья с отвращением вздрогнула и продолжала:

«Я сказала твоему брату, что я натурщица. Он так поглядел на мое лицо, что у меня сердце повернулось, и, сама не знаю отчего, я засмеялась так громко, что самой страшно стало. Форма моих плеч и рук поразила его своей правильностью. За час я брала с него вдвое дешевле, чтоб другие натурщицы не отбили его у меня... Ах, что я вытерпела! мне кажется иногда, что теперь мои страдания не так ужасны, как тогда! Всякий день видеть человека, которого любишь, ну, сколько есть силы, и знать, что, если ты проронишь одно слово, он с ужасом отскочит от тебя и выгонит вон; что мои ласки оскорбят его... и к тому ж помнить всё прежнее! его взгляды, его смущение... а может быть, он уже думал тогда: что, если бы эта женщина полюбила меня! А, каково?.. Раз я прихожу к нему, а он сидит у стола, поддерживая голову руками так, что зажал уши. Перед ним портрет какой-то женщины. Я только заглянула — и чуть не упала. То была я; я узнала себя: мои глаза, мой нос; я кинулась к нему на шею, я целовала его руки, я была как безумная от радости. Мне казалось, что я больше не безобразна, что мой портрет опять меня сделает красавицей... Я всё рассказала ему... и даже призналась, что люблю его...»

Дарья глухо и скоро пробормотала последнюю фразу и с минуту молчала. Вздохнув тяжело, она продолжала:

«Я жила хорошо; иногда мне было тяжело, особенно если солнце светит да он взглянет на меня. Впрочем, я пряталась всегда в темный угол. С ним я никуда не выходила, я боялась людей, чтоб они не напомнили мне о моем безобразии... Я была ревнива! Ну, еще бы мне думать, что он меня любит! Я мучила себя и его; я иногда доходила до исступления, и отчаяние мое было страшно; я часто

готова была убить себя. Верно, всё это надоело ему, и раз, выйдя из терпения, он мне что-то много говорил; но я из всех его слов только одно и помнила, что мне, как ножом, повертывало в сердце: „Ты безобразна, ты безобразна!“ Эти слова как гром меня оглушили! Тут только я почувствовала страшное унижение свое. Я решилась бежать от него. Целые три месяца я не видала его, обегала всех знахарок и колдунов, чтоб найти зелья — приворожить его к себе. Я подкупила хозяйку его дома, чтоб она ему клала в кофей разных корешков и трав, что мне давали старые ведьмы. Этим-то временем вы приехали к нему. Известно, что в Петербурге жить дорого, особенно человеку, которому еще нужно заработывать кусок хлеба, чтоб учиться. А он любил писать картины. Сколько я ни видела художников, ни у кого так не меняется лицо, когда он берет в руки кисть. Глаза у него так заблестят, словно два угля, а как глядит-то он на картину свою, когда пишет... да! он любил рисовать... Я знала, что он любит тебя и свою мать, и ревность моя не знала меры. Я упрашивала его сама помириться со мною, клялась ему, что не буду ревновать его! А он в ответ мне и скажи, что теперь он никак не может, потому что любит свою мать и сестру и с ними хочет жить. Вы мне не давали покою; мне казалось, что он любил бы меня, если бы не вы!.. И кто мог больше любить его, как не я!.. Месяц тому назад он приходит ко мне — можешь судить о моей радости! — и говорит: „Дарья, я хочу писать картину; хочешь ли быть моей натурщицей? я,— говорит,— возьму лицо с твоего портрета...“ Ах, как мне было весело! Старые колдуньи; у которых я нанимала квартиру, уверяли меня, что это их травы приворожили его; я им давала денег, я как дура была. В первый раз, как я увидела тебя и вашу мать, у меня всё перевернулось! Мне и целовать-то вас хотелось, и не смела-то я... Забыла я всю злобу к вам, только помнила, что ты его сестра, а она его мать... Брат твой всё дело испортил, он так крикнул и посмотрел на меня, когда я было хотела кинуться в ноги к его матери, просить и умолять ее, чтоб она сжалилась над несчастной... что злоба, еще страшнее прежней, обхватила меня... Ты теперь поймешь мою радость, когда я узнала, что ты тихонько от своей матери сделалась натурщицей!»

— В последний раз, как я была у вас, мать ваша и ты так меня приняли, что я чуть вас всех не убила. Ты

помнишь ли, как меня вытолкали? а? — спросила Дарья, злобно глядя на Катю, которая с ужасом потупила глаза.

«Вечером,— продолжала Дарья,— у меня был твой брат; я старалась его раздосадовать, чтоб он меня хоть задушил: так мне было легко! А он только страшно поглядел на меня и запретил ставить ногу на его порог... Я, в злобе, украла салоп у тебя, пока ты была у художника, и бросила его твоей гордой матери в лицо; я также всё рассказала твоему жениху и так была зла на вас всех, что дала волю своему языку и везде болтала о тебе».

Катя с ужасом закрыла лицо руками и отвернулась от Дарьи, которая схватила ее за руки и сказала в волнении:

— Ты разве мне не простила? зачем отворачиваешься от меня?? Я, видишь, во всем тебе призналась, хоть ты будь добрее их! хоть одно слово скажи мне, хоть взгляни на меня!

В голосе Дарьи было столько мольбы и отчаяния, что Катя с состраданием взглянула на нее. Дарья радостно вскрикнула и кинулась обнимать Катю, целуя ее руки и осыпая ее самыми нежными названиями.

Стоны раздались в другой комнате. Катя кинулась туда, а Дарья как бы окаменела в одном положении.

Долго страдал Митя, наконец умер. Старушка так была слаба, что весть о смерти сына перенесла, казалось, очень спокойно. Только вынув из-под одеяла свою высохшую руку, она перекрестилась и едва слышно сказала:

— Ну, слава богу, окончились его страдания! пора и мне!..

На третий день из деревянного домика вывезли на одних дрогах два гроба: один черный, а другой желтый. Катя и Дарья в своих истасканных салопах молча шли за гробами, едва вытаскивая ноги из глубокого снегу. Они крепко держались за руки, как бы ища друг у друга опоры.

Глава IX

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РЯБОЙ ДАРЬИ

Дарья, не спуская глаз с своей слушательницы, несвязно рассказала историю Полинькиных родственников и часть своей собственной и продолжала:

«Вот, видишь ли, моя голубушка, моя лебедушка, остались-то мы две круглыми сиротами. Катя-то горькие

слезы лила, а я уж крепилась; только вот здесь-то болело, хоть кричать (она показала на сердце). Видя ее слезы, я перед образом поклялась с лихвой заменить ей то, что я у ней отняла. Я всякий день бегала на толкучий рынок, продавала разную рухлядь и хлам, что осталось по наследству ей, даже обманывала иной раз, лишь бы моей Кате принести какого-нибудь гостинцу. Долго я билась, много я вынесла, зато так понаторела, что любому жиду не дамся в обман! Я перепродавала и перекупала всякие вещи, которые иной раз бог знает откуда брались. Перешью их, бывало, а с белья метку спорю, да еще другую наложу, и продаю. День на толкучке кричишь: „Ковер у меня купи, купи у меня!" А ночь всю напролет перешивала разное тряпье. Катя маленько повеселела... Я уж, бывало, земли под собой не чувствую, как она улыбнется. Я ее как барыню водила; она у меня руки сложа сидела, только всё еще иногда поглядывала на меня искоса. Я ее полюбила, как родную дочь... нет! больше: как ее брата! да она и с лица-то походила на него. Я в два года так обделала дела, что стала Кате приданое копить. Раз было я ей заикнулась о женихе, прежнем-то. Она так на меня крикнула, что я ни гугу; потом: „Я,— говорит,— его и не думала любить, это я для брата и матери хотела идти, чтоб им было меньше забот". Кажись, я жила в эту пору всех счастливее; я на все руки пускалась и целый день хлопотала как угорелая; а вечер с моей Катей сидела. Стала я замечать, что моя Катя чудно на меня поглядывает. Я, видно, уродилась такой, что коли полюблю кого, так сама исхудаю от дурных мыслей и того загублю. Я, ни дать ни взять, так же ее полюбила, как брата. Если, бывало, кого Катенька приласкает, вот я бы его так и задушила! Стала я соседок расспрашивать, что Катя без меня делает; а они мне всё и расскажи: что она познакомилась с каким-то фертиком, что сперва он только хаживал мимо ее окна, а потом она стала с ним заговаривать, а потом гулять и что он к ней стал ходить в гости. Каково?»

Дарья с ужасом смотрела на Полиньку, которая слушала ее с судорожным любопытством.

«Вот я натерпелась-то горя,— продолжала Дарья, как будто рассуждая сама с собой.— Может статься, если б я ее не любила так сильно, она бы не делала того со мною. Но что же мне было делать? разве человек волен над собою? а? да еще когда у тебя сердце тоскует, а кровь

так и подступает к горлу. Я плакала, тосковала, точно так же как когда мне казалось, что ее брат любит другую. Ничего ей не сказала, а бросила всё и стала целый день дома сидеть... Не по нутру ей это было, да нечего делать. Сидит у окна да плачет; а у меня-то самой так сердце и надрывается, так и хочется кинуться к ней да приголубить ее; да как вспомню, что она плачет с досады, что я у нее перед глазами торчу, так вот бы так всё и перебила в комнате. Я уж разузнала и о нем-то. Он был сынок богатого господина. Катя ему приглянулась,— ишь, губа не дура!..— он и наври ей, что он тоже сирота, и такие турусы на колесах понес, что моя девка день-деньской всё горюет о нем!.. Раз утром она встала и ну одеваться, я спрашиваю: куда она идет? „Я,— говорит,— гулять хочу“.— „Пойдем вместе...“ — „Нет, одна пойду!“ — да так это сказала, что у меня всё завертелось в голове; и я прикрикнула на нее сгоряча и выболтала всё, что знала. Катя в слезы; я ее и ну упрашивать, улещать, чтоб она бросила все глупости, что уж чего доброго ждать, коли человек лжет. Ну, дело молодое, старым мало верят; она как будто и согласилась и слово дала мне всё бросить, а на другой день я сдуру и уйди со двора; прихожу домой, она сидит, только такая странная: я догадалась и спросила ее, ходила ли она со двора? „Нет“. Ну, уж мне так стало тяжело, что я и ну ее бранить; она как встанет да как глянет на меня. „Да что ты,— говорит,— мне такое! мать или сестра, что ли? Я,— говорит,— ненавижу тебя, ты мне мать и брата уморила, теперь хочешь и меня! я знать тебя не хочу, ты мне противна. Я и жить-то с тобой не стану!..“ Накинула салоп и шляпку и пошла к двери; я заслонила ей дорогу и говорю, что не пущу ее, пусть она меня лучше задушит. „Пусти,— говорит,— а не то я пожалуюсь на тебя в полицию, у тебя есть вещи такие... бог знает, у кого ты их купила... я всё понимаю“. Она так страшно глядела на меня, ну точь-в-точь как ее брат, когда я его видела в последний раз у себя. Я слушала и не верила, что Катя меня хочет в полицию отдать... Катя-то моя, для которой я ночи не спала, морочила всех до нищего, чтоб ей же купить шляпку или платье! Она меня двинула от двери, я словно шальная пошатнулась, а она и порхнула. Тут мне показалось, что старуха, ее мать, с своими впалыми глазами, как мы ее положили в гроб, стала передо мной и грозит мне пальцем; потом Митя, страшный такой, насмешливо кивнул мне головой.

А как только я очнулась, тотчас кинулась на квартиру, где жил этот фертик: сердце уж мое чуяло, что Катя у него. Меня не впустили в комнату и под носом заперли двери; я стала стучаться: отворил лакей и ну бранить меня. Я в отчаянии стала его молить, чтоб он только вызвал Катю ко мне; сбегала домой, принесла ему денег. Я увидала Катю, она раскрыла дверь, выглянула, я ей бух в ноги; хочу говорить, не могу, так и душат слезы. А она всунула мне в руку какие-то деньги: „На,— говорит,— тебе за всё, что я у тебя съела и выпила; иди, я больше тебя знать не хочу!“ — и захлопнула дверь. Я стала кричать; мне хотелось всех задушить. Вышел лакей и спровадил меня. Я просто чувство потеряла. А как очнулась, припомнивши всё, кинулась к отцу его. Меня не впустили; я подождала его у подъезда, и когда старик хотел садиться в карету, ухватилась за его ноги и молила его выслушать меня; я рассказала ему всё и просила вырвать мою Катю из рук его сына. Он пообещал, да на другое утро сделали обыск у меня на квартире, нашли перекупленные мною вещи и посадили меня в часть...

Там вместе со мной сидела одна женщина; мы разговорились о том, о сем, и я узнала, что моя мать была из одной деревни с ней, но что она знала о ней только одно, что матушка была красавица, поехала в Питер вместе с господами, ее отпустили на волю и больше уж никто о ней не слыхал. Да и не нужно было: я догадалась об остальном. На поруки меня выпустили, мне было горько жить в Петербурге, я и поехала в деревню, к бабушке, единственной родной, которая оставалась у меня.

Когда въехала я в деревню, где родилась моя мать, мне почудилось что-то родимое, как будто и избы, и лес — всё было знакомое, и сердце у меня весело забилось. Вот я подъезжаю к избе, где жил Артамон с женой, а у него моя бабушка Ирина. Вхожу в избу: жар, духота, ребятишки визжат, поросята хрюкают. Никого не видать, кроме детей, мал-мала меньше, в одних рубашонках, и, как завидели меня, все под лавки попрятались. Один постарше мальчишка закричал: „Дедушка, а дедушка! вставай, чужая тетка пришла“; в углу на лавке что-то закопошилось под тулупом, курицы, сидевшие на тулупе, спрыгнули, и показалась седая голова старого-престарого мужика. Кажись, я такого старого и не видала сроду. „Дедушка! чужая тетка пришла за бабкой Ириной!“ — крикнул опять мальчишка. Старик долго тянулся, зевал, думал, потом

что-то пробормотал и рукой указал мне на печь. Я кинулась туда; смотрю — и не верю глазам: спит, свернувшись, старенькая старушонка, в грязной рубашке и в оборванном сарафане, спит себе крепким сном и не чует, что родная ее внучка издалека приехала посмотреть на нее. Лицо у нее всё сморщенное, нос с подбородком сошелся, а губ и не видать. Я долго стояла и смотрела на нее: мне и страшно и жаль было старухи. Эх! жили столько лет родные, не ведая даже друг про друга. А сколько денег-то через руки мои перешло! Я разделась и стала ждать, когда она проснется. Старик дед расспрашивал меня, как и кто я? раз двадцать я ему повторила одно и то же. Кажись, уж он из ума выжил: так стар был. Пришел Артамон с женой. Я рассказала им, кто я и зачем приехала; вот они и ну тормошить старуху. Долго она не верила им, что к ней внучка приехала из Питера; потом стала плакать и жаловаться на мою мать, что она забыла старуху и весточки ей не шлет. Я не вытерпела, кинулась старухе в ноги и долго плакала,— так мне было горько, что в первый только раз теперь я увидела ее! а она-то, словно чужая, корит мне свою дочь, которой уж и на свете давно не было; да ей не втолкуешь. И только тогда приласкала меня старуха и назвала своей внучкой, когда я ей подарила гостинцу: душегрейку да на сарафан. Вот уморила-то меня! кажись, уж чего? старая, руки дрожат, нет! а туда же, точно молодая: тотчас и ну рядиться, любоваться, показывать старику обновку, всем соседкам хвастать стала и говорить: „Глянь-ка, какой гостинец внучка привезла, а вон, небось, и родная дочь ничего не присылает и знать не хочет...“ Как ни старалась, не могла я ей вбить в голову, что уж нечего ей на свою дочь жаловаться: ее и в живых нет давно. Нет! старуха моя, как чуть рассердится, сейчас ну мою мать корить.

Я за ней как за малым ребенком ходила; я ее в баню водила, по целым дням с ней сидела на печи. Она всё у меня обобрала: что ни увидит, сейчас ей подавай, а сама всё прячет. А когда все улягутся спать, она и ну разбирать свое добро и шепчет и гладит всякий лоскуток! Такой чудной старухи и не видывала я! вишь, положи я ей ластовицы красные в рубашку,— диви бы носила, нет, в старом сарафанишке ходит, а что получше — лежит. „Бабушка, да носи! ну куда беречь-то тебе?“ — скажешь ей, бывало, а она рассердится и кричит: „Что ты меня учишь! а по праздникам-то мне что носить? меня, горемычную,

дочь бросила и знать не хочет; кто же мне-то подарит?“ Я захворала: видно, с непривычки жить в избе; особенно ночью было тяжеленько: взвалят нам с бабушкой ребятишек малых, внизу старик да Артамон с женою, да еще сродники какие-нибудь. Ну просто хоть вон беги. А и еда незавидная! Всё грязно, щи да каша, и горшок-то от святой и до святой не вымоют. Да и то, признаться сказать, некому и хозяйничать. Артамон день на работе, а жена, если дома, прядет. Старуха моя избаловалась, давай ей подарков всякий день, а я уж всё прожила, обдарила всех; у самой ничего не осталось. Я стала шить из лоскутков что попало и тем кормила себя и бабушку, которую Артамон уж держать не хотел: „У тебя есть,— говорит,— внучка, пусть она тебя и кормит“. Старуха начала совсем из ума выживать; целый день ворчит на меня,— то не так, другое не так. Поди ищи у нее в голове, когда нужно работать; жалуется всем, что у ней внучка недобрая. Просто замучила меня! Я, признаться сказать, стала скучать об Кате, да наконец и задумала ехать в Питер; сказала бабушке. Господи, господи! что за вой подняла моя старуха, словно покойника хоронит. „Ты,— говорит,— на кого меня бросишь? да кто меня, горемычную, в баню сведет? кто накормит? и умру-то я — некому будет в гроб положить; и бросила меня родная дочь и знать не хочет свою старуху мать!“

„Ну что,— думаю,— в самом деле, пожалуй, умрет без меня“. Не захотела еще на душу греха брать — осталась. А сама написала к одной знакомой, чтоб она дала мне весточку об Кате. И получила ответ».

Дарья встала, подошла к комоду и долго рылась; наконец она принесла Полиньке засаленную бумажку, которая почти распалась начетверо от времени.

Долго Полинька трудилась и только могла разобрать: «Катерина Белкова была больна... умерла... дочь... осталась...»

— Не трудись, я помню, что написано,— заметила Дарья и продолжала:

«„Катерина Петровна Белкова умерла (ей, видишь, прозванье было Белкова, а тебя, уж видно, по крестному отцу Климовой прозвали), у нее осталась дочь, которую взяла из жалости соседка ее, Марья Прохорова“.

Я свету божьего невзвидела! вот уж поплакала; так меня и тянуло в Питер,— и опять думаю: ну а как кару-

ху бросить? Думала, думала, и послала письмо Марье Прохоровой. Уж я ее молила, молила, как могла, чтоб она держала пока дочь Катерины Белковой, что я заплачу ей за всё, только приеду в Петербург. Она мне пишет... да это-то вот письмо злодею горбуну и продала я.

Я, пишет, призрела этого ребенка из жалости, мне, говорит, отдан был также какой-то ребенок, и не простой, слышала я; девочка такая нежная, и образок богатый на шее. Обещали много денег, да мало дали. Я держала ее, думала, авось еще мать аль отец опомнятся да заплатят. На ту беду корь: она и умри! Образок на шее у ней был, я надела его сиротке, дочери Катерины Белковой Палаше. Авось, может статься, мать покойной-то девочки отыщется, так хоть этой счастье будет. Так вот, пишет, не нужно мне твоих денег, я взяла ее по доброму сердцу и так прокормлю ее. Вот какое письмо было»,— заключила Дарья.

— Так это-то письмо продала ты горбуну? — спросила Полинька.

— Да, да, голубушка ты моя!

Полинька поняла печальную ошибку, по милости которой так долго жила у Бранчевских в неопределенном и томительном положении.

Дарья продолжала:

«Старуха моя стала хилеть и уж с печи не вставала; словно малый ребенок сделалась: разложит лоскутки около себя да и играет ими. Раз ночью она меня будит. „Даша, а Даша, касаточка?“ — „Ну что, бабушка?“ — „Да дай мне, лебедушка, твои серьги“.— „На что тебе ночью-то?“ — „Дай, голубушка моя, дай...“ И стала хныкать. Я дала ей: думаю, пусть себе тешится старуха. Она обрадовалась, ворочалась долго возле меня; я заснула... Утром встаю, сошла с печи, вижу, бабушка закуталась и спит. Только заварила я ей чай, жду, кричу: „Пора вставать, бабушка!“, нет, всё спит моя бабушка; я взлезла на печку, стала будить ее, да чуть не упала вниз со страху. Старуха моя лежит и глазом не мигнет; на шее мои бусы, одна серьга надета, а другая сжата в руке, лоскутками увешала себе голову... и страшно и смешно было на нее смотреть. Я похоронила ее, поплакала и стала собираться в Петербург. Денег, что были у старухи, не нашла, все уголки обыскала; старуха, видно, так их запрятала, что никому они уж и не достанутся.

Первым делом, что я приехала в Питер, разумеется, было искать Марью Прохорову. Я уж ее искала, искала ровно с месяц — насилу нашла следы, да толку мало было. Она умерла, а ребенок, что у ней был, бог весть куда девался! Тебе тогда так около пяти лет было, что ли,— кажись, так; я, бывало, иду, да как увижу девочку таких лет, кинусь к ней и ну глядеть: всё думаю, не ты ли? не узнаю ли я? Кажись, кабы я тогда тебя увидала, сейчас бы признала. И волосы-то точно ее, а глаза совсем как у дяди!»

И Дарья с какими-то странными ужимками заглядывала в лицо Полиньки, смеялась, плакала и бормотала несвязные слова. Полинька, тронутая историей своих родных, тоже заплакала. Дарья пришла в отчаяние; она забегала по комнате и била себя в грудь, повторяя:

— И она тоже плачет от меня! Господи, господи!

Полинька перестала плакать и поспешила успокоить старуху, которая впала в другую крайность: она заливалась смехом, подпрыгивала, говорила без умолку, но бессвязно. Она обложила Полиньку старыми платьями, салопами, перьями, наколола на ее простенькую шляпку измятых цветов и любовалась ими. Наконец она вскрикнула:

— Ах ты, господи! да что же это я ей портрета не покажу!

И Дарья кинулась к комоду. Бережно принесла она к Полиньке какой-то узелок, завязанный в пестрый платок, дрожащими руками развязала его и сказала:

— Вот этот платок твоего дяди; он в последний день своей жизни спросил его; говорит: «Дай мне, Катя, повязать горло».

Из платка посыпались краски и кисти.

— А вот его краски,— продолжала Дарья и усердно стала разматывать полотенце.

Развернув его, она вынула небольшой портрет, взглянула на него и дико засмеялась:

— Смотри-ка! — сказала она, подавая его Полиньке, каким-то строгим голосом.— Смотри-ка, какие глаза-то у меня, смотри! а волосы? не хуже твоих! а?

И Дарья выдернула из головы у Полиньки гребенку: густые черные ее волосы рассыпались по плечам... Дарья забила в ладоши и стала смеяться.

Полинька с жадностью смотрела на портрет молодой женщины, очень красивой собой. Она была одета в белый

капот, а в ее черных волосах была белая роза. Чем пристальнее смотрела Полинька на портрет, тем более оживлялись черты прекрасной женщины, так что Полинька вздрогнула.

— Это портрет моей матери? — спросила она.

Дарья жадно следила за Полинькой, пока та рассматривала портрет, и самодовольно отвечала:

— Это я, это я, голубушка моя! а-ага! не верила мне... ишь, какие у меня брови-то!

И Дарья выхватила портрет из рук Полиньки, поставила его на пол у комода, сама стала в угол и, припавши на пол, смотрела на портрет, улыбалась ему, кивала головой и делала ручкой.

Полинька вздрогнула; ей стало страшно, она окликнула Дарью. Дарья погрозила ей и по-прежнему стала смотреть на портрет. Долго она оставалась в таком положении, потом вдруг вскочила, спрятала проворно портрет, закуталась в простыню, сбросила с себя чепчик, распустила свои длинные седые волосы, достала какой-то смятый цветок и воткнула его в голову; долго она охорашивалась, наконец подошла к Полиньке и спросила:

— А что? я похожа теперь на портрет?

И, не дождавшись ответа, она села в угол и осталась неподвижно.

Полинька испугалась. Она видела, что старуха сильно расшевелила тяжелые воспоминания, что этот портрет, которого она не видала около тридцати лет, произвел болезненное впечатление на несчастную. И перепуганная Полинька кинулась к шарманщику. Скоро собрались все, стали окликать рябую старуху; но она не говорила ни слова, не шевелилась, не мигнула глазом. Наконец через четверть часа старуха поднялась на ноги и сказала:

— Ух, устала!

Она сняла цветок, надела чепчик. В ее лице и в движениях заметно было изнеможение.

— Ну что вытаращили на меня глаза? — сердито крикнула она на шарманщика и его жену.— Не видали, что ли, как пишут портреты? надо сидеть смирно, а вы меня кличете! Ну разве можно поворачивать голову во все стороны? глупые!

Глаза ее были дики, она улыбалась поминутно и, забравшись на постель, тоскливо запела:

Ах, скажи, зачем меня ты полюбила...

Полинька кинулась к жене шарманщика и в отчаянии вскрикнула:

— Ах, боже мой, боже мой! Она с ума сошла!

Глава X

ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ, КТО БЫЛ МЛАДЕНЕЦ, ПОДКИНУТЫЙ 17 АВГУСТА 179* ГОДА БОГАТОМУ ПОМЕЩИКУ

После тонкого обеда и только что расставшись с друзьями, Тульчинов сидел в креслах, покуривая сигару; его полное и немного раскрасневшееся лицо выражало столько спокойствия и довольства, что каждый бы мог позавидовать ему.

Перед ним стоял повар с глубокомысленной думой на челе; он соображал обед к завтрашнему дню. Тульчинов на сытый желудок делал оценку каждому предложенному блюду. Если он чувствовал влажность на языке при каком-нибудь кушанье, то утверждал его на завтра.

— Ну, Артамон Васильич, у нас, кажется, обед-то формируется на аглицкий манер,— сказал он.

— Да-с! уж росбиф будет деликатный! — отвечал Артамон Васильич с гордостью.

— Ну а суп?

— А ла тортю-с!

— И-и-и! ты думаешь?

Тульчинов закрыл глаза и с минуту пребывал в этом положении, а повар не сводил с него глаз и нетерпеливо ждал решения.

— Да, хорошо! пожалуй! — нерешительно проговорил Тульчинов.— Ну а третье блюдо? — спросил он вдруг.

Артамон Васильич поднял кверху глаза, будто искал вдохновения.

Но в эту самую минуту поднялся в передней страшный шум и говор. На лице Тульчинова изобразилась досада, и, глядя на повара, продолжавшего искать вдохновения, он нетерпеливо спросил:

— Какой же соус?.. Экие! позаняться ничем не дадут.

Вдруг Яков, против своего обыкновения, с шумом распахнул дверь и, запыхавшись, радостным голосом сказал:

— Из деревни нарочный прислан!

Трудно вообразить, как сильно подействовали эти слова на Тульчинова и на повара; они, лукаво улыбаясь, с минуту безмолвно глядели друг на друга.

— Что, а? как нарочно, к жаркому, верно, свежая дичь! — радостно воскликнул Тульчинов.

— Не молочничек ли? — с восторгом заметил повар.

— Прикажете Федора сюда позвать? — спросил Яков.

— Зови, зови сюда! — самодовольно потирая руки, отвечал Тульчинов.— Нет,— продолжал он, сгорая нетерпением,— сам пойду!

И старик вскочил и пошел к двери. Приезжий Федор, с красным лицом, в нагольном тулупе, в длинных сапогах, был окружен детьми, женщинами, кучерами и лакеями; все в один голос делали ему вопросы: кто про корову свою, кто про знакомых, кто о матери, кто об отце.

Федор вертел голову во все стороны и не знал, кому отвечать; Тульчинов, появившись в прихожей, вывел его из затруднения; в минуту он остался один. Федор отвесил низкий поклон своему барину.

— Ну, здорово, здорово! — сказал Тульчинов.— Что? всё ли благополучно?

— Слава богу-с, всё благополучно у нас! — с новым поклоном отвечал Федор.

— Что, Филипп Филиппыч прислал?..

— Да-с, изволили прислать к вашей милости.

Федор озабоченно сунул руку за пазуху, бережно вынул из кожаного большого мешка пакет и с поклоном подал его барину. Тульчинов подозрительно осмотрел пакет.

— Вот и письмо к вашей милости от Филиппа Филиппыча,— сказал Федор, подавая письмо.

— Ну а еще чего-нибудь прислали с тобой?

— Никак нет-с... я-с на почтовых.

— Это что значит? — с удивлением спросил Тульчинов.

— Не могу знать-с, Филипп Филиппыч приказал-с.

Тульчинов тяжело вздохнул и сказал:

— Ну, накормите его хорошенько, пусть поживет в Петербурге.

Федор поклонился.

— Посылать нарочного — и не прислать ничего! — с грустию сказал Тульчинов, обращаясь к повару, стоявшему позади.— Нехорошо, право, нехорошо!

Повар печально покачал головой, будто совершенно соглашаясь с мнением своего барина. Воротившись к себе

в кабинет, Тульчинов уселся в кресло и нехотя распечатал письмо своего управляющего Филиппа Филиппыча:

«Ваше высокоблагородие! По милости божией, всё у нас обстоит благополучно. Простите великодушно, что никакого гостинца не прислано: вы ниже увидите причину. Я по делу был в городе, как за мной прислала повивальная бабка Авдотья Петрова Р***. Я нашел ее на смертном одре, то есть на краю гроба! Она немедленно требовала переслать вашей милости какие-то важные бумаги; я снарядил при мне находившегося Федора...»

Тульчинов далее не читал письма. Он бросил его на стол и поспешно распечатал пакет от Авдотьи Петровой Р***. Писала она в своем письме следующее:

«Я чувствую, что конец мой близок... облегчите великую грешницу и помогите ей загладить преступление, которое она так долго скрывала. Тридцать четыре года тому назад, августа 17 числа, в девять часов вечера, в сенях вашего дома был подкинут младенец мужеского пола, с письмом несчастной матери, которая умоляла вас призреть сироту; собственными руками положила я младенца, только что родившегося, в ваших сенях. Вы, как христианин, исполнили свой долг — воспитали сироту; но где он теперь? и что с ним? Да поможет вам бог соединить сына с отцом. Да! я страшная грешница: лишила его, по просьбе несчастной матери, законного отца. По адресу на моем письме к отцу вашего питомца вы отыщете его и снимите с моей души тяжкий грех. Духовную мою прошу вас передать тому, кого я лишила отца; если же мой грех так ужасен, что кто-нибудь из них уже умер, то прошу вас передать ее наследникам вашего питомца; знаю, что старый домишко, может быть, вместе со мной рухнется, но всё-таки земля стоит хоть что-нибудь. Вот намедни у исправника торговали его бывший огород и очень выгодно давали. Земля здесь дорожает.

Сжальтесь над бедной страдалицей, которая на смертном одре молит вас помочь ей очистить свою грешную совесть. С низким почтением пребываю и проч.

Авдотья Р***».

По мере чтения лицо Тульчинова хмурилось всё сильнее и сильнее; но когда он прочел адрес письма Авдотьи Петровны к отцу его питомца, он пришел в страшное волнение; тотчас же приказал давать одеваться, закладывать лошадей и, расхаживая скорыми шагами по комнате, повторял:

— Боже! какой случай, какой случай!

Однако ж как ни был он встревожен, а не забыл, что обед не был еще заказан.

— Ну, Артамонушка, скорее, ну, соус! — говорил он, одеваясь.— Скорее! — кричал он в то же время и Якову, а потом восклицал: — Ну кто бы мог подумать?.. Ну а жаркое?.. Да что же ты? — чуть не со слезами спросил Тульчинов, заметив, что повар совершенно растерялся, щелкал пальцем за спиной и покусывал губы.

— Ну, шляпу! — и, надев шляпу, Тульчинов с упреком сказал повару: — Грех тебе на старости лет быть рассеянным, а еще ты знаешь, что первое достоинство талантливого повара — точность...

Повар готовился оправдываться, но Тульчинов поспешно вышел.

Действие переносится в серенький деревянный домик в переулке с бесконечными заборами. Горбун сидел в своем кабинете, у стола, обложенный бумагами и счетами. Он радостно потирал руками, поглядывая на итоги подведенных счетов. Но понемногу лицо его начинало омрачаться, и, облокотясь на стол рукою, он задумался. О чем? о Полиньке! других мыслей он не имел с той минуты, как задумал обладать ею. И чем более являлось препятствий, тем сильнее кипело в нем упорное и невольное желание достичь своей цели. Он углубился в самого себя и, спрашивая свою совесть, не мог не сознаться, что все его поступки против нее были низки, бесчеловечны, что всех слез, пролитых ею с той минуты, как они познакомились,— он один причиною! Горбун вздрагивал при этой мысли и, будто оправдываясь перед кем-нибудь, бормотал: «Сама виновата! зачем ты дала мне почувствовать в первое время нашего знакомства, что меня можно терпеть? зачем ты приняла участие в моем одиночестве? зачем мне дала почувствовать своей чистотой сердца всё, что во мне было гнусного?» Горбун тихо засмеялся и взял листок газеты, где было публиковано, что купец Василий Матвеев сын Кирпичов оказался несостоятелен и что на днях товар и имущество его будут продаваться с аукционного торгу,

Горбун в сотый раз прочел эти строки и, не спуская с них глаз, сказал:

— Ну, теперь посмотрим, упрямое дитя! Тебя выгнали, ты голодна, тебе некуда голову преклонить, тебя все оставили, жених бросил, не пишет больше! а несчастная твоя подруга с голодными детьми проклинает тебя! хе-хе-хе!.. Нет, нет! я разве умру, так прощусь с мыслью моей видеть тебя у моих ног. Да! и будешь ты меня целовать, миловать...

Горбун побагровел и склонил голову на стол. Много выстрадал он от своей дикой страсти; злобная его натура не могла и не хотела обвинять самого себя, он приписал всю вину Полиньке и тем свирепее ожесточился против нее и мстил ей за пренебрежение его любви. Оставшись один в небольшой комнате на Козьем болоте, он, не притворяясь, слег в постель от злобы, что ему помешали исполнить давно преследуемый план. Он упал духом и уже готов был отказаться от своих видов на Полиньку, как вдруг странное стечение обстоятельств крепко связало судьбу Полиньки с его интересами. В доме, куда он же поместил ее через Анисью Федотовну, в надежде, что она испытает там много горя и унижения, Полинька нашла ласку и покровительство, живет в довольстве... Но она в его власти, судьба ее у него в руках... он торжествует! Дни и ночи разыскивает он тайну рождения Полиньки, очевидно связанную с другой роковой тайной, глубоко хранимой, но известной ему. Сначала он сам сомневался в успехе своего дела, но случай всё рассказал ему. Дарья в кругу своих многочисленных кумушек часто вспоминала о Кате, о Палаше — ее дочери, которая исчезла бог весть куда. Много денег передавал горбун, много обегал разных старушонок, пока наконец напал на след лоскутницы, в руках которой была разгадка тайны. Овладев наконец ею, он хладнокровно придумал зверский план. Сначала угрозами и обманом хотел склонить Полиньку принадлежать ему, а уж потом ему нетрудно было бы держать ее всю жизнь в своей власти, имея в руках тайну ее рождения. Полинька осталась верна себе, и он решился мстить! Месть была довольно жестокая. Из довольства Полинька впала вдруг в нищету; притом тайна, думал он, осталась неизвестна ей: она, верно, плачет и терзается, считая Бранчевскую своей матерью. Пусть плачет! пусть терзается! чем больше узнает она нужды и горя, тем скорей поймет свое безрассудство, раскается...

Так думал горбун. Размышления его были прерваны приходом Харитона Сидорыча, бывшей правой руки Кирпичова. Перечумков, против обыкновения, был весел; опухлое лицо его слегка опало.

— Что? — сказал горбун после первых приветствий, указывая на газету с именем Кирпичова.— Выпустили из тюрьмы, поотдохнул там от кутежа! хе-хе-хе!

— Да что, Борис Антоныч, внесите кормовые — опять поступит! полно скупиться! поживились-таки от него, не жаль и кормить... ха! ха! ха!

Долго и отвратительно смеялись они. Наконец Правая Рука униженно сказал:

— Ну, батюшка Борис Антоныч, изволили видеть мою усердную службу, довольны ею? Право, чего у вас понапрасну кладовые-то книгами завалены? начните, подумавши,— и его книги скупить можно. Как откроете магазин, так я день и ночь буду стараться, рубль на рубль пользы представлю. Я уж знаю всё, как следует делать, чего хочет публика... в ваших руках будет вся книжная торговля!

Горбун лукаво глядел на Правую Руку, барабаня пальцем по столу.

— Ну а зачем же ты свой-то магазин не повел так? хе-хе-хе!

— Что говорить, Борис Антоныч,— отвечал Перечумков,— дело прошлое, молодость... глупость.

— Хе-хе-хе! молодость! ох мне эта молодость! Ну, мы еще поговорим после; я ведь толку в книгах не знаю!

— Уж будьте покойны,— с жаром перебил Правая Рука,— я поведу дело на славу, не ударю себя лицом в грязь; вам ничего и не нужно знать; только счета будете пересматривать.

— Хорошо, хорошо! ну а что, его жены не видал?

— Видел вчера. Забилась, сердечная, бог знает куда, за Тучков мост; домишко еле держится...

— Что, плачет?

— У, как горько! я пришел, она и ну меня проклинать: вы, говорит-с...

Правая Рука остановился.

— Ну, говори, говори! — подхватил горбун, усмехаясь.— Небось, бранится? известно, коли баба разозлится, не жди хорошего!

Правая Рука, улыбаясь, продолжал:

— Вы, говорит, с этим... Добротиным погубили нас,— и Василья Матвеича, и меня, и детей наших по миру пустили!

— Хе-хе-хе! А что, о ней не упоминала? а? — спросил горбун.

— Нет.

— Так если опять поедешь, скажи, знаешь, мимоходом, что она у меня сидит: вместе, дескать, счета сводят.

— Хорошо-с, извольте... ну а насчет магазина что же?

— Экой пристал! подожди, дай мне сообразиться, и денег нет столько! — сердито сказал горбун.

Правая Рука недоверчиво поглядел на него и, низко кланяясь, сказал:

— Так завтра понаведаться прикажете?

— Ну, зайди, зайди! да не забудь, так и скажи: что, мол, считает с ним. Хе-хе-хе!

Перечумков ушел, а горбун долго смеялся, потирая руки, как человек совершенно счастливый. Послышался стук в дверь, которая, впрочем, была полураскрыта; горбун вздрогнул.

— Войдите! — сказал он сердито.— Дверь не заперта.

На пороге появился гость, совершенно неожиданный, судя по удивлению горбуна. То был Тульчинов.

Горбун в смущении низко кланялся. Запыхавшийся Тульчинов сел у стола и, указывая горбуну на его прежнее место, сказал:

— Сядь, братец. Я пришел переговорить с тобой по важному делу; ты устанешь стоять.

Горбун пугливо поглядел на него: он вспомнил, по какому важному делу с год тому назад Тульчинов уже приходил к нему.

— Ну, скажи мне, ведь ты был женат? а?

— Был-с! — свободно вздохнув, отвечал горбун.

— Это было лет тридцать с лишком назад?

— Так-с точно, с лишком тридцать лет.

— Ты жил тогда в У** губернии?

— Так-с.

— И женат был всего около году?

— Да-с,— отвечал горбун, пытливо поглядев на Тульчинова и сделав смиренную физиономию,— бог лишил меня молодой и очень доброй жены.

— У тебя были дети?

— Нет-с... Но позвольте узнать, для чего вам желательно знать...

— Нужно! — лаконически отвечал Тульчинов и, вынув из кармана письмо, заглянул в него.

— Ты много мучил свою жену? — спрашивал он.— Ты оскорблял ее низкими и несправедливыми подозрениями, когда она была беременна? она уехала от тебя?

— Господи! кто вам таких ужасов насказал? мы жили дружно и согласно.

— Лжешь!

Горбун вздрогнул.

— Говорю тебе, что ты лжешь! Говори всю правду. Теперь поздно и бесполезно, да и трудно скрыть от меня истину.

— Она... она, знаете, капризная была; но я с ней хорошо обходился,— запинаясь, начал горбун.

— Отвечай на мои вопросы! Ты довел ее до того, что она бежала от тебя?

Горбун почти незаметно кивнул головой.

— Ты ее нашел уже при смерти больной?

— Да, она по неопытности поехала на телеге беременная... и выкинула, а потом и сама умерла скоро.

Тульчинов задумался; в комнате было тихо; горбун не спускал глаз с своего гостя.

— Ну, не знавал ли ты,— спросил вдруг Тульчинов,— не встречал ли купца по прозванию Кирпичова... вот еще магазин книжный...

— Уж опечатан и будет скоро продаваться с аукциона! — радостно подхватил горбун.

— Знаю,— сказал Тульчинов, покачав головой.— Он на днях приходил ко мне и просил денег, сумму очень большую, чтоб удовлетворить одного своего кредитора, самого главного и самого неумолимого... Уж не ты ли?

— Он-с человек-то ненадежный, извините-с! извините-с! — сказал горбун, усмехаясь и потирая руки.

— Знаю! — сказал Тульчинов.— Я его лучше тебя знаю. Послушай. В 179*, когда я был в своей усадьбе У ** губернии, вечером подкинули мне младенца. Я принял его; когда он подрос, я велел управляющему учить его. Потом я уехал за границу. Приезжаю: он уж взрослый малый. Я рассчитал, что купеческая карьера для него самая лучшая, и поместил его на первый раз в приказчики, в ближайшем городе Ш*, к купцу Н*. С той поры я потерял его из виду. Только стороной доходили до меня слухи, что он уже открыл свою лавку, и я радовался за него. Наконец несколько лет тому назад появился здесь книж-

ный магазин. Я узнал, что этот магазин принадлежит моему прежнему воспитаннику, которого я по имени его крестного отца, моего управителя, назвал Кирпичовым. Я слышал о нем много дурного и, признаюсь, радовался, что он забыл меня. Но, наконец, недавно он являлся ко мне и умолял спасти его от гибели. Я отказал ему, думая, что лучше будет помочь его несчастной жене и детям.

— Да-с! трое малюток, жена! и ведь весь капитал-то почти ее был,— соболезнуя, сказал горбун.

— Но не в этом дело. Есть ли надежда спасти его, поправить его дела? — строго спросил Тульчинов.

— Нет, никакой-с! — радостно отвечал горбун, покачивая головой.

— Ты его главный кредитор?

— Я-с.

— Я уверен, что ты не очень чисто поступал в этом деле. Слушай, я... я прошу тебя, уладь дело как можно скорее; это твоя личная выгода, да! пойди, прими участие, поправь дело; он слишком озлоблен против тебя, пойди помирись с ним! — растроганным голосом сказал Тульчинов.

Горбун тихо засмеялся прямо ему в лицо и, пожимая плечами, сказал:

— Как же это можно! я уж и так много потеряю, а то еще мириться; да вы изволите шутить!

Тульчинов стиснул зубы и протяжно сказал:

— Черствая душа! я стану шутить, когда человек гибнет, когда его жена, может быть, призывает проклятия на твою голову, может быть, она теперь говорит своим детям, что ты убийца их отца!..

Тульчинов пришел в сильное волнение. С отвращением взглянув на нагло-спокойное лицо горбуна, он продолжал более спокойным голосом:

— Час твой пришел. Я хотел приготовить тебя к раскаянию, но ты сам отвергнул его. На, читай, читай!

И Тульчинов подал все письма, привезенные ему час тому назад Федором.

Горбун тревожно взял письма, долго он не решался читать, искоса поглядывая на Тульчинова, который ходил по комнате.

Читая письмо к Тульчинову, горбун всё еще усмехался; но когда прочел он письмо, адресованное ему Авдотьей Петровной Р***, лицо его сделалось страшно, он задрожал и упал на стул.

— А! — сказал Тульчинов.— Ты не ожидал такой кары за свои дела! Бог справедлив! я пожалел тебя: я хотел сначала помирить вас, а уж потом объявить тебе страшную тайну. Но теперь поздно!

— Я не верю, это обман! это подлог! меня хотят разжалобить! — воскликнул горбун, впиваясь своими сверкающими глазами в лицо Тульчинова.

Тульчинов спокойно вынул из портфеля маленькую записку и, подавая ее горбуну, сказал:

— На, читай и смотри, чья рука?

Заглянув в записку, горбун дико вскрикнул и закрыл лицо руками; потом он схватил ее и как помешанный стал читать. Поминутно протирая глаза, то всхлипывая, то делая угрожающие движения, он прочел дрожащим голосом:

> «Всем, что для вас есть святого, заклинаю вас, призрите сироту; он законнорожденный, но страшные обстоятельства заставляют мать просить вас заменить этому несчастному ребенку родителей. Я уверена, что он будет счастлив, если вы не отвергнете его. Об этом умоляет вас умирающая мать...
>
> 179*, августа 17».

С последним прочитанным словом голос его замер, рука ослабла, роковая записка упала. Тульчинов с невольным трепетом наблюдал, как постепенно мертвело лицо горбуна, как проникалась каждая черта его глубоким страданьем. Он молчал, но Тульчинову слышались стоны, которыми, казалось, хотело и не могло разрешиться пораженное и убитое сердце несчастного отца; глаза его были сухи, но не так были бы страшны они, если б хлынули из них целые реки слез.

— Бог наказал меня! — наконец тихо произнес горбун и упал лицом на стол.

Стоны безотрадного отчаяния наполнили комнату. Всё, чем ныло теперь потрясенное сердце, высказалось в них. Он вечно был чужд всему миру, и мир был чужд ему. Узы любви и братства были ему неведомы, и ни однажды в жизни не было согрето его сердце теплым участием, искренней привязанностью. Для него в целом мире не билось ни одно сердце. Он имел только врагов, и сам был враг всем. А между тем и для него возможны были радости участия и любви. Но очерствелое, озлобленное сердце

не подсказало ему, что губит он родное детище, что восстановляет, ожесточает он против себя единственное существо, которое не погнушалось бы его безобразием, не посмеялось бы над его чувством!..

. . . .

— Кажется, и для него настала минута раскаяния,— сказал Тульчинов, прислушиваясь к отчаянным стонам горбуна.

Долго рыдал горбун, наконец вскочил с необыкновенной живостью и кинулся к своему бюро, отпер его, выдвинул все ящики; дрожащими руками брал он деньги и набивал ими карманы. По его бледному лицу текли слезы.

— Ты лучше спеши обнять своего сына и его детей, а деньги понадобятся после,— сказал Тульчинов.

Ничего не отвечая, горбун с такою скоростью последовал его совету, что Тульчинов едва догнал его.

Как только они ушли, рыжая голова показалась в дверях и стала осматриваться. Медленно, осторожно вошел в комнату Волчок и прямо кинулся к раскрытому бюро.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ИСТОРИЯ ГОРБУНА

Глава I

РОЖДЕНИЕ

Воображение читателя должно перенестись в эпоху отдаленную, к событиям, давно прошедшим, которые бросят яркий свет на действия и судьбу многих лиц нашей истории. Мы сожмем эти события в самую тесную рамку, не касаясь особенностей той эпохи, так как наш роман относится собственно к времени, гораздо позднейшему. Будет передано только самое существенное и необходимое.

К делу!

С лишком три четверти века назад тому в одной из дальних губерний России, посреди лесов и необозримых полей, на большой горе, стоял одинокий, неуклюжий и огромный каменный дом. Стены его почернели, крыша местами провалилась, маленький балкон грозил каждую минуту обрушиться,— всё представляло печальную картину запустения. Заглохший сад с прихотливыми затеями расстилался на большое пространство и соединялся с лесом. Не видно было дорожек: густо разросшиеся кусты акаций скрыли их под своими сучьями, которые дружно переплелись на свободе. Беседки, каскады превратились в настоящие руины; забор, отделявший сад от леса, во многих местах повалился, предоставляя свободный вход каждому. Внутри дома, как и снаружи,— тоже запустение; по пустым огромным залам с хорами разгуливали крысы; их писк, их тяжелая поступь раздавались эхом по всему дому. Мебель, обезображенная молью, придавала пышным хоромам жалкий вид. В простенках от полу до потолка висели запыленные зеркала, тускло отражая в

себе картину тления. Большие картины в массивных рамах иные попадали со стен и лежали на полу, другие висели боком. Стеклянные люстры, опушенные пылью, уныло покачивали своими стеклышками от ветру, врывавшегося в разбитые стекла. Закутанные в холст огромные вазы, стоявшие по углам зал, походили на надгробные изваяния.

Обширный двор, поросший травою, был огорожен со всех сторон забором; местами сквозь него виднелись почернелые избушки дворни, а за людскими, под горой, в довольно большом расстоянии, чернелась сплошная масса изб. В полуразвалившихся и почернелых службах хранилось предание о барском доме, некогда кипевшем полною и роскошною жизнию. Но давно уже господа покинули его, а поселился в пустынном доме, как рассказывала вся дворня от мала до велика, какой-то сердитый старик с заступом: он всюду рылся, отыскивая клад, и производил своим заступом страшный шум.

И много лет простоял в запустении старый дом, тихо и незаметно проходила жизнь нескольких поселившихся около него стариков и старух с своими ребятишками... Вдруг всё оживилось! Явился управляющий, стали полоть двор, в доме началась чистка и починка; но скоро увидели, что для поправки всего дома требовались издержки огромные. Запустелый дом оставили в прежнем покое и решились поправить только флигель, который, впрочем, был так обширен, что в нем могло поместиться не одно семейство. Наделали заплат и подпорок, расчистили несколько сажен сада перед окнами, отделив остальное забором, и стали ждать господина, которого не видали уже несколько десятков лет.

Он не замедлил приехать и был встречен радостными криками.

Григорий Петрович Бранчевский (так его звали) был уже средних лет, высок, полон, с угрюмым, но добрым лицом. Вотчины у него были обширные; его знали и уважали во всей губернии. Он служил при дворе и, подобно своему отцу, никогда не вел счета ни своим доходам, ни долгам. Получив отцовское наследие с достаточным долгом, он не только не уплатил его, но удесятерил. Наконец явилась необходимость умерить расходы. По самолюбию и тщеславию, он не хотел сделать этого в столице и решился лучше удалиться в деревню, чтоб собраться с силами и зажить по-прежнему.

Многочисленная праздная дворня ожила; клеветы, сплетни, разные мелкие козни одушевили людские, так долго жившие самой бедной и сонной жизнью. Комнатные лакеи гордо расхаживали по двору и с презрением смотрели на своих остальных собратов. Завистъ поселяла раздор в семействах. Предметом всеобщей зависти была в особенности красивая дочь старика дворецкого Наталья. Ситцевое новое платье, серьги, бусы, появлявшиеся на ней, порождали страшную злобу в людских, преимущественно между женским полом. Имя Натальи иначе не произносилось, как с бранными прибавлениями, но только втихомолку: в глаза все льстили ей, зная, какое влияние могла иметь она на своего отца. Скоро явился новый повод к толкам, а потом и к зависти: у Натальи родился сын, который тотчас, как немного подрос, получил право бегать по барским комнатам. Житье Наталье было привольное; но не впрок оно шло ей! Жажда власти, ежеминутный страх потерять ее не давали ей покою ни днем ни ночью; она даже имела шпионов, которые доносили ей всё, что говорилось и делалось в застольной, где во время обеда и ужина толкам о господах не было конца.

Вдруг дворня повеселела; лакеи и горничные шепчутся, старику дворецкому за спиной делают гримасы, даже громко бранят Наталью. Причина общей веселости и смелости заключалась в том, что барин, прежде сидевший дома, стал каждый день ездить к своей соседке по имению, девице лет под тридцать, круглой сироте, с огромным состоянием.

Через несколько месяцев Наталья стояла под венцом с Антоном буфетчиком. Несмотря на шелковое платье, невеста горько рыдала; вся дворня, даже многие крестьяне присутствовали при церемонии. Наталья не подымала глаз с полу, ее била лихорадка. Буфетчик Антон занял место своего тестя, а старика дворецкого сделали помощником управляющего.

Проницательная дворня чего-то ждала, и не ошиблась. Еще через несколько месяцев в доме поднялась страшная суматоха: сундуки вытаскивали из кладовых, проветривали белье, выколачивали мебель, перины и подушки, чистили серебро, выносили и поправляли мебель из огромных необитаемых зал. Тюки привозили с почты; гонцы скакали в город за разными покупками. С утра до ночи стучали столяры и плотники, ковали кузнецы, занятые починкой экипажей; всё суетилось и работало. Может

быть, в первый раз после долгой праздности дворня была занята; смех, болтовня смешивались с криками управляющего и разносились по пустому дому. Всё ожило.

Наконец настал день свадьбы; старое, полуразрушенное здание затрепетало от подъезжающих экипажей. Весь флигель ярко горел, резко отделяясь от мрачного дома и бросая на него странные тени. Гул музыки, говор людей на дворе, ржание лошадей приводили в страх привыкших к тишине. Часть прислуги озабоченно суетилась и перебегала по двору; остальные облепили окна, любуясь новой госпожой. Крестьяне бродили вдали около дома, уставленного плошками, останавливались группами, перекидывались отрывистыми замечаниями и расходились; дети плясали около плошек, причем их белые всклокоченные волосы и грязные рубашонки свободно развевались; их звонкий крик далеко разносился по пустынным полям.

Посреди всеобщего веселья, в небольшой комнате, освещенной одной лампадой, висевшей у образов, на постели сидела Наталья, жена дворецкого, утонув в пуховиках; она тоскливо прижимала к своей груди спящего сына, глядела по временам на образ, шевелила засохшими губами, и слезы ручьями текли по ее бледным и впалым щекам.

Музыка грянула громче, огни как будто ярче вспыхнули, радостные крики гостей потрясли дом: поздравляли молодых!

Три дня праздновали свадьбу. Наконец пиры кончились. Прошел и медовый месяц. Молодая барыня вошла в права хозяйки дома и тотчас же обнаружила замечательную силу характера. Она потребовала счета, стала проверять расход и приход, каждый день бранилась с управляющим, и скоро всё было повернуто на другую ногу: кто был первый, тот сделался последним, и наоборот.

Строгая наружность Александры Степановны (так звали молодую барыню), рост, слишком высокий для женщины, гордая поступь и взгляд — всё в ней приводило в невольное смущение. Рожденная в богатстве, до крайности избалованная своими родителями, она имела характер властолюбивый и оттого именно так долго не находила достойного мужа. Богатые женихи, зная ее властолюбивый характер, не льстились ее богатством; а бедные не смели думать о такой гордой невесте. Наконец явился Бранчевский и не побоялся невесты, известной всем столько же по своему суровому характеру, сколько и по богат-

ству: он понадеялся на себя, потому что также имел характер настойчивый. Но он не расчел, что в мелочной домашней борьбе женщина с твердым характером всегда одержит победу. Когда же наконец опыт доказал ему эту печальную истину, он махнул рукой и дал жене полную волю, а сам со страстию предался охоте и проводил дни, а часто целые недели в отъезжем поле.

Бранчевская набрала множество горничных и надзор за девичьей вверила старой, костлявой и злой Матрене, бывшей своей няньке. Везде и всюду являлась Матрена: в людских она бранила своих господ, а вечером доносила барыне, кто что говорил о ней и что делается в дворне. Антона сменили; сделали дворецким племянника Матрены Петрушу. Бедный Антон, всегда имевший слабость к вину, с горя предался ему так сильно, что слег и скоро умер. Вдова его Наталья с каждым днем всё понижалась: из девичьей ее послали в прачечную, потом нашли, что она не способна мыть хорошее белье, и сослали ее в другую прачечную, людскую. Непримиримая вражда к Матрене закипела в ней; она не давала покою злой старухе, только одна из всей дворни отваживаясь противоречить ей и бранить ее. Дворня нарочно старалась разжечь досаду Натальи, а потом смеялась над бедной женщиной, в угоду ее врагу. Матрена грозилась извести Наталью. Им было тесно жить вместе. Злая старушонка не пропускала случая ударить или ущипнуть сына Натальи, которая в такие минуты выходила из себя и кидалась защищать ребенка.

Раз Наталья стирала, а сын ее играл под окном: вдруг раздался его плач; мать кинулась к нему, целовала его, обнимала и упрашивала сказать, о чем плачет; ребенок назвал обидчицу. У Натальи кровь бросилась в голову, она чуть не задохнулась от злобы. Матрена, всюду Матрена ее теснила! Наталья как безумная кинулась бежать по двору, завидев свою притеснительницу; Матрена укрылась в девичью, думая, что прачка не посмеет прийти туда; но Наталья забыла приказание барыни не являться на порог ее дома; она вбежала в комнату и, завидев Матрену, кинулась к ней и закричала:

— Ты ударила моего сына?

— Я! — отвечала Матрена, подбоченясь и с наглостью глядя на ошеломленную Наталью.— Ну, я ударила! велика важность твой щенок; я его не так еще оттаскаю,— вот что, да...— поддразнивая, хорохорилась Матрена.

Наталья вся дрожала, гнев душил ее, и она едва слышно спросила:

— А как ты смела его ударить?

— Вот тебе на!.. да я и тебя по роже ударю, если ты будешь здесь орать. Очнись! что буркулы-то вытаращила? Вспомни, где ты!

Девушки начали пересмеиваться между собою. Наталья схватила себя за грудь так сильно, что полинялое ее платье затрещало. Она бросала отчаянные взгляды на смеющихся девушек, потом вдруг кинулась к Матрене, ударила ее в лицо и закричала:

— Нет, извини, я прежде тебя побью!

Дикий плач наполнил девичью; присутствующие побледнели и начали уговаривать Матрену, но та только сильнее ревела.

— Беги, скорее беги! — говорили испуганные девушки, но разгоряченная Наталья всё забыла: она наслаждалась победой и высчитывала козни Матрены.

— Барыня, барыня! — в ужасе повторило несколько голосов.

Одна из девушек силой вытолкнула Наталью за дверь.

Барыня вошла в девичью.

— Что за крик? — грозно спросила она, озирая комнату.

Матрена повалилась ей в ноги и жаловалась на Наталью.

За беспорядок, произведенный в доме, Наталью послали полоть гряды и исполнять самые черные работы.

Бранчевский не знал ничего, что делалось в доме; его занимали только собаки и лошади.

Ветры и дожди осенние обнажили леса, превратили бесконечные поля в черные пласты грязи, обведенные лужами.

Небо серое, мутное; то мелкий, то крупный дождь; пронзительно воющий ветер... Наконец унылая картина быстро изменилась. Осень, будто устыдясь собственных дел, в одну ночь покрыла обнаженные леса и поля легким, пушистым снегом.

Было пять часов утра; мелкий снег продолжал порошить, как будто спеша застлать белой скатертью и остатки голой земли, рядами черневшие среди полей. Женщина в полушубке бежала по опушке леса, заботливо окутывая овчиной полусонного трехлетнего ребенка, наконец повернула в кусты и остановилась под защитой

трех елей, сохранивших свою зелень среди общей обнаженности. Она поминутно выглядывала из своей засады, наклонялась к земле и прислушивалась.

Ребенок плакал, и тогда она приходила в отчаяние, грозила ему, зажимала рот, убаюкивала...

Вдали на белом снегу что-то зачернело; женщина встрепенулась, приподнялась на цыпочки и, вся дрожа, напрягла зрение. Невдалеке показался Бранчевский верхом на казацкой лошади; он был в охотничьем платье, вроде польского кунтуша; трехугольная шапка, опушенная мехом, была надвинута почти на самые его брови; рог висел на его широкой груди, за плечами было ружье. Четыре борзые собаки дружно бежали за его вороной лошадью.

Он ехал задумчиво: снег на висках и усах придавал ему старческий вид.

За ним, в почтительном расстоянии, следовал стремянный.

Поравнявшись с тремя елями, лошадь Бранчевского фыркнула и кинулась в сторону; Бранчевский чуть не упал. В ту же минуту женщина с ребенком выскочила из-за одного дерева и кинулась под ноги лошади. Бранчевский вздрогнул и, сдержав лошадь, строго спросил:

— Что такое?

— Защитите сироту! — завопила женщина и подняла кверху ребенка, который захныкал и спрятал лицо свое на плечо ее.

— От кого защитить? — мрачно спросил Бранчевский.

— Матрена заела меня и сироту моего. Защитите, батюшка!..

И женщина снова упала в ноги ему и зарыдала.

— Встань! — повелительно сказал Бранчевский и, обернувшись, крикнул: — Эй!

Стремянный подскакал.

— Возьми сына у Натальи и отвези домой, да осторожней! потом воротись ко мне. А ты,— продолжал он, обращаясь к Наталье,— иди домой, я всё разузнаю.

И он рысью поехал по опушке леса.

Наталья отерла слезы, нежно поцеловала сына и подала его стремянному.

— Митя, голубчик, не урони его!

— Небось! — отвечал стремянный, усаживая ребенка на седло.— Ну что? — прибавил он таинственно.— Сердился?

— Кажись, нет; я, говорит, разузнаю.

— Ведь я тебе говорил, давно бы так!

И стремянный шажком поехал домой, а Наталья бежала за ним и переговаривалась, пересмеивалась с своим сыном, который гордо поглядывал на мать, держась своими маленькими руками за поводья лошади.

Толпа охотников встретила их.

— Что, брат Митрей, зайца, что ли, затравили вы? — спросил один.

— Нет, братцы, старую ворону Матрену доехали! — отвечал стремянный и приподнял ребенка над головой.

В толпе раздался хохот.

Воротясь с охоты, Бранчевский потребовал к себе управляющего и дал приказ ежемесячно выдавать харчи и одежду вдове и сыну дворецкого Антона. На другое утро он пожелал видеть сына Натальи. Мальчик был красивый и умный, мать умыла его, одела и, перекрестив, пустила в барские покои. Бранчевский поласкал его и дал ему синюю ассигнацию.

Матрена чуть не умерла с досады.

— Что это за вольность такая... беспокоить его милость! — говорила она в негодовании.— Точно с барским дитятей нянчится! погоди ты у меня, уж обрежут тебе крылья!

Матрена каждый вечер имела доступ к Бранчевской. В один из таких вечеров она подобострастно стояла в спальной у кровати своей барыни, лежавшей уже в ночном костюме, и тараторила:

— Вчуже сердце перевертывается, что это за народ такой стал нынче наш брат! И то нехорошо, и то неладно! Фу ты, господи! рожна, что ли, вам? — в негодовании сказала Матрена; глаза ее отуманились, и она продолжала слезливым голосом: — Лебедушка вы моя, раскрасавица, мое дитятко, ведь я всё вижу, ведь я плачу, плачу, да что станешь делать? Я вам скажу, моя барыня-сударыня, что ей ровного нет, вот как высоко нос дерет; и виданное ли дело — холопское дитя в горницу пускать! Вчера,— прибавила Матрена, наклонясь ближе к кровати и понизив голос,— вчера опять изволили дать красную.

Бранчевская быстро приподнялась, поправила подушку и снова легла.

Долго шли рассказы и расспросы; Матрена как соловей заливалась. Наконец Бранчевская начала зевать, тогда Матрена стала на колени и жалобно пропищала:

— Матушка, родная моя!

— Что тебе? — спросила барыня.

— Позвольте моему племяннику жениться на Оксютке, родимая!

И Матрена стукнулась лбом об пол.

— Нет, нет! я уж раз сказала, что из девичьей не позволю,— грозно отвечала Бранчевская.

Матрена поднялась, тяжело вздохнула и раболепно сложила руки.

— Иди!

Матрена перекрестила свою госпожу на воздух и на цыпочках вышла из спальни.

Сын Натальи всё чаще и чаще был призываем в комнаты. Бранчевский шутил с ним и даже ласкал его; в комнатах звали ребенка Борей, а в людских Борькой. Вдруг стали пропадать вещи из комнат; Бранчевская подняла шум и требовала удаления Борьки; но Бранчевский возразил, что ребенок слишком еще мал для воровства. Однажды со стола исчезли карманные часы, Бранчевская сделала обыск всей дворне. Матрена стонала и охала, что дожила до такого сраму; притащила свой сундук и высыпала всё свое тряпье у барских окон, приговаривая: «Пусть увидят, что у меня крохи нет барского!»

Через несколько дней, в то время как господа сидели за столом, вдруг вбежала Матрена с часами в руках и, задыхаясь, рассказала, что нашла их у Борьки в кармане.

Бранчевский выслушал недоверчиво и покачал головой; но его жена возмутилась и потребовала Борьку к допросу. Матрена, крестясь, побежала за ним. Борька, ничего не подозревая, играл у крыльца с дворовыми детьми, как вдруг Матрена схватила его и потащила, крича:

— Ага! вор ты этакой! осрамил было всех перед господами!

И Матрена ущипнула его. Борька всегда ненавидел Матрену и ее угрозы так испугали его, что он начал кричать и биться в ее руках. Матрена зажимала ему рот и всё тащила его наверх по лестнице. Борька бил ногами и силился высвободиться из костлявых рук старухи. Вдруг Матрена, взошедши почти на верх лестницы, оступилась и упала, Борька с диким криком покатился вниз головой по каменной лестнице. Матрена застонала, люди, бегавшие с блюдами, пособили ей привстать, а ребенка, потерявшего чувство, отнесли к матери. Матрена,

счастливо избегнувшая ушиба, кинулась в ноги господам и просила прощения за свою неосторожность.

К ребенку была послана костоправка. Страшно было видеть несчастную мать над бесчувственным сыном, она рвала на себе волосы, ломала руки и выла как сумасшедшая.

Несколько месяцев Борька был болен; но заботы матери мало-помалу восстановили его силы. Только постоянная бледность и болезненность остались в его лице; он почти не рос, в нем стала заметна сутулость.

Через год у Борьки начал формироваться горб.

Глава II

СИРОТА

У Бранчевских родился сын,— Борьку совершенно забыли. Воротиться в столицу Бранчевский уже и не думал. К флигелю наделали пристроек, так что он стал походить на отдельный дом; маленький сад расчистили, испестрили дорожками и цветниками...

А старый дом всё больше гнил, старый сад всё больше глох.

Старожилы дворни рассказывали своим детям, будто господа потому не живут в старом доме, что боятся старика с заступом. Дед Бранчевского, говорили они, по какому-то договору уступил дом во владение старику, и таинственный старик грозился обрушить несчастье на того, кто осмелится поселиться в его владении.

Никто из детей не решался бегать в старый дом, гулять по старому саду, кроме Борьки. Борька прятался туда от злых насмешек своих товарищей; из веселого мальчика он давно уже превратился в угрюмого и злого. Он не мог скоро бегать и не принимал участия в играх, а садился куда-нибудь в темный угол и оттуда следил за товарищами. И только тогда смеялся он, если кто-нибудь упадет и ушибется или когда завяжется драка. По мере того как подрастал Борька, резче и резче выказывались в нем ожесточение, дикость и злоба ко всем. Он пропадал по целым дням, бегая в покинутом саду. Там открыл он множество дорожек под разросшимися кустами. Медленно прохаживался горбатый мальчик по этим дорожкам, передразнивая походку старших: это было его любимое занятие. Не-

описанное наслаждение находил он, забравшись на чердак пустого дома и спрятавшись там, тихонько бросать камешками в играющих детей, которые с ужасом разбегались, повторяя: «Старик, старик!»

Борька важно прохаживался по залам, гордо отдыхал на креслах, обезображенных молью, иногда протирал пыльное зеркало и долго разглядывал свой горб. Он делал западни крысам, разорял птичьи гнезда, бросал мух на съедение паукам и с наслаждением прислушивался к их тоскливому жужжанью. Так проводил свои дни Борька в пустом доме.

Мать лежала больная. Она сердилась на сына за его холодность к ней, за его угрюмость и злобу; а Борька всякий раз повторял:

— А зачем я с горбом родился?

Мать плакала, божилась, что злые люди из зависти погубили его. Тогда Борька сжимал кулаки и ворчал сквозь зубы:

— Уж я им, как вырасту!..

Наталья всё больше и больше слабела, она чувствовала приближение смерти и упрашивала своего сына не отлучаться от нее.

— Дай мне насмотреться на тебя, мой соколик, касатик ты мой! Не дай своей родной матери умереть на чужих руках,— плача, говорила ему мать.

Борьке было уже десять лет: он тронулся мольбами своей больной матери и почти не отходил от ее кровати. Изба была душная и мрачная; стоны да оханья Натальи иногда наводили такой страх на Борьку, что он кидался в пустой сад и, обежав его, возвращался с новым запасом терпения.

Мать же, стараясь удержать при себе сына, слабым голосом рассказывала ему нелепые и страшные сказки, а когда сказки истощились, перешла к самой себе. Обняв своего горбатого сына, она выла, приговаривая:

— На кого-то я тебя оставлю, круглая моя сиротка, без родных, без матери, заедят тебя злые люди... и отец-то тебя забыл! Ох-хо-хо!

— Разве мой отец жив? — вырываясь из рук матери, спрашивал Борька и вопросительно смотрел на ее бледное лицо.

— Умер, умер, родной мой Борюшка! — поспешно отвечала мать.— Не в добрый ты час родился на божий свет. Да не брани свою мать злосчастную! — продолжала

больная, обнимая сына и целуя его руки.— Ты моя радость, ведь ты у меня как перст один-одинехонек, погубили нас с тобою злые люди да их наветы на нас, сирот.

Наталья болезненно рыдала.

— Полно, матушка! — сквозь слезы говорил Борька, проводя рукой по ее иссохшей щеке и утирая ее слезы.

Раз ночью Наталья охала, стонала и поминутно будила сына.

— Боря, а Боря!

— Что тебе, матушка?

— Встань, встань, родимый! ох, мне тяжело! зажги-ка, Борюшка, лампаду, я хоть помолюсь. Ох-о-ох!

И больная металась на постели.

— Да лампада горит! — отвечал сонный сын, потягиваясь.

Прошло несколько минут.

— Боря! Боря! — испуганным голосом воскликнула мать.

— Что тебе, матушка, нужно? — подойдя к постели, спросил сын.

Больная выставила свои костлявые руки из-под одеяла и жалобно сказала:

— Боря, дай я тебя обниму! Глаза,— прибавила она с испугом,— словно что застит, и так душно здесь.

Она указала на грудь.

— Раскрыть дверь, матушка? — тревожно спросил сын, нагнувшись к лицу матери, которая, как слепая, ощупала его лицо и жадно стала целовать.

— Боря!

— Что? — сквозь слезы спросил Боря, растроганный судорожными ласками своей матери.

— Зажги свечи у образа, да побольше! я хочу на тебя посмотреть; что-то больно темно, Боря!

Больная начала протирать глаза.

— Скорее же, скорее! — говорила она с трепетом.

Сын кинулся зажигать свечи, лежавшие на деревянном углу, под образами. Он уставил весь угол зажженными свечами, а мать всё повторяла:

— Еще, Боря, еще, родимый!

— Больше нет! — с удивлением сказал Боря.

— Ну ладно. Поди сюда!

И мать силилась приподняться. Сын близко наклонился к ней. Она дрожащими руками старалась снять с своей шеи маленький образок.

— Что ты хочешь, матушка? — ласково спросил сын.

Мать молча указала на образок, сын снял его; больная набожно перекрестилась, поцеловала образок... Вдруг всё тело ее задрожало, она приподнялась, схватила сына за голову, прижала судорожно к своей иссохшей груди, поцеловала и простонала:

— Господи, услышь мою молитву!

И больная приложила свой образок к голове сына и медленно опустилась на подушки.

— Мама, сударыня моя, голубушка, сродная ты моя! — закричал сын, поддерживая мать; но она молчала. Боря начал метаться у ее ног и с воем приговаривал:

— Золотая моя, сударыня моя, лебедушка моя!

— Боря! — слабо сказала мать.

Он встрепенулся и кинулся к ней.

— Боря, сними с пояса ключ от сундука,— едва внятно пробормотала больная.

Он исполнил ее желание: снял ключ, висевший у нее на поясе.

— Ну, где он?

И больная ловила руками ключ.

— А, вот!.. Слушай, Боря, слушай! — таинственно сказала она.

Боря весь превратился в слух.

— Смотри... сундук; направо под душегрейкой... лежит ларец... завернут в тряпицу... да ты слышишь ли меня?

И мать искала руками сына, который уже сидел на корточках перед раскрытым сундуком и рылся.

— Боря, где ты? послушай свою мать! ведь это я тебе скопила, это всё для тебя, мой касатик; отец-то твой богат, да всё злые люди. Ох я горемычная!

Сын не слушал ничего. Наконец он радостно закричал:

— Нашел!

Голос у больной стал тверже.

— Боря! слушай, слушай, что я тебе хочу сказать...

Больная скрестила руки и, стараясь собраться с силами, продолжала:

— Ведь Антон не отец твой...

— Что тут лежит? — перебил Боря, подавая ей ларец.

Больная с испугом ощупала ларец.

— Деньги, Боря, деньги... спрячь их, спрячь! а то отнимут у тебя...

Сын в испуге вырвал ларец из рук матери и прижал его к своей груди.

— Спрячь их, Борюшка! они злые, возьмут последнее у сироты,— тоскливо сказала мать и вдруг привстала.— Ты спрячь их в землю,— прибавила она таинственно,— а как вырастешь, и возьми тогда.

— А старик с заступом? — заметил сын, продолжая крепко держать ларец.

— Нет, он не возьмет, он не обидит сироту! — и с надеждой и со страхом отвечала больная.— Слушай, Боря, ты спрячь деньги куда-нибудь в другое место, подальше!.. Поди же ко мне, поди, дай мне еще посмотреть на тебя; что-то темно, Боря, зажги еще свечу!

Сын оглядел комнату и сказал:

— Да светло, матушка, ведь так вся изба и горит... Ты погоди, я сбегаю, спрячу только...

— Нет, родной, останься, останься! — в испуге закричала мать.

Но Боря уже юркнул в дверь.

— Боря, поди сюда, Боря, родимый ты мой, я тебе всё скажу, всё; я грешница... Боря, где ты? ох, мне тяжело!..

И больная стонала, разводила по воздуху костлявыми руками, тоскливо мотала головой, нежно звала своего сына. Потом она начала бормотать несвязные слова.

А Боря в то время бежал по старому саду; ночь была темная, воздух сырой. Боре было страшно, он прятался за кусты, выбирал место и начинал усердно рыть землю, но вдруг бросал работу и бежал дальше. Наконец он кинулся в пустой дом, прятал там ларец во все углы, но через минуту вынимал его и в страхе бегал по комнатам. Воротившись снова в сад, Боря осторожно спустился к развалившемуся каскаду, густо обросшему кустарником; там он долго рыл землю; наконец, отдохнув немного, положил в глубокую яму ларец, засыпал его землей и стал сдвигать с места тут же лежавший камень, весь поросший мхом. Не по силам десятилетнему мальчику была тяжесть, и Боря с досады топал ногами, рвал на себе волосы, но, отдохнув, снова принимался за работу. Наконец сила воли победила. Окончив работу, Боря почувствовал новый страх, сильнее прежнего, и дрожал как в лихорадке. Ему казалось, что весь сад наполнился народом с заступами и лопатами, все толпились к нему, чтоб открыть его ларец. Откуда ни взялось также множество хищных птиц; они летали над его головой, махали крыльями и так прон-

зительно кричали, что Боря зажал уши. Вдруг в саду раздался страшный треск, камни посыпались с каскада и с грохотом катились на Борю; Боря поднял глаза и увидал старика с заступом. Весь в белом, старик грозил Боре лопатой и тихо смеялся. Боря без чувств упал на камень.

Стало слегка рассветать, когда Боря очнулся. Сад был весь в тумане, уныло гудели доски, сторожа лениво перекликались у барского дома.

Боря робко выглянул из каскада и, собравшись с силами, пустился бежать домой. Вбежав в избу впопыхах, он радостно крикнул:

— Матушка, спрятал!

В избе было тихо, свечи догорели, лампада едва теплилась. Боря остолбенел, он как будто боялся подойти к больной матери и снова закричал:

— Да слышишь ли ты, матушка? спрятал!

Ответа не было; Боря кинулся к матери, схватил ее за лицо, потом за руки, но она была уже холодна. Боря вскрикнул и отскочил от матери... Постояв с минуту посреди избы, он кинулся к себе на постель, завернулся с головой в тулуп и так пролежал до тех пор, пока не вошла знахарка, пользовавшая Наталью. Она толкнула Борю и сказала:

— Вставай! что дрыхнешь? ты смотри, сродная твоя богу душу отдала!

Борька бессмысленно посмотрел на знахарку и еще крепче закутал голову.

Менее чем в полчаса в избу набралась куча баб и детей. Каждый желал заглянуть на посинелое лицо покойницы.

— Где Матвеевна? что нейдет? — сказала одна баба.

— Горемычная! — подхватила другая.— Ведь у ней, окромя горбуна, никого нет!

— Некому и поплакать-то! — слезливо заметила третья.

— Ох, моя сиротинушка! ох, моя лебедушка! ох-хо-о-о! — протяжно и пискливо завыла четвертая старуха.

К ней присоединились остальные, и вой огласил избу. На пороге явилась высокая, толстая и краснощекая баба Матвеевна; она повела своими серыми соколиными глазами кругом и дико застонала:

— А-а-а... родная моя, по-ки-ну-ла ты на-нас, а-а-а... по-ки-ну-а-у...

Матвеевна, заняв первое место у постели покойницы, выла и причитывала с увлечением. тогда как почти все остальные бабы подтягивали ей лениво.

Борьке стало душно, он сбросил с себя тулуп, посмотрел на мать и жалобно застонал. Все стихли, как будто почувствовав, что слезы их неуместны, и с минуту молча прислушивались к горьким рыданиям сироты. И тут Матвеевна первая пришла в себя: она подошла к Борьке и над самым ухом стала ему подтягивать; Борька вскочил, растолкал народ и, выбежав из избы, пустился в пустой дом. Там оставался он целый день и только к ночи, досыта наплакавшись, пришел к избе. Раскрыв дверь, он остановился на пороге: мать его уже лежала на столе, вся в белом; желтые свечи горели у изголовья... Сначала Борька не решался войти, но, увидав раскрытый сундук, из которого Матвеевна уже повыбрала всё, что было получше, кинулся в избу и стал шарить в нем. Он перешарил все уголки, всё чего-то искал; наконец утомленный упал к холодным ногам матери и так пролежал до утра. Утром он опять ушел и только к ночи воротился домой.

Настал день похорон. Матвеевна до последней минуты отлично исполняла свое дело. Когда стали прощаться с покойницей, она притащила Борьку за руку в избу и завыла:

— Простись... ты... с... с своей су...да...ры...ры...нейма...тушкой! — Тут Матвеевна крепко сжала его руку.— Оставила она тебя... сиротку, убогого... о-о-о...

Борька чувствовал боль в руке, но не знал, чего хочет Матвеевна, и робко глядел на других баб; бабы делали ему гримасы.

— Да простись же!

И Матвеевна толкнула его к матери. Борька проворно перекрестился и, поцеловав матушку в холодные губы, с испугом отскочил и спрятал свою голову в платье Матвеевны, которая с воем повела его за гробом.

В церкви Борька не плакал; он с любопытством смотрел на лица присутствующих, но когда стали опускать гроб, он вдруг вырвался из рук Матвеевны, кинулся к могиле и дико закричал:

— Ай, отдайте мне матушку!

Гроб скрылся на дно ямы. Борька в испуге вопросительно глядел на всех; Матвеевна притянула его к себе, и он в ужасе, весь дрожа, смотрел, как начали засыпать землей его матушку. Потом он вырвался из рук Матвеевны

и бегом пустился домой. Матвеевна и другие бабы с обычными прибауточками воротились с похорон, и никто не вспомнил, куда девался Борька; а он сидел в диком саду, забившись в кусты; на коленях его лежал раскрытый ларец; он любовался серьгами и кольцами своей покойницы матери и заботливо пересчитывал деньги.

Глава III

ПОЖАР

По смерти Натальи Борьку присадили в контору — учиться грамоте. Он оказывал необыкновенные способности, особенно по счетной части. Самоучкой выучился очень проворно считать на счетах и помогал своему учителю. Угрюмость его исчезла; ее сменили хитрость и лукавство, которые он прикрыл личиной простоты и тупости. Он стал льстить всем в доме и скоро возбудил почти общее сожаление к своему круглому сиротству. При слове «сирота» он съеживался и жалобно смотрел на всех; платье свое нарочно рвал, и когда ему замечали, что он ходит таким нищим, он жалобно отвечал:

— Сиротка Борька!

В застольной он сделался лицом необходимым: гримасничал, плясал, пел песни, сочиняемые лакеями, и хохот не умолкал там во время ужина и обеда. А по вечерам в кругу баб Борька рассказывал, как видел в пустом доме старика с заступом, как старик говорил с ним и обещал ему показать, где зарыт клад, когда он вырастет. Еще Борька искусно выделывал из камышу свирелки и наигрывал на них разные песенки.

Он почти не рос; зато его горб заметно прибавлялся. Порывы злобы иногда проявлялись в нем так страшно, что раздразнившие его ребятишки прятались от него, повторяя: «Горбатый расходился, горбатый!!»

Борька начал прохаживаться около барского сада, в котором играл сын Бранчевских, мальчик лет восьми. Сидя у решетки, Борька часто наигрывал на своей свирелке; Володенька (так звали маленького Бранчевского) слушал его с большим любопытством. Раз ему вздумалось поиграть самому. Он требовал свирелку. Нянька отговаривала, но капризный ребенок топал ногами, повторяя: «Хочу, хочу!» Нянька с сердцем взяла у Борьки свирель

и подала Володеньке; Борька сделал жалобную гримасу и робко смотрел в решетку.

Володенька радостно начал дуть в свирелку, но она не издавала ни звука; ребенок передал ее няньке, приказывая ей поиграть; но свирелка не слушалась и няни, которая в досаде наконец сунула ее Борьке и сказала:

— На, возьми и убирайся, горбатый!

Борька отошел от решетки и стал опять играть.

Ребенок захлопал в ладоши и кинулся к решетке. Борька завертелся перед ним. Все движения его были так резки и смешны, что нянька с ребенком заливались смехом. Наконец нянька погрозила кулаком Борьке, чтоб он перестал, потому что Володенька посинел от смеху.

С того дня Борька всякий день приходил к решетке сада и через нее играл с Володенькой, которому скоро успел внушить к себе жалость, рассказывая сказки, где занимал первую роль сиротка Борька. Нянька, рассчитав, что должность ее облегчится, если Борьку возьмут в комнаты, велела ему вымыться и приодеться, а питомца своего научила попросить родителей, чтоб позволили ему играть с Борькой.

Во время обеда Володенька ввел Борьку в столовую.

— Это что? — строго спросила у няньки Бранчевская, указывая на Борьку.

Борька весь задрожал.

— Мама, он сиротка... это Боря... можно мне с ним играть, мама?

И сын ласкался к матери.

— Как ты смеешь позволять ему играть со всеми?

— Сударыня,— отвечала испуганная нянька,— Владимир Григорьевич изволит плакать о нем.

Бранчевский подозвал сына и спросил: за что он полюбил Борьку?

— Он сиротка, папа! — отвечал сын.

Бранчевская возвысила голос:

— Вздор! если ему нужно играть, то можно найти хорошенького мальчика, а не горбатого. Пошел отсюда!— прибавила она, обратясь к Борьке.— Пошел и не смей около дома ходить!

Володенька с плачем кинулся к Борьке и, обхватив его шею своими ручонками, грозно смотрел на мать.

Бранчевский вышел из-за стола и удалился к себе в кабинет; Бранчевская одна осталась на поле битвы; в пер-

вый раз она не исполнила желания своего единственного сына: Борька был выслан из комнаты. Борька не плакал, он был бледен, смотрел свирепо. В прихожей лакеи встретили его насмешками:

— Что, горбун! гриб съел? а?

Он стиснул зубы и сжал кулаки. Выбежав из барского дома, он опрометью кинулся в пустой сад. Там, упав на траву, Борька судорожно катался по ней, рвал на себе волосы, зубами и руками рыл землю и как зверь рычал. Злоба душила его. Глаза его были сухи и страшно блестели. Скоро он впал в забытье и с час пролежал неподвижно. Наконец встал и долго-долго стоял на одном месте, как будто о чем-то думая, соображая что-то. Вдруг лицо его засияло, он кинулся собирать сухие сучья. Борька работал неутомимо, поминутно бегая из сада в пустой дом с охапками сухих прутьев. Изредка он садился отдыхать, пот катился с его бледного лица, озаренного дикой улыбкой, и Борька, потирая руками, самодовольно улыбался и всё кому-то грозил.

Ночью он вынул ларец свой, пересчитал, перецеловал свои деньги и глубже закопал их в землю. День и ночь Борька вглядывался в небо.

— Что, горбун, колдовать, что ли, учишься? — спрашивали его проходящие лакеи.

Борька вздрагивал и поспешно отвечал:

— Сиротке скучно!

Дней через пять небо обложилось тучами, наступала уже ночь, а воздух был душен. Борька улыбался, и волнение его возрастало с каждой минутой.

За ужином в застольной он сидел задумчиво. Дворня дивилась ему.

— Да что ты нынче, горбатый шут, нос повесил? — спросил один лакей.

— Оставь его! вишь, в барские покои задумал пробраться, губа не дура! — заметил другой.

— Да с носом остался... а? — спрашивали другие лакеи, заглядывая ему в лицо.

Он посмотрел на них злобно и молчал.

— Батюшки-светы! посмотрите, братцы, какие у него глаза-то! — с удивлением сказала прачка.

Борька сделал жалобную гримасу и пропищал:

— Сиротка Борька!

— Что-то душно; кажись, будет гроза ночью,— заметила прачка, подходя к окну и вглядываясь в небо.

Борька встрепенулся и, когда оставили его без внимания, тихонько скрылся из застольной.

Борька в один миг очутился в пустом доме; через разбитое стекло пролез на балкон, который весь скрыпел под его ногами, и, облокотясь на перила, тоскливо глядел на небо. Высокие деревья мрачно рисовались в саду, тишина была страшная; ни один листок не колыхался. Вдруг легкий ветерок пробежал по верхушкам дерев, и все листки задрожали. Молния блеснула в темноте. Борька весь встрепенулся и стал прислушиваться. Глухой удар грома раздался вдали. Борька выскочил в окно и через минуту воротился с пуком сухих прутьев. Он подложил их у самых стен дома, присел на корточки и, оглядываясь во все стороны, начал высекать огонь; руки его дрожали, когда он подкладывал на огонь сухие прутья. Потом он согнулся и стал раздувать пламя. Прутья слабо затрещали, и Борька еще с бо́льшим старанием принялся раздувать огонь.

Страшно было его видеть, волосы его стояли дыбом, бледное лицо облито было красноватым пламенем, горб казался огромным в эту минуту.

Удары грома всё сильнее и сильнее потрясали своды пустого дома, летучие мыши и птицы в испуге с пронзительным писком вылетали из окон и снова прятались в дом. Ветер рвался к дыму, как будто горя нетерпением раздуть поскорее пламя, которое обхватило уже балкон и огненными змейками подымалось по стене.

Борька в испуге отскочил от пламени. Но вдруг лицо его прояснилось. Он забил в ладоши, дико засмеялся и кинулся в разбитое окно, повторяя:

— Вот как вас всех угостил горбун Борька.

Выбежав в сад, он взлез на самое высокое дерево и оттуда с жадностию следил за возрастающим пламенем, которое распространялось более и более и с силой врывалось в окна. Ветер вступил в бой с пламенем, которое то казалось побежденным и гасло, то вдруг с яростью разгоралось, угрожая потоком хлынуть из окон, и только блеск молнии уничтожал на мгновение его торжество. Удары грома с страшными раскатами потрясали воздух. Борька сидел на верхушке дерева, сложив руки на груди; при каждом ударе он крестился и часто шептал:

— Матушка, видишь ли ты?

В доме все спали крепким сном, кроме няньки, которая качала на руках своего питомца и, убаюкивая, приговаривала:

— Спи, засни, мое золото! баю-баюшки-баю!

Но Володенька не мог спать. С непривычки встречать противоречие он так рассердился, что заболел. Увидав страшные последствия своего отказа, Бранчевская решилась исполнить его каприз. Завтра утром назначено было сюрпризом привести к нему Борьку.

При каждом ударе грома нянька набожно крестилась. На дворе становилось всё светлей и светлей, так что ей показалось странным, отчего такой свет; она заглянула за стору и с ужасом отскочила. Дым и пламя вылетали из крыши старого дома. Крики няньки подняли весь дом.

— Пожар, пожар! — кричали сонные люди, бегая по двору.

Крестьяне сбежались к барскому дому. Плач детей, вой баб, мычанье коров сливались с раскатами грома. Явился Бранчевский; он начал распоряжаться, и дело пошло хорошо. Тысяча топоров застучали на крыше, люди бегали в пламени с громкими криками:

— Сюда воды! сюда!

Борька, притаив дыхание, смотрел на эту картину, дело рук своих. Вдруг вместе с раскатом грома рухнулся балкон, пламя и дым огромной массой вырвались наружу, и тогда Борька увидал в дверях обгорелого балкона высокого старика с железным заступом в руках. Старик погрозил ему, тихо засмеялся и, взмахнув длинными руками, достал до вершины дерева, на котором сидел Борька. Ветер завертел и закачал дерево... Борька видит: старик всё становится выше и выше, вот он стал в уровень с деревом! Борька закрыл глаза, голова его закружилась, он упал на землю без чувств.

Едва начинало рассветать, когда Борька очнулся; дождь лил как из ведра, весь сад был наполнен гарью.

Приподняв голову, Борька вскочил в ужасе: старого дома нельзя было узнать, стены были черны, окна повыбиты, крыша вскрыта, как череп у человека; первые утренние лучи бросали унылый свет на обгорелые остатки.

Задыхаясь от дыму, Борька побрел домой. Проходя двор, он содрогнулся: мебель барская валялась в беспорядке по двору, облитая дождем. Узлы, сундуки, разная посуда — всё было вытащено из предосторожности. Часовые, важно развалившись в барских креслах, сладко спали. Борька, никем не замеченный, прокрался к перине и лег на нее. К утру он был в бреду и чуть не умер.

Никому не пришло в голову, что дом загорелся не от грозы.

Бранчевский простудился на пожаре и тоже слег в постель. По выздоровлении Борьки его потребовали в комнаты. С этого дня жизнь Борьки изменилась; он пил и ел за одним столом с Володенькой. Его перестали звать Борькой. Боря с каждым днем больше был любим сыном Бранчевских. Правда, он был изобретателен: лазил на деревья доставать птичьи гнезда, выдумывал беспрестанно новые игры, а по вечерам рассказывал Володеньке сказки, которым выучила его мать перед своей смертью.

Начались уроки; Боря с жадностью вслушивался, чему учили Володеньку, а потом помогал ему выучивать уроки, начитывая их, когда они играли. Он писал Володеньке тетрадки и умел с необыкновенным искусством подделываться под его руку. Боря был одет, как и Володя. Бранчевская помирилась с Борей: он старался услуживать ей и всегда умел показать свое благоразумие.

Время шло, и сын Бранчевских сделался взрослым юношей. Боря был старше его пятью годами, но по росту казался перед ним ребенком.

Лицо у горбуна было довольно красиво, если б не вечная улыбка на его тонких губах. Он был бледен, большие блестящие глаза придавали его лицу особенную энергию; руки его своей правильной формой и белизной обращали общее внимание. Редко кто мог вынести взгляд его блестящих глаз, которые вечером казались совершенно черными, а днем зеленовато-серыми.

Любовные интриги, займы денег — всё устроивал горбун для молодого Бранчевского и вел дела так хорошо, что всё больше и больше входил в его доверенность.

Вдруг молодой Бранчевский влюбился в дочь экономки, бедную девушку, которая жила с своей матерью из милости в их доме. Горбун ревновал своего покровителя ко всем, кого только он начинал любить; притом эта девушка, по разным причинам, ненавидела горбуна; всё это он знал и знал также слабый характер Владимира. Страх потерять свое влияние над ним внушил ему мысль подняться на хитрость. Он так устроил тайное свидание молодого Бранчевского с дочерью экономки, что Бранчевской донесли об этом.

Страшен был гнев матери; она грозила сослать из дому и экономку, и ее дочь, и даже горбуна, за то, что он,

будучи так близок к ее сыну, не предуведомил ее об угрожающей опасности.

Молодой Бранчевский испугался гнева матери и кинулся к горбуну за советами.

— Я сам, может быть, пойду по миру за ваши проделки,— в негодовании сказал горбун.

Покровитель его клялся, что не допустит до этого; что он не хочет погубить никого.

Горбун, подумав, предложил следующее: он всё возьмет на себя, скажет, что давно любит эту девушку, что она его тоже любит и что Владимир был только посредником их любви. Хитрость была сплетена так ловко, добровольное признание горбуна было так правдоподобно, что Бранчевская поверила. Казалось, всё уладилось благополучно. Но, раз чего-нибудь испугавшись, Бранчевская не была покойна.

В одно воскресенье, собрав множество гостей, Бранчевская вдруг объявила, что у нее в доме жених и невеста. Гости подумали, что дело идет о сыне; но, к общему удивлению, она приказала позвать горбуна и дочь экономки и при всех гостях объявила им, что известная ей любовь их наконец может увенчаться счастливой развязкой. Жених и невеста так дико смотрели друг на друга, что Бранчевская с улыбкой заметила:

— Вы, кажется, от радости одурели оба!

Горбун не верил своим ушам, он искал глазами молодого Бранчевского, но его не было в комнате. Невеста откровенно созналась горбуну, что не любит его; но он знал, что иначе изобличится обман, и решился жениться. Владимир утешал его, что даст ему денег, что не оставит его; но горбуну не нужно было никаких утешений: в первый раз в жизни его самолюбие, хоть наружно, не было уколото. Невеста была молода и хороша собой и шла за него, как всем было известно, по любви.

Одно тревожило горбуна: любовь к его невесте молодого Бранчевского.

В день свадьбы старик Бранчевский поднес горбуну право на звание купца, а Бранчевская десять тысяч деньгами.

После свадьбы горбун еще сильнее стал ревновать свою жену к молодому Бранчевскому. Он не любил ее, но мысль, что она обманывает его, что они над ним будут смеяться, делала из него изверга.

Он запирал свою жену на ключ, уходя из дому. Бил ее при малейшей тени подозрения. Жена сделалась для него источником страшных мучений; он проклинал свою жизнь.

Наконец силы его оставили; он открыл свои страдания Бранчевской, дав такой оборот своей ревности, будто сын ее действительно влюблен в его жену.

Мать снарядила своего сына в столицу рассеяться и послужить. Горбун вздохнул свободно, но не надолго. Жена его сделалась беременна. Он как тень следил за ней с первого дня брака и знал, что измены не могло быть... а между тем дикое подозрение терзало его. И он подвергал жену свою страшным мучениям, чтоб выпытать роковую тайну; но бедная невинная женщина ничего не могла сказать в свое оправдание и должна была молча терпеть беспрестанные незаслуженные упреки и оскорбления.

Горбун, казалось, находил наслаждение мучить свою жену, которая наконец прямо объявила ему, что ненавидит его.

Спустя неделю ему случилось уехать на несколько дней по делам. Желая положить разом конец своим страданиям и опасаясь за участь своего ребенка, если он останется на руках горбуна, несчастная женщина решилась бежать в дальний уездный город к своей матери, которая уже давно была сослана из дома Бранчевских по проискам горбуна.

Но она не доехала до своей матери. Почувствовав приближение родов, ускоренное ездой на телеге, она приехала к бабке, Авдотье Петровне Р***, и там родила сына, который и был подкинут Тульчинову.

Возвратясь домой, горбун чуть не задохся от злобы, узнав, что его жена уехала. Не желая огласить свой позор, он тотчас же поскакал в город и стал разведывать.

Он застал жену свою уже в бреду; через два дня она умерла; о ребенке сказали ему, что она выкинула мертвого.

Горбун был потрясен плачем и криками своей жены и даже на минуту почувствовал было свою вину; но в бреду у несчастной вырвалось имя молодого Бранчевского,— и горбун снова закипел враждой.

Похоронив ее, он возвратился вдовцом домой.

Глава IV

И ДРУГ, И ВРАГ

Спустя год после описанных событий в семействе Бранчевских произошли большие перемены.

Бранчевская держала себя слишком гордо со своими соседями. Один только дом графа К* пользовался ее расположением. Граф был стар и богат. У этого графа вдруг умер брат-вдовец и поручил ему единственную шестнадцатилетнюю дочь свою — Сару. Сара была воспитана отцом, который безумно любил и баловал ее.

Граф К* заохал; он приехал к Бранчевской за советом, что ему делать с сиротой. Бранчевская решилась взять ее к себе. Приготовили комнату, и по озабоченному лицу Бранчевской горбун понял ее цель. Явилась и Сара. На вид ей казалось больше шестнадцати лет: она была высока ростом, с пышными плечами, с гордым, но живым взглядом. Лицо у ней было правильно; ресницы как бархат; глаза черные и блестящие, которых форма беспрерывно менялась: они то суживались, то делались огромными; нос тонкий, но ноздри его раздувались, как у арабской лошади, при малейшем порыве гнева; губы тонкие, совершенно женской формы; волоса и брови черные; цвет лица белизны и нежности необыкновенной; казалось, как будто в ней не было ни одной кровинки. Вообще в ее взгляде было что-то смелое и холодное.

Не зная противоречия своим прихотям, она скучала в обществе стариков, которые сильно ластились к ней. Но еще более тяготила ее Бранчевская: Сара решительно не могла выносить власти женщины. Притом она, может быть, догадывалась, какие виды имела на нее Бранчевская. Сделать всё наперекор ей было, кажется, главной задачей Сары. Нужно еще заметить, что отец ее прожил всё свое состояние и, кроме графского титла, не оставил ей никакого наследства.

От скуки Сара иногда болтала с горбуном, но слишком часто оскорбляла его своими насмешками и презрительным обхождением. Так как он имел неограниченную власть в доме, то она иногда и смягчала свой голос, прося его исполнить какой-нибудь каприз свой; но ее просьбы скорее походили на приказания. Горбун чувствовал что-то странное: он ненавидел Сару за ее оскорбительное обращение с ним, но ей стоило сказать одно ласковое слово —

и он исполнял ее волю. У него был тут и расчет: он ясно видел, что Бранчевская готовит Сару в невестки, и побеждал в себе злобу для будущих целей своей жизни. Он видел, что характер Сары слишком надменен, что, раз потеряв ее расположение, трудно будет его приобресть, а жизнь его в доме Бранчевских с каждым годом была ему выгоднее.

Сара не стесняла себя ни в чем. Она часто вставала до рассвета и, накинув легкий капот, бегала по саду. Горбун часто по целым часам, не переводя дыхания, следил из своего окна, выходившего в сад, как она гонялась за бабочкой, не обращая внимания, что длинные ее волосы падали по плечам, что грудь ее раскрывалась. Бегая и прыгая, как дикая молодая лошадь на воле, она не сконфузилась бы, если б даже заметила горбуна... Рост и миниатюрные нежные черты горбуна были обманчивы: она считала его еще мальчиком.

Горбун в первый раз в жизни видел женщину красивую, молодую и до такой степени странную.

День был летний, солнце весело горело и жгло всё, что попадало под его лучи. Старые господа отдыхали после обеда в своих покоях; а Сара, набегавшись в саду и раскрасневшись, усталая, лежала, раскинувшись, на креслах в зале, где обыкновенно горбун занимался своими делами и счетами. Ему давно уже было передано управление всем имением.

— Я хочу ехать верхом! — повелительно и небрежно сказала Сара, как будто разговаривая сама с собой.

Горбун, склонив голову к бумаге, поминутно искоса поглядывал на Сару; при ее словах он заботливо перевернул лист.

— Ты слышишь, я хочу ехать верхом! — с сердцем повторила Сара.

Горбун закусил губу и спокойно произнес:

— Мне никто не давал приказания исполнить желание ваше — ехать верхом!

Сара вспыхнула, ноздри ее расширились: казалось, пламя было готово вылететь из них.

— Какое тебе дело до приказаний других? Я хочу, я приказываю! — надменно закричала она.

— Я не выполню ваших приказаний,— отвечал глухим голосом горбун, побледнев.

Сара вскочила, с презрением оглядела его с ног до головы и засмеялась.

— Тебя заставят, урод! — гордо сказала она и выбежала из комнаты.

Бранчевская, видя избалованный характер Сары, решилась исправить ее, надеясь на свое влияние и твердость воли. Она отказывала ей во всех удовольствиях, которые могли бы усиливать ее смелость, и думала, что этими лишениями сделает из своенравной Сары послушную невестку. И на этот раз просьбы Сары остались тщетны. Сара в ярости убежала в свою комнату и расплакалась. Но скоро она перестала плакать, тщательно вытерла слезы и дала себе слово во что бы то ни стало сегодня же ехать верхом! Она вбежала в залу, как будто ничего не произошло между ею и горбуном, вертелась, прыгала и вдруг, тяжело вздохнув, сказала, как будто самой себе:

— Если б мне подвели теперь оседланную лошадь, я бы...

Она остановилась и лукаво посмотрела на горбуна. Он вздрогнул и поспешно спросил:

— Что бы вы сделали?

— Я?.. Я дала бы поцеловать палец своей перчатки! — с гордостью отвечала Сара.

— Если я вам достану лошадь? — робко спросил горбун.

Сара залилась смехом и забила в ладоши.

Горбун побледнел и глухо спросил:

— Вы исполните ваше обещание?

— Беги! — повелительно сказала Сара и продолжала смеяться.

Через час верховая лошадь, оседланная по-дамски, стояла под горой у старого сада. Горбун держал ее под уздцы и тревожно ждал. Беговые дрожки стояли невдалеке, и лошадь, привязанная к дереву, махала хвостом, отгоняя мух, и рыла копытом землю.

Шелест послышался в кустах, и Сара, как привидение, явилась перед горбуном. Она надела сверх своего белого платья длинную белую юбку; на голове ее была черная шляпа с широкими полями, на которой с одного боку приколоты были два черных пера. Черные ее волосы, заплетенные в косы, висели и колыхались на ее гибком стане.

Горбун остолбенел; он испугался своей смелости. «Что, если узнают?» — подумал он; но Сара уже схватилась за ручку седла и быстро спросила:

— Как же я сяду?

— Я вас подсажу! — робко отвечал горбун.

— Не хочу! — с сердцем возразила Сара, потом вдруг засмеялась и повелительно сказала: — Нагнись!

Горбун нагнулся, Сара вскочила на его спину, ловко села в седло и, не дав очнуться горбуну, ударила его хлыстом по спине, потом стегнула свою лошадь и понеслась как стрела.

Горбун с секунду не мог встать с колен; когда он поднял голову, белое платье Сары едва виднелось. Он в отчаянии кинулся на беговые дрожки и пустился за ней.

Прогулки такого рода стали повторяться всё чаще и чаще. Сара требовала, чтоб горбун ездил с ней тоже верхом; но, убедившись, что это невозможно, она придумала другое средство: одела его в женское платье и в этом наряде посадила на дамское седло. Как дитя тешилась Сара своей выдумкой, и звучный смех оглашал лес; маленькими своими ручками поправляла она горбуну волосы и не спускала с него глаз, называя его нежными именами. Горбун молчал и прямо глядел ей в глаза. В тот вечер Сара была весела до безумия.

— Послушай меня, красивая моя подруга, поедем-ка к моему дяде, я хочу видеть Алексиса!

Так звала она молодого человека, который был дальним родственником старому графу и жил у него.

Горбун в испуге посмотрел на Сару и робко заметил, что слишком далеко.

— Я хочу!

И Сара ударила по лошади и понеслась во весь опор. Горбун едва держался на седле, скача за нею, и жалобным голосом кричал:

— Боже мой, вы меня погубите!

Сара сдержала лошадь и повелительно сказала:

— Хорошо, я не поеду, ты поезжай вперед и скажи Алексису, что я хочу его видеть!

Горбун указал на свое платье и отчаянным голосом спросил:

— Как же я могу так ехать?

— Вот хорошо! Ты думаешь, что ты не хорош? — насмешливо спросила Сара.

— Будут смеяться... я в таком наряде!

— Неужели ты думаешь, что есть платье, которое может тебя сделать смешнее, чем ты есть? Вздор! Я хочу, чтоб ты именно в этом платье ехал. Мне скучно; я хочу, хочу видеть Алексиса! — с горячностью кричала Сара.

Горбун побледнел и умоляющим голосом сказал:

— В другой раз, ради бога, в другой раз!

— Нет, я хочу сегодня, сегодня его видеть,— закричала Сара.

Горбун заплакал. Сара стала смеяться, думая, что он нарочно плачет, чтоб рассмешить ее, но горбун рыдал не шутя. Отчаяние его с каждой минутой возрастало. Он начал рвать с себя платье, судорожно сжимал руки и наконец, стиснув зубы и застонав, рухнулся с лошади.

Сара испугалась, она соскочила с лошади и, дрожа, смотрела на горбуна, валявшегося в судорогах по земле.

— Не нужно, я не пошлю тебя! — кричала Сара, в досаде топая ногою и в то же время заливаясь горькими слезами. Ей стало жаль горбуна, она опустилась на колени и, взяв его за руку, ласково сказала:

— Встань, нам пора ехать домой!

Но горбун лежал без чувств.

— Боже мой, что это такое! — в отчаянии сказала Сара, глядя на горбуна.

Ей стало страшно; она осмотрелась кругом: лес был густой, всё было тихо, только шумели деревья да щебетали птицы; горбун как мертвый лежал у ее ног. Сара не знала, что делать; рыдая, села она на свою лошадь и медленно поехала прочь, продолжая плакать. Но вдруг она ударила лошадь и ускакала.

Через полчаса горбун очнулся; он долго не мог собраться с мыслями, но, увидав платок, забытый Сарой, вдруг вспомнил всё; в отчаянии кинулся он на лошадь, и его дикие крики наполнили лес: он звал Сару. Но в лесу ее не было. Он вспомнил, что она хотела ехать к дяде, и поскакал туда, но там никто не видал ее. Горбун поехал домой, весь дрожа от страху. Радость его была неописанная, когда, подъезжая к тому месту, откуда они обыкновенно отправлялись на свои прогулки, он увидел лошадь Сары.

Успокоившись, горбун пришел домой и с месяц не выходил из своей комнаты: он захворал.

Сара скучала без него: некому было исполнять ее прихотей,— и раз двадцать посылала она узнавать об его здоровье.

Наконец горбун вышел из своей комнаты. Сара, не дав ему опомниться, таинственно сказала:

— Любишь ли ты меня?

И глаза ее страшно расширились и устремились на горбуна, еще слабого и бледного. Он задрожал и глухо пробормотал:

— Я... я очень предан...

— Ну хорошо, хорошо! — перебила она и, слегка покраснев, объявила горбуну, что желает переслать письмо к Алексису, что она умирает с тоски и что хочет выйти замуж за Алексиса.

Горбун с этого дня превратился в их почтальона. Он совершенно изменился, обращал больше внимания на свой туалет, сделался заступником угнетенных, наказывал притеснителей, и имя его стало повторяться с благоговением во всем околотке.

Через несколько времени Бранчевская принялась пересматривать свои сундуки; горбун понял, что время приближается.

Он объявил Саре, что владеет страшной тайной, которая касается до нее. Она требовала, чтоб он сказал эту тайну.

— Нет, я даром не скажу. Что вы мне дадите за это? — спросил горбун.

— Как ты смеешь говорить мне такие вещи! Я сама не хочу знать твоей тайны! — гордо отвечала Сара.

Но через минуту она снова умоляла горбуна открыть ей тайну.

— Я тебе дам всё, что ты хочешь, только скажи!

И Сара сложила руки и умоляющими глазами смотрела на горбуна.

— Позвольте мне поцеловать вашу ручку,— скороговоркой сказал горбун.

Сара засмеялась и гордо протянула ему свою руку. Он жадно поцеловал ее.

— Говори же, скорее! — нетерпеливо закричала Сара, и глаза ее расширились.

Оправясь от волнения, горбун таинственно произнес:

— Скоро приедет... ваш... жених!

— Ха-ха-ха! Да я эту тайну давно уж знаю: я догадалась с первого же дня, зачем меня сюда привезли.

Горбун оторопел и поспешно спросил:

— Вы согласны за него выйти?

— Если понравится, выйду.

— А ваш...

Сара погрозила пальцем горбуну и убежала.

Горбун заметил, что Сара стала гораздо холоднее к Алексису и чаще ссорилась с ним; реже писала к нему; но зато он писал к ней по два письма в день.

Наконец наступил день, когда молодой Бранчевский возвратился из столицы. Немногое было нужно, чтоб он влюбился в Сару: она обходилась с ним холодно и строго, явно отдавая предпочтение Алексису... Бранчевский приходил в отчаяние...

Родители ждали, чтоб их сын сам попросил руки Сары; так и случилось. Молодой Бранчевский, наскучив разыгрывать жалкую роль перед своим соперником, просил позволения жениться на Саре.

Старуха Бранчевская, важно усевшись в кресла, призвала Сару и покровительным тоном объявила ей радостную весть, что Владимир Григорьич просит ее руки.

Сара уже была предуведомлена об этом горбуном; она холодно выслушала Бранчевскую и сказала:

— Я не выйду за вашего сына!

Бранчевская чуть не лишилась чувств: она не могла себе представить, чтоб бедная девушка не польстилась такой партией.

— Я хочу знать причину? — строго спросила старуха, дурно скрывая свою досаду.

— Я его не люблю! — небрежно отвечала Сара, поправляя свое платье.

— Вы безрассудная девочка! — с горячностью сказала Бранчевская.

— Разве только потому, что не люблю вашего сына? — насмешливо возразила Сара.

— Прошу вас удержаться при мне от вашей веселости; наши лета слишком неравны для шуток! — с надменностью заметила Бранчевская.

Сара поклонилась и, выходя из комнаты, пробормотала:

— Давно бы пора догадаться, что мне очень скучно с стариками!

Горбун с трепетом ждал ее у дверей. Сара всё пересказала; она была весела и всё твердила:

— Я разозлила ее, мне весело, мне страшно весело!

— Вы серьезно не хотите выйти за ее сына? — спросил горбун.

— Кто это тебе сказал? Я нарочно обходилась с ним холодно, чтоб он скорее посватался на мне. Мне уж

слишком скучно, я хочу, чтоб мне никто не смел запрещать делать, что я вздумаю. Он богат, а? И без ее денег?

— Да,— отвечал горбун радостно.

— Ну, он будет моим мужем.

— А если она на вас так рассердилась, что будет теперь препятствовать?

Сара засмеялась. Она подскочила к зеркалу, долго смотрелась в него, нахмурила брови, топнула ногой и сказала:

— Я захочу, и он будет моим мужем!

И точно: молодой Бранчевский в ногах валялся у матери, чтоб она позволила ему жениться на Саре, которой Бранчевская не могла простить ее выходки. Отец был за сына, потому что Сара была услужлива и нежна к старику.

Нечего было делать: Бранчевская убедилась, что Сара одна из таких женщин, для которых нет препятствий, и день свадьбы был назначен.

Горбун делал все закупки. Комнаты Сары отделывались с необыкновенною роскошью, Сара и слышать не хотела об умеренности.

— Я замуж выхожу для того, чтоб весело жить,— твердила она.

Горбун уменьшал перед Бранчевской цены разных вещей, чтоб угодить Саре. Страшная дружба завязалась между ею и горбуном; они по целым дням советовались, как что сделать и как провести Бранчевскую.

Молодой Бранчевский уже охладел к Саре; ее характер был ему не по силам, и он чувствовал свое бессилие. Она вечно смеялась над своим женихом. Он стал бояться ее.

Старик Бранчевский опасно захворал. Поспешили сыграть свадьбу. Свадьба была великолепная; невеста, вся в брильянтах, гордо стояла под венцом, и между присутствующими пролетел шепот:

— Она ему не пара!

Горбун ходил как потерянный; он не сводил глаз с Сары. То убегал к себе в комнату и там рвал на себе волосы, повторяя: «Зачем я не расстроил?», то опрометью кидался в залу и страстно смотрел на Сару.

Гости разъехались, и молодые отправились в свои комнаты. Горбун заранее ушел в старый сад. Он лежал на том самом месте, откуда смотрел на обгорелый дом наутро после пожара. Тяжелые мысли теснили ему грудь. Вспо-

мнил он и свое детство, и свою мать!.. Слезы текли ручьями по его бледному лицу.

Сторожевые доски загудели и вывели его из забытья; он вскочил и пустился бежать из сада. На цыпочках прокрался он в комнату больного старика Бранчевского. Старик не спал от боли и охал.

— Кто тут? — спросил он слабым голосом.

— Я-с!

— Что ты не спишь?

— Я... я имею сообщить вам очень важную вещь,— сказал горбун и близко подошел к кровати старика.

— Боже, что с тобою? Отчего ты так бледен? Не случилось ли чего?..— тоскливо спрашивал старик и нетерпеливо глядел в лицо горбуна, искаженное страданиями.

— Успокойтесь, я пришел вам сказать...

— Что? Что такое? Говори!

И старик, весь дрожа, приподнялся.

— Ваша невестка... она...

И горбун подал старику пук писем Сары к Алексису.

Старик содрогнулся, голова его скатилась на подушки, и он лишился чувств.

Горбун кинулся из комнаты и, страшно застучав в дверь, которая вела в спальню молодых, закричал:

— Вставайте, вставайте, ваш батюшка умирает.

В голосе его слышалась радостная насмешка.

Глава V

СОН

Целую ночь весь дом был в тревоге; Бранчевский умирал. Печально провели молодые медовый месяц. Старик был так слаб, что смерти его ждали каждую минуту. Он сидел с горбуном и всё о чем-то говорил с ним. Умирая, он взял с него клятву, что тайна о его невестке останется между ними.

Сара скучала, видя, что власть ее так же ограниченна, как и прежде. Вражда между ею и старухой Бранчевской завязалась открытая. Они иначе не могли говорить друг с другом, как колкостями. Сара непременно хотела распоряжаться самостоятельно. Она устроила себе совершенно особую жизнь: ночь проводила в удовольствиях, а день спала.

Молодой Бранчевский, испуганный порывами гнева своей жены, частыми семейными ссорами, стал искать рассеяния вне дома, и горбун содействовал ему в этом. У Бранчевского явилась страсть к игре и скоро достигла страшных размеров: двои и трои сутки мог он, не вставая, просиживать за картами.

Сара не огорчалась холодностью мужа; ей нужна была свобода, она ее имела и упивалась ею.

Гости не выезжали из их дома; то были большей частию мужчины. Сара не очень любила дамское общество.

— Я тогда только полюблю дамское общество,— говорила она,— когда оно отречется от китайских форм.

Однако ж она смутно чувствовала, что ей чего-то недостает; кокетничала со всеми и в то же время осыпала своих вздыхателей самыми злыми насмешками. Все казались ей трусами, неповоротливыми, безжизненными; тот слишком нежен, тот холоден. Ни один из окружавших ее молодых людей не нравился ей.

— Я хочу любить мужчину, а не девушку с пансионскими манерами в мужском платье,— говорила она.

Тоска Сары высказывалась дико и часто страшно; в недобрые минуты она разрушала всё, что ей нравилось, что было дорого. Раз она приказала вывести свою любимую лошадь, молодую и очень горячую. Навязав ей колокольчиков и бубенчиков на гриву и хвост, с криками пустили ее в поле. Лошадь делала страшные прыжки, бесилась, ржала и наконец с пеной у рта помчалась к лесу. Сара судорожно смеялась, ноздри ее расширялись, глаза делались огромными и страшно блестели. Но когда лошадь исчезла в лесу, она испугалась и велела всей дворне искать ее. Лошадь нашли во рву с переломленной ногой. Сара злилась, зачем не умели сберечь ее, и горько плакала.

Часто, рассердившись на горничную, она выгоняла ее. Тогда горбун, одевшись, по старой памяти, в женское платье, входил к Саре, приседал и рекомендовал себя как отличную горничную. Гнев Сары в минуту проходил, она смеялась и позволяла горбуну чесать себе голову, одевать свои маленькие бесподобные ножки. Горбун обходился с волосами Сары, как самый искусный парикмахер.

Сара, даже рассерженная, когда никто не смел подойти к ней, выносила присутствие горбуна; часто даже призывала его. Если муж долго не приезжал, горбун обязан был сидеть у кровати Сары и убаюкивать ее сказками.

На Сару находили дни, когда она просто превращалась в ребенка: робко оглядывалась кругом, всего трусила, ни на шаг не отпускала от себя горбуна; а ночью приказывала ярко освещать свою спальню, и вся дворня пировала перед ее окнами, плясала и пела. К этим странностям все в доме привыкли. Сара была добра, в домашние мелочи не входила, и прислуга была очень довольна, что взбалмошная госпожа не требует особенного порядка.

Однажды Саре вздумалось осмотреть старый сад. Горбун был ее чичероне. Он знал каждый уголок и передавал ей все местные случаи и предания. Осмотрев сад, Сара пожелала идти в старый дом. Горбун заметил ей, что в нем опасно ходить: стены и потолки часто обрушиваются; но его замечание только сильнее разожгло желание Сары.

— Я хочу видеть весь дом! — настойчиво сказала она.— Веди меня!

Горбун знал, что нет средств остановить ее, если уж она сказала «хочу», и повиновался.

Взбираясь по старой, полусгнившей лестнице, Сара побледнела и крепко схватилась за руку горбуна.

— Что с вами? — спросил он.— Не вернуться ли нам?

Она оставила его руку и с презрением сказала:

— Трус!

Эхо несколько раз повторило это слово. Горбун побледнел и злобно посмотрел на Сару, которая уже шла по зале, кричала и вслушивалась в эхо.

— Здесь гораздо веселее, чем у нас! И если мне очень надоест, я переберусь сюда жить! — заметила она, рассматривая картины.

— В этом доме нельзя жить...

— Почему? — быстро спросила Сара.

— Потому что здесь поселился старик, которому дед вашего мужа уступил этот дом. Говорят, старик не давал ему ни днем ни ночью покоя, грозил обрушить на его род разные несчастия... отец его будто бы с ним имел какой-то договор.

— Я уверена, что дед моего мужа смеялся его угрозам,— заметила Сара.

— Да, сначала и он рассуждал так же, как и вы, пока не случилось с ним одно несчастие...

— Какое? — с любопытством спросила Сара.

— Пойдемте, я вам покажу спальню, где оно случилось...

Они отправились дальше и, миновав несколько комнат, вошли в большую залу, всю обгорелую, с провалившимся полом, так что виден был нижний этаж. Крыша была вскрыта, и один остов потолка со множеством перекладин висел над их головами. Обгорелые балки иные торчали до половины, другие тянулись во всю длину комнаты. То же было и под их ногами.

Сара не без страха взглянула вниз.

— Страшно! — сказала она и притянула к себе свою собаку, которая чуть-чуть было не провалилась, прыгнув на конец обгорелой балки; уголья посыпались и с глухим шумом упали на пол нижней комнаты. Собака заворчала.

Горбун стоял на средине другой балки и покачивался.

— Что же вы? — спросил он насмешливо.

— Упадешь! — поспешно закричала ему Сара, нахмурив брови.

Горбун продолжал покачиваться.

— Вы меня назвали трусом,— заметил он язвительно.— Я хочу вам доказать...

Сара засмеялась.

— Чего тебе бояться? Лишний горб не может уже обезобразить тебя!

И она стала уськать свою собаку на горбуна; но собака не шла па балку. Глаза Сары блеснули диким огнем. Долго билась она с непослушной собакой, наконец схватила ее за ошейник, притащила к балке и сбросила вниз. Пустой дом огласился пронзительным визгом. Внизу началась тревога: раздался дикий крик; стая ворон, тяжело хлопая крыльями, поднялась вверх, иные в испуге бросились к окнам, другие метались и вились над головой Сары, которая, закрыв лицо руками, стояла в углу и дрожала.

Горбун подошел к ней, когда воцарилась прежняя тишина.

— Это был старик?— тихо спросила Сара, отнимая руки от лица.

Горбун кивнул головой.

— Что же, мы не пойдем дальше? — спросил он улыбаясь.

— Кто тебе это сказал? — возразила она с гордостию и, не держась, прошла по обгорелой балке.

Горбун шел за ней. Они вошли в комнату с уцелевшим полом, потом прошли еще несколько таких же комнат и очутились у затворенной двери.

— Здесь,— сказал горбун, отворяя дверь.

Ржавые петли жалобно провизжали, как будто прося не нарушать тишины отслужившего здания.

Комната, в которую они вступили, была без окон: свет входил в нее сверху. Прямо у стены посередине стояла огромная двуспальная кровать; комоды, шкафы и кресла — всё было покрыто густым слоем пыли.

— Вот комната, в которой случилось несчастье,— сказал горбун.

— Как сыро здесь! Какая смешная мебель! Посмотри, каков шкаф!

Сара открыла дверцу у шкафа; что-то пискнуло там, заметалось и шлепнулось на пол. Сара с криком отскочила и упала на руки горбуна.

Когда она очнулась, они были уже в саду.

— Что это со мною было? Чего я испугалась?

— Крысы! — насмешливо отвечал горбун.

Сара покраснела.

— Где моя собака? — быстро спросила она.

Горбун стал звать ее. Из-за куста, медленно выступая на трех ногах, показалась собака. Сара пришла в отчаяние.

— Ах, боже мой! боже мой! Она сломала себе лапу; беги скорее за доктором! — в отчаянии кричала она горбуну, лаская собаку. Она стала перед ней на колени и с такою любовью смотрела ей в глаза, что горбун покраснел и быстро отвернулся.

Целый день Сара возилась с лапой собаки. Она устала и рано легла в постель. Горбун сидел на ступеньке у ее кровати, а возле, на подушке, лежала больная собака.

Комната была небольшая; кровать стояла на возвышении, под розовыми занавесками. Мебель была позолоченная, обитая розовым штофом; пол был устлан дорогими коврами. Свет выходил из розовой вазы, висевшей на средине потолка. Сара лежала в одном кисейном капоте; было жарко. Она поминутно меняла положения, и одно другого было грациознее. Ее черные волосы расплелись и падали по кружевным подушкам. Ноги ее, белые как мрамор, были одеты в шелковые туфли; одна туфля сползла, и чудная ножка обнажилась во всей своей стройности.

— Какая жара! — проговорила Сара, откинув волосы назад и закинув руки на голову. Она дышала прерывисто и скоро.

Горбун жадно глядел на нее и часто закрывал голову руками, как будто вдруг чего испугавшись.

— Отвори окно и рассказывай мне сказки! — шепотом сказала Сара.

Горбун исполнил первое ее приказание, а о втором сказал, что не знает никакой новой сказки. Она непременно требовала, чтоб он что-нибудь рассказывал.

— Угодно, я вам расскажу странный сон, который я видел на днях...

— Ну, рассказывай! — машинально сказала Сара и закрыла глаза, приготовившись слушать.

Горбун начал дрожащим голосом:

«Мне было очень грустно; я долго думал о своем положении: я один, меня никто не любит, надо мною все смеются. Я осужден не знать любви, в то время как страсть сжигает меня».

Он приостановился и поглядел на Сару. Неожиданное молчание вывело ее из дремоты, и она быстро сказала:

— Ну, продолжай! Смешно, очень смешно, что ты говорил...

Горбун горько улыбнулся и продолжал:

«И с этими мыслями я задремал; сон еще не успел овладеть мною вполне, как передо мною начали мелькать какие-то лица; они дразнили меня, щипали, бранили, и я не мог сдвинуться с места; ноги и руки мои были как будто скованы. Это, кажется, еще больше поощряло моих жестоких мучителей. Я рыдал, чувствуя свое бессилие, проклинал себя и наконец дошел до страшного состояния. Я вызвал на помощь себе нечистую силу, чтоб отомстить. Загремел гром, люди с криком разбежались, я остался один, вдруг потолок рухнулся... я почувствовал, будто лечу; точно, я очутился в нашем старом саду; старик с заступом стоял передо мною. Он посмотрел на меня насмешливо и велел идти за собой. Мы долго шли дремучим лесом; пропасти и болота превращались перед нами в равнины, и мы свободно проходили по ним. Звери, встречаясь с нами, раболепно падали, птицы замирали в воздухе, не смея опередить нас; мы всё шли лесом глубже и глубже. Вдруг поднялась буря, столетние дубы стонали и с треском падали, звери выли... земля заколыхалась, и мы стали опускаться... Я лишился чувств. Открыв глаза, я увидел, что лежу среди обширного луга, на мягкой, высокой и душистой траве. Кругом меня весело распевали

птицы. Свет был розово-матовый. Цветы самые роскошные росли на этом лугу. Мне было так весело, так легко, что я заплакал от счастия. Вдруг послышались нежные звуки арфы и гармонический голос... Очарованный, я подкрался к кусту роз, откуда неслись звуки, раздвинул его, и голова моя закружилась. Качаясь на кустах роз, лежала женщина. Лицо ее поразительной красоты как будто было знакомо мне; она лукаво улыбалась. Долго я смотрел на ее черные волосы, на ее ласковые глаза, на ее белую грудь. Я забыл всё, я упал на колени, хотел прильнуть к ее губам... но она, как птичка, порхнула и высоко села на дерево и там снова запела, призывая меня. Долго я ловил ее... наконец поймал! Она дрожала в моих руках. Я прижимал ее к своей груди, я целовал ее, и она не отворачивалась от меня. Коротко было мое счастье! Вдруг всё потемнело, я очутился снова в дремучем лесу, старик с заступом насмешливо посмотрел на меня и сказал: „Твоя злоба, твоя жажда мести — всё исчезло при первом моем испытании! Зачем же ты звал меня?..“

Я сознался ему, что готов всё забыть, всё простить, лишь бы еще раз увидеть эту женщину, что готов даже вынести все мучения, какие он может придумать, только бы снова обнять ее.

Старик улыбнулся и сказал: „Ты мой! Выбирай же несметное богатство на всю жизнь или минутное счастье обладать этой женщиной...“

Я согласился на...»

Горбун остановился; в эту минуту он заметил, что Сара, спустив свои ножки с кровати, внимательно слушала его.

— На что же ты согласился? — с любопытством спросила она.

— На последнее! — отвечал горбун и продолжал: «„Если так,— сказал мне старик,— то ты подвергнешься испытанию...“ Но тут грянул гром и старик исчез...»

Едва успел договорить горбун, как порыв ветра, который давно уже бушевал на дворе, ворвался в комнату, распахнул занавески у кровати, погасил огонь, зашумел бумагами, лежавшими на столе, застучал ставнями. Молния осветила комнату... Сара приподнялась, вскрикнула и без чувств упала на подушки.

Глава VI

ОХОТА

Наутро горбун пропал из дому; всё всполошилось. Сара скучала о нем и рассказывала всем, что она собственными глазами видела старика с заступом. Два дня пропадал горбун, на третий день вечером явился. Он был худ, глаза его ввалились, волосы были всклокочены, платье изорвано. Молча пришел он в свою комнату и заперся в ней. Сару тотчас же известили о возвращении его и состоянии, в котором он находился. Наутро горбун уже был одет и причесан по-прежнему, только судорожная дрожь подергивала его. Ни ласками, ни угрозами Сара не могла выведать у него причины трехдневного бегства, он повторял одно:

— Это моя тайна!

С этого дня горбун начал возбуждать в Саре ревность к ее мужу, который продолжал кутить и играть то с разгульными деревенскими соседями, то в ближнем губернском городе.

Старуха Бранчевская захворала. Сара вдруг изменилась к ней: она усердно ухаживала за больной, и свекровь, умирая, благословляла свою невестку за попечение о ней. Сара была тронута смертию свекрови, которая в последнее время уже ни во что не входила и не мешала ей делать, что вздумается, да и Сара, утолив первую жажду властолюбия, давно уже поугомонилась: они могли жить мирно. Поплакали, поскучали и вскоре, как водится, забыли старуху Бранчевскую.

Оставшись полными хозяевами своей воли и своих доходов, молодые Бранчевские начали жить еще роскошнее и безрасчетливее; долги быстро росли; но ни муж, ни жена не обращали внимания на советы и предостережения горбуна. Впрочем, он сам иногда подавал Саре мысль затеять какое-нибудь празднество, стоившее огромных денег.

У Сары явились прихоти и капризы еще страннее прежних. Она как ребенок бегала, прыгала и безумно скакала верхом. Надев амазонку, перекинув через плечо ружье, Сара с толпою гостей и слуг отправлялась на охоту. Ее звонкий смех далеко разносился по лесам и полям.

В такие дни горбун заранее уезжал на беговых дрожках в лес и оттуда следил за Сарой, не показываясь ей.

Раз на охоте Сарой овладела какая-то дикая, необузданная веселость; глаза ее как-то страшно блестели, звонкий, радостный смех не умолкал. Если лошадь горячилась под кем-нибудь из гостей, Сара с наслаждением следила за возрастающей ее горячностью и, казалось, с нетерпением ждала минуты, когда лошадь сбросит своего всадника.

Наконец она начала горячить свою лошадь; окружающие уговаривали отважную всадницу, но это только разжигало ее; она заставляла свою лошадь делать отчаянные прыжки при общих восклицаниях ужаса.

— Сара, ты дурачишься! — сказал муж, подскакав к ней.

— Я вам не мешаю дурачиться и прошу вас оставить меня в покое,— отвечала она.

— Нет, я тебе не позволю! — сердито возразил муж и хотел удержать за повод ее лошадь.

Сара с силой хлестнула лошадь мужа, потом пришпорила свою и с диким смехом поскакала вперед. Раздался отчаянный крик. Сара оглянулась и увидела лошадь своего мужа, мчавшуюся за ней без всадника; с диким ржаньем обогнала она Сару, и положение наездницы стало опасно: лошадь под ней, и без того разгоряченная, закусив удила, помчалась за лошадью, сбросившей Бранчевского. Остановить ее у Сары не было сил. Вся в пене, долго мчала она свою всадницу по полям, наконец свернула в лес; ветви деревьев хлестали Сару по лицу, царапали ее; шляпа с нее упала, и рассыпавшиеся волосы зацеплялись за сучья. Силы оставили Сару, она опустила поводья. Лошадь попала между двумя деревьями, рванулась,— курок соскочил, раздался выстрел. У Сары потемнело в глазах, она дико вскрикнула. Ошеломленная неожиданным выстрелом, лошадь остановилась как вкопанная. В ту самую минуту из-за кустов выскочил горбун, бледный, с исцарапанным лицом, в изорванном платье, схватил лошадь под уздцы, и бесчувственная Сара упала к нему на руки.

Бережно положил ее горбун на землю, потом вывел лошадь из лесу и, повернув к дому, хлестнул прутом. Лошадь понеслась брыкаясь.

Горбун кинулся к Саре, снял ружье с ее плеч и, бросив его в сторону, ощупал ее голову; расстегнул амазонку и долго осматривал, нет ли ушиба? Но вдруг, как будто одумавшись, он с испугом осмотрелся кругом, схватил

Сару на руки и понес в самую чащу леса. С трудом пробравшись в густой кустарник и выбрав удобное место, он бережно опустил ее на землю, стал перед ней на колени и долго в каком-то восторге глядел на нее.

Казалось, он не верил своему счастью; брал ее руки, то одну, то другую, гладил, целовал их; слезы лились по его исцарапанному лицу. Он схватил себя за голову, протирал глаза и снова страстно смотрел на Сару. Глаза ее были закрыты, волосы откинуты назад, и только коротенькие черные змейки, лежавшие на висках, резко оттеняли бледное как мрамор лицо Сары. Это лицо, дышавшее обыкновенно пленительной суровостью, теперь, без обычного напряжения в чертах, без этих изменчивых глаз с вечно нахмуренными грозно и привлекательно бровями,— было теперь строго, но кротко, каким никогда не видал его горбун. И эта необычная кротость, казалось, придала ему смелость...

Солнце село, в лесу стало темно. Он нагнулся к лицу Сары и тихо сказал:

— Мы одни здесь, нас никто не увидит, встань, встань! Ты теперь моя; я отдам жизнь свою, но ты будешь моею. Я долго боролся с страстью. Я много вынес страдания и унижения, ты должна меня вознаградить, да! Встань же, скажи мне одно слово!

Он говорил отрывисто; глаза его блуждали, как у безумного.

— Ты одна, одна у меня во всем мире,— продолжал он голосом, в котором много было нежности и отчаяния.— Я знаю, что я недостоин твоей любви... о, пощади меня, пощади несчастного безумца!

Он упал с рыданием на грудь Сары и, как дитя, плакал и молил ее сжалиться над ним.

Он жадно обнимал ее; взяв ее голову обеими руками, он долго глядел на нее, повторяя:

— Клянусь, что жизнь моя принадлежит тебе, клянусь, что твое спокойствие, твое счастье я готов купить моею жизнию! Клянусь тебе, что еще никогда не существовало такой безумной любви, какую я к тебе чувствую!

Сара слабо вздохнула.

Горбун с испугом отскочил.

Сара проговорила слабым голосом:

— Оставьте меня, я спать хочу!

Горбун опустился на колени и прислушивался к ее дыханию.

Сара дышала ровно, но слабо. Казалось, сон, похожий на летаргию, овладел ею. Руки ее и весь корпус безжизненно лежали на траве.

Горбун стоял на коленях и, нагнувшись к ней, не сводил с нее глаз. Он забыл и время и место,— он всё забыл... Ему казалось, что женщина, которая лежит перед ним, принадлежит ему, что он счастлив, что она не оттолкнула его с ужасом и отвращением, когда он высказал ей свою страсть... что он будет вечно так жить, что страдания его кончились и впереди ждут его одни радости.

Прохладный ветерок зашумел листьями, деревья начали перешептываться. Горбуну казалось, что сама природа приняла участие в его радости и листья говорят друг другу о счастии, которого были свидетелями.

В лесу совершенно стемнело. Горбун едва мог различать черты, столь ему знакомые; он нагнулся близко к лицу Сары. Дыхание его заставило ее очнуться. Она приподняла голову, ощупала руками кругом себя и с испугом спросила слабым голосом:

— Где я?

И, протянув руку, она прикоснулась к горбуну, который отвечал ей страстным пожатием.

— Боже, где я? Кто тут? — проговорила Сара и снова упала без чувств.

Горбун нежно прошептал:

— Ты с человеком, который тебя страстно любит!..

В ту минуту звуки охотничьего рога дико и громко разнеслись по лесу. Горбун вздрогнул и наклонился к самому лицу Сары.

. . . .

Огни мелькали между густой зеленью. Крики и пронзительные звуки рогов раздавались по всему лесу.

Горбун, прислушиваясь к шуму, весь дрожал. Минуты его блаженства были сочтены, он судорожно упивался ими.

. . . .

В кустах послышался шорох; виляя хвостом, явилась любимая собака Сары и начала радостно обнюхивать свою госпожу; горбун как зверь кинулся с охотничьим ножом на собаку, но она ловко увернулась и исчезла. Горбун в отчаянии схватил себя за голову и простонал:

— Они возьмут ее у меня... они возьмут мою жизнь!

И он упал на землю у ног Сары.

Крики становились всё ближе и ближе, огни замелькали вблизи. Горбун впал в исступление; он то плакал, то целовал руки Сары, то осыпал ее проклятиями.

Вдруг до слуха его долетел голос Бранчевского. Горбун окаменел.

— А, они идут! — дико прошептал он.— Ну, хорошо! Буду еще страдать и ждать... но наконец придет время!..

Схватив Сару на руки, горбун поцеловал ее, и его поцелуй походил на те поцелуи, которые получают умершие. Он дико закричал:

— Сюда, сюда! Ау! Сюда!

Шум и крики сильнее прежнего поднялись в лесу. Огней замелькало множество среди густой темной зелени, и все они, казалось, бежали к горбуну. Наконец вот и люди,— горбун торжественно вынес навстречу Бранчевскому и его гостям бесчувственную Сару.

Фонари бросали красноватый свет на бледные, встревоженные лица гостей и прислуги; горбун щурился, пораженный их блеском. Всё столпилось около Сары. Осмотрели ее и увидели, что у ней слегка было ушиблено плечо. Горбун незаметно исчез.

Бережно вынесли из лесу Сару и, уложив в карету, отвезли домой.

Этот случай нисколько не сделал ее осторожнее; пролежав три дня в постели, она снова принялась за свои любимые удовольствия. Другое обстоятельство произвело перемену в ее характере и образе жизни: у ней родился сын. Первое время это очень заняло ее; охота и пиры были забыты... Но через несколько времени она снова стала скучать; возвратиться к прежним удовольствиям ей уже не хотелось: они ей надоели. Муж ее тоже давно уже скучал обществом своих соседей.

Они решились ехать за границу.

Глава VII

МАСКАРАД

Заложено было имение, и супруги отправились. Горбун был им теперь необходимее, чем когда-нибудь: он обделывал все дела, вел счета, распоряжался всем. Аккуратность его, заботливость и предупредительность даже не раз поражали в дороге саму Сару. Прибыли в Париж.

Сара, вечно жившая в деревне, и не подозревала, что могло существовать в жизни столько разнообразия. Театры, гулянья, балы, наряды — всё так заняло ее, что голова у ней пошла кругом. Она с увлечением предалась этой жизни; ее окружало разнообразное общество. Муж не только не мешал ей, но старался всеми силами поддерживать в ней страсть к этой жизни, чтоб она не мешала и не имела права мешать ему. Денег, которые они привезли с собой, рассчитывая прожить ими год, хватило только на пять месяцев; горбун должен был прибегать к займам; процентов не жалели.

Сара сначала увлеклась было молодыми людьми, окружавшими ее, но увлечение ее было непродолжительно: казалось, она не создана была для любви. Наконец между ее знакомыми, число которых с каждым днем прибывало, явился молодой, красивый и гордый испанец. Он бежал из своей родины, убив на дуэли противника. У него было правильное свежее лицо, жгучие глаза, черные волосы, величавая осанка и романическое имя. Он чудесно стрелял, еще лучше ездил верхом. Смелость, которую он обнаруживал в частых прогулках верхом, да две дуэли, за час перед которыми он был покоен и весел, победили сердце Сары: она увидела в нем свой идеал. Стараясь покорить сердце гордого испанца, Сара употребляла все тонкости кокетства; наконец она стала даже явно оказывать ему предпочтение пред всеми молодыми людьми; но дон Эрнандо торжествовал и оставался холоден. Почувствовав к нему страшную ненависть, Сара, не менее его гордая, дала себе слово во что бы то ни стало завлечь его и потом отмстить ему за его холодность, посмеявшись над его любовью. К собственному удивлению, она замечала в себе большую перемену: была весела и любезна только при нем, часто впадала в отчаяние, мучимая его равнодушием.

Горбун следил за каждым шагом своей госпожи; ее отчаяние заставляло его страдать; но не в его власти было помочь горю.

Вдруг Сара повеселела, театры, балы, прогулки не давали ей минуты отдыха. Она не находила времени ни для чего другого; о сыне она мало думала, думать о делах считала унизительным. Раз, готовясь к балу, она позвала горбуна, чтоб отдать ему нужные приказания. Он заметил, что она употребляла особенное старание о своем туалете; раза три меняли ей прическу. Наконец она устала и выслала всех, кроме горбуна, который продолжал отдавать

отчет по делам. Сара рассеянно слушала его, перебирая свои кольца.

— Ах, боже мой, мне ни одно из них не нравится! — сказала она.— Поезжай сейчас же и купи мне кольцо с самым лучшим опалом. Денег не жалей!

Горбун не двигался с места.

— Скорее, скорее! — нетерпеливо кричала Сара.

— У меня нет денег,— сказал горбун.

— Достань где хочешь, мне непременно нужно! — вспыхнув, крикнула Сара.

— Нет возможности больше доставать их,— робко отвечал горбун.

— Это что значит? — строго спросила Сара.

— У меня нет средств еще занять,— решительно сказал горбун.

Сара гордо подошла к нему.

— Я давно собирался вам сказать,— продолжал он,— что вам нужно изменить образ жизни: мы должны кругом, имение в залоге — откуда взять еще денег?

— Что же я должна делать? — спросила насмешливо Сара.

— Умерить себя...

— Я... я буду умерять себя, я?

— Что же делать? Ваши дела запутаны...

Сара дико засмеялась, горбун вздрогнул: он узнал смех, который всегда был предвестником страшного гнева Сары.

— Я покажу тебе, как я намерена себя умерять,— сказала она и подошла к туалету, на котором разложены были дорогие вещи, приготовленные для ее туалета; схватила их и стала судорожно мять и ломать, потом кинула на пол и принялась топтать ногами.— Чтоб точно такие вещи были у меня завтра! — повелительно сказала она, кинувшись на кушетку.— А кольцо с опалом чтоб было у меня сейчас же! Иди!

Горбун молча вышел.

Кольцо с опалом, которое он достал ей, очутилось на руке дона Эрнандо.

Горбун обратился и к Бранчевскому с просьбой умерить расходы, пугал его разорением; Бранчевский призадумался, дал слово остепениться; но через два дня, проиграв значительную сумму, он приказал горбуну непременно достать ему денег.

Саре было не до экономии: она в первый раз любила. Страсть ее не знала границ. Она не спускала глаз с своего испанца; проводила с ним всё свое время; ревновала его даже к вещам; то проклинала его, плакала, рвала на себе волосы в его присутствии, то вдруг становилась нежна, кротка до унижения. Только он один мог противоречить ей.

Время шло. Сара жила одной страстью. Ночи быстро летели, превращенные в дни. Устроив потайную комнату с ходом прямо на улицу, Сара убрала ее с неслыханной восточной роскошью и там, нарядившись в восточное платье, украшенное дорогими каменьями и брильянтами, на мягких подушках, в нетерпении ждала к себе возлюбленного. Самые тонкие блюда и вина являлись к ужину. Горбун вполне походил на евнуха; лицо его постоянно хранило лукавое и злое выражение; какой-то умысел таил он в своей душе. Без противоречий, без ропота, как будто машинально, исполнял он все прихоти Сары, которая всё больше и больше вверялась ему.

Раз днем Сара ввела горбуна в свою потайную комнату. В ее движениях было что-то странное и таинственное. Горбун был потрясен роскошной негой комнаты и таинственными взглядами Сары. Страшная мысль мелькнула в голове его. В испуге, в борьбе с самим собою, нерешительно глядел он на Сару, которая сидела в задумчивости. Наконец она быстро подняла голову и устремила на горбуна проницательный взор.

— Истинно ли ты мне предан? — спросила она.

Горбун смешался и вопросительно смотрел на нее.

— Способен ли ты понять всю важность моей доверенности к тебе? — продолжала она.

— Чем мог я возбудить ваше сомнение? — перебил ее горбун дрожащим голосом.

— Я знаю, ты предан мне! — гордо и с уверенностью сказала Сара.

— О, я готов чем угодно доказать вам мою преданность! — с горячностью воскликнул горбун.

— Я всё вижу — и ты будешь щедро награжден.

Судорожная улыбка мелькнула на губах его; он слегка поклонился.

— Послушай! — шепотом сказала Сара и огляделась во все стороны; краска выступила на ее лице, она продолжала быстро: — Мне нужна верная женщина...

Горбун пошатнулся, мгновенный и тихий страдальческий стон вылетел из его груди; он так сильно сжал свои руки, что суставы хрустнули. Сара, слишком занятая собственными мыслями, ничего не заметила.

— Я не буду жалеть денег, твоя жизнь, твое благосостояние — всё упрочится, если ты сохранишь тайну.— Она закрыла лицо руками и упала в подушки дивана, не взглянув в лицо горбуна, которое дышало в эту минуту адской, злобной насмешливостью.

Через несколько месяцев у Сары родилась дочь, которую отдали на воспитание одной женщине, отысканной горбуном. Она была русская и, попав в Париж с своей госпожой, по смерти ее не знала, как добраться домой. Горбун обещал ей, что она будет отправлена вместе с ребенком в Россию, и этой надеждой купил ее безграничную преданность. Сара, казалось, еще сильнее привязалась к дону Эрнанду; она тиранила его своей любовью; ей всё казалось, что он холоден, неверен ей; испанец наконец устал и видимо начал избегать ее...

Сара близка была к безумию. Раз вечером она приказала горбуну готовить всё к отъезду, задумав бежать с своим возлюбленным в Испанию, в надежде, что на родине он сильнее будет любить ее.

Терпение горбуна лопнуло. Он решился прекратить страдания Сары. В надежде ослабить узы, связывавшие ее с доном Эрнандо, он отправил ребенка с его кормилицей в Петербург, а Саре сказал, что дочь ее умерла. Потом он объявил Саре, что испанец любит другую.

Гнев, отчаяние Сары были страшны. Горбун плакал вместе с нею, и слезы его были искренни. Сара несколько раз давала ему слово разорвать свою связь, но при встрече с испанцем всё забывала и, осыпая его ласками, просила не покидать и любить ее.

Возмущенный такой слабостию, горбун рассказал Саре, что испанец не только изменяет ей, но еще нагло хвастается ее любовью:

— Он говорит, что вы ему надоели!

Сара вскочила, полная негодованием, глаза ее заблистали, ноздри расширились.

— Не может быть! — воскликнула она с обычной надменностию.

— Угодно? Я вам докажу!

— Хорошо, если ты мне докажешь, то я... я...

Горбун радовался.

— Я вас не узнаю! Вам ли сносить такое пренебрежение? — заметил он.

— Я не могу перестать любить его,— прошептала Сара, зарыдав, как дитя.

— Вы презирайте его.

— Не могу, не могу!..

Она в отчаянии кинулась на диван, металась и рыдала.

— Еще можно было бы простить ему, если б он пренебрегал вами для какой-нибудь женщины... не говорю, равной вам, но хоть любимой... а то для первой встречной...

— Лжешь! — с гневом перебила Сара.

— Я берусь вам доказать! — сказал горбун глухим голосом.

— Если правда, я... о, я брошу его!

Горбун радостно вскрикнул и бросился к ногам Сары. Волнение его было так велико, что слезы показались в его глазах.

— Вы... вы исполните ваше обещание? — спросил он рыдающим голосом.

Сара с удивлением смотрела на горбуна, в первый раз обратив на него внимание как на мужчину; брови ее сдвинулись, и она с презрением спросила:

— Это что значит?

Горбун замер и опустил голову на грудь. Казалось, он не в силах был подняться с колен.

— Мне не нравится твоя слишком горячая преданность ко мне... ты не должен так смело падать передо мною на колени!

Горбун быстро вскочил. Злоба вспыхнула в нем.

— Ты мне не нужен больше! — сказала Сара, всматриваясь в его лицо.

Через день горбун послал два письма к дону Эрнандо: одно писанное рукою Сары, которая назначала ему ночное свидание, а другое от неизвестной маски, которая умоляла его прийти в ту же ночь в маскарад Большой Оперы.

Горбун и Сара оба были в волнении. Одна дала бы полжизни, чтоб испанец пришел, другой всю жизнь отдал бы, чтоб он не пришел.

Настала полночь; домино были готовы для Сары и горбуна; но Сара медлила, она ходила по комнате, тоскливо поглядывая на часовую стрелку. Малейший шорох приводил ее в трепет. Четверть часа прошло сверх назначенного времени, а Сара всё еще надеялась. Горбун молча сидел у потайной двери, чтоб принять испанца.

Пробило час, горбун и Сара вздрогнули, один от радости, другая от негодования. Сара дико засмеялась и, махнув рукой горбуну, чтобы он следовал за нею, вышла из потайной комнаты.

Через четверть часа они ехали по бульвару в карете, замаскированные. Печально сидела в углу кареты Бранчевская; изредка слабый стон вылетал из ее груди; она открывала окно и бессмысленно глядела на улицу. Ночь была темная и свежая, блеск фонарей и плошек ярко освещал маски, бежавшие по тротуарам. Многие в нетерпении летели галопом. Хохот, говор, брань сливались с хлопаньем бичей и стуком колес. Казалось, весь город стекался к театру Большой Оперы.

Крик, брань и смех усилились при въезде в узкую улицу, где была устроена арка из тонких досок, незатейливо иллюминованная шкаликами. Все спешили, сталкивались и сами себе замедляли путь.

— Мы уж приехали? — робко спросила Сара, когда карета остановилась.

Горбун, расчищая дорогу, провел ее в залу. Теснота была страшная: визг, писк, остроты, каламбуры, смешанные с ревом музыки, оглушили Сару, которая крепко держалась за руку горбуна.

— Я не могу идти дальше,— сказала она ему,— я только теперь уверилась, что я так же слаба, как и все женщины!

Но толпа против воли влекла их вперед. Чтоб защищать Сару, горбун всё ближе и ближе придвигался к ней; он обхватил ее талию, и сама она в испуге жалась к нему. В первый раз видела она такую страшную толпу. Обессиленная волнением и негодованием, она едва держалась на ногах.

— Я упаду! — шепнула Сара, склонясь на плечо горбуна, который слегка сжал ее талию и тихо шепнул:

— Вы не должны бояться: вы со мною!

— Мне душно, мне гадко здесь! — говорила Сара.

Горбуну, напротив, в первый раз в жизни было весело: он забыл свое безобразие, злоба против людей заснула в груди его. Эта толпа, в которой он привык видеть своих врагов, теперь, казалось ему, была составлена из его братьев. Он готов был пожать руки всем этим людям и просить прощения, что питал против них злобу. Ему казалось, что Сара приехала именно для него! Он чувствовал ее дыхание, рука ее судорожно жала его руку,— он при-

жимал гордую красавицу к своему сердцу! Музыка, говор, освещение довершали волшебство.

Толпа влекла их всё вперед и вперед.

Вдруг Сара вздрогнула, вырвалась из его рук и кинулась в сторону. Она ожила, откуда взялись у ней силы; долго боролась она, будто с волнами в открытом море, с окружающей толпой и наконец достигла места, где было назначено свидание незнакомой маски с испанцем.

Сара как будто переродилась: движения ее стали мягки, голос нежен, она произносила слова медленно; дон Эрнандо долго рассматривал ее, но ему и в голову не приходило, что перед ним Сара: он знал, что она дома ждет его.

Сара весело болтала с ним; рассказала ему, будто она замужем за стариком, который ее ревнует, но что любовь заставила ее забыть страх; хитро повела речь о ревности, потом о скуке разыгрывать влюбленного. Испанец был очарован своей маской.

После долгого сопротивления Сара согласилась уехать с ним ужинать, но не иначе как в самую дальнюю улицу, чтоб ревнивый муж не мог найти ее.

Они приехали в отель. Сара каждую минуту готова была сорвать маску, чтоб уличить изменника, но гордость пересилила. Долго она боролась с собой, отказывая себе даже в последнем поцелуе, наконец крепко прижала его к сердцу и поцеловала. Потом быстро ушла в смежную комнату, захлопнув дверь у самого носа изумленного испанца. Подождав немного, он в недоумении позвонил.

Явился слуга и, не отвечая на его вопросы, подал ему письмо. Оно было приготовлено Сарой заранее, и каждое слово его дышало самым страшным и гордым презрением.

«Странно! Я еще дешево разделался с ней!» — подумал дон Эрнандо, прочитав его, и ушел.

По возвращении домой первым делом Сары было разорвать все письма испанца; потом она сорвала с груди медальон и растоптала его ногами.

Она была страшна, глаза ее налились кровью, губы были бледны.

— Ты видишь? — с диким смехом сказала она горбуну, которого сердце было полно тайной радостью.— Я отомщу ему!! О, у меня нет больше к нему жалости!.. Я его не... я не люблю никого теперь!..

Она с плачем упала на диван и раздирающим голосом простонала:

— Он больше меня не любит! Не любит!! Если он меня больше не любит,— твердо сказала она, вскочив вдруг и переменив голос,— я не могу жить! Да, я умру! Я лучше умру!

И она в исступлении ходила по комнате и ломала руки, наконец остановилась перед горбуном и повелительно сказала:

— Дай мне яду, я не могу больше жить!.. Боже! Я его еще люблю! — прибавила она с бешенством.

— Неужели вам, кроме него, некого любить? — спросил горбун, потрясенный ее отчаянием.

— Нет! — отвечала Сара.

— А ваш сын? — мрачно спросил горбун.

— Я недостойна быть его матерью.

— Кто же у него останется? — с упреком сказал горбун.— Ваш муж давно в Италии, ускакал за той певицей, и не думает возвратиться... Он бросит своего сына, он разорит его!

— Что же мне делать? Я чувствую свою вину — и хочу умереть!

— Чтоб ваш муж дал своему сыну другую мать? Вы знаете, что он способен на всё!

Сара в ужасе пошатнулась и умоляющим голосом сказала:

— Я останусь, я останусь жить!

Она тотчас же стала писать к мужу; слезы текли на бумагу, перо падало из рук.

— Боже, что со мною? Я схожу с ума! — в отчаянии воскликнула она через минуту, бросая кругом дикие и робкие взгляды.— Неужели я его не увижу больше?

Она упала на стол. Рыдания ее превратились в дикие вопли и несвязные, отрывочные слова.

Горбун сдерживал судорожные движения Сары, которая наконец изнемогла и без чувств упала к нему на руки.

Глава VIII

РАЗВЯЗКА ДРУГОЙ ЛЮБВИ

Сара переродилась; ее нельзя было узнать. Она как будто постарела; холодное и гордое выражение ни на минуту не сходило с ее лица. Целые дни проводила она с своим маленьким сыном да с двумя старухами, с которы-

ми толковала о воспитании детей. Общества она убегала, в доме у ней стало пусто и мрачно. Скучая парижской веселой жизнью, она каждый день писала к мужу, что хочет воротиться в Россию. Лицо ее с каждым днем всё больше и больше приобретало твердости, но жестокая борьба — борьба между долгом и страстью — кипела в душе гордой женщины.

Горбун сам испугался, заметив такую перемену. В разговорах с ним она стала строга и требовательна, даже начала входить в мелочи; он не спал ночей, приводя в порядок счета. Часто приходило ему в голову бросить всё и бежать, задушив свою страсть; то бешено скрежетал он зубами и клялся мстить Саре. Ее суровое обхождение с ним развивало его злобу; иногда он до того забывался, что говорил ей грубости, и тогда Сара не щадила его и уничтожала своим высокомерным презрением.

После одной из таких сцен горбун в отчаянии прибежал в свою комнату, долго ходил неровными шагами и всё повторял злобным голосом:

— Еще одно средство! Если нет, я задушу в груди эту постыдную страсть; и тогда она увидит, с кем имеет дело!

Сара ужаснулась, увидав счета: дела были страшно запутаны. Нужно было заплатить огромную сумму, чтоб только выехать из Парижа. Она призвала горбуна на совет, но, даже прибегнув к его помощи, не переменила своего презрительного голоса: казалось, она каждую минуту готова была выгнать его; он стал ей невыносим. Припоминая все его действия, она ужаснулась собственной неосторожности: горбун знал все ее тайны. К тому же она инстинктом почувствовала, что его привязанность, его заботливость слишком велики, чтоб их можно было объяснить денежными целями.

— Я не могу оставаться здесь долее; я хочу уехать! Если мой муж захочет еще остаться, я уеду одна, с сыном! — гордо говорила Сара.

Горбун язвительно улыбнулся.

— Ваш муж не может уехать в Россию! — сказал он, вынув из кармана письмо и подавая ей.

— Это что за вздор? — строго спросила Сара.

— Прочтите,— холодно отвечал горбун.— Письмо писано *ко мне*, но я нахожу нужным показать его вам.

Сара вырвала письмо из рук горбуна, быстро развернула и стала читать. Вот его содержание:

«Я гибну, спаси меня! Употреби всё свое старание достать мне денег, ради бога, денег! Если нет средств достать их, я застрелюсь. Честь моего дома того требует. Должники грозят мне тюрьмой... мне! Я не вынесу такого унижения; спаси меня, спаси! Я остепенюсь; даю тебе слово бросить карты, только избавь меня от преступления! Постарайся, чтобы моя жена ничего не узнала...» и пр.

Сара долго читала и перечитывала письмо своего мужа к горбуну. Он стоял перед ней, заложив руки назад, и любовался ее ужасом. Наконец она молча протянула руку с письмом к канделябре.

— Что вы хотите сделать? — в испуге закричал горбун и кинулся к ней.

— Уничтожить наш письменный позор! — отвечала она с презрительной улыбкой и поднесла письмо к огню.

— Остановитесь! — грозно сказал горбун.

Сара вздрогнула и невольно опустила руку.

— Оно не вам принадлежит! — сказал горбун и смело взял у ней письмо.

Дерзость его так удивила Сару, что она решительно потерялась и смотрела на своего поверенного такими глазами, как будто видела его в первый раз.

— Ваша честь, честь всего вашего семейства, жизнь отца вашего ребенка — всё, всё зависит теперь от вас! — торжественно сказал горбун.

Сара выпрямилась.

— Ты, кажется, воображаешь,— сказала она, окинув его гордым и презрительным взглядом,— что мне нужно твое ободрение, когда дело идет о сохранении чести той фамилии, которую я ношу.— Знай, что я лучше соглашусь сто раз умереть, чем допущу такой позор! Возьми все мои брильянты,— продолжала она повелительным и более спокойным голосом.— Возьми всё, что я имею дорогого! Я расстанусь со всем. Надо думать о спасении нашей чести!

Горбун вздохнул.

— Ваши вещи трудно выкупить,— отвечал он жалобным и вместе насмешливым голосом.— Они слишком дорого заложены. Я уж вам докладывал...

— Как? — с испугом спросила Сара.

— Вот формальный акт, подписанный вами,— отвечал горбун, подавая ей бумагу.

Сара отрицательно махнула рукой.

— Возьми всё серебро, всё, что есть еще у нас ценного,— сказала она, кусая губы.— Продай всё, слышишь? Только не забудь снять наш герб...

Она остановилась, придумывая, что еще можно продать.

— Ну, одним словом, продай всё...

Горбун лукаво улыбнулся.

— Но боже мой! — сказал он с притворным отчаянием.— Вы забыли, что у нас давно серебро всё продано... Всё, что есть,— не настоящее...

— Мы разорены, мы погибли! — воскликнула Сара с ужасом и негодованием.— О, ради бога,— прибавила она умоляющим голосом,— спаси нашу честь, достань нам денег! Боже! Неужели я дошла до такой нищеты, что должна погибнуть?

— Знаете ли вы, сколько вам нужно денег? — спросил мрачно горбун.

— Сколько?

Он молча подал ей счета.

— Не может быть, не может быть! — гневно воскликнула Сара.

— Вот ваши векселя,— он показал их.— Срок уже кончился, кредиторы требуют уплаты...

— Бедный, бедный мой сын! — простонала Сара рыдая.

С минуту длилось молчание. Сара плакала; горбун дышал тяжело. Вдруг Сара кинулась к нему; она осыпала его самыми нежными названьями и умоляла спасти их честь...

— О, пожалей моего сына! — говорила она.— Он дитя. Я, одна я виновата во всем... он дитя...

Горбун был страшен: глаза его налились кровью, грудь и горб судорожно колыхались. Несколько раз хотел он говорить, но язык не повиновался ему, и он только махал руками, как будто прося пощады. Наконец он собрался с силами и тихо сказал Саре, которая рыдала, закрыв лицо руками:

— Вы спасены!

— Я надеялась! — надменно сказала Сара, отняв руки от лица, в котором появилось прежнее гордое выражение, и кивнув головой.

Горбун побледнел.

— Только с условием,— прибавил он поспешно.

— Я на всё готова! — отвечала она решительно.

Горбун молчал.

— Ну, что же? Говори, какие условия?

Горбун продолжал молчать.

— Что значит твое молчание? — запальчиво спросила Сара.

Он сдвинул брови. Видно было, что в душе его совершалась борьба.

— Не мучь меня, говори скорее! — сказала Сара более кротким голосом.

Он стал ходить по комнате. Сара пожала плечами и следила с гневом и удивлением, как он прохаживался. Наконец горбун неожиданно остановился прямо против Сары и, глядя ей в глаза, мрачно сказал:

— У меня есть человек, который вам даст денег...

— Я не буду жалеть процентов, и ты будешь награжден...

Горбун пожал плечами и горько улыбнулся.

— Процентов он не хочет!

— Кто ж он такой? — с удивлением спросила Сара.

— Неужели вы до сих пор не поняли преданного вам человека? Я готов положить за вас жизнь!

И горбун тихо опустился на колени.

— Встань,— сказала Сара покровительным тоном,— преданность твою к нашему дому я знаю!

И она величественно протянула ему руку; он с жаром поцеловал ее, Сара с гневом вырвала свою руку, но тотчас же победила свое негодование и ласково сказала:

— Встань и скажи мне, как и что придумал ты сделать?

Горбун собрался с силами; лицо его приняло выражение холодное и решительное. Он начал:

— Вам нужны деньги... для спасения чести вашей фамилии?

— Да! — с сердцем перебила Сара.

— Ваша гибель неизбежна...

Сара улыбнулась: теперь мысль о гибели казалась уже ей невозможною.

— Есть человек, который спасет вас... Какая будет ему награда?

Сара подумала и гордо отвечала:

— Устроив свои дела, я заплачу ему вдвое.

Горбун презрительно покачал головой:

— Не из корысти делает он...

— Ну, моя признательность,— холодно и важно заметила Бранчевская.

Несколько минут они молча, испытующим взором смотрели друг на друга. Горбун первый прервал молчание:

— А как далеко будет простираться ваша признательность к человеку, который спасет честь вашу и всего вашего семейства? — спросил он.

— Я не понимаю тебя,— запальчиво сказала Сара.

— Какие границы положите вы своей признательности?

И горбун потупил глаза, голос его дрожал.

— Что ты такое говоришь? Я тебя не понимаю! Какие границы? — грозно спросила Сара.

Горбун молчал. Он походил на человека, которому прочли смертный приговор.

— И что за лицо у тебя? Ты как будто убил кого? — в испуге произнесла Сара.

— Я никого не убивал... меня всю жизнь убивали люди своими насмешками, презрением, своими злыми поступками со мной. Я рожден не для такой роли, какую мне дали играть в жизни. Мое безобразие... я знаю: оно дело рук людских... Да! Я покорился судьбе, я жил страдая; но людям показалось мало моих страданий, и они... О! они жестоко поступили со мной! Вот уж несколько лет, как ни днем ни ночью я не знаю покоя! Я иссох, для меня нет радостей, моя жизнь — ад со всеми его муками! Я с радостью встретил бы смерть... Но пожалейте же меня! Дайте мне хоть умереть по-человечески!

Горбун, казалось, не помнил, что говорил; слова невольно срывались с его языка. Сару возмутила такая фамильярность; она слушала его с удивлением. Часто и прежде говаривал он ей о своем рождении, о своей жизни; но Сара не понимала, к чему клонились его речи.

— Послушай, ты, кажется, забываешься, я вовсе не расположена выслушивать горести и страдания моих слуг!— презрительно сказала она.

Злоба одушевила печальное лицо горбуна. Он тихо сказал:

— Я думал, что моя преданность...

— Ты разве не доволен платой? — перебила его Сара.

— О, пощадите, пощадите меня! — проговорил горбун плачущим голосом и закрыл лицо руками.

Брови Сары нахмурились, она гордо подняла голову и спросила:

— Ты имеешь человека, у которого я могу занять денег?

— Да! — самодовольно отвечал горбун.— Вы будете иметь денег, сколько вам нужно.

Сара вздохнула свободно.

— Завтра же чтоб деньги были посланы в Италию! — сказала она.

— Так вы согласны? — радостно спросил горбун.

— Ты глуп! — запальчиво воскликнула Сара.— Я решительно ничего не понимаю. Ты говоришь, что у тебя есть человек, который мне даст денег взаймы?

Горбун кивнул головой.

— Он бескорыстен, он хочет... Но чего же он хочет? О каких условиях ты всё твердишь? Что это за человек?

Сара горячилась.

— Этот человек...

Горбун остановился, как будто стараясь собраться с силами.

— Этот человек,— продолжал он глухим голосом,— не хочет ничего, что вы ему предлагали... Одного, одного желает он...

Горбун опять остановился.

— Чего? — резко спросила Сара.

— Вашей любви! — быстро отвечал горбун.— Что я говорю: любви? Нет, один взгляд... одну ласку... и ему довольно! Ему не нужно другого счастья!

Горбун забылся. С лица его исчезло нерешительное и страдальческое выражение. Оно дышало страстью. Смело, глазами, полными любви, смотрел он на Сару.

Сара вспыхнула.

— Как ты смел сделать мне такое предложение? — воскликнула она, окинув его с ног до головы презрительным взглядом.— Что за человек, который так дерзок, что считает возможным такое условие?

Сара затрепетала. Мысль, не тот ли, о ком она не переставала думать, снова хочет воротиться к ней, как пламенем обхватила ее.

— Я хочу знать, кто он такой? — настойчиво повторила она.

Испуг и смятение выражались в лице горбуна. Он дрожал и молчал.

— Говори! — гневно закричала Сара.

Горбун упал на колени и, сложив руки на груди, отчаянным голосом произнес:

— Я!..

Силы его оставили, и он упал лицом к полу.

Дикий, пронзительный хохот, полный бесконечного презрения, пронесся по всему дому. Будто оглушенный им, горбун быстро поднял голову. Сара, с пылающим лицом, стояла посреди комнаты и продолжала смеяться. Слезы появились у ней на глазах; она старалась сдержать свой смех, но, увидав лицо горбуна, расхохоталась еще громче и презрительней...

Злоба придала силы горбуну и подняла его с колен. С бешенством смотрел он на Сару.

— Боже мой! Ха-ха-ха!

— Это я так рассмешил вас? — сурово спросил горбун.

— Что? Ха-ха-ха!

И Сара махала ему рукой, чтоб он поскорей ушел.

Он заскрежетал зубами и грозно произнес:

— А! Так вам смешна моя страсть! Знайте же, что ваша участь, ваша честь в моих руках!

Хохот Сары быстро прекратился.

— Ты с ума сошел? — высокомерно спросила она.

— Нет! Мое безумие было бы спасением для вас... но я в полном уме! Повторяю вам, что честь вашей фамилии, всё в моих руках! Смейтесь теперь!

Сара побледнела.

— Негодяй! — сказала она презрительно.

В одну минуту страшная перемена совершилась с горбуном. Он отчаянно вскрикнул и, кинувшись к ногам Сары, жалобно простонал:

— Сжальтесь!.. Не бойтесь меня,— продолжал он тихо, стараясь схватить ее руку,— не бойтесь! Клянусь вам, что никто, кроме нас, не будет знать нашей тайны. Я убью себя после минуты счастья, чтоб тайна погибла вместе со мною! Да, если мое существование будет тревожить вас, одно слово — и я лишу себя жизни! Вспомните, что вам предстоит, вспомните, что вы должны будете дать отчет вашему сыну за позор вашей фамилии...

— И всё это я должна купить моею честью? — в ужасе, будто рассуждая сама с собой, прошептала Сара. И снова хохот, подобный дикому плачу, огласил комнату. Лицо Сары пылало стыдом и ненавистью; глаза сверкали злобой, ноздри расширялись.

— Вон, вон отсюда! Вон с глаз моих! — грозно закричала она, топнув ногой.

Горбун с отчаянием осмотрелся кругом и не двигался.

— Говорю тебе: вон отсюда!

Горбун решительно махнул рукой и встал.

— Я сам желаю оставить ваш дом; но помните, что вы в моих руках,— медленно проговорил он и вышел с поклоном. Сара проводила его презрительным смехом...

Горбун прибежал в свою комнату. Смех Сары продолжал звучать в его ушах. Он прятал голову в подушки и рыдал как безумный, наконец кинулся к столу и достал маленькую скляночку. Долго он смотрел на нее то с любовью, то с ужасом; кончилось тем, что он снова спрятал ее и начал ходить по комнате. Он говорил сам с собой, размахивал руками, бил себя в грудь; лицо его то бледнело, то вспыхивало. Так прошло два часа. И в доме и на улице была совершенная тишина,— всё спало кругом.

Горбун раскрыл окно; холодный ночной воздух пахнул ему в лицо; неподвижно стоял он перед окном, устремив вдаль свои горящие большие глаза. И понемногу укрощалось дикое выражение его лица; злоба исчезла, оно сделалось страдальчески кротко, слезы потекли по щекам горбуна. Долго стоял он в раздумье, наконец кинулся к бюро, достал множество банковых билетов и выбежал из своей комнаты. Тихо, на цыпочках, подкрался он к дверям Сары и стал прислушиваться. Огонь виднелся из щели. Горбун слегка постучался в дверь.

— Кто там? — тихим, болезненным голосом спросила Сара и, будто почувствовав вдруг присутствие горбуна, строго прибавила: — Кто смеет стучаться?

Горбун молчал; он стоял у дверей, страшась переступить порог. Ни гнева, ни ненависти не было в лице его. Он всё забыл, всё простил. Раскаянием, одним раскаянием полно было его растерзанное сердце.

— А, ты? — насмешливо сказала Сара, отворив дверь.

Она была рада его приходу. Страх потерять общественное уважение, навсегда заклеймить позором свою фамилию победил неукротимую гордость Сары. Она уже готова была сама позвать горбуна, чтоб переговорить о деньгах. Он спас ее от первого шага к унижению.

— Войди! — произнесла Сара довольно ласково.

Радостно кинулся было горбун к ногам своей госпожи, но она остановила его холодно-презрительным взглядом.

Он потупил глаза и оставался с наклоненной головой. Сара улыбнулась; унижение и робость его немного примирили ее с влюбленным управляющим; а может быть, и необходимость покориться обстоятельствам сдерживала ее.

— Какая причина могла быть так важна, что ты осмелился тревожить меня в такую пору?

— Ваше спокойствие,— слабым голосом отвечал горбун.

В его голосе было столько страдания, столько мольбы и раскаяния, что Сара бросила на него ласковый взгляд. Ей тоже было тяжело и страшно оттолкнуть человека, который столько времени был так безгранично предан ей.

Чудное действие произвел над ним ласковый взгляд Сары. Забыты были все планы, все условия, все надежды, которые еще таились в глубине его души. Светлой бесконечной благодарностью светились глаза его. Сара подарила ему еще один ласковый взгляд.

Он упал перед ней на колени и, рыдая, сказал:

— О, простите, простите меня! Я безумец, я сам не знаю, что делаю; простите меня! Вот... вот вам деньги, делайте что хотите с ними! Одного только прошу у вас: забудьте мои слова и простите мое безумие!

Горбун доставал из кармана банковые билеты и клал их у ног Сары, которая с торжествующей и язвительной улыбкой смотрела на них.

— Хорошо, увидим! — холодно сказала она.— Теперь возьми эти деньги и запри в этот шкаф.

Она указала на один из шкафов, стоящих в комнате.

Горбун, будто околдованный, повиновался. Он собрал с полу билеты и, поминутно оглядываясь на Сару, отнес их в шкаф, сложил и запер.

Сара тревожно следила за его движениями и ласково кивала ему головой. Когда же он подал ей ключ, она быстро схватила его и спрятала на своей груди. В ту же минуту лицо ее изменилось: прежняя холодная, презрительная улыбка явилась на губах.

Горбун вздрогнул и с недоумением глядел на Сару, которая продолжала улыбаться. Он хотел говорить; но она предупредила его.

— Иди, ты мне не нужен теперь! — сказала она.

Крик бешеной ярости вырвался из его груди.

— Так я обманут? — вскрикнул он.

— Замолчи, негодяй! — гордо перебила его Сара.— Иди!..

И она указала ему на дверь.

— Деньги, деньги мои! — в отчаянии закричал горбун.

— Они не твои; ты их у меня же украл! — отвечала Сара с уничтожающим презрением.

С минуту, ошеломленный, горбун молчал. Слова не сходили с его языка. Наконец он с усилием проговорил:

— Если ваши... то зачем было употреблять обман? Вы должны мне возвратить их! Деньги мои, мои!

В последних словах его было столько настойчивости, что Сара испугалась.

— Тебя, как вора, схватят по одному моему слову! — сказала она.

— Какие вы имеете доказательства?

— Деньги, те самые деньги, которые ты требуешь!

Горбун с видом обидного сожаления покачал головой и мрачно сказал:

— Вы, верно, забыли, что в моих руках также есть доказательства. Я решусь на всё!

Сара отчаянно вскрикнула и упала на диван.

Горбун засмеялся:

— А! Вы хотите моего позора; но я погибну не один! Честь для меня никогда не могла иметь цены: с детства убили ее в моей груди! Унижение в ваших глазах для меня страшнее самой смерти. Вы назвали меня вором... пусть так! Тем лучше! Знайте же, что вы... были в моей власти, и вор, негодяй пощадил вас!

И горбун, с пеною у рта, засмеялся.

Сара испугалась; ей представилось, что горбун помешался; она с ужасом слушала его.

— Вы не верите? Да, это вам кажется невозможным! Вспомните же падение ваше с лошади в лесу! Вы лежали без чувств на моих руках, мы были одни в лесу, я обнимал вас...

Ярость обезобразила лицо Сары.

— Замолчи! Ты наглый лжец!.. Вон, иди вон! Я не хочу тебя видеть! — воскликнула она, топнув ногой, и в ее голосе было столько страшной настойчивости, что горбун молча повиновался.

На другой день горбун был позван к Саре. Она сидела на диване, в подушках. В комнате был полумрак, камин слабо освещал ее.

Горбун едва мог разглядеть Сару; но когда глаза его немного привыкли к темноте, он ужаснулся: лицо ее было болéзненно-бледно, глаза опухли от слез.

— Подойди к столу и возьми вексель на деньги, которые я должна тебе,— сказала она слабым голосом.

Горбун медленно подошел к столу и, взглянув на вексель, отскочил с видом человека, глубоко униженного.

— Я написала вдвое больше, чем взяла; если мало, ты завтра получишь еще!

Горбун сделал умоляющий жест.

— Все мои бумаги, какие у тебя есть, брось в камин.

Горбун стоял с поникшей головой и молчал.

— Что же ты не исполняешь моего приказания? — кротко сказала Сара.

Горбун улыбнулся, взял со стола вексель, бросил его в камин и, сложив руки, смотрел, как пламя обхватило его.

Сара быстро вскочила с дивана, подушки попадали.

— Как ты смел сжечь вексель? — сердито спросила она.

— Мне не нужны ваши деньги! — глухо отвечал горбун.

— А я еще менее желаю твоих; завтра ты получишь другой вексель.

— Я не приму его! — решительно сказал горбун.

— Мне всё равно; но мои счеты с тобою кончены, завтра же оставь мой дом!

И она облокотилась на камин.

Горбуну показалось, что ее глаза отуманились слезами. Он затрепетал и, сложив руки на груди, смотрел на нее с бесконечной любовью.

Сара, бросив взгляд в зеркало, увидела горбуна, быстро повернулась и спросила:

— Ты еще здесь?

Горбун сделал к ней умоляющее движение и, горько рыдая, простонал:

— Пощадите, не выгоняйте меня!

— Вон из моего дома! — твердо произнесла Сара и выпрямилась.

Горбун дико посмотрел на нее... потом окинул глазами всю комнату.

— Я должен оставить ее дом? — прошептал он с ужасом.

Отчаяние овладело им.

— Нет, пусть лучше я умру теперь же!

И он упал на колени.

— Я не могу тебя видеть! — сказала Сара с видом сожаления; но лицо ее выражало презрение; она отвернулась от горбуна, который страшно был жалок в эту минуту.

— О, не выгоняйте меня, дайте мне хоть еще раз видеть вас! Я не переживу, я с ума сойду! Сжальтесь, сжальтесь! Придумайте самое жестокое наказание, только не это, ради бога, не это: оно ужасно, оно бесчеловечно!

И горбун рыдал на всю комнату; он подполз к Саре, целовал и обливал слезами следы ее ног.

— Оставь, оставь меня! — в волнении сказала Сара, отступая.

Ни слов, ни голосу недоставало у горбуна молить ее о пощаде. Одни раздирающие стоны вырывались из его истерзанной груди.

Сара облокотилась на камин и, закрыв лицо, тоже всхлипывала. Она была потрясена его стонами. Она привыкла к нему: его слепая преданность нравилась ей и совершенно была по ее гордому характеру.

С минуту Бранчевская стояла у камина, потом, подняв гордо голову и бросив презрительный взгляд на горбуна, пресмыкавшегося у ее ног, мерным шагом подошла к снурку колокольчика.

— Иди, или я призову людей! — сказала она, взявшись за снурок.

Горбун сделал отчаянный жест, вскочил и с ужасом закричал:

— Я иду, иду!

Переступив порог, он упал без чувств.

Сара вздрогнула; с минуту она стояла еще у снурка, не решаясь, позвонить или нет? Наконец подошла к двери и хотела запереть ее. Рука горбуна мешала; она с отвращением оттолкнула ее ногой и проворно заперла дверь на ключ...

Глава IX

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Тяжко бьют по душе впечатления угрюмой жизни и куют из нее душу твердую, непреклонную, которая не встрепенется, не вскипит в минуту сильной радости, не

сожмется судорожно и от воплей чужого отчаяния; крепнет душа под ударами впечатлений угрюмой жизни.

. . . .

Вечные бури и волнения воздвигались и кипели в страстной душе, заключенной в уродливом теле. С первых дней детства сама судьба, казалось, обрекла горбуна быть существом злобным, враждебным всему доброму и так вела его: раздуваемо было всё низкое и недостойное, зародыш чего лежит в каждой душе, как и зародыш добра... Долго боролось в нем доброе начало и с обстоятельствами, и с крутыми уроками судьбы... наконец умерло оно,— заснула душа... И спит она крепким, непробудным сном. Спит год, спит десять и двадцать лет, и чем продолжительнее сон, тем грубее и недоступнее кора, нарастающая на ней... Наконец уже и нет ничего в целом подлунном мире, что могло бы пробудить ее... разве вмешается сила сверхъестественная, грянет гром божий... тогда проснется она... и горе несчастному!

Долго боролся горбун со смертью, потрясенный последним свиданием с Сарой; наконец искусство врачей спасло его. Когда он в первый раз встал с постели, Бранчевская была уже вдовой: муж ее, поссорившись с кем-то в Италии, убит был на дуэли. Это известие привез Саре Тульчинов, странствовавший тогда по свету и бывший секундантом Бранчевского. Покойник, отправляясь стреляться, передал ему свои бумаги и поручил сказать жене своей, чтоб она уплатила горбуну только по четырем векселям, которые назовет ей Тульчинов, а по остальным не платила бы, потому что они подделаны горбуном, подписавшимся под его руку. Тульчинов, сосед Бранчевских по имению, знал подробно их дела и давно уже терпеть не мог горбуна, объясняя себе его поступки единственно жадностью. Он в точности передал Саре слова покойного. Бранчевская в первую минуту, полная негодования, решилась обличить проделки прежнего своего управляющего. Но горбун, проведав о близкой опасности, дал ей знать, что у него также есть письма дона Эрнандо и другие доказательства, которыми он много может повредить ей.

Сара смирилась. Они снова увиделись и разменялись оружиями мести, которые имели друг против друга. Сара дала слово не поднимать дела о подделке векселей, горбун отдал ей письма к дону Эрнандо. Сара поспешила бросить их в камин, не подумав, все ли они отданы ей...

Сара возвратилась в Россию вдовой, горбун — стариком: его никто не узнавал. Он уже не нашел в Петербурге женщины, которой вверил дочь Сары, да он и не имел времени хорошенько искать ее, потому что был в Петербурге проездом и торопился в усадьбу Бранчевских, где много у него осталось добра, которое теперь должно было забрать. Уже гораздо позже, через несколько лет, он узнал, что та женщина умерла и что ребенок, которого привезла она из Парижа, также умер.

Горбун попал в усадьбу Бранчевских прежде помещицы, и первым его делом было припрятать портрет Сары, который впоследствии видел у него Тульчинов. Множество старинных дорогих вещей, украшавших некогда огромные комнаты покинутого дома, было спрятано горбуном еще при жизни родителей Владимира Бранчевского. Он увез все их с собой в Петербург вместе с значительным капиталом, который скопил, управляя имением Бранчевских и помогая им проматываться в Париже.

В Петербурге, среди одинокой однообразной жизни, душа его черствела не по дням, а по часам и скоро уснула глубоким сном. Сначала он занимался ходатайством по делам, скупал тяжбы, наконец начал давать деньги в рост...

Так прошло много лет. Сын Сары вырос; раз ему понадобились деньги, и случай столкнул его с горбуном. Горбун с радостью стал давать ему деньги, брался даже помогать ему в удовольствиях разного рода. С той поры у горбуна снова завелись постоянные сношения с домом Бранчевской, которой он, впрочем, никогда вовсе не упускал из виду; ему знакомы были все люди, а с Анисьей Федотовной он был старый друг.

Наконец обстоятельства привели его еще раз увидеться и с самой Бранчевской. Сара увидала случайно в Полинькиной комнате образок, который когда-то надела на шею своей дочери. Страшная догадка мелькнула у ней. Горбун был призван.

Мысль, что Полинька, так страстно им любимая, дочь той самой женщины, по милости которой вынес он столько муки и унижения, в первую минуту сильно ошеломила его. Но во вторую минуту он уже сообразил, что тут представляется новая возможность достигнуть своей цели или отмстить гордой Полиньке.

Розыски удались: снова отвергнутый Полинькой, горбун доказал Бранчевской, что Полинька не дочь ее. Ли-

шив пристанища бедную девушку, пустив по миру Кирпичова, его жену и детей, он торжествовал, строил новые планы... непробудным сном продолжала спать душа, озлобленная и жестокая... пока не грянул гром божий!

Глава X

ВИДЕНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Подобно утопающему, который хватается за соломинку, Кирпичов, получив свободу, тотчас же кинулся обивать пороги у людей с капиталами; просил денег, приглашал в половину и сулил впереди золотые горы. Смешон и жалок был он с своими несбыточными планами, с непоколебимой верой в свои коммерческие способности, в любовь к нему всей просвещенной России, с фантастическими цифрами и выкладками. Слушали его равнодушно, без возражений, как слушают помешанного, усмехались, пожимали плечами. Никто не поддавался. Некоторые, впрочем, просили времени подумать. Тогда воображение Кирпичова быстро разыгрывалось: в радужных красках рисовалась ему будущность, и прежние друзья Урываев и Бешенцов, не покинувшие его в несчастии, уже пили и принуждали его пить за новое открытие магазина. Но получив наутро отказ, Кирпичов опять впадал в раздражительную тоску...

Много дней разъезжал он — проку не было! Наконец едет он по одной узкой и некрасивой улице. Дело к вечеру. Кирпичов глядит на дома, на магазины, на лавочки... кипит в них торговля, отворяются и затворяются двери, и понятно: роковая печать не оковала их! Ноет сердце книгопродавца! Вот он видит дом, старый и безобразный, вышины непомерной... Счастливая мысль шевельнулась в его голове; лучом надежды осветилось его лицо...

— Стой! — кричит он извозчику.

Извозчик остановил свою клячу.

Кирпичов спрыгнул с дрожек, вошел на двор и поднялся по темной, грязной и узкой лестнице в самый верх. Долго стучался он в единственную дверь чердака, наконец послышался стук ключей, запоров, задвижек.

— Кто стучит? — спросил из-за дверей испуганный и угрюмый голос.

— Я... Кирпичов... я, душенька! — отвечал Кирпичов.

Однако долго еще не отворялись двери, так что Кирпичов рассердился и закричал:

— Отворяй, не то выломлю!

Задвижка щелкнула: высокая, сухая и мрачная фигура появилась на пороге со свечой.

— Насилу-то! — воскликнул Кирпичов ласково и принялся обнимать персиянина, который с угрюмой важностью подставил ему свои впалые, желтые, колючие щеки и глубокомысленно произнес:

— Здоров?

— Здоров, здоров! А ты как? — спросил Кирпичов, входя в нечистую и совершенно пустую комнату.

Персиянин ничего не отвечал; он усердно трудился, запирая замки и задвижки у дверей.

Кирпичов ударил его по плечу и сказал:

— Эх, Кахарушка, как закупориваешься! знать, много тут?

Он подмигнул и щелкнул по своему карману.

Персиянин замотал головой.

— Ну что таишь от меня! я ведь не украду.

— Зачем красть, ты мой наследник! — протяжно произнес персиянин.— Умница, умница! Больше не сердишься?

— Не сержусь, не сержусь! — отвечал Кирпичов.

Хотя он считал персиянина большим дураком, однако ж персиянин тотчас взял у него свой маленький капитал, как только пошли первые слухи о расстройстве дел Кирпичова. Кирпичов страшно рассердился, и с той поры уже более двух лет они не видались. Теперь шла мировая.

— Ты мой наследник,— повторил персиянин.

Кирпичов кинулся обнимать его и, целуя ошеломленного азиатца, растроганным голосом говорил:

— Ах ты, моя душенька Кахарушка, ты мой друг; ты один по-прежнему меня любишь... а то все...

Он отчаянно махнул рукой; голос его задрожал, и, чтоб скрыть волнение, он принужденно кашлянул.

Персиянин повел его в другую комнату, также грязную и пустую; только старый персидский ковер разостлан был на полу у печки, и на нем валялись засаленные кожаные подушки.

— Садись! — сказал персиянин, указывая Кирпичову на ковер и ставя на пол свечу.

Кирпичов бросал кругом взгляды, выражавшие его глубокое презрение к убранству комнаты. Однако ж он сел на ковер и, заложив по-турецки ноги, сказал:

— Вот за то тебя люблю, хаджи, что ты умеешь жить. Ну на что все эти диваны, стулья, кресла? То ли дело ковер! и сидеть ловко и лечь можно!

И Кирпичов лег.

Много говорил он о своих делах, говорил горячо. Персиянин сидел неподвижно против него и, казалось, внимательно слушал. Но вдруг странная улыбка показалась на его губах; он манил кого-то к себе, шевелил губами и снова впадал в неподвижность.

— Ну а скажи-ка мне, Кахар, хочешь ли ты быть богачом?— спросил Кирпичов.

Мрачное лицо персиянина передернулось, черные огромные зрачки на желтых белках забегали. Он оскалил зубы.

— Хочешь? — повторил Кирпичов.

Персиянин закивал головой. Кирпичов придвинулся ближе к нему и таинственно сказал:

— Так и быть, по старой дружбе, я тебя возьму к себе в долю!

Лицо персиянина опять стало неподвижно.

— Слушай, хаджи Кахар, мне нужен капитал, я уплачу долги, книг у меня вдвое больше... какой вдвое! вчетверо, чем долгу! Мы опять откроем торговлю, я издам сочинение одного известного сочинителя... уж такого известного, что я тебе скажу, душенька! Уж всё слажено, только печатай теперь... Оно нам принесет чистого барыша тридцать тысяч!

И Кирпичов торжественно посмотрел на персиянина. Но в лице азиатца было полное равнодушие.

— Да это что! а вот я устрою контору по тяжебным делам, понимаешь? от господ иногородних буду получать дела и процессы! да хоть бы у тебя... чего лучше? вот твое наследство, ей-богу, выхлопочу! ты получишь его! где бумаги? покажи!

Персиянин ничего не слыхал, он глядел на одну точку. Кирпичов продолжал:

— Ну, где же бумаги по наследству, а? да мы просто миллионеры будем! Я еще покажу, что такое Василий Матвеич! Меня все теперь чернят, дурными слухами подрывают доверие ко мне, на порог дома меня не пускают, как будто я уже нищий и прошу у них хлеба! И всё те

люди, которых я кормил, поил! Ты понимаешь ли, как мне больно видеть такую неблагодарность! И разве я уж такой дурной человек, разве я чужие деньги прожил?..

Голос Кирпичова дрожал; тоска начала подступать к его сердцу, и, как часто случалось с ним в последнее время, он впал в совершенное отчаяние, начал стонать, жаловаться, плакать...

— А мои дети,— говорил он, упав в подушку лицом и зарыдав,— что с ними будет? неужели им придется жить по чужим людям, быть приказчиками?

(Кирпичов знал, каково быть приказчиком.)

— Господи! если б деньги, деньги... да я застрелюсь, если не достану денег!

Тупые черные глаза персиянина, хлопая веками, с испугом устремились на Кирпичова, в котором припадок малодушия всё усиливался. Он клялся, что убьет себя, и вдруг кинулся к окну. Лицо неподвижного персиянина выразило ужас. Он быстро удержал Кирпичова и сказал:

— Не плачь! хочешь, я...

— Денег? а? денег? — весь задрожав, перебил Кирпичов.

— Нет!.. лучше! я вот, видишь, бедный: один ковер! да, бедный! А вот мне ничего не надо, мне стоит захотеть, и я буду иметь всё, всё... дворец, гарем... У самого властелина всей Персии нет таких жен, как у меня... две тысячи... да! и одна другой лучше!.. Хочешь, и у тебя их будет столько же?..

Кирпичов усмехнулся.

— На что мне твои жены? — отвечал он иронически, качая головой.— Мне и одну-то нечем кормить. Мой магазин, отдай мне мой магазин!..

— Ты будешь его иметь! — решительно сказал персиянин.

— Как?

— На, проглоти одну лепешечку...

Персиянин вынул из кармана своего засаленного архалука коробочку и передал ее Кирпичову.

— Знаю,— сказал Кирпичов, раскрыв коробочку и взяв одну лепешку в рот,— знаю! ваше лакомство... ваше!

Персиянин тоже проглотил лепешку и снова впал в неподвижность.

Несколько времени Кирпичов с жаром доказывал ему, что все люди его враги, что горбун злодей и самый свире-

ный его враг; наконец он смолк и, подобно персиянину, впал в неподвижность.

Свеча нагорела; в комнате почти темно. Кирпичов простился с персиянином. И вот он входит в свой магазин. Освещение необыкновенно яркое. Золотые корешки переплетов слиты в плотную массу, и стены как жар горят, точно окованы граненым золотом! Толпятся покупатели сотнями, приказчики стучат счетами, лазят по лестницам за книгами, перья скрыпят, звон золота раздается по всему магазину, его уже некуда прятать — столько выручили! Покупатели, уходя, почтительно кланяются Кирпичову. Люди с важными лицами пожимают ему руки, на которых снова горят все его брильянтовые перстни.

Кирпичов чувствует необыкновенную легкость на душе, ему весело, все его враги стоят с потупленными глазами и просят у него прощения; один только горбун, забравшись на шкаф между глобусами, скалит ему зубы. Кирпичов ставит лестницу и хочет его снять, но шкаф всё делается выше и выше; Кирпичов утомился, взбираясь по лестнице,— и вот он уже хватает горбуна за волосы, но вдруг руку его останавливает красивая женщина и молча указывает ему вниз. Кирпичов ужаснулся страшной высоты, на которую забрался: под ногами его огромная площадь, народ толпится тысячами, все куда-то спешат. Он видит, как при дружном крике многих тысяч рабочих подымают колоссальную статую; сердце у него замерло: в статуе он узнает свое изображение! Ее ставят на мраморный пьедестал, на котором золотыми буквами написано: «Аккуратному, расторопному и деятельному двигателю книжной торговли Василью Матвееву сыну Кирпичову. Иногородние».

В толпе он узнал многих иногородних, узнал по письмам... они стояли почтительно, сняв шляпы. Кирпичов долго любовался с своей высоты чудным зрелищем, слезы умиленья потекли ручьями из его глаз и мешали ему наслаждаться торжественной минутой своей славы. Он хотел протереть глаза — и вдруг с ужасом отнял руку от лица: глаз у него нет, вместо них огромные впадины. И сам он уже не живой человек: он скелет и лежит в темноте; на него несет сыростью. Огромный мраморный пьедестал давит ему грудь!

Кирпичов содрогается всем телом и приходит в сознание... Как удивился он, увидав себя на ковре рядом с неподвижным персиянином, который страстно сжимал в

объятиях засаленную кожаную подушку! Свеча, догорев совершенно, едва вспыхивала. Кирпичову было душно; голова его пылала и трещала, будто ее давили с чудовищной силой. Он окликнул персиянина, бормотавшего что-то на своем языке.

— Хаджи! дай огня, дай хоть чего-нибудь выпить,— тормоша его за руку, сказал Кирпичов.

— Оставь, не тронь меня! пусть целует меня красивейшая из моих жен, красивейшая из жен всего Востока! — проговорил персиянин и еще сильнее сжал подушку в руках.

Кирпичов увидел кружку на окне и напился. Но, видно, и в ней была частица волшебного зелья... Прислонясь лбом к холодному стеклу, долго глядел он с отяжелевшей головой на улицу. Мрачно рябила в темноте Фонтанка, чуть освещенная фонарями. Кирпичову сначала было страшно глядеть на нее; но вдруг показалась лодка, вся облитая радужными огнями; множество разряженного народу было в ней; с песнями, с музыкой, с веселыми криками пронеслась она по темным волнам... вот другая, вот еще и еще! Одна за другой мелькали красивые лодочки; говор и смех долетали с них до ушей Кирпичова... Вдруг всё кругом осветилось; толпы гуляющего народа теснились на набережной. Все были так веселы... Но подул легкий ветер — огни погасли, перила исчезли, Фонтанка начала расширяться, всё шире и шире, выше и выше разливалась она и наконец дошла до самых окон, где стоял Кирпичов. Мелодические звуки музыки слышались вдали, вдруг что-то мелькнуло чудное, восхитительное... ближе и ближе! Красивая женщина с длинными-предлинными волосами плыла к окну, высоко взбивая пену. Приплыв, она лукаво кивнула Кирпичову головой и, поманив его, взмахнула своими мощными руками и на огромное расстояние отскочила от него. В разных направлениях показались женщины, одна другой красивее; они плескались в воде, смеялись, манили к себе Кирпичова и прятались от него.

Фонари погасли. Начало рассветать; густой утренний туман подернул печальным покровом дома и заборы; Фонтанка рябила от мелкого дождя. На улице была тишина. Кирпичов всё еще продолжал смотреть вдаль. Но картина уже изменилась... У дома, где его магазин, стоит множество дрог, обитых черным сукном; при звуках погребального пения на носилках поминутно выносят кучами кни-

ги из его магазина и ставят на дроги. Горбун и Правая Рука, весело потирая руками, суетятся около дрог. Множество факельщиков потрясают в нетерпении своими зажженными факелами. Унылое пение раздалось сильней, и шествие потянулось за последними дрогами, на которых стояла огромная конторка, хорошо знакомая Кирпичову... а всех дрог казалось ему до сотни. За дрогами шла его жена, в глубоком трауре, ломая себе руки и дико крича; дети, держась за ее платье, тоже плакали. Унылое пение раздавалось всё громче и громче; толпа народа, вся из самых отборных и неутомимых читателей, печально смотрела на погребальную процессию.

— Кого хоронят? — спросил Кирпичов у одного читателя.

— Книжный магазин и библиотеку для чтения на всех языках Кирпичова и К°,— отвечал читатель и зарыдал.

Кирпичов тоже зарыдал; но когда грянула «вечная память» несчастной библиотеке, он дошел до крайнего отчаяния — и очнулся.

Весь дрожа, огляделся он кругом. Персиянин как мертвый лежал на ковре, не выпуская своей подушки. Плотно завернувшись в шинель, надев шляпу, Кирпичов вышел на улицу и кликнул своего измоченного извозчика, который спал на дрожках, свернувшись калачом. От толчка Кирпичова извозчик вздрогнул и дико закричал: «Караул!»

Он долго не мог прийти в себя: ему только что снилось, будто лошаденку его выпрягли и уже скачут на ней прочь, всё дальше и дальше. Сырой ночной воздух, страх не получить денег с седока, который вот уж три-четыре часа как в воду канул, крутые обстоятельства сильнее всякого опиума приводят мозг в болезненное раздражение... только грезы и видения не бывают так роскошны, но более близки к действительности...

— Ах ты батюшки! вот испужался-то! господи! — крестясь и протирая глаза, говорил извозчик.

— Живей! — сердито сказал Кирпичов.

— Сейчас, сейчас! экой холод-то,— бормотал извозчик, суетясь около своей клячи, которая тоже вся вздрагивала, как бы сочувствуя своему хозяину.

— Ишь, барин, не грех ли тебе? — с упреком сказал извозчик дрожащим голосом.— Ездил, ездил я с тобой днем, а ты и ночь меня проморил? лошаденка не ела. А уж я про себя-то молчу!

— Что? разве я тебе не заплачу, что ли? ну, живей!

Извозчик, кряхтя, сел на дрожки.

— Не заплачу! ох, ох, бары вы, бары! — бормотал он.— Ведь ночь продержал, а у меня дома дети... поди, не поели... Ну, ну, касатик мой, ну, с богом! — прищелкивая языком и махая грозно вожжами по воздуху, крикнул извозчик.

Они двинулись. Дребезжание ветхих дрожек уныло разносилось на большое расстояние по пустой улице.

— А чай, семь уж есть? — спросил извозчик.

— Да,— отвечал Кирпичов.

— Вот оно и поди! наши, чай, уж скоро поедут из дому, а моей надоть постоять,— рассуждал извозчик.— Вот денек и пропал!

Кирпичов не слушал его: он погружен был теперь в разные вычисления, и до такой степени, что даже иногда делал их на спине извозчика.

Кляча едва тащилась, поминутно спотыкаясь. Извозчик раза два ударил ее по костлявым бокам и потом, поправляя шапку на голове, с отчаянием бормотал:

— Господи, господи! ишь, упрямая какая стала!

Они выехали на большую и роскошную улицу; разбитые и усталые ноги лошаденки скользили по деревянной мостовой. Кирпичов вдруг схватил извозчика за плечи и закричал:

— Стой!!

Извозчик вздрогнул, потянул вожжи, и лошаденка его чуть не упала.

— Смотри! — указывая рукою на окна бывшего своего магазина, воскликнул Кирпичов.— Ты знаешь,— продолжал он торжественно и глубокомысленно,— ты знаешь, чей это магазин? Мой, мой! я весь дом займу под него... да! потомки мои будут торговать в нем; я своих наследников лишу всякого права закладывать или продавать его! Никакие козни врагов моих не сокрушат его!!

Извозчик с удивлением слушал Кирпичова, сморкался, почесывал голову, пока тот ораторствовал.

— Ну, пошел! — сказал Кирпичов, устав говорить о будущем величии своего магазина.

Извозчик дернул вожжами, но лошадь не двигалась; он грозно замахал ими в воздухе, лошадь упорно оставалась на одном месте. Извозчик кричал, бранился и, рассердясь, ударил свою лошаденку. Сделав отчаянное усилие, проехала она два-три шага, слабые ноги скольз-

пули, и она упала на деревянную мостовую. Глухой стон вырвался из груди извозчика, вожжи выпали из его рук; он как шальной глядел на растянувшуюся свою клячу, у которой бока высоко подымались от тяжелого дыхания, шея и морда вытянулись и в глазах столько было страдания, что страшно было смотреть.

Кирпичов сошел с дрожек; только тут очнулся извозчик и с отчаянным плачем кинулся к нему.

— Батюшка, родной, пособи, обожди, я сейчас! Ах, господи, господи, грех какой!! Недаром я видел, что тебя у меня украли! — прислонясь к морде лошади, плачущим голосом проговорил извозчик и начал дрожащими руками разматывать хомут. Он тревожно глядел во все стороны, как будто думая сыскать себе помощи; но кругом было тихо и пусто. От волнения бедный ванька ничего не мог сделать; он кричал на лошадь, нукал; но она грустно и неподвижно лежала, слезливо глядя на своего хозяина. Кирпичов уже ушел далеко, размахивая руками. Извозчик кинулся догонять его. Он бежал, спотыкаясь, и задыхающимся голосом кричал:

— Барин, не погуби меня, отдай мне хоть деньги-то: ведь я бедный человек!

Кирпичов считал в ту минуту будущие свои доходы. Он с презрением подал извозчику десятирублевую ассигнацию и пошел дальше.

Извозчик кинулся к своей лошади, но, нагнувшись к ней, отскочил и остолбенел: кляча лежала с закрытыми глазами. Извозчик упал на свои оборванные дрожки и зарыдал. Долго оплакивал он свою кормилицу посреди большой улицы... Начали появляться прохожие. Они останавливались, равнодушно глядели на мертвую клячу, на извозчика и продолжали свой путь... случались и такие, которые, оглядев с участием околевшую лошадь, осыпали извозчика упреками:

— Ишь ведь, я думаю, лошадь не кормил, а теперь плачешь... лучше бы меньше вина пил!

Через час окоченелую лошаденку положили на роспуски, к которым привязали дрожки, и такая же измученная кляча, выбиваясь из сил, потащила ее с богатой улицы...

Извозчик шел за роспусками, бессмысленно глядя на узду, снятую с бедной клячи...

Глава XI

ОТЕЦ И СЫН

Кирпичов возвратился домой усталый. Он жил теперь за Тучковым мостом, в нижнем этаже старого и неуклюжего дома; квартира была бедная и тесная. Дети, пробужденные его приходом, пугливо спрятали головы в одеяло, потому что Кирпичов в минуты отчаяния был свиреп с ними; их плач казался ему живым упреком. Надежда Сергеевна, худая, с заплаканными глазами, радостно встретила своего мужа, которого всю ночь прождала, полная страху — не случилось ли чего с ним?

Кирпичов грубо отвечал на все вопросы жены и заперся в своей комнате. Он лег на постель и проглотил лепешку. Сны радужные часто сменялись дико-чудовищными, в которых всегда главную роль играл горбун...

Несколько дней не покидал Кирпичов своей комнаты, почти ничего не ел, да и нечего было: всё ценное уже было продано; сбывалось предсказание горбуна: его жене и детям грозила голодная смерть! Несчастная мать бодрилась; но страшно было у ней на душе!

Вечером, сидя на диване, печально смотрела она на своих детей, спавших на ее коленях,— слезы бедной матери ручьями падали на их головки. По временам слышался хриплый кашель из темной комнаты, где лежал Кирпичов с мучительной головной болью и безотрадной тоской. Страшная действительность уже бессменно наполняла его мысли,— он испытывал невыносимые муки!

У него нет больше опиуму, чтоб прогнать мучительную действительность, у ней нет хлеба, чтоб накормить детей! Уже целый день собирается она идти к нему уговорить его укрепиться духом, подумать о детях, достать денег. Но каждый раз становилось ей так страшно, что она ворочáлась. Наконец, бережно переложив сонные головы детей с колен на диван, она взяла свечу и подошла к его двери; с минуту стояла в нерешимости, но оглянулась на спящих детей — и вошла, заслонив рукою свечу.

Кирпичов лежал на диване, уткнув лицо в подушку. Комната была печальная и холодная; из единственного окна виднелась мрачная даль, в которой едва заметными точками блестели фонари, отражаясь в рукаве Невы. Кроме дивана, на котором лежал Кирпичов, в комнате был стол, заложенный бумагами и счетами, да несколько стульев.

Жена сделала несмелый шаг к дивану; но ей, видно, не суждено было поговорить с своим мужем... и зачем? чтоб выслушать много малодушных жалоб, стонов отчаяния, даже, может быть, незаслуженных грубостей и упреков! Вдруг послышался скрып дверей в другой комнате. Она быстро кинулась туда — и остолбенела на пороге, пораженная испугом и удивлением.

В противоположных дверях стоял горбун! Он был бледен и дышал тяжело. Его платье всё было забрызгано грязью. Он поклонился жене своего сына с видом непонятного ей смирения и умоляющим жестом подзывал ее к себе. Она заперла дверь к мужу и сказала с упреком:

— Зачем вы пришли? что вам нужно?

— Мне нужно видеть вашего мужа! — отвечал горбун, собираясь с силами.

— Моего мужа? на что вам его? чтоб опять вести в тюрьму? разве мало еще вы мучили нас?

Кирпичова теперь виделась с горбуном в первый раз со времени рокового переворота их дел. Гнев душил ее.

— Мне нужно его видеть! — умоляющим голосом сказал горбун.

— Смотрите! вот его дети, которых вы пустили по миру; они, может быть, скоро умрут с голоду вместе с своим отцом; вы лучше уж тогда придите полюбоваться!

Надежда Сергеевна залилась слезами.

Горбун с ужасом оглядел комнату, в которой всё носило печать нищеты, взглянул на спящих бледных малюток и, кинувшись к Кирпичовой, сказал растерзанным голосом:

— Пощадите! я пришел отдать вам всё, что имею! неужели вы не видите на моем лице страданий, которые грызут меня? ради бога, пустите меня к нему, дайте мне с ним переговорить... умоляю вас!

Он рыдал, как дитя.

Надежда Сергеевна глядела на него с удивлением; дети проснулись и, кинувшись к матери, тоже не спускали своих испуганных сонных глаз с плачущего горбуна.

— Я принес ему денег. Я всё отдам ему; вы не будете ни в чем нуждаться, дайте мне только переговорить с ним! — всхлипывая, говорил горбун.

— Я спрошу его, желает ли он видеть вас? — сказала Надежда Сергеевна в недоумении.

Она тихо отворила дверь и сказала:

— Василий Матвеич, а Василий Матвеич! к тебе пришли, тебя желают видеть по делу!

Ответа не было.

— Не заснул ли он? — сказала она, оборотившись к горбуну.— Всю эту ночь он проходил по комнате. Василий Матвеич!

Опять нет ответа.

Горбун дрожал, напрягая слух.

Взяв свечу, осторожно вошла Надежда Сергеевна в темную комнату; дети держали ее за платье, горбун тоже следовал за нею. Диван, где недавно лежал Кирпичов, был пуст... Надежда Сергеевна вздрогнула; медленно стала она обводить свечой комнату,— сырой, холодный ветер пахнул с улицы, зашевелил бумагами на письменном столе и чуть не задул свечу. Надежда Сергеевна дико вскрикнула и устремила глаза на окно. Яснее, чем прежде, вдали быстро бежала черная масса воды, местами озаренная дрожащими искрами. Кирпичова молча указала в раскрытое окно. По указанию матери, стоявшей с поднятой рукой, дети тоже стали смотреть в темную даль, где виднелась масса бегущей воды; посмотрел и горбун... Вдруг Надежда Сергеевна поставила на стол свечу, обхватила руками своих детей и сказала отчаянным и вместе грозным голосом, указывая на горбуна:

— Смотрите, дети, запомните его хорошенько! он, может быть, сделал вас сиротами!

Горбун помертвел.

— Как?.. что?..— глухо проговорил он, пораженный ужасной догадкой, и с диким криком кинулся к окну.

Дети вскрикнули, когда он выскочил на улицу...

Уже несколько дней Кирпичов чувствовал нестерпимую тоску. Печальный голос жены, плач и лепет детей были ему пыткой, громко пробуждая давно спавшую совесть. Самые средства, которыми несколько дней поддерживал он в себе искусственную бодрость, способствовали конечному упадку духа. Нищета и позор в страшных картинах рисовались несчастному. Когда же наконец жена вошла в его комнату, отчаяние его достигло крайних пределов: он понял, зачем вошла жена, и знал, что должен будет отказать ей! И как только она воротилась, он вскочил, терзаемый всеми муками ада, и кинулся из окошка...

Теперь он шел скорыми неровными шагами по Т*** мосту. Низенькая, неуклюжая фигура не в дальнем расстоянии бежала за ним.

Кирпичов остановился на мосту и, облокотясь на перила, стал смотреть на широкую полосу воды. Был поздний вечер; прохожих не было; никто не тревожил его, не мешал ему предаваться страшным мыслям, слушать грозные вопли совести, которая твердила ему, что погубил он детей и жену, лишив их состояния, что им нечего есть, что умрут они с голоду. Спустя минуту низенькая фигура остановилась позади его и, закрыв руками лицо, простонала:

— Господи! помоги мне!

Кирпичов быстро повернулся. Нагнувшись к низенькой фигуре, он принужденно захохотал и произнес с иронической вежливостью:

— А! мое почтение, Борис Антоныч!

Горбун вздрогнул и, отняв руки от лица, сделал к Кирпичову умоляющее движение.

— Посмотри, посмотри на меня по-человечески! — сказал он рыдающим голосом.— Я больше не враг твой... не враг...

— Друг, закадычный друг! — отвечал Кирпичов с диким хохотом.— Ха-ха-ха! засадил в тюрьму, обокрал... вот друга так друга нашел я!

— Выслушай меня, ради всего, что у тебя есть дорогого, выслушай!

— Дорогого? что у меня теперь есть дорогого? — сказал Кирпичов.— Дорожат люди честью — ты у меня ее отнял... дорожат деньгами — ты же отнял их у меня! Я пустил по миру своих родных детей... слышишь ли ты, злодей? Я родных детей сделал нищими... понимаешь ли ты, можешь ли ты понять? Или не было у тебя детей? И хорошо! Не то они, верно, отреклись бы от такого отца, прокл...

— Погоди проклинать меня! — с ужасом перебил горбун, хватаясь за перила.— Ты не знаешь, кто стоит перед тобой!

— Как не знать? Борис Антоныч Добротин! как не знать мне его? он лишил меня всего состояния, он опозорил меня на всю Россию, даже и дети мои будут стыдиться, что имели такого отца! Как не знать мне его? — насмешливо повторял Кирпичов.

— Перестань, прошу тебя — перестань! ты сам отец, пойми же меня... ведь я твой отец! — в отчаянии вскрикнул горбун и кинулся было к Кирпичову.

Кирпичов отстранил его рукой.

— Какой отец и чей? — спросил он.

— Твой, твой! — поспешно отвечал горбун.

— У меня нет отца, я не знавал его. Бросил он меня! Отец! отец! Будь отец, он научил бы меня добру, не потерял бы я своей чести... На что мне теперь отец? всё для меня в жизни кончено... я нищий, меня многие считают вором... зачем мне отец теперь?

— Меня обманули: мне сказали, что ты умер.

— Тебя не обманули: я точно умер... я никуда не гожусь теперь! Разве отец станет сажать сына в тюрьму? разве станет учить его делать то, чему ты меня научал? Ты лжешь! погубил меня да еще хочешь смеяться надо мной!

— Я тебе дам капитал, я уничтожу твои векселя, ты будешь жить по-прежнему... будешь богат... будешь гулять,— в отчаянии твердил горбун.

— Зачем ты сулишь мне деньги? я знаю тебя хорошо... да и что мне в них теперь? Я их имел: что же я сделал из них? а, что? Я бросал их тем, которые льстили мне, и выгонял тех, кто молил помощи... что мне в той жизни, какую я вел? пьянство... да оно-то и погубило меня... Нет, ничего мне не надо! я век свой прожил, словно как животное, прожил свои и чужие деньги, пустил по миру жену и детей. Я всё сделал низкое и злое, что только может сделать человек! Так зачем мне еще деньги? чтоб опять поить и кормить льстецов да обсчитывать бедных и честных людей? Нет, уж кончено! не увидишь, не налюбуешься ты больше моим позором, моими черными делами... Нет, нет! — закричал Кирпичов и побежал по мосту.

Горбун кинулся за ним; он хватал его за шинель, кричал ему раздирающим голосом:

— Прости, прости своего отца!

— Отец! — с хохотом повторил Кирпичов.— Да, хорош отец!

И он пустился бежать еще шибче. Горбун бежал за ним, но силы изменили ему. Далеко опередивший его Кирпичов остановился у фонаря и крикнул горбуну:

— Смотри! вот что мне осталось делать!

И он перешагнул через перила.

Горбун сделал над собой отчаянное усилие, подскочил к сыну и, схватив его за шинель, дико закричал:

— Помогите!

Раздался глухой и печальный плеск волн. На секунду нарушилось постоянное теченье реки, как будто с торже-

ственной почтительностью принявшей в свои объятия Кирпичова,— и тотчас же волны снова потекли мерно и тихо.

Горбун держал в руках шинель сына, устремив безумные глаза вниз, и кричал о помощи. Вдруг что-то черное мелькнуло над водой, раздался слабый мгновенный крик.

— Тонет, тонет!.. сын мой тонет! спасите, спасите!.. О, я сам спасу его! — закричал горбун и кинулся с мосту спасать своего сына...

Еще раздался глухой и печальный плеск,— волны расступились и тотчас снова плотно сомкнулись и потекли своим неизменным путем...

Глава XII

КИРГИЗСКИЕ СТЕПИ

А что Каютин?.. Забытый читателем на Новой Земле, он воротился в Архангельск в начале лета. Первым делом его было бежать на почту, куда просил он своих друзей адресовать к нему письма, с тем чтоб их оставляли там до его прихода. Ему отдали несколько писем от Данкова, много писем от Душникова, но писем, которых он особенно ждал,— писем Полинькиных,— ни одного! Сильное горе взяло бедного труженика, который после долгих странствований, после утомительной работы и скуки надеялся наконец отвести душу. Какая могла быть причина этого молчания? Тяжкая болезнь, смерть? Но в таком случае или башмачник, или Надежда Сергеевна непременно уведомили бы его... Думал, думал Каютин и решил, что другой причины не может быть, кроме той, что Полинька забыла его. В этом случае понятно молчание друзей его, так же как и ее собственное. Под влиянием этой тяжелой мысли Каютин написал Полиньке то резкое и грустное письмо, которое, попавшись ей в руки вместе с другими через Граблина, привело ее в такое негодование.

В числе писем Душникова было одно, недавнее, в котором Душников описывал приволье жизни в прикаспийском краю и звал своего друга попробовать счастья в тамошних промыслах, обещая ему верную прибыль, если только он еще не довольно приобрел, чтоб расстаться с страннической и труженической жизнью.

Каютин недолго думал. Как ни хорошо шли весенние промыслы на Новой Земле, однако ж, при первоначальных

неудачах, чистая выручка не могла быть слишком значительна. И притом зачем он будет теперь торопиться в Петербург?

Товар поспешили продать, и Каютин, не теряя времени, отправился в Астрахань. Хребтов сопровождал его.

Других людей, другую природу увидел наш герой.

По положению своему, на берегу Каспийского моря, при устье текущей из глубины России Волги, Астрахань представляет один из важнейших пунктов нашего отечества в торговом и политическом отношениях. Состоя преимущественно из обширных бесплодных степей, бедная местными средствами, Астраханская губерния небогата оседлым населением. И притом целая треть его приходится на долю губернского города, служащего средоточием всего рыболовства Каспийского моря, занимающего многие тысячи рук. Сюда стекаются для найма из верхних губерний рабочие люди, здесь строятся суда и заготовляются рыболовные материалы, провизия, соль; здесь, наконец, складочный порт всего улова Каспийского моря.

Населенный богато и разнообразно, город особенно поражает своею пестрой, полуевропейской, полуазиатской, физиономией. Церкви и мечети, обыкновенные дома, встречающиеся во всех русских городах, дома, закрытые снаружи заборами; татары, хивинцы, калмыки, армяне, киргизы, русские мужики; костюмы европейские, национальные русские, татарские чухи, цветные халаты, белые покрывала армянок; дрожки, коляски, татарские телеги, навьюченные верблюды, верховые лошади — вся эта смесь строений, племен, одежд, экипажей и всего прочего производит зрелище странное и занимательное.

Но Каютину некогда было долго бродить по городу и любоваться его оригинальной наружностью. Предуведомленный заранее, Душников уже приготовил всё, чтоб немедленно приступить к делу. Снаряжены были две большие барки, так как средства Каютина позволяли ему теперь вести промысел в размерах значительных, и друзья наши отправились в свой участок.

Все каспийские воды и устья притекающих к морю рек разделены на участки, из которых одни принадлежат частным владельцам, другие казне. Казна предоставляет свои участки свободной промышленности с платою определенной пошлины. Участок, снятый Каютиным по совету Душникова, составлял часть так называемых Эмбенских Вод, идущих вдоль восточного берега, и прилегал поч-

ти к самому Колпинскому мысу. Отсюда к югу промысел становится опасным: тюркмены и киргизы, кочующие по берегам полуостровов Бузачи и Тюк-Караганского, часто нападают на промышленников, грабят и забирают их в плен.

Каютину и Душникову опасаться, однако же, слишком было нечего: на двух судах их находилось до сорока человек сильного и смелого рабочего народа, хорошо вооруженного. По совету осторожного Душникова, оружия взято было даже более, чем требовалось при промыслах.

Таким образом, подстрекаемые хорошим уловом, который с каждым шагом вперед становился выгоднее, они наконец очутились у самых берегов Тюк-Караганского полуострова.

То была уже глубокая осень, в том краю особенно приятная своей ровностью и умеренным холодом. Солнце быстро опустилось в море, наступил вечер. Барки наших промышленников бросили якорь в виду тюк-караганских берегов.

Каютин стоял на палубе своей барки. Небо было чистое и ясное; волны, чуть колеблемые тихим ветром, лениво плескались, чуждые своей обычной торопливости; ничего мрачного и пугающего не было в их шепоте; они как будто говорили о спокойствии. Но в душе его не было спокойствия.

Вот теперь планы его удаются; он почти уже имеет то, о чем едва смел мечтать... но зачем ему теперь деньги,— деньги, стоившие стольких трудов, лишений и, главное, таких жарких битв с самим собою, с врожденной ленью, неспособностью, нерасположением?.. грустно!

Небольшая лодочка причалила к барке: покинув свою барку, Душников спешил свидеться с Каютиным, с которым в течение дня они перекликались только с барок.

Фигура Душникова значительно изменилась. Купеческий костюм шел к нему гораздо лучше так называемого немецкого платья. Ловко сшитый синий кафтан с меховой оторочкой, подпоясанный красным кушаком, шапка с соболем придавали ему молодецкий вид. Не было в нем прежней робости, неуверенности: может быть, что, занявшись наконец делом, в котором чувствовал себя не бесполезным, он стал смелее и самостоятельнее...

В последнее время у них только и разговоров было, что о Полиньке. Каютин считал несомненным, что она забыла его; Душников искал других причин ее молчания

и советовал ему тотчас по окончании промыслов ехать в Петербург. Но Каютин клялся, что если, приехав в Астрахань, не найдет и там письма от Полиньки, то скорей опять отправится на Новую Землю, чем в Петербург. И теперь речь пошла о том же.

— Оба вы хорошие парни,— сказал Хребтов, неожиданно появившись перед ними.— И умны, и работящи, и спеси нет, одним нехороши: как сойдетесь вместе, так уж добра не жди — всё супитесь да хмуритесь, словно у вас и речей веселых промеж собой нет... Испортил ты у меня и его! — заметил Хребтов Душникову, указывая на Каютина.— Правда, и прежде, бывало, он как загрустит, так беда,— да скоро проходило, и уж зато как развеселится, так только держись — дым стоит коромыслом! Песни поет и французские и русские... да что песни! Помнишь, молодец (Хребтов обратился к Каютину), как ты на Новой Земле по насту вдруг французский танец пошел?.. И я, старик, смешно сказать, глядел, глядел, да туда же пустился русскую; глядь— и вся артель пристала... Такая пошла потеха, что куда холод девался! Степь кругом мертвая: не дойдешь, не доедешь, не доплывешь ни до какого жилья, пока не минет зимушка долгая,— а в зимушку ту каждый час ни до чего нет ближе, как до смерти; глаза режет, словно бритвами, холод — не приведи бог, а нам и нуждушки нет! лихо согрелись, да и весело было. Я смерть люблю так тешиться. И за то я тебя еще пуще полюбил, Тимофей Николаич, что там, где другой, того гляди, благим матом взвоет, ты плясать пошел...

— То было другое время,— со вздохом сказал Каютин.

— Другое время? Неужли ж скажешь, что лучше то время было? И мерзли-то мы, и товарища схоронили, и долго удачи не было, а здесь вот,— спасибо Семену Никитичу, хороший участок снял,— в два месяца, припеваючи, что промыслили! Поди, наш улов по всей Астрахани первый будет. Сколько красной рыбы одной — севрюги, осетра, белуги! А частиковой так и говорить нечего: ведь у нас лосося, белорыбицы, сазана — хоть пруд пруди! Каких тюленей промыслили! каких сомов погромили! — нет, грех теперь кручиниться! Вишь, ночь какая! право, спать не хочется ложиться... не кручиньтесь, други! Я вот артели по хорошей порции винца выдам, так они у меня хором песню молодецкую гаркнут, авось и вас развеселят... а, так, что ли?

— Пожалуйста, Антип Савельич, распорядись, как тебе хочется... пусть веселятся!

Обе барки скоро оживились песнями и плясками, но Каютин и Душников не принимали участия в общем веселье: им как-то особенно грустно было в этот вечер. Настроенный печальными жалобами Каютина, и Душников недолго крепился. Как будто желая утешить Каютина, доказав ему, что горе его еще не так велико, он нарочно старался вспомнить самые грустные случаи своей несчастной любви, мелочи, ничтожные в глазах равнодушного слушателя, но в которых глаз влюбленного открывал тысячи поводов к невыносимым страданиям. Такие воспоминания всегда болезненно действовали на Душникова, в котором тоска редко высказывалась наружными признаками, но зато с страшною силою. Нервы его были слабы, и, раз потрясенная и грустно настроенная, душа его не скоро успокоивалась... Каютин скоро понял, что своими горькими жалобами неблагоразумно растравил глубокую рану в сердце друга. И он переменил тон, он уже больше не говорил ни о своих страданиях, ни о любви и коварной измене. Но теперь пришла очередь Душникову грустить и жаловаться. Каютин ужаснулся, как еще сильна и свежа любовь к ветреной и причудливой Лизе в сердце его друга. И как вместе с тем она благородна и великодушна!

— Лиза, Лиза! — тихо говорил Душников, всматриваясь в мрачную массу воды и, может быть, видя в волнах ту самую грациозную и прекрасную картину, которую некогда так чудно передала его кисть.— Я был глуп, я был неблагодарен, когда прощался с тобой... Я плакал, как недовольный, как обиженный, уходил с тоской и болью в душе... И ты плакала, я довел тебя до слез! И я не умел сказать тебе, что плакать тебе не о чем, что жалеть меня нечего: я и так счастлив на всю жизнь, счастливее всех остальных людей, что ты хоть несколько минут в жизни была со мной ласкова, говорила мне о своей любви... Смешно было бы, если б я еще смел еще чего-нибудь надеяться... Лиза, Лиза! помнишь ли ты еще меня? Нет, где тебе помнить? у тебя такой характер — ты идешь, сама не знаешь куда, идешь не останавливаясь: мимоходом делаешь ты счастливыми тех, кто умеет понять, что и одна ласка твоя великое счастие, и несчастными тех, кто возмечтает много... Я прежде не хотел еще раз с тобой встретиться — казалось, и страшно, и грустно... как подойду? что скажу?

Но теперь я хотел бы еще раз увидеть тебя, чтоб сказать тебе: если я когда-нибудь прихожу тебе на мысль, так не думай, что ты сделала меня несчастным; думай, что ты дала мне много, много счастия, больше, чем стоил я, и будь весела, ребячься и прыгай, хохочи, спи сладко... Если ты встретишься с ней прежде меня,— продолжал Душников, взяв за руку Каютина,— перескажи ей мои слова, скажи, что я очень счастлив... и прошу ее простить мне, что, прощаясь с ней, я заставил ее плакать... Ах, как она плакала! как ей было жалко меня и совестно! Да, так плакать могут, только когда любят! — воскликнул Душников в сильном волнении...— Так что ж? она меня любила! Да, любила, но потом увидела, что я не пара ей... она права, права! я сам должен был понять.

Долго еще говорил Душников то самому себе, то Каютину о своей любви, о своем счастии, о Лизе, о доброй ее бабушке... Наконец они разошлись. Душников сел в свою лодочку и причалил к своей барке. Каютин сошел в каюту и лег. Скоро совершенная тишина наступила на барках. Рабочие, утомленные дневными трудами, порядочно подкутившие, спали глубоким сном. Только часовые бродили на палубе и по временам нетвердой рукой били в сторожевой колокол. Наконец и часовые умолкли.

Была совершенная тишина. Волны чуть плескались. Небо было покрыто туманом, только немногие звезды отражались в море. Ночь, чем глубже, становилась темней и тише...

Вдруг около барок показалась небольшая лодка. Тихо, осторожно приближалась она к ним. Сидевшие в ней три человека поминутно поднимали весла и прислушивались. Наконец они подплыли к одной барке; огромный нож сверкнул в руках одного из пловцов, и в минуту якорный канат был перерезан. Барка покачнулась и медленно начала отдаляться, гонимая легким юго-восточным ветром.

Лодка с тремя гребцами стала приближаться к другой барке, казалось, с тем же намерением. Нож не был спрятан... Вдруг часовой на палубе отплывшей барки проснулся, подошел к колоколу и стал звонить. Пловцы быстро принялись грести прочь, наблюдая движения часового, который, прозвонив впросонках, снова улегся.

Лодка с тремя гребцами быстро удалялась к Тюк-Караганскому берегу.

Барку всё гнало по направлению ветра и к утру с другой барки, продолжавшей стоять на якоре, ее уже не бы-

ло видно не только простым глазом, но и в трубу. Часовой первый заметил, что барки нет.

— Антип Савельич! Антип Савельич! — закричал он как безумный, вбегая в каюту Хребтова.— Барка душниковская пропала!

В несколько минут на барке произошло смятение. Все проснулись, все были поражены и напуганы, суетились и не знали, что делать. Хребтов тотчас угадал, каким образом исчезла барка.

— Киргизы-разбойники подшутили с нами,— сказал он испуганному Каютину,— когда нет надежды силой ограбить барку, они часто выкидывают такие штуки... уж таков народец! Знают, что рабочий народ устал, спит крепко,—вот и подрежут ночью канат, коли ветер дует в их сторону; барку и подгонит к ним. И коли удастся, они давай грабить ее, да еще после и перед судом правятся: мы-де по береговому праву... зачем в наших участках рыба наловлена... так-де она нам и следует! А коли не удастся, им тоже горя мало: знать не знают, ведать не ведают, видно, канат сам оборвался, и конец! Грех моей седой голове,— сказал печально Антип,— что я допустил такую беду, да уж поздно пенять, не воротишь! надо думать, как делу помочь, как товар выручить...

— Что товар? — заметил Каютин.— Там пятнадцать человек наших товарищей... и Душников...

— Отнимем, всех отнимем, коли уж и попались они в руки киргизам! — решительно перебил Хребтов.— Нас довольно... винтовка у каждого, пуль и пороху пропасть... даже две сабли есть...

— И барабан есть,— заметил один рабочий, Демьян Путков, тот самый, который был с Каютиным и на Новой Земле,— взяли для балагурства, а теперь, может, и пригодится...

— Возьмем и барабан,— с усмешкой сказал Хребтов,— коли понадобится, и на берег сойдем, а уж товарищей не уступим! ведь что их бояться? Только воровски храбры они, а как дело пойдет на открытую, так нет их трусливей... Сто человек от десяти бегут...

Рассчитывая, куда мог занесть ветер барку Душникова, промышленники держались тем курсом, но, как ни смотрели в зрительную трубку, барки не усмотрели.

— Некогда мешкать, надо сойти на берег; авось по следам найдем разбойников! — сказал Хребтов.

И, оставив на барке двух человек, остальные пересели в лодки и стали грести к берегу.

По мере приближенья к нему между рабочими усиливалось волнение.

— Лес, лес, братцы! — передавали они друг другу с лодки на лодку.

Каютин посмотрел в трубу: точно, на горизонте тянулась узенькая, едва заметная полоса, окаймляя бесконечное пространство моря. Рабочие побросали свои занятия и напрягали зрение. Только Хребтов, не поднимая головы, продолжал чинить свою рубашку. К его окладистой бороде и широким плечам не шла иголка, которую он смешно держал двумя пальцами, а остальные странно таращились. Каютин окликнул его.

— Антип Савельич, лес!

Хребтов усмехнулся и, перекусив нитку зубами, отвечал:

— Да еще какой чудной: с морем воюет, а у самого ни поленца нет!

— Да что же там такое? право, деревья торчат: посмотри сам!

Каютин подал ему трубку.

— Не мешай, друг! — отвечал Хребтов, прищуриваясь.— Ага! — радостно воскликнул он, вдев наконец нитку в иглу, что долго не удавалось ему...— Уж в такую чудную сторону попали мы,— промолвил Хребтов.— Моря лесами порастают; большие реки пропадают, а ведь, кажись, не игла, мудрено затеряться! Вот увидишь, какой тут лес...

К вечеру лодки пристали к мнимому берегу; пятисаженные гибкие камыши своим унылым шелестом сливались с монотонным плеском волн.

Печальная музыка моря, неизвестность, что сталось с товарищами и что ожидает их самих в диком краю,— всё вместе сильно прикручинило промышленников. Молчаливо, с печальными лицами, сидели они у разложенного костра. Небо было подернуто тучами. Шипение камышей становилось всё громче; их стонущие, зовущие, умоляющие звуки были невыносимо унылы...

Каютин с Хребтовым лежали поодаль от костра на куче камышей, набранных для топлива.

— Ну, народец наш не весело глядит,— заметил Хребтов.

— Да что,— отвечал Каютин,— ведь, по правде сказать, так и радоваться нечему...

— Оно так... да про то ведать должна одна душа. А уж коли пришли сюда, так держись... Эй, Демьян! — гаркнул Хребтов.

Демьян Путков, пожилой человек, с плотно остриженной бородой и большими усами, подошел к нему. Движения его были угловаты, но необыкновенно живы.

— Что, брат, ты не балагуришь? Вишь, они у тебя,— сказал ему Хребтов, подмигнув на остальных его товарищей,— словно бабы глядят! Ай, стыдно, Демьян! а еще балагур считался... дома!

— Да что, Антип Савельич, больно уж кругом-то того... так оно, знаешь, не до смеху...

— И, врешь! ну-тка подай твои бубны да литавры — споем!

И он запел. В его голосе не было разгула, но все лица просияли. Демьян присоединился к нему с барабаном, с бубенчиками; он свистал, звенел бубнами, бил в барабан, прыгал и пел диким голосом.

Его окружили товарищи, стали подтрунивать, но веселье не клеилось. Тогда Хребтов соскочил с камыша и пустился плясать, припевая:

Тра-та-та! тра-та-та!
Вышла кошка за кота!

Все хохотали; принялись подпевать. Демьян, поощренный Хребтовым, выплясывал до поту лица. Хребтов ободрял его криками:

— Ай молодец, Демьян! славно, живей, живей! Ну, ну, ну... молодец!

— Теперь, братцы, споем круговую,— сказал он, и промышленники хором затянули:

Купим-ка мы, женушка, курочку себе —
Курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Купим-ка мы, женушка, уточку себе —
Уточка с носка плоска,
А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Купим-ка мы, женушка, гусиньку себе —
Гусинька га-га-га-га,
Уточка с носка плоска,
А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Купим-ка мы, женушка, индюшку себе —
Индюшка шулды-булды,
Гусинька га-га-га-га,
Уточка с носка плоска,
А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Купим-ка мы, женушка, барашка себе —
Барашек шадры-бадры,
Индюшка шулды-булды,
Гусинька га-га-га-га,
Уточка с носка плоска,
А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Купим-ка мы, женушка, козленка себе —
Козленочек брык-брык,
Барашек шадры-бадры,
Индюшка шулды-булды,
Гусинька га-га-га-га,
Уточка с носка плоска,
А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Купим-ка мы, женушка, коровку себе —
Коровушка мык-мык,
Козленочек брык-брык,
Барашек шадры-бадры,
Индюшка шулды-булды,
Гусинька га-га-га-га,
Уточка с носка плоска,
А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!

Часа через два всё стихло. Только некоторые, не успевшие заснуть, пели тихим голосом у догорающего костра; унылые напевы гармонировали с природой и с душевным состоянием промышленников. Всё кругом было полно грусти...

Лежа поодаль, Каютин тихонько подпевал своим товарищам. Хребтов ворочался с боку на бок. Вдруг он вскочил и бросился к костру.

— Мне и невдомек, братцы... ну такое ли здесь место, чтоб петь, да еще ночью?

Всё разом смолкло. Хребтов опять лег. Когда же наконец все заснули, он подсел к огню, чуть тлевшему, стал сушить свою обувь. Долго он еще сидел у костра, пощипывая свою бороду и раздумывая. Вдруг среди обычного шелеста послышался шум в камышах. Хребтов встрепенулся, вскочил,— шум всё приближался. Хребтов долго вслушивался,— тихонько осмотрел нож и ружье, затоптал огонь и начал красться к тому месту, откуда доносился шум. Не успел он сделать десяти шагов, вдруг блеснули в темноте два огромных глаза... потом среди глубокой тиши-

ны раздалось ржание лошади. Хребтов радостно вскрикнул, два глаза быстро исчезли... камыши взволновались и прозвучали, подобно тысячам тысяч струн, тронутых в одно время.

Ржание лошади и крик Хребтова пробудили промышленников, которые подумали, что на них напали киргизы.

— Нет, братцы, что вы? какие киргизы,— успокоивал их Хребтов.— Просто лошадь! Да еще, головой отвечаю, и лошадь не ихняя, а наша русская,— как-нибудь попала, сердечная! Ихняя лошадь не станет к огню да к человеку лезть, особливо к чужому, да и фыркнула она, а киргизы лошадям своим ноздри режут нарочно, чтоб ловче и без шуму к неприятелю подкрасться. А вот утро придет, мы ее поймаем.

Как только наступило утро, промышленники рассыпались искать следов пропавшей барки и своих товарищей. Двое скоро воротились и созвали остальных. С радостными криками вели они необыкновенно тощую жалкую лошаденку; Хребтов узнал в ней ту самую, которую видел ночью. Многие, глядя на нее, чуть не плакали, другие готовы были спросить, не видала ли она своих земляков, их товарищей. Лошадь весело поводила ушами, слушая родной язык.

— Что, братцы! — чуть не со слезами сказал Демьян, осматривая ее.— Уж коли скотину так высушила чужая сторона, так уж вряд найдем мы товарищей в живых!

— Эх, голова, голова! — возразил Хребтов.— Что сморозил! Да у них у самих весь скот зимой еле ноги таскает с голоду, корму нет! Трава вырастет, солнце повыжжет до последней былинки. А ума-разума у них нет накосить сенца аль посеять овса. Лентяи такие, что боже упаси! Летом лежит у себя в кибитке от жару и так много пьет кумысу, что всего его раздует,— не двинется, словно чурбан! а зимой опять лежит у огня на своих сундуках от холоду. Дети его хоть зажарься в горячей золе, ему горя мало: не двинется! Кто бывал у них в плену, сказывают, что такой визг в иной кибитке, словно режут кого, а всё отродье ихнее: голый детеныш выползет к огню из-под овчины, обожжется и ну вопить! Жены-то их, говорят, еще жалостливей, а уж они — не приведи бог! Коли их рассердишь, так словно звери! Сказывал один бывалый человек, был случай: поссорились два аула; пошла драка, и как обиженный верх одержал, так они с радости выпустили кровь из своих врагов, наливали ее в чаши и

словно какую сладость пили, а сами ржали по-звериному! Кровь любят, разбойники! Однажды розняли двух, не дали подраться досыта, так один в такую ярость пришел, что давай самого себя пырять ножом, раз пять поранил: так хотелось крови увидеть!.. Что вы, братцы? — быстро спросил Хребтов, увидев двух товарищей, которые ушли было вперед, а теперь бежали к нему.

— След нашли!

Кинулись смотреть след. Он был свеж; можно было предположить, что не более полусуток тут стояло десятка два кибиток.

— Ушли! — сказал Хребтов.— Господь знает, с ними ли наши, а надо попробовать. Идем, братцы!

Помолясь богу, пустились в путь, взяв с собою и лошадь, подобно верблюду навьюченную мешками с провизией и водой.

Желтая степь песку, как море, расстилалась перед ними. Антип старался по следам определить количество киргизов, угадать, есть ли между ними русские? Каждый предмет, попадавшийся им среди песков, подвергался осмотру. Наконец нашли складной небольшой нож, принадлежавший Душникову, потом его же платок, далее стало попадаться много мелких вещей, как будто нарочно разбросанных догадливыми пленниками.

Не столько обрадовало, сколько опечалило их такое открытие. Они всё еще смутно надеялись, что авось их товарищи и не попали к киргизам. Теперь страшная истина была ясна как день. В угрюмом молчании подвигались они вперед. Ни зверя, ни деревца, ни травки не попадалось им; однообразие бесконечной равнины утомляло зрение, увеличивало уныние. Наконец завидели они длинную вереницу странных зверей, немного больше обыкновенной козы, с короткой и гладкой шерстью темно-желтоватого цвета, с небольшими крутыми рогами и сухими ногами. Первая стояла с закрытыми глазами и уткнув нос в песок; за ее туловище прятала другая свою голову, за другой третья и так далее.

— Что, братцы, хорош зверь? — спросил Хребтов удивленных своих товарищей.

— А какой он такой?

— А зовутся они сайгами. Вот уж глупый так глупый зверь! Убей первую — другая станет на ее место; и ты их колоти, пока рука не устанет, а они уж всё будут одна

другую заменять. А когда идут, так такие проворные, чудо,— подумаешь, что и путные!

Товарищи Хребтова на деле испытали справедливость его слов; двадцать четыре сайги было убито в десять минут.

Каютин наконец запретил продолжать охоту, боясь, чтоб лишняя поклажа не замедлила пути, и дорожа временем. Сделав к ночи привал, они зажарили одну сайгу; но немногие отведали нового мяса, утомленные длинным переходом по степи...

Утром, едва рассвело, Хребтов разбудил своих товарищей криком:

— Братцы! киргизы, киргизы!

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Глава I

ЗАПИСКИ КАЮТИНА

Прошел с лишком год, в течение которого не случилось никаких особенных перемен с петербургскими лицами нашей истории. Карл Иваныч всё худел да вздыхал; работа плохо шла у несчастного башмачника. Девица Кривоногова всё толстела и то мирилась, то вела войну с соседом своим Доможировым, который продолжал учить скворцов, сына и котят разным наукам, а в остальное время предавался своим любимым шуткам, именно: запечатает в пакет пятью печатями всякой дряни, швырнет на улицу и, притаившись, ждет. Неизъяснимое наслаждение доставляли ему сердитые выражения, которыми разочарованный прохожий принимался угощать неизвестного шутника. У соседа его очистилась квартира, прибили билет; но Доможиров, враждовавший с соседом, каждый день под вечер тихонько срывал его... Наконец отправился он в пятый раз, в сопровождении Мити, к дому соседа; билет сорван благополучно, принесен с торжеством домой, Доможиров к свечке — полюбоваться, покритиковать соседа...

— А что тут, тятенька, написано? — спрашивает Митя.

— Ну, вот написано: «Отдается квартира внаем».

— Нет, тятенька, я хочу знать, что написано на той стороне?

— А разве и там написано?

Доможиров обертывает билет и читает:

«Ну! пятую записку прибиваю... попробуй только еще... ни одного ребра...»

Доможиров останавливается, меняясь в лице.

— Что ж ты стал, тятенька?

Но Доможиров грозно разрывает записку и принужденно посвистывает.

Катя и Федя всё еще живут у девицы Кривоноговой, и только по их заметно прибывающему росту можно заключить, что и в Струнниковом переулке время не стоит неподвижно и производит свои обычные влияния. О Кирпичове и горбуне ходят тут слухи темные, странные, один другому противоречащие. Одни рассказывают, что Кирпичов пришел ночью к горбуну, зарезал его и потом сам зарезался, другие — будто они сделались теперь неразлучными друзьями и уехали в Камчатку открывать вместе книжную торговлю; третьи утверждали, что их уже точно нет на свете, но только в погибели их участвовало нечто таинственное, о чем и сказать ужасно. Немногие знали страшную истину и молчали. О жене Кирпичова также ходили многоразличные слухи, имевшие больше основания...

Что касается до Полиньки, то о ней решительно не было ни слуху ни духу. Перепробовав все пути, которыми можно было открыть ее пребывание, обегав все петербургские улицы (и всё единственно затем, чтоб только издали, не осмелившись ей показаться, украдкой взглянуть на нее), Карл Иваныч наконец убедился, что она или умерла, или уехала из Петербурга.

Последнее казалось ему вероятнее.

Зато с Каютиным в тот же период времени случилось много замечательных событий и перемен. Читатель узнает их в той мере, как нужно по ходу рассказа, прочитав несколько отрывков из его собственных записок, которые теперь следуют.

1

. . . .
. . . . С растерзанным сердцем добрался я наконец до Астрахани. Что я перечувствовал, какие муки перенес, не умею и не хочу описывать... Бедный, бедный Душников! И зачем твоя участь не выпала мне? ты уж притерпелся к своему горю, свыкся с своим несчастием, а я? мне еще нужно привыкать видеть в себе несчастливца, существо жалкое, обманутое и отвергнутое... Нет, я не способен к такой роли, к такой жизни!

Пусть только выйду я из мучительной неизвестности, пусть только выяснится мое положение...

И здесь, как в Архангельске, первым делом моим было бежать на почту, куда просил я адресовать письма. Что-то будет? В висках у меня колотило, ноги подкашивались, страшно было войти. Я писал к ней, просил сказать мне всё откровенно, но только не оставлять в неизвестности, писал также и к Карлу Иванычу, умолял его не скрывать истины, как бы она ни была ужасна. И если не она, то, верно, добрый башмачник сжалится надо мной. Судьба моя решится!

Вхожу, спрашиваю.

Писем немного; все старые друзья забыли сумасбродного странника... забыла и та, по милости которой вытерпел он столько трудов и горя: ни на одном конверте нет ее почерка!.. Больна ли она? умерла? или уж решительно не хочет знать своего прежнего друга?

Боже мой! думал ли я, что всё это так разыграется? Больше за себя, чем за Полиньку, боялся я. Я не верил сам, чтоб достало у меня характера выдержать такую роль, победить столько трудностей, перенести столько работы и горя. Но — я дознал опытом — стоит поставить себя в такое положение, чтоб нельзя было воротиться, и пойдешь вперед... Так шел я, и когда подумаю о пройденном пути, когда вспомню всё, что вынесено, мне и теперь не верится!..

С тяжелым чувством развернул я письмо Карла Иваныча... Так! с первых строк угадал я печальную истину. Добрый, чувствительный немец! он не говорит ничего прямо, он как будто сам совестится и страдает за Полиньку... как будто он виноват, что она не сдержала своих клятв, или что недостало у ней великодушия, благородной чистосердечности сказать мне прямо горькую правду... он старается оправдать ее!

Он пишет, что Полинька жила в богатом доме, где есть молодой и красивый человек, что он видел ее не раз в карете, богато разряженную... но прибавляет, что лицо у ней было грустное, что она должна быть несчастна и что ее не должно винить... А потом, говорит он, она вдруг исчезла, все мы потеряли ее из виду... и вот уж давно, давно ничего не знаем о ней...

Я понимаю, всё понимаю!

Что мне делать? куда деваться? вот у меня есть теперь деньги и есть знание, опыт, навык к труду, с кото-

рыми я могу легко удвоить мой капитал... Но для чего? я работал для нее, для нее нес труды сверхъестественные... для нее мерз я на Новой Земле, оторвал себя от всех благородных человеческих интересов, предпочел обществу людей дикие битвы с зверями и сам как зверь, одевшись медвежьими шкурами, бродил по глухим лесам, по пустынным тундрам, зарывался в снег от холоду, много раз был между жизнью и смертью, доверяясь слепой случайности, как существо неразумное! там грозила мне голодная смерть, там зверь, сильнейший, чем я, скалил на меня свои зубы... там кровожадные дикари искали моей смерти...

И я терпел голод, боролся с чудовищами пустынь и морей, и я падал, сорвавшись с высоких гор вместе с предательской снежной глыбой... я терпел бури на суше и на море... дикий обитатель степи закидывал аркан над головой моей... но судьба пощадила меня!

Для чего?.. я думал: для счастья! но счастье не суждено мне... Так неужели для того, чтоб умереть спокойно на кровати где-нибудь в Струнниковом переулке под двойным тяжелым воспоминанием короткого, давно минувшего счастья и долгой, бесполезной и сонной жизни?..

Нет, я не вернусь в Петербург... Мне нравится роль Хребтова, вечно деятельного и спокойного, задумчивого зрителя великих картин и драм природы, в которых он сам иногда играет такую чудную роль.

Куда же я пущусь еще?

2

Решено! еду в Америку! Случай найден. Притом, говорят, там так нужны люди деятельные и опытные, что если и прямо туда отправиться, так без дела не будешь. Как обрадовался Хребтов! Я уверен, было в его жизни что-нибудь таинственное и страшное, разыгралась драма, которая навсегда наложила на него печать свою, заставила его разлюбить домашний очаг, оседлую жизнь — всё, что пленяет человека счастливого, и полюбить жизнь странническую, в которой всякий уголок земли родина и вместе чужбина, все люди друзья и братья и вместе чужие, которых любишь, пока с ними, и покидаешь равнодушно, без боли сердечной...

3

Насилу дождался я весны. Всё было давно готово, и мы наконец начали путь.

В версте за Казанью попался мне один знакомый.

— Куда вы едете? — спросил он.

— В Америку! — отвечал я, и самому мне стало вдруг страшно.

В Америку! я уж довольно привык к далеким и трудным странствованиям, притерпелся ко всем дорожным невзгодам, и не неволя теперь, а добрая воля гонит меня туда, а всё тяжело, темный страх так и сжимает душу...

И не предстоящие труды, опасности и лишения, даже не трагическая участь несчастного Душникова смущают душу. Нет! но мысль, что с каждой минутой, с каждым шагом отдаляюсь я всё больше и больше от всего, с чем кровными узами связаны интересы моей мысли и моего сердца... где некогда мечтал и сам я быть полезным деятелем,— вот как объясняю я свой темный страх.

Но прощайте, надежды другой деятельности, кроме той, которой недобровольно отдал я лучшие свои годы и силы и кроме которой не найду ничего там, куда стремлюсь... да и что бы я сделал?.. что мог сделать?.. ничего! ничего! Пора перестать быть мечтателем, перестать лицемерить хоть перед самим собой.

Прощайте и вы, надежды моего сердца... прощай, Полинька! Я ехал на три года, они прошли, и я мог уже давно быть у ног твоих по странной прихоти судьбы, не изменившей срока, который назначила моя детская самонадеянность. Но теперь вернее всего, что мы никогда больше не увидимся.

Когда любовь изменила, когда нет дела по сердцу, всего лучше ехать в далекую-далекую, незнакомую сторону...

Есть картины, есть явления природы, которые если не заглушат горя, то по крайней мере ослабят его разрушительную силу, показав человеку, что он слишком ничтожен, чтоб вечно носиться с своими страданиями, исключительно посвящать самому себе всё свое внимание...

До Перми не видали мы ничего особенно замечательного. Но, вступив в пределы Пермской губернии, обильной лесом, мы были поражены чудным зрелищем: дым густой массой стоял над огромным лесом, тянувшимся по одну сторону дороги; он горел. Упал вечер. Картина стала еще

грознее и величественнее. Весь лес был охвачен пламенем. Огненный гигантский полукруг огибал нас с одной стороны; по другую сторону шла низменная поляна, усеянная реками и озерами, блеставшими подобно громадным зеркальным стеклам, вставленным рукой волшебника в потолок своего подземного замка. Было светлей, чем днем, но менее страшна тьма полярных ночей: так блестят глаза умирающего, готовые навсегда потухнуть. Гром и треск смешивались с отчаянными криками летавших в дыму птиц, и над всем лесом непрестанно стоял глухой гул, подобный кипению многих тысяч котлов. Искры и огромные головни, вскидываемые ветром, словно ракеты, врезывались в густую необозримую тучу дыма, расстилавшуюся над страшной картиной разрушения.

Над головами нашими беспрестанно проносились шумные стаи птиц, перелетавших в смятении через дорогу. Но и там, казалось, они не находили спокойного приюта и с криком носились над ручьями и озерами, отражавшими их смятенные фигуры в своей блестящей поверхности. Лошади наши беспрестанно фыркали и кидались в сторону, пугаемые зверями, перебегавшими дорогу.

Мы видели множество зайцев и лисиц; видели целое стадо волков; видели медведей. Всё спешило покинуть прежнее убежище, преданное гибели и грозившее гибелью своим обитателям.

Натура охотника взяла свое. Мы остановились и принялись стрелять.

Никто, думаю, не испытывал такой чудной охоты, и, верно, не один страстный охотник или просто любитель сильных ощущений дал бы дорого, чтоб потешиться такой охотой. Что значит в сравнении с ней облава, хоть сгоните в лес половину населения всей губернии? или целый миллион гончих... и какая обстановка!

Надо сознаться, что в самой бессовестности, с какою мы пользовались бедственным положением лесных обитателей, было что-то упоительное: у меня и щемило сердце, и как-то вместе с тем было ему невыразимо любо; мысль, что верно уж не придется мне в другой раз в жизни испытать та́кую охоту, делала меня жестоким. Хребтов был в совершенном упоении. Никогда я не видал его столько одушевленным, восторженным. Казалось, он был теперь в своей стихии и получал свою долю наслаждения, которое немногие вещи в жизни доставляли ему.

— Какова охотка? — сказал он мне радостным голосом, когда бег зверей перемежился.— Будешь помнить?

— Таких вещей не забывают, Антип Савельич!

— Не станешь жалеть, что поехал в Америку?

Не успел я отвечать, как в десяти шагах от нас показался темный зверь, которого я принял за медведя. Мы оба выстрелили. Зверь упал.

То была огромная черно-бурая лисица.

С появлением утренней зари пламя стало бледнеть. Мы двинулись в путь.

Только к концу третьего дня кончился лес, а с ним и страшные картины, которыми любовались мы по ночам, и нестерпимо душный воздух, и наша оригинальная охота.

— Отчего такой страшный пожар? — спросил я Хребтова.

— А просто оттого, что лесу здесь еще, слава богу, много. Никому и в голову не приходит беречь его. Проезжий ли какой, окрестный ли мужик, пастух ли разложит костер: сварил кашу, отдохнул — и поехал дальше. И в уме нет, чтоб погасить костер... да и воды иной раз близко нет... Начальство уж как запрещает оставлять костры, не погасивши,— да поди угляди за всяким...

4

Екатеринбург, Томск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Бурятская степь, Алекминск. Вот самые заметные точки на пути до Якутска. Много встретил я тут любопытного и оригинального, да нет у меня охоты рассказывать, что в Сибири ужасно много лесов и еще больше дичи, так что даже одеяла шьются из кож, содранных с голов селезней; что на Барабинской степи отличная трава и такая гибель оводов, что они иногда заедают лошадей до смерти; что бурятские дети вечно сосут кусок жиру и сами похожи па посудину, налитую салом; что сибиряки говорят вместо «табаку понюхать» — «крошки ширкнуть в нос»... Мимо, мимо! Когда-нибудь, если явится охота, я всё спишу, а теперь замечу только, что в Сибири еще более, чем в губерниях Астраханской и Архангельской, поразили меня многие добрые свойства русского крестьянина. Сколько чудных историй слышал я, и таких историй, таких подвигов, что, доведись нашему брату сделать что-нибудь подобное, хватило бы рассказывать на

всю жизнь да нашлись бы и слушатели, и хвалители. А здесь такие дела делаются и забываются, как самые обыкновенные вещи; никто им не удивляется; никто не говорит о них.

Там мужик Вавило дубинкой уходил матерого волка, который, сбесившись, бежал прямо в село, где оставались только бабы да полоскавшиеся в лужах малые ребятишки. В другом месте ражий парень невзначай набрел на медведя; делать нечего: уходить поздно! Пошли в рукопашный; медведь дерет парню плечи, а парень держит его за уши так крепко, что действовать зубами медведь не может, как ни рвется. Так проходит и час, и два. Стал ослабевать медведь. Парень улучил минуту, выхватил нож из-за пояса и пропорол ему брюхо. Любо парню! пошел за дровами, а принес медвежью шкуру, и как продал ее, так выпил с камрадом лишнюю чарку да с тех пор никогда уж и не вспоминал о своей драке с медведем.

Сколько раз находчивость одного спасала пять и десять товарищей в необозримой степи, в горах, окруженных пропастями; зимой, когда мерзнет ртуть, злится пурга и путники давно сбились с дороги или когда откуда ни возьмется целая шайка варнаков, готовая и грабить и резать!

Кстати: мы сами несколько раз встречались с варнаками — так называются беглые ссыльные, разбойничающие по сибирской дороге,— и раз чуть не были обобраны и убиты, да Хребтов выручил своей чудной находчивостью и отвагой... О Хребтов! сколько раз я обязан был тебе жизнию!

5

В моих странствованиях, несчастиях и трудах одна была у меня отрада, без которой, может быть, я не вынес бы своей тяжелой роли. Не знал я русского крестьянина; готовые истины были в основе моего о нем мнения. Как все мы, изъяснял я каждый поступок его по внешности факта, а еще чаще старался удаляться таких мыслей, так же как и столкновений с простым классом.

Но необходимость свела меня с ним, скука и общая доля сблизила; познакомился и породнился я с русским крестьянином... среди моря, где равно каждому не раз грозила смерть, в снежных степях, где отогревали мы друг друга рукопашной борьбой, а подчас и дыханьем,

в сырой и тесной избе, где, голодные и холодные, жались мы друг к другу, шестьдесят дней не видя солнца божьего...

Труден доступ к его сердцу. Он суров, неразговорчив, неохотно обнаруживает свое чувство, глубоко запрятывает в душу тяжелую кручину. Ошибается тот, кто иначе думает; кто, побродив по базару в праздничный день, увидав две-три деревенские сходки, поговорив, хоть и за чаркой, с несколькими мужиками, думает знать всю их подноготную... Жалок такой наблюдатель! Нет, сердце его открывается не всякому и не вдруг. Вот уж, кажется, ты довольно сблизился с ним: он волен с тобой в обращении и за словом в карман не ходит; ты думаешь, говорит он тебе всю подноготную... Погоди, она у самого у него неясна, а ты не настолько расположил его к себе и расшевелил, чтоб она у него выяснилась, облеклась в слово... Ты сам скоро убедишься, что не поймал еще истины, когда заметишь, что через день он уже говорит не то, с полным равнодушием, которое так часто тебя обманывало, приводя к ложным и неотрадным выводам! Будешь говорить ты с ним еще раз, узнаешь больше, услышишь много опять нового, но и тут часто не то еще, чего ищешь... Будь прост и добр, а главное — будь искренен, спрячь подальше чувство собственного превосходства, умей отстранить все порывы неизбежной надменности, которая невольно пробивается в подобных отношениях, да еще не показывай, что ты стараешься под него подладиться,— и тогда только можешь ждать его искренности...

И тогда увидишь ты, что в нем есть душа, чувство, энергия и что, главное, в нем много иронии, иронии дельной и меткой, которая уже, может быть, давно твою собственную особу пустила ходячей притчей по всему околотку...

Ни в ком, кроме русского крестьянина, не встречал я такой удали и находчивости, такой отважности, при совершенном отсутствии хвастовства (заметьте, черта важная!), и, опять повторяю, такой удивительной насмешливости.

Эти черты ужели мало говорят в пользу его?

Я много люблю русского крестьянина, потому что хорошо его знаю. И кто, подобно многим нашим юношам, после обычной «жажды дел» впал в апатию и сидит сложа руки, кого тревожат скептические мысли, безотрадные и безвыходные, тому советую я, подобно мне, прокатиться

по раздольному нашему царству, побывать среди всяких людей, посмотреть всяких див...

В столкновении с народом он увидит, что много жизни, здоровых и свежих сил в нашем милом и дорогом отечестве, увидит, что всё идет вперед... может быть, иначе, чем думали кабинетные теоретики, но совершенно согласно с характером народным, с его судьбами, древними и настоящими, и с неизменным законом историческим... Увидит и устыдится своего бездействия, своего скептицизма и сам, как русский человек, разохотится, расходится: откинет лень и положит посильный труд в сокровищницу развития, славы и процветания русского народа...

6

Нет, я думаю, в целом свете таких обжор, как якуты. Как едят, боже мой, как они едят! Кто поверит, что якут может съесть с лишком пуд свиного сала? Любимое кушанье их лошадиное мясо. Убьется ли лошадь, волк ли ее зарежет, своею ли смертью умрет — им всё равно! жарить или варить также не почитается необходимостию. Мне говорили, что в прошлом году, во время скотского падежа, восемьдесят человек якутов умерли в одни сутки, объевшись лошадиной мертвечины. Такие случаи нередки; якуты не перестают пожирать падающий скот, пока многие не помрут. Не один пример их обжорства видел я своими глазами. Шесть якутов в моих глазах съели большую жирную лошадь. Между Якутском и Охотском приходится ехать 400 верст верхом (даже кладь иначе не перевозят) почти постоянно по каменистым чрезвычайно высоким горам. Случалось, лошадь, сорвавшись, полетит через голову, сажен на триста вниз, убьется или изувечится; якуты к ней, хоть бы с опасностью жизни, наедятся досыта, а чего не войдет в душу, тащат с собой и лакомятся дорогой. Не раз тонули лошади при бесчисленных и мучительных переправах через реки (часто через одну и ту же реку приходилось переправляться раз тридцать в день): якуты непременно добудут трупы и съедят, а хвост и гриву спрячут, чтоб доказать хозяину, что лошадь точно потонула, а не продана. Впрочем, под такими предлогами они часто, не утерпев, съедают лошадей, а хозяину приносят хвосты да гривы. Любят они также медвежье мясо, но только страшно боятся медведей и едят их с особенными уморительными церемониями. Вот как описывает их

один путешественник: «Когда якуты увидят на дороге медведя, то снимают шляпы, кланяются ему, величают тойоном (начальником), стариком, дедушкой и другими ласковыми именами. Просят препокорно, чтобы он их пропустил; что они и не думают его трогать и даже слова худого про него никогда не говорили. Если медведь, не убедившись сими просьбами, бросится на лошадей, то, будто поневоле, начинают стрелять по нем и, убив, съедают всего с великим торжеством. Между тем делают статуйку, изображающую Боэная (так зовется их бог), и кланяются оной. Старший якут становится под деревом и кривляется. Когда мясо сварится, то едят оное, каркая, как вороны, и приговаривая: „Не мы тебя едим; но тунгусы или русские: они и порох делали и ружья продают; а ты сам знаешь, что мы ничего того не умеем". Во всё время разговаривают по-русски или по-тунгусски и ни одного состава не ломают. Когда же съедят медведя, то собирают кости, завертывают вместе с статуею Боэная в березовую кору или во что иное, вешают на дерево и говорят: „Дедушка! русские (или тунгусы) тебя съели, а мы нашли и косточки твои прибрали..."»

7

Наконец вот и Охотск. Слава богу! Отсюда морем. Признаться, оводы, горы, беспрестанные броды, варнаки, дожди, медведи так надоели мне, что я душевно рад предстоящему морскому путешествию.

Охотск ничем не замечателен, кроме непомерного множества собак. Ночью ни спать, ни читать, ни разговаривать нет никакого средства. Завоет одна собака, к ней пристанут псы всего города — и пошла потеха! Судоходство вообще находится здесь не в блестящем положении. Суда строятся людьми, не имеющими о своем деле надлежащего понятия, управляются также мореходами-самоучками. При таком положении дел несчастия случаются нередко, и случались бы еще чаще, если б само провидение не умудряло беспечных и отважных плавателей. Иногда судно под всеми парусами взойдет на берег, и пока несчастные судят и рядят, как им быть,— подоспеет прилив и снимет их с мели. В другой раз подобные пловцы, в виду незнакомого пустынного берега, так струсили во время бури, что бросили два якоря, а сами все до одного съехали на землю. Ветер переменился, и судно отнесло

в море. Берег был необитаемый, хоть умирай с голоду! но случай принес судно через три дня к тому же берегу, пловцы снова сели и продолжали путь. Тысячи подобных историй услышите здесь.

К счастью, наше судно изрядное, а Хребтов такой кормчий, с которым бояться нечего.

8

Мы уж пятый день в море.

Не раз проходили мимо спящих китов. В хорошую погоду киты, играя около судна, пускали водометы; иногда на палубу падали птицы, ударившись с налету об паруса; маленькие птички вились около судна; одна, утомившись, села на палубу, ее легко поймали руками, снесли в каюту и насыпали крупы, но она не ела и к вечеру умерла.

Видел удивительное явление: морскую крапиву, которая возвышалась над морем сажен на сорок.

Ночи темны и туманны. Часто вместе с валами на палубу выбрасывает множество светящихся насекомых, и всё море от них кажется покрыто огненными искрами.

Иногда сходим на острова. Вид берегов необыкновенно уныл и пустынен. Вершины гор покрыты новым снегом, который отличается от старого, синеватого, белизной; в расселинах лежит вечный туман. Острова обыкновенно начинаются низкими пригорками, поросшими мхом и осокой; между ними много небольших озер и ручьев; осока так высока, что по топкому месту трудно ходить. Далее идут горы выше и выше и почти всегда оканчиваются коническою вершиною, иные дымятся. Попадается много гусей, уток и куропаток, которых мы усердно стреляли.

Наконец вот и Ситха.

Мы сначала увидели берег, покрытый снегом, потом уже открылся небольшой красивый лесок, еще через час усмотрели долину посреди леска. Долина окружена еловыми рощами, которые придают ей веселый вид своей вечной зеленью.

Нас встретило множество двоелючных и троелючных байдарок. Американцы, которых я доселе видел только мельком, по одному, представились мне точно на смотр, даже с своими женами и детьми. Дикари оглядывали нас с чрезвычайным любопытством. Мы дарили их табаком и бисером.

9

Ситха есть самое главное складочное место Российско-американской компании. Жители пользуются всеми удобствами. Окрестности наполнены дикими козами, которых мясо чрезвычайно вкусно и нежно. Кроме того, здесь множество лос<ос>ей. Треска, сельди, фландры и другие рыбы тоже в обилии. В небольшой речке, в семи верстах от укрепления, в известное время бывает столько семги, что челн не может двигаться. Ежегодно 100 000 семг солится для потребности населения; здешняя семга несравненно лучше и нежнее той, которую ловят далее на юг, и потому даже не годится для вывозки.

Истребление тюленей происходит здесь ужасное: старых и молодых, самцов и самок колотят без разбору. Часто случается, что самки, лишенные своих детей, возвращаются и своим страшным и отчаянным ревом пробуждают сострадание в женах и дочерях стрельцов, которых сердца не отличаются особенной нежностью и слух довольно привычен к такой музыке.

Один зуб морской лошади весит более фунта; она имеет их только два, и потому, чтобы получить полный комплект, необходимый для ежегодного оборота в торговле, то есть 20 000 зубов, нужно пожертвовать 10 000 голов. Резня несчастных животных производится единственно для слоновой кости,— остальные части животного имеют в торговле самую низкую цену.

Мне рассказывали пример необыкновенной страсти индейцев к воровству. Несколько человек было нанято носить дрова и воду на берег. Один из них, полагая, конечно, что вещь, за переноску которой ему платят деньги, стоит, чтоб ее украсть,— с наступлением ночи ушел со связкою дров.

Всем известно, что здешние дикари и дикарки украшают свои носы, губы, подбородки и уши разными привесками; от таких украшений губы у американок всегда отвислые, и часто самое хорошенькое лицо делается отвратительным; но не все, может быть, знают, что когда между женщинами дело доходит до драки, то соперницы стараются схватить одна у другой нижнюю губу,— как место, которое скорей всего можно ранить. После жаркой борьбы занимаются осматриваньем губ, залечивают их и привешивают украшения на прежние места.

Покуда еще не было здесь ни одного дня без дождя или снегу. Я хожу по горам, бью куропаток, которых здесь множество. Иногда мы садимся в байдару и отплываем довольно далеко от берега, выходим на остров, стреляем уток. Случается, поднимется буря; мы пристанем к какому-нибудь острову и должны ночевать тут, раскинув палатку, или заходим в какое-нибудь селение островитян. Они нас принимают ласково, потому что мы щедро раздаем табак и ром.

Ромом и табаком всё можно сделать из американца. Здешние островитяне народ довольно рослый, широкоплечий; многие женщины были бы красивы, если б не безобразили лица уродливыми украшениями. Впрочем, русских не очень отталкивают проткнутые носы и отвислые губы, о чем ясно свидетельствует множество детей русокудрых, голубоглазых. Американцы не ревнивы. Но вообще они не очень любят русских. Убийства нередки; прежде, говорят, были еще чаще. Бывало, когда на промысел отправляется с партией каюров (так называются туземцы-работники) несколько русских, то дикари не заботятся, если гибнет русский, и не только не подадут помощи, но еще помогут ему при удобном случае отправиться под воду, слететь в пропасть. Если же при партии только один русский, то они всячески берегут его, опасаясь, чтоб не приписали им его погибели.

Равнодушие их к собственной и к чужой жизни удивительно. Когда плывет несколько байдарок и одна вдруг начнет тонуть, остальные спокойно проедут мимо, кроме редких случаев. Самоубийства беспрестанны. Перерезать и перетопить своих жен и детей в случаях опасности и потом самим удавиться — дело обыкновенное. Вы можете зарезаться или утопиться в виду сотни американцев, вам никто и не подумает помешать. Здесь еще помнят случай, рассказанный уже одним путешественником.

Американец убил русского. Его сковали. Пришла к нему мать; часовой оплошал; дикарь вышел из казармы и бросился с берега в море; но у берега, по мелководью, утопиться было невозможно; мать, опасаясь, что сына вытащат и станут сечь, вскочила ему на шею, задушила его и вышла на берег. Вот сцена в роман!

11

Тот же путешественник справедливо приводит в пример жестокости дикарей несколько мелких, но чрезвычайно характери<сти>чных фактов. Не только ребенок, но ни один взрослый дикарь не пройдет мимо птицы, чтоб не пустить в нее камнем; если вытянутая в неводе рыба шевелится, то мимоидущие останавливаются, чтоб иметь удовольствие колотить ее по голове. Поймав ворону или сороку, выколют ей глаза, переломят ноги и пустят. Подстрелив утку, американец не дорежет ее, но раскусит ей голову, а когда голоден, то и съест ее; поймав треску, не откажется скушать тотчас же еще у живой жабры и голову.

Решительно нет такой гадости, которую не употреблял бы в пищу американец. Убив оленя, он тотчас пожирает внутренности его.

12

Вчера был я на одной из самых высоких гор в Америке, да и во всем свете. Передо мной открылась картина необозримая и величественная. Залив с островками и стоящими в воде скалами, острова, покрытые лесом, хребты каменных гор, наконец, море...

Вот несколько мертвых слов, но их довольно имеющему душу, способную разлучиться с своими мелочами, довольно их тому, кто еще умеет, не испугавшись, вообразить себя между небом и землей, вдали любимых привычек и всей ежедневной обстановки, обеспечивающей жизнь и сделавшейся необходимостью.

Нет! даже и вообразить себя страшно в таком положении тому, у кого есть дорогие сердцу, у кого есть родина, призывающая его к благородной деятельности, у кого есть надежды счастья, кто был полезен сколько-нибудь нуждающимся в заступничестве и помощи...

Неверна, страшна даль, отделяющая путника от всего дорогого и милого. Может разбушеваться море и погрести его в волнах своих; может споткнуться лошадь и, рухнувшись с высокой горы, погибнуть вместе с ним в пропасти... Может наскочить шайка диких варнаков и разбойническим ножом пресечь дни путника. Или случится чудовищный мороз, когда, дунув, услышишь в воздухе свист и шорох, когда пар стоит столбом над лошадьми и они

не могут бежать скоро, задыхаясь от чрезмерной густоты воздуха... и выдержит ли его путник?.. Многое может случиться на таком пути, за что поплатишься жизнью. И друзья лишатся друга, родина полезного слуги, а те, которым был он опорой существования, оплачут его кровавыми слезами, как оплакивают потерю насущного хлеба.

Нет! даже и подумать страшно о таком дальнем пути тем, кому тепло и привольно дома... Сидите, сидите в своем теплом углу, держитесь обеими руками за свое счастье, не то уйдет, я по опыту знаю: уйдет!

Но я не жалею, что занесен судьбой и доброй волей на край света. Не содрогаюсь, воображая целое море, бесконечные степи, леса, горы и все необозримые пространства вод и суши, лежащие между мной и миром образованным... Там, за этими степями, горами и морями, узнал я жизнь, там я порывался к деятельности, кипел роскошными надеждами, там я любил и плакал слезами счастья, но там же встретил я и первое разочарование... там же родилась и созрела низкая измена, отравившая мою жизнь, погубившая мое счастье...

Я никогда не вернусь туда!

Глава II

МНОГО ЛИЦ И МАЛО ДЕЙСТВИЯ

Невесело встретил Граблина Семеновский полк, куда должен был воротиться бедный молодой человек, потеряв, с падением Кирпичова, свое партикулярное место...

. . . .

Граблин жил в одноэтажном домике карточной архитектуры с чердаком в одно окно. Такие домики обыкновенно строят дети из семи карт: поставят рядом две островерхие палатки, из двух карт каждую; палатки соединят перекладинкою из одной карты и на перекладинке прилепят еще островерхую палатку из двух карт. В такой прилепленной островерхой палатке живет да поживает чаще всего какая-нибудь идиллическая пара, сочетавшаяся единственно по влечению сердца, помимо всяких прозаических расчетов, а иногда и помимо установленных форм, в предположении, впрочем, обратиться к ним при

первом удобном случае, яснее — при первых деньгах. Отворив дверь в такую палатку, подумаешь, что вступил в шкаф, в котором поставлена высокая двуспальная кровать с пышно взбитыми подушками, но, заглянув за кровать, увидишь не без удивления и окно с резедою или геранью, и комод, и один порожний стул, кроме двух, занятых нежными голубками, вдруг оглянувшимися в легком смущении. Трубка в углу, гитара на стене, начатый чулок, брошенный на окно, и серый кот, мурлыкающий на коленях хозяйки, довершают картину идиллического счастия. Летом картина дополняется еще во время дождя и ручейком, который с нежным журчаньем бежит сквозь потолок в подставленную посудину или резво разбегается по стене и полу.

Но даже и такая квартира не приходилась по теперешним средствам Граблина. Положительная цифра его верного годового дохода частенько напоминала ему, что он должен был нанять не комнату с перегородкой, а так называемый угол в целковый, в каких живут преимущественно нищие, воспитатели собак, шарманщики, мастеровые, лакеи, кухарки, горничные средней руки, нанимаемые со стиркой, и вообще «люди», которые нуждаются в таких углах до приискания «местов».

Граблину делалось страшно. Что, если не сыщется еще частной работы? И перед ним представлялся пример в лице одного сослуживца его, Егорушки, на долю которого не часто выпадала доля работы из вечной деятельности суетливой столицы... пример живой и грозный, с лицом бледным и грустным, так что и спросить его страшно, о чем он задумался. В такие минуты Граблин не мог быть один; ему нужно было обсудить хорошенько свое положение, поговорить с кем-нибудь, нужен был ему человек свежий, сочувствующий, живой,— и он шел к господину Прозябаеву.

Давно уже сказано, что жизнь всякого человека занимательна хоть в каком-нибудь отношении,— правда! но правда и то, что есть много людей, которых жизнь занимательна именно с той стороны, что о них решительно нечего сказать, кроме того, что говорится на памятнике или кресте, под которым они упокоятся:

Родился тогда-то.
Жил столько-то.
Умер тогда-то.

К числу таких людей принадлежал господин Прозябаев, замечательный единственным устройством своей квартиры и часами особого свойства.

Квартира его состояла из одной комнаты, но он сделал из нее три, отгородив печку особо и дверь особо, так что у него, таким образом, вышла и кухня и передняя. В передней устроена была, в виде открытого шкафа, клетка, переплетенная проволокой; здесь раза два в день стучали носами двенадцать куриц и голосил по утрам петух. Комната была довольно просторна, потому что в ней из большой мебели был один только диван, служивший и кроватью для молодого Прозябаева, который, подложив под голову подушку и прикрывшись чем случалось, опочивал на нем всё свободное время. Но освещалась комната одним узким окном, которое, казалось, не решалось лишить ее благодетельной тени и осветить в ней некоторые темные места... Из украшений были две-три картины в рамках красного дерева, представлявшие... неизвестно какие виды: содержание их совершенно скрывалось под копотью, пылью и густым черным крапом. Еще были карманные часы, висевшие на стене на видном месте,— карманные только по круглой их форме, но в самом деле они вовсе не были удобны ни для какого кармана по величине своей и тяжести, почему и повешены на таком гвозде, который не выдержал бы разве только колокола Ивана Великого; и, выбирая гвоздь, хозяин, очевидно, хлопотал не столько о часах, сколько о судьбе тех вещей, которые могли бы быть жертвами при их падении. Они достались Прозябаеву после разных командировок по делам службы при одном значительном лице и состояли теперь, как и он, в отставке. Времени они не показывали, вероятно сознавая, что настало время их самих показывать как чудо; но, утратив эту способность, они получили в своем механизме другую, весьма странную, неожиданное появление которой в часах, конечно, не возьмется объяснить никакой опытный механик. Когда Прозябаев, всё еще не терявший надежды пробудить в них давно угасшую жизнь, в сотый раз принимался вертеть ключом в их внутренности, вдруг раздавался треск и слышалось ясно завывание ветра, какой иногда бывает в глухую осень в лесу, с такою верностью, что присутствующим, хоть минуту, делалось жутко и холодно, точь-в-точь как осенью в лесу. Впрочем, подобное уклонение от естественного назначения не редкость — даже и не в часах. Быва-

ют, например, люди, которые льстят себе мыслию, что они «человеки и ничто человеческое им не чуждо»,— между тем всей фигурой своей и каждым своим движением до того походят на медведя, что даже собственные лошади, завидев их приближение, вдруг начинают фыркать и бросаться в сторону.

Небольшую отраду в печали могла принесть беседа с таким человеком, как старик Прозябаев. Но лучших знакомых у Граблина не было. По странной случайности, кружок их составился из людей, неспособных возбудить в свежем человеке большого участия ко всему тому, что занимало их в жизни, так что Граблин как ни старался войти в их интересы, сжиться с ними, — не удавалось! И он даже решительно не чувствовал желания поддерживать с ними знакомство, о чем, впрочем, мало кто и хлопотал. Напротив, один даже — человек почтенных лет, с которым Граблин познакомился у Прозябаева же,— рекомендуясь ему, с первых же слов уведомлял, по своему странному обыкновению, что он «ваш покорнейший слуга — такой-сякой во многих отношениях», в чем и сослался на свидетельство первого, кто тут случился в ту минуту, прибавив, в виде комплимента новому своему знакомцу, что «ведь и всякий человек в некотором отношении — то же». После чего он радушно приглашал Граблина к себе — против Митрофаньевского поля,— в свой «чердак», посидеть с трубкой у окна да посмотреть, сколько гробов провезут мимо на Митрофаньевское кладбище. И Граблин побывал у наблюдателя похоронных процессий в первое же воскресенье и просидел с трубкой целое утро у окна вместе с хозяином, который потирал руками при всякой следовавшей мимо окна печальной церемонии; число гробов в то утро было значительно, и хозяин заранее представлял себе, как займет внимание своих знакомых, когда объявит им вечером в числе прочих новостей, собранных им на проезжей дороге, сколько именно провезли покойников!

У похоронного наблюдателя Граблин познакомился с одним господином, который постоянно занят был хлопотами по искам своим за личные бесчестия.

Вскоре потом, написав прошение одной вдове, познакомился он через нее еще с четырьмя вдовами, которые подавали ежегодно прошения к разным лицам, описывая в них просто и ясно свое беспомощное положение после мужей-покойников, потерю которых они оплакивают и будут оплакивать до гробовой доски, точно так же как

будут пить без милосердия, до означенной доски, кофе раз по семи в сутки.

Наконец, у Граблина в числе знакомых состоял один полупомешанный старичок, отыскивавший уж несколько лет прав на пенсию. Он свихнулся, пересчитывая по нескольку тысяч раз в день лета своей службы и доискиваясь истинной цифры; после каждого раза, к величайшему его изумлению, цифра росла более и более; выведенный наконец из терпения: «Стой же!» — крикнул он в досаде, сильно ударив кулаком по столу, причем вздрогнуло сидевшее в задумчивости многочисленное семейство, и остановился на тысяче восемьсот с чем-то лет, будто бы прослуженных им отечеству. Но и эта цифра часто ускользала у него из вывихнутой памяти, так что когда сосчитает свою службу с начала до конца, скажет: 1825, а если начнет считать с конца до начала, скажет ту же цифру наоборот: 5281. Может быть, эта шаткость в показании и была причиною отказа ему в пенсии. Впрочем, еще и на службе голова его начинала уж пошаливать, почему и последовала ему отставка, вскоре после того как он подал начальству записку о выдаче ему в счет жалованья трехсот тысяч ассигнациями. Хохот не прерывался в том кружку, где беседовал помешанный старичок; все наперерыв заставляли его повторять один и тот же ответ о количестве прослуженных им лет; притихнув и устремив на него глаза, полные нетерпеливого ожидания, добрые люди с наслаждением наблюдали, как старичок кряхтел и тер себе лоб кулаком, напрягая все последние остатки сил своей бедной памяти и проживая в эти минуты снова всю свою жизнь с ее вечными заботами, пóтом труда и нищетой...

Если на характер и всю натуру человека неотразимо кладет свою неизгладимую печать окружающая его природа, то еще неотразимее действуют на него окружающие его люди и обстоятельства. У Граблина мало-помалу вкоренялся вечно угрюмый, недоверчивый взгляд на всё, что его окружало. Хорошего в жизни он решительно не замечал ничего, а мрачные ее стороны, грустные случаи невольно притягивали всё его внимание и ложились на душу всею тяжестию своих подробностей, дополненные воображением, всегда предрасположенным к грустному и мрачному, и развитые до грозных видений горячки.

Граблин замечал в себе эту болезненно-желчную настроенность и, стараясь освободиться от нее, рассеяться,

с примерным усердием посещал своих знакомых. Но не выносил он из таких посещений никакого облегчения для больной души. Старик Прозябаев много лет прожил в укромном и темном уголку своем, в нем он женился, прижил сына, схоронил свою жену; много лет прослужил; а нечего было порассказать ему о своей жизни, и потому, при всей своей словоохотливости, он часто молчал, отогревая на лежанке старые кости. Разве расскажет, в котором году, какого числа стала или разошлась Нева. «Больше ничего?» — спросит кто-нибудь. «Ничего»,— ответит он; подумает немного, спрашивая, вероятно, себя: неужели в самом деле ничего? Но и подумав, скажет: «Ничего». Молодой Прозябаев тоже не много мог порассказать и о себе. В разговоре его исключительными предметами были улицы, по которым он пятнадцатый год ходит куда следует, и выходило у него что-то вроде того, что Сенная вот уж сколько лет стоит всё на одном и том же месте и Вознесенский проспект упирается в Адмиралтейскую площадь. О других улицах он не мог дать положительного суждения, не побывав в них ни разу; да и когда? придет домой, пообедает, уснет, чайку напьется, а там и вечер, и опять уж зевается, опять спать и опять идти, по свистку машины на железной дороге, которая без собственного своего ведома отправляла Прозябаевым должность вместо отставных часов, висевших на гвозде в качестве украшения.

По части домашней молодой Прозябаев заметил, что прежде сапоги шил ему мастер по целковому за пару и носились они не менее года, а теперь тому же мастеру за те же сапоги платит он уж полтора целковых да, сверх того, до истечения годового срока ремонтирует их двумя подметками, накладываемыми одна на другую, в два этажа. Наконец не мог не заметить Прозябаев разницы в том еще, что прежде у него были красивые русые кудри, а теперь вместо кудрей у него, молодого Прозябаева, представлялись взору жидкие пряди волос, примазанные чем-то к проглядывающему местами телу; прежде он не боялся простуды и в какую угодно осеннюю или весеннюю слякоть смело шагал в своих двухэтажных сапогах даже по таким местам, где всякий другой путник останавливался в недоумении, вплавь или вброд совершить предстоящую переправу, а теперь и двухэтажные сапоги и калоши при таких подвигах не спасают от простуды, может быть, впрочем, потому, что калоши Прозябаева, имевшие форму

тихвинских лодок, отличались от них необыкновенным простором и незанятое пространство в них наполнялось зимой снегом, а весной и осенью — грязью, отчего они, конечно, крепче держались на ногах, но зато не достигали цели.

Заходила у Прозябаева иногда речь и о женитьбе; только он оканчивал ее всегда повторением одного и того же поучительного примера, на его глазах бывшего. Пример состоял в том, что Егорушка, товарищ ему и Граблину, женился по любви с его стороны и по расчету со стороны невесты,— расчету самому, впрочем, невинному,— на его чин и имя, из которых сам Егорушка не мог бы сделать для себя решительно никакого употребления и даже плохо понимал, что они такое значили в самом-то деле; да, женившись, не прожил и медового месяца, как вдруг, возвращаясь на свою Выборгскую сторону, остановился на каком-то мосту, постоял, постоял, перекрестился: «Господи благослови!» — да бух в Неву. «И погиб бы, горемычный,— говорил с участием Прозябаев,— если б на лету не закричал „караул“ и если б не случилось вблизи будочника!»

Однообразно тянулась жизнь Граблина. Угрюмо совершал он свой обычный путь куда следовало. Возвращался он домой единственно только по привычке; там его никто не ждал: старушка мать обыкновенно уходила куда-нибудь, взяв с собой хлеба. Отдохнув, он садился работать или снова отправлялся в шумную часть города и до позднего вечера проводил в поисках партикулярного места. Поиски были безуспешны. Усталый и больше прежнего печальный приходил он домой. Но сон бежал его. Неотвязные мысли толпой теснились в голову. И незаметно просиживал он по целым ночам в глубоких думах. Проходили перед ним в такие ночи и помешанный старичок с его неуловимой служебной цифрой, и Прозябаевы: отец с своими непробудными часами, завывающими осенним ветром, сын в своих двухэтажных сапогах и калошах, не достигающих цели своего назначения, и, наконец, наблюдающий в стороне это торжественное шествие наблюдатель похоронных процессий.

А вот и Егорушка, застегнутый наглухо, с высоким воротником, плотно упирающим в подбородок, так что неизвестно, какой у него галстух и есть ли он у него; Егорушка — злополучный муж и любовник, благополучно вы-

вынырнувший из-под моста на поверхность житейского моря...

— Бух, бух, бух! — раздается ему навстречу из кучи его товарищей.

— Караул! — подхватывает другой голос там же.

И долго не утихает хохот веселых товарищей. Но Егорушка к тому давно привык.

Граблин силился уловить, составить что-нибудь понятное из отрывочных мыслей, быстро пробегавших в его голове, между тем как проходили перед ним знакомые лица и громко билось его сердце, горела голова от раздражения нервов, на которых повторялись тяжелые впечатления грустных фактов.

Через несколько месяцев после потери своего партикулярного места Граблин оплакивал уже свою весну, свою молодость следующим образом:

«Глупо прошла моя весна, тревожная, лихорадочная, полная тяжких испытаний... Она прошла, оставив на память в душе болезненное чувство сожаления о погибшей жизни и ни одного утешительного воспоминания, ни одного светлого дня, в который бы можно перенестись мечтой и забыть и настоящее и будущее, равно безотрадные. Жизнь день за днем ускользала от меня, между тем как вокруг меня всё жило и наслаждалось жизнию, всё говорило: можно быть счастливым на земле.

И ничего из всего, что привязывает к жизни, я не вынес в душе из этой весны. Два-три удара горького опыта, и в ней убито всё... Солнце ли сияет, туча ли висит, осень или весна на дворе, ветер воет, или птички щебечут, плачут или песни поют — ей всё равно: с нею тоска, всегда тоска, везде тоска».

Однако ж он ошибался. Не всё умерло в душе его. Его жизни суждено было расцвесть всею роскошью страсти, вспыхнуть пламенем ярким и сладостным, животворящим и разрушительным.

Глава III

ШАЛОСТЬ

Был июльский жаркий день, когда в Семеновском полку обыкновенно царствуют глубокая тишина и безлюдье. Граблин усердно скрыпел пером у окна, переписывая на превосходной бумаге весьма бестолковое сочине-

сне. Набежала туча, дождь хлынул как из ведра, воздух освежился. Когда дождь перестал, Граблин бросил перо, оделся и вышел подышать чистым воздухом. Почти прямо против его мрачного домишка был старый забор, на который густо падали сучья рябин и берез. Зелень, недавно пыльная, теперь весело блестела, омытая дождем. Граблин перешел к забору, но лишь только поравнялся с ним, рябина закачалась, будто от сильного ветра, и облила его с ног до головы дождем со своих листьев. Граблин, привыкший беречь свое изношенное платье, с испугом отскочил от забора. Он взглянул на небо, оно было ясно; Граблин в недоумении стряхнул с своего пальто дождь, но лишь только снова сделал шаг к забору, как повторилось то же самое и сдерживаемый смех раздался за забором.

Граблин прошел скоро мимо забора, как будто не замечая, что рябину с большим старанием качали; потом вернулся и тихо стал красться к тому месту, где раздался смех. Веселый детский шепот послышался на том же самом месте. Граблин приложил глаз к щелке забора: он ничего не видал, кроме белого платья, на котором резко отделялись две черные большие косы с голубыми бантами. Белое платье так плотно прижалось к щелке, что Граблин, подняв прутик, притащил с помощью его к себе ленточку и схватил косу.

Кто-то рванулся и слабо вскрикнул.

— А! попались! — торжественно сказал Граблин, потянув к себе как смоль черную косу.

— Пустите! — отвечал ему женский голос, сердитый, но звучный.

— Нет, не пущу! — отвечал Граблин, любуясь роскошными волосами.

Рябина закачалась и в третий раз облила его, детский смех послышался за забором. Граблин жался к нему, повторяя:

— Тешьтесь, тешьтесь... мне всё равно!

Но вдруг он вскрикнул и, отклонившись от забора, сердито сказал:

— А! колоться булавками! хорошо же, я не выпущу косы!

И, поглаживая косу, он хвалил ее и тянул к себе. Ему противились.

— Что вы делаете? — раздался голос над его головой.

Он поднял голову и увидел на заборе личико белокурой девочки лет двенадцати, с лукавыми глазами и раскрасневшимися щеками.

— А-а-а, здравствуйте! — сказал Граблин.

— Оставьте косу! — настойчиво закричала ему девочка.

— Зачем вы колетесь булавками? — спросил он.

— Мы и не думали!

— Как не думали! вы, пожалуй, станете отпираться, что и рябину не качали на меня?

— Нет! — смело отвечала девочка, едва сдерживая радостный смех, что детские их шутки удались.

— А! а-а! так-то: вы отпираетесь! — протяжно сказал Граблин и сильнее потянул к себе косу.

— Ну что это? — жалобным и пугливым голосом проговорила ему из-за забора невидимая его пленница, а белокурая девочка, вся вспыхнув, повелительно закричала на Граблина:

— Что вы делаете! как вы смеете! знаете ли, что это наша барыш...

— Соня! — крикнула строго пленница.

Соня скрылась.

— А, Соня! — весело сказал Граблин и, обращаясь к своей пленнице, спросил: — А вас как зовут?

— На что вам?

— Мне хочется знать имя той, у которой такие удивительные волосы.

— Федора! — скороговоркой отвечала пленница.

— Федора? не может быть!

— Право.

— А по батюшке как?

— Фарафонтьевна.

— У-у-у! какое мудреное имя! — заметил Граблин.

Пленница пробовала освободить свою косу; но Граблин держал ее крепко.

— Пустите меня! — сказала она таким голосом, что Граблин быстро спросил:

— А который вам год?

— Двенадцать!

— Двенадцать...— протяжно повторил Граблин и потом наставительно продолжал: — Зачем же вы шалили?

Ему ничего не отвечали.

— Соня, а Соня! правда, что твою барышню зовут Федорой Фарафонтьевной? — спросил Граблин.

Пленница засмеялась и отвечала:
— Ее нет, она сейчас придет!
— А зачем она пошла?
— Жаловаться на вас!
— Кому?
— Кому нужно!
— Вам же будет стыдно, когда узнают, что вы...
— Я вам подарю букет цветов из нашего сада, пустите меня! — живо перебила его пленница.
— Нет! я не хочу ваших цветов, а дайте мне слово, в первый раз, что я вас увижу, вы попросите у меня прощенья и поцелуете меня!
— Извольте, хоть сто раз! — весело отвечала пленница.
— Ну, значит, что вы меня обманете, если так охотно согласились.
— Зачем мне вас обманывать! я это со страху сказала: боюсь, что меня накажут... вам не стыдно и не жаль будет меня? — вкрадчиво, жалобным голосом спросила пленница.
Граблин пожал плечами.
— Знаете ли что,— отвечал он,— вы обманули меня: вам не двенадцать лет!
Пленница молчала.
— Хотите, я выпущу вас, только просуньте мне вашу ручку, чтоб я мог на нее посмотреть и поцеловать ее.
— Ну что же вы, согласны? а не то я так целую ночь простою!
— Стойте сколько вам угодно, но я не дам вам руку целовать! — отвечала пленница.
— Почему?
— У меня руки грязны!
— Не может быть! — смеясь, сказал Граблин.
— Божусь, и они такие большие, что надо будет весь забор ломать.
— Ну подставьте губки.
— Тоже не могу: я чернику ела сейчас! — смеясь, отвечала пленница.
— Вы просто смеетесь надо мною! — сердито сказал Граблин и, потянув к себе косу, продолжал: — Ну если вы не хотите мне дать вашу ручку поцеловать, так я буду целовать вашу косу.
— Целуйте сколько душе угодно: они у меня подвязные.

— Не может быть! в ваши лета вам не позволили бы подвязных кос носить.

— Мне всё позволяют, что я хочу делать!

— Но я уверен, что вам не позволяют таких шалостей делать, как вы сейчас со мною сделали.

Пленница молчала.

— Что же вы не отвечаете?

— Она сердита на вас и не хочет с вами говорить! — заметила Соня, появившаяся опять на заборе.

В ее лице столько было лукавства, что Граблин невольно огляделся кругом, нет ли какой западни.

— Ты жаловаться ходила?

— Кому? за что?

— На меня!

— Вот еще! я ходила кофей пить.

— Вы далеко живете? — спросила пленница Граблина.

— Далеко-с! — отвечал Граблин.

Соня засмеялась и, указывая на окна его, сказала:

— Вон, вон его окна, где старуха смотрит.

Граблин быстро повернул голову посмотреть на мать; в то самое время раздался легкий звук ножниц и за ним сильный порыв смеху.

У Граблина в руках остался кончик косы с голубой лентой.

Соня и пленница с визгом исчезли. Граблин стал смотреть в щелку забора, но густые кусты акации мешали ему что-нибудь видеть в саду.

Долго еще Граблин стоял у забора, насторожив ухо, в ожидании, не услышит ли опять веселого смеха и звучного голоса своей ускользнувшей пленницы. Но ожидание было напрасно.

Старуха мать, смотревшая в окно, окликнула своего сына, который, сам не зная отчего, покраснел и побежал домой, совершенно забыв о своем намерении прогуляться.

— Что это ты в чужой сад смотрел? — такими словами встретила его старушка.

— Да там кто-то шалит, так я хотел...— запинаясь, отвечал Граблин.

— Я тоже заметила: моих цыплят заманивают; вчера одного принесли от них: говорят, барыня принесла.

— Вы знаете, кто они такие? — быстро спросил Граблин.

— Нет! девчонка сунула мне в руки цыпленка и убежала.

Поговорив с матерью, Граблин пошел за перегородку, сел за работу и, положив кончик косы с голубой лентой на лист чистой бумаги, поминутно смотрел на него. Он делал предположения, какова должна быть величина волос, каково лицо той, кому они принадлежат, припоминал слова и голос своей пленницы. Работа не шла; наделав ошибок, он наконец рассердился, бросил перо и, положив подушку на окно, стал смотреть на забор и на окна серенького домика, примыкавшего к саду, в котором слышался теперь скрып веревочных качелей и звонкий смех.

Стало смеркаться, Граблину было весело лежать на окне, ничего не делая, что редко с ним случалось.

В окнах серенького домика показался огонь. Граблин стал смотреть в него. За круглым столом, на котором кипел самовар, на диване сидела старушка с добрым и кротким лицом. К раскрытому окну подошла женщина в белом платье и села.

Граблин напряг зрение, думая разглядеть ее черты; но было уже темно.

На улице было так тихо, что Граблин слышал разговор в сером домике.

— Лиза, хочешь чаю?

— Нет! — грустно отвечала сидевшая у окна.

— Верно, опять много бегала и устала? — с беспокойством спросила старушка.

— Нет, я не устала! — машинально отвечала Лиза.

— Ну хочешь молока?

— Нет, мне ничего не хочется!

— Лиза, что с тобою? — пугливым голосом сказала старушка, вставая из-за стола.

— Нет, ничего, ничего, это я так, бабушка! — поспешно отвечала Лиза.

Но старушка уже стояла у окна и ощупывала голову у Лизы.

— Жар, право, жар! ты не выпила ли чего холодного?

— Ах, бабушка, да ничего! — сердясь и вырывая свою голову, говорила Лиза.

— Ну-ну, опять сердишься! — уходя на свое место, ворчала старушка.

— А зачем вы ко мне пристаете?

В голосе Лизы было столько грусти, что Граблин усомнился в своем первоначальном предположении, будто она была его пленница.

— Ну вот, Лиза, нехорошо, что и ты скучаешь! Мне уж как не нравится здесь! И что за народ такой! Намеднись цыпленок забежал в сад,— веришь ли ты, насилу нашли хозяйку, а живем здесь вот уж две недели; ведь я никого не знаю из соседей: может быть, и воры какие; все прячутся, не кланяются; мне это, право, не нравится.

Лиза быстро отвечала:

— Ну поедемте в деревню.

— Ну-ну, вот уж сейчас; да я и устала, не могу так скакать,— с испугом возразила старушка.

Самовар был убран, старушка раскладывала пасьянс, а Лиза продолжала сидеть у окна, подперев голову руками.

Граблин долго смотрел на свою соседку и, не зная, чем обратить на себя внимание, тихо запел. Голос у него был довольно приятный.

Лиза быстро встала и села на окно, подставив ухо; Граблин всё громче и громче пел.

— Лиза, Лиза! — закричала старушка, услышав пение.

— А?

— Отойди от окна; вишь, кто-то там распелся.

— Разве он мешает вам раскладывать пасьянс?

— Нехорошо! чего доброго, подумает, что ты для него сидишь.

— А мне что за дело, пусть его думает, если он так глуп.

Граблин пел всё тише, вслушиваясь в разговор, и при слове «глуп» вдруг замолк.

Раздался звонкий смех, окно стукнуло, и Лиза скрылась.

Граблину было ужасно досадно, что он так нехитро поступил. Догадки его мучили. Смех Лизы напоминал ему его пленницу, но Лиза слишком была грустна для таких детских выходок.

На другое утро, отправляясь из дому, Граблин услышал за калиткой серого домика звонкий женский голос: «цып-цып» — и писк цыплят. Граблину вдруг пришла мысль войти на двор и посмотреть, не его ли вчерашняя пленница предается сельским удовольствиям; долго он не решался, наконец придумал предлог: спросить старых жильцов, будто не зная, что они уже съехали.

Лишь только он раскрыл калитку и занес одну ногу на двор, как там поднялась тревога, цыплята засуетились, запищали, и кто-то сердито закричал:

— Ай, моих цыплят задавите!

Граблин в испуге хотел было воротиться, но калитка распахнулась: перед ним появилась смуглая девушка, в белом платье, с тарелкой в руках, на которой была гречневая каша. Огненные черные глаза девушки быстро и пронзительно окинули его с ног до головы, и этот взгляд обжег его.

— Кого вам нужно? — спокойно спросила его смуглая девушка.

Граблин замялся.

Смуглая девушка обратилась к старушке, сидевшей с чулком на ветхом крыльце:

— Бабушка, вас спрашивают!

И, повернувшись спиной к Граблину, она стала подзывать и кормить цыплят.

Граблин не верил своим глазам: две длинные черные косы, как змеи, колыхались на гибком стане смуглой девушки; но только одна из них значительно была короче другой, и вместо голубой ленты была вплетена в нее красная.

Граблин до того был ошеломлен своим открытием, что не заметил, как подошла к нему старушка и ласково спросила его:

— Что вам угодно?

Граблин вздрогнул и, запинаясь, отвечал:

— Я... я, верно, ошибся, здесь жили мои знакомые.

— А, так вы знаете эту квартиру? — радостно перебила его старушка.

— Да-с! я знал-с...

— Не холодна ли? а?

Граблин, не слыхав вопроса, пробормотал:

— Да-с!

— Что, холодна? — в испуге подхватила старушка и, качая головой, продолжала: — А как уверяли меня... ну, съеду, съеду!

— Нет-с, она очень, очень тепла! — перебил ее Граблин.

Смуглая девушка повернула голову, насмешливо посмотрела на Граблина и еще громче стала кричать «цып-цып».

Двор был маленький, весь поросший травою; деревьев не было, но взамен их стена соседнего дома была закрыта березовыми дровами, от которых тянулась веревка через весь двор и примыкала к калитке сада; на веревке было развешано почти высохшее белье. Солнце ярко играло на белых простынях, и смуглая девушка с своими черными косами странна была посреди такой обстановки.

Она не обращала никакого внимания на Граблина и старушку, которая, обрадовавшись случаю поговорить, расспрашивала его о рынках, Гостином дворе и проч. Раздавая корм цыплятам, смуглая девушка походила скорее на какую-то богиню, рассыпающую вокруг себя сокровища: движения ее были плавны, даже величественны. Вдруг она звонко закричала: «гуль-гуль, цып-цып» — и бросила горсть каши под самые ноги Граблину. Цыплята, куры и голуби окружили его. Он еще больше сконфузился. Лукавая улыбка недолго блуждала на губах смуглой девушки; она вдруг бросила далеко от себя тарелку, вся покраснела и, словно сейчас только спохватившись, быстро спряталась за белье.

Старушка в то время допрашивала Граблина, какие рынки лучшие в Петербурге.

— Я здесь, батюшка, как в лесу, здесь люди как будто боятся знакомиться. А вы далеко изволите жить?

— Да-с... я...

В ту минуту белые простыни заколыхались, девушка быстро раздвинула их. Смуглое лицо с насмешливой улыбкой, черные косы, которые уже были подобраны и, как змеи, обвивали небольшую головку, полураскрытые загорелые плечи и руки резко отделялись на белых простынях, которые слегка вздувались. Она насмешливо произнесла:

— Далеко!

Старушка быстро повернула голову, но девушка, звонко засмеявшись, скрылась за бельем.

Старушка покачала головою и, обращаясь к Граблину, сказала:

— Очень приятно, что познакомилась с вами; благодарю, что научили меня, где что купить, а то просто хоть плачь!

Граблин поклонился и вышел за калитку, но не успел сделать трех шагов, как вдруг услышал нежный голос, кричавший ему:

— Стойте, стойте!

Он обернулся. Смуглая девушка выглядывала из-за калитки и манила его к себе. Граблин кинулся к ней. Она встретила его спокойно и строго спросила:

— А далеко отсюда Академия и в какие дни пускают туда?

Граблин так смешался, что молчал.

— Вы, верно, не знаете! извините.

И она с сердцем захлопнула калитку.

Граблин рванулся, но калитка была на задвижке.

С того дня кончик черной косы был неразлучен с Граблиным; он спал с ним, работал, ходил в должность. Целый мир новых, сладких ощущений открылся молодому человеку, и он сделался глух к жалобам своей матери, которая охала, что того нет, другого нет. Граблину казалось: да зачем всё это? можно ли беспокоиться о таких мелочах; а вот если смуглая девушка целый день не показывалась у окна, дело другое,— тут есть о чем потужить! Впрочем, такие несчастия случались редко: будто нарочно, иногда по целым дням, без всякой работы, она сидела у окна, не обращая внимания на солнце, которое страшно пекло ее смуглую полураскрытую шею и руки. Изредка она набрасывала на голову белый носовой платок и с лукавой улыбкой смотрела на проходящих, которые останавливались и любовались, пораженные ее оригинальной красотой. В такие минуты Граблин чувствовал злость, раздражение против всех, кто смотрел на нее. Часто ему казалось, что смуглая девушка кокетничает перед ним; но вдруг она принималась зевать так непритворно, так апатично, что надежды его разлетались прахом. Подобно многим городским барышням, она, казалось, находила развлечение в бессмысленном созерцании по целым дням всего, что происходило на улице. Впрочем, Лиза находилась по-видимому, в глубокой апатии; лишь изредка становилась она весела и вертлява; но и веселость проявлялась у ней как-то по-детски, несообразно с летами. Навязав на веревку каких-нибудь лакомств, она спускала их из окна и поддразнивала детей, бегавших по улице. Иногда Граблин видел, как она, эта грустная и взрослая девушка, бегала по комнате с Соней с визгом, смехом и топотом... он колебался, не умея определить — шаловливое ли она дитя или строгая женщина!

Он уговорил свою старуху мать познакомиться с ними, и первый забежавший в сад к Лизе цыпленок был предлогом к знакомству. Старушки скоро сошлись; их однооб-

разная жизнь с одинаковой целью скрепила дружбу. Мать Граблина повеселела, она пила хороший кофе, ела вкусные пироги, болтала, раскладывала гранпасьянс и притом видела своего сына веселым,— всё, что было нужно ей для счастья, она теперь имела. Однако счастье старушки было непродолжительно. Граблин начал худеть; тоска мучила его: бог знает почему, с некоторого времени, как только он входил в комнату или сад, Лиза быстро уходила, как будто боялась его или не хотела видеть. Граблин только одним мог объяснить такую перемену, что раз, бегая с ней в саду, напомнил ей старую шалость, показав кончик волос, лежавший у него на груди. Лиза, вспыхнув, выхватила у него из рук волосы и побежала, но Граблин так дико вскрикнул, что она остановилась и побледнела; медленно подошла к нему, молча подала волосы и долго смотрела на него своими огненными глазами. Веселость ее пропала, и она подсела к старушкам. Несмотря ни на какие хитрости, которые придумывал Граблин, чтоб привлечь к себе Лизу и спросить, отчего она вдруг так переменилась, Лиза не отходила от них, а через несколько дней Граблин убедился, что она избегает его. Стоило ему прийти, и Лиза тотчас уходила к себе наверх и не показывалась, пока он не уйдет.

Как ни была не сведуща мать Граблина в сердечных делах, но грусть сына натолкнула ее на верную мысль. Она так заохала, как будто сын ее уже лежал на столе; попробовала заговорить с ним о его любви, но так неудачно, что только рассердила его и сама перепугалась.

Глава IV

СВАТОВСТВО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Граблин ходил как сумасшедший. Он уже не видал Лизы с неделю, несмотря на все свои хитрости. Он было стал искать случая передать ей письмо хоть через Соню, но и Соня тоже начала прятаться от него. Мать его тосковала, видя сына в таком положении; аппетит у ней пропал, она снова начала часто плакать.

— Да что ж вы, Марья Андреевна, не кушаете кофею? ведь славный такой сегодня! — заметила ей раз хозяйка, видя, что налитая чашка стояла нетронутая.

— Да что, Анна Петровна, так тяжело, так грустно!

— Господи, что случилось? — с участием спросила Анна Петровна.

Гостья молчала.

— Уж не с Степаном ли Петровичем что случилось? Граблина заплакала.

— Что, что такое с ним? — в испуге спросила добрая старушка.— Не деньги ли казенные проиграл? а? так не плачьте, я вам дам; что делать, он еще молод!

— Ах нет, голубушка, хуже: голову потерял! как шальной ходит.

— Как? что вы, да я с ним вчера говорила! как это можно! — бледнея, вскрикнула хозяйка.

— Целый день сидит,— ни он съел бы чего, да и не работает; просто сердце всё надорвется, глядя на него!

— Что же за причина?.. надо доктора.

— Ах, господи! господи! при такой бедности, да еще!.. Граблина всхлипывала.

— Да я призову будто к себе: ну вот скажу, что нужно Лизе; а вы пошлите его ко мне; он...

— Матушка, да ваша Лизанька и без доктора могла бы его вылечить! — перебила Граблина.

— Как! так он в своем уме? — вскрикнула хозяйка.— Как не стыдно вам, Марья Андреевна, так пугать меня,— прибавила она, крестясь,— ведь я его так полюбила, как сына!

— Спасибо, спасибо вам, Анна Петровна! — отвечала гостья, отирая слезы.— Да что станешь делать!.. У бедных, как мы, хуже нет горя, как молодой человек заберет себе в голову жениться. Ну чем ему жену кормить? у самого сапог нет!

— Он не говорил вам об Лизе? — быстро перебила хозяйка свою гостью.

— Нет, да это ведь видно: как упомянешь, хоть даже невзначай, о ней, весь как пожар вспыхнет, потом как полотно побелеет... Ночи не спит напролет, а работа-то, работа... да, правду сказать, дня три он ничего даже не делает, всё думает, сердечный.

Хозяйка оглядела комнату и, понизив голос, сказала:

— Моя Лиза тоже скучает!

— Неужто? — радостно вскрикнула гостья.

— Тише, мне показалось, как будто дверь скрыпнула.

И обе старушки насторожили уши.

— Нет, это так! — заметила Лизина бабушка.— Вот что я вам скажу: если бы моя Лиза, чего я от всего моего

сердца желаю, захотела выйти за вашего Степана Петровича, я с руками бы ее отдала.

— Уж как бы я-то ее любила! да и он ведь такой тихий, скромный, хороший человек, уж надо правду сказать; даром что мне сын, а он хоть кому муж, одно только — денег нет у него!

— И, матушка! что за деньги! я всё отдам, лишь бы Лиза моя была счастлива! — решительно сказала Лизина бабушка.— Да и она, признаться сказать, не падка на деньги: за нее чиновный и денежный человек сватался, да она слышать не хотела, а я было сдуру и ну ее уговаривать... ей уж и пора замуж, скучает очень иногда, вот я и говорю: «Лиза, дай мне умереть спокойно; на кого я тебя оставлю, не пристроивши?» Ну так ее просила, что она дала слово выйти,— только говорит мне: «Смотрите, бабушка, я уж не стану притворяться, пусть его видит, какую он жену себе хочет взять». Что ж бы вы думали? Сам отказался,— а уж как прежде просил отдать за него Лизу! — а потом говорит: «Вы своим баловством загубили свою внучку, ей не найти жениха!» А вот же и ошибся,— с гордостью прибавила старушка.

— И, как можно! да я на нее иной раз не налюбуюсь, как она прыгает да болтает, словно птичка! А замуж выйдет, еще побелеет, право! еще красивее станет.

Дверь с шумом раскрылась,— вошла Лиза, бледная, с дрожащими губами. Остановясь посреди комнаты, огненными, полными гнева глазами смотрела она на старушек, которые так сконфузились, что уткнули носы в чашки и молчали.

Лиза села у окна; она поминутно меняла положения; волнение в ней было страшное; но она старалась подавлять его.

— Кофий прекрасный! — сказала старая гостья, желая начать разговор.

— Да... остыл...— пробормотала хозяйка.

— Нет-с... ничего...

Лиза насмешливо улыбнулась и, повесив голову, о чем-то задумалась.

— А ваш Степан Петрович... что он давно не был у нас?— спросила Лизина бабушка.

При этом слове Лиза вздрогнула и быстро повернула голову к окну. Граблин стоял у своего окна и не сводил с нее глаз. Лиза вскочила и убежала из комнаты.

— Лиза, Лиза! — кричала ей вслед бабушка.

Но Лиза была далеко.

Старушки между собою долго говорили о будущем возможном счастье своих детей, и, прощаясь, Лизина бабушка обещала Грабликной переговорить с своей внучкой...

Лиза была у себя в мезонине. Полукруглое большое окно было занавешено сверх сторы красным платком; на столе, стоявшем у окна, валялись краски и карандаши, несколько этюдов и эскизов и много бумаг. Чистенькая кровать с белыми занавесками стояла в углу, возле нее комод с круглым зеркалом и банка от варенья с букетом роз.

Старушка, охая, вошла в комнату и, оглядев ее, сказала:

— Лиза, да где же ты?

Занавески у кровати заколыхались; старушка поспешно подошла к кровати и раскинула их. Лиза лежала, спрятав лицо в подушки. Старушка, побледнев, стояла в недоумении.

— Лиза! — тихо сказала она.

Лиза, не поднимая головы, дрожащим голосом спросила:

— Что вам?

— Господи! ты плачешь! — в отчаянии воскликнула старушка.

Лиза подняла голову; лицо ее было красно, глаза опухли; но она улыбнулась и сквозь слезы сказала:

— И не думала... я спала!

— Лиза, Лиза! — с горьким упреком заметила старушка.

Лиза быстро спрятала опять голову в подушки.

Старушка села на стул у кровати. Лиза тихо всхлипывала.

— Господи, за что ты меня наказываешь! — с отчаянием прошептала старушка.

Лиза привстала, вытерла слезы, кинулась на грудь к бабушке и опять горько заплакала.

— Бабушка, простите, простите меня! — тихо говорила она.

— Ах, Лиза, ты меня убьешь своими слезами.

— Бабушка! — раздирающим голосом вскрикнула Лиза.

— Полно, перестань, дурочка, — в испуге говорила старушка, гладя ее черные косы.

— Скажите, что простили меня, я перестану плакать!

Старушка поцеловала ее в лоб; Лиза повисла на шее у своей бабушки и стала ее целовать, приговаривая:

— Бабушка, голубушка, простите, я больше не буду!

— Ну хорошо, хорошо! — сказала старушка, освобождаясь из объятий своей внучки.— Лучше пригладь волосы, ишь, как растрепала их!

Лиза кинулась к зеркалу, распустила косы и начала приглаживать волосы.

Старушка вскрикнула:

— Лиза! что у тебя коса-то одна короче? а?

Лиза вспыхнула; она быстро завернула косы около головы и отвечала, не повертывая лица:

— Я шалила да и обрезала.

— Ну, это уж нехорошо! сколько раз я тебя просила, чтоб ты в своих шалостях хоть себя бы не уродовала.

— Разве это безобразно? ведь я только дома и когда жарко их распускаю.

— Куда же ты дела волосы? — спросила старушка, пристально смотря на внучку, которая, помолчав немного, холодно отвечала:

— Они у Степана Петровича.

Радостная и лукавая улыбка озарила доброе лицо старушки.

Молчание длилось с минуту. Лиза, напевая, села к столу, взяла карандаш и стала небрежно чертить им.

— Лизанька! — сказала старушка необыкновенно ласковым голосом.

— Что вам, бабушка? — бросив лукавый взгляд на старушку, спросила внучка.

— Знаешь, что я тебе скажу!

И старушка приостановилась.

— Ах, бабушка, уж не цыплята ли у пеструшки?

— Нет! — сердито отвечала старушка.— Я хочу говорить с тобою о Степане Петровиче,— прибавила она кротко.

Лиза вспыхнула, уткнулась в бумагу; карандаш сломался; она с сердцем бросила его, взяла другой.

Старушка решительно спросила:

— Ну что же, Лиза?

— Да говорите, я слушаю! — запальчиво отвечала Лиза, очинивая карандаш.

— Видишь, Лиза, ты ведь никогда со мной не говоришь как следует! — с упреком заметила старушка и нахмурилась.

— Какие вы смешные, бабушка! ну что я буду говорить с вами о Степане Петровиче!.. По мне хоть бы я век его не видала... да еще лучше,— тихо прибавила Лиза.

— Ну, так! как сведет с ума, потом хоть бы век не видать,— покраснев, сказала старушка и с гневом прибавила: — Ты, кажется, хочешь и с ним!..

Лиза побледнела, быстро вскочила и грозным голосом закричала:

— Бабушка!!

Старушка вздрогнула и замолчала, а Лиза, держась за стол, полная гнева, смотрела на нее. Потом в изнеможении она опустилась на стул.

В комнате сделалось так тихо, что слышно было жужжанье мухи, суетившейся за сторой.

Через минуту Лиза тяжело вздохнула, оглядела комнату и, остановив грустный и отчаянный взор на старушке, которая сидела с поникнутой головой, ласково сказала:

— Бабушка!

Старушка пугливо подняла голову.

— Степан Петрович будет сегодня у нас?

— Не знаю, а что?

— Так!

— Хочешь, я пошлю за ним! — радостно сказала старушка.

— Не надо, не надо! — пугливо перебила ее Лиза.

— Он болен, Лизанька.

— Что с ним? — дрожащим голосом спросила Лиза.

— Не знаю!

Лиза подняла голову и насмешливо посмотрела на старушку.

— Лиза, что ты смотришь? право, он нездоров! мне его мать сказывала. Не правда ли, они оба хорошие люди?

— Может быть.

— Бедные только! Но ведь что в богатстве, моя Лизанька! Вот ведь у тебя был жених и богатый...

— А! опять о замужестве! — зажимая себе уши, с сердцем перебила Лиза.

— Ну, право, ты мне надоела сегодня! Там плачут, а ей придешь сказать, она себе уши затыкает! — махнув рукой, сказала старушка и сердито пошла к двери.

Лиза заслонила ей дорогу и раздирающим голосом спросила:

— Разве я виновата теперь?

— Бог вас знает, только у тебя странный характер: ты то как бесенок увиваешься, а то вдруг и знать не хочешь, хоть умри перед твоими глазами. Лиза, нехорошо, у тебя дурное сердце!

— Ну, извольте, я сойду сегодня вниз, как он придет,— сказала Лиза.

— А по мне, всё равно, я теперь не буду вмешиваться! Жаль мне только его старуху, плачет навзрыд, сына загубили у ней.

И старушка со слезами вышла из комнаты.

Лиза, пожав плечами, подошла к комоду, долго смотрела на розы, стоявшие в банке. Потом она вдруг как бы очнулась, пригладила волосы и, припевая, сбежала вниз, мимоходом поцеловала встретившуюся бабушку, открыла окно, высунулась из него и, продолжая мурлыкать, искоса глядела на окно Граблина, который не замедлил появиться; Лиза кокетливо кивнула головой и закричала:

— Вы здоровы?

— Здоров! — едва слышным голосом отвечал Граблин.

— Так приходите в сад качаться на качелях!

И Лиза кинулась от окна и, смеясь, побежала в сад.

Перебежав улицу, Граблин так задохся, как будто он пробежал бегом десять верст. Лиза одна уже высоко качалась на качелях. Граблин не знал, что сказать; он бессмысленно улыбался, вертел головой, чтоб уловить лукавую улыбку Лизы, выглядывавшей на него из-за своей руки, которою она держалась за веревку качелей.

Увидав Лизу, он не знал, что с ним делается; ему хотелось и смеяться и плакать.

— Ну, что же вы не садитесь? — спросила его Лиза.

Он вдруг засмеялся, и слезы блеснули у него на глазах.

— Садитесь же! — повторила Лиза, выпрямясь.

Граблин приостановил качели и проворно вскочил на конец доски.

— Браво! Раскачаем хорошенько! — сказала Лиза и, притопнув ножками, высоко подкинула Граблина.

Черные огненные глаза встретились с Граблиным, и она не отвела их, а продолжала пытливо смотреть, как будто о чем-то думая. Граблин, замирая от восторга, глядел ей в глаза и не замечал, что они чуть не доставали верхушки дерев. Лиза казалась ему существом необыкновенным, будто с неба летела она к нему... хотя смуглые раскрасневшиеся щеки, огненные глаза, черные роскошные косы, медленно колыхавшиеся от движения гибкого

стана, и лукавый взгляд ясно доказывали, что она дитя земли...

Звонкий смех, полный страсти, немного образумил Граблина, который не заметил, что ни слова еще не сказал Лизе. Они оба были в каком-то забытьи.

— Вы любите высоко качаться? — спросила Лиза, едва переводя дух.

— Люблю.

— А бабушка уверяет, будто я только одна люблю так качаться, и хотела даже качели снять.

Граблин превратился весь в слух: ему казалось, что нет музыки, нет звуков восхитительнее голоса Лизы...

— Отчего вас давно не видать? — спросила Лиза и так высоко подкинула доску, что веревки стряхнулись и Граблин чуть не упал.

Лиза вскрикнула.

— Чего вы испугались? — спросил Граблин, устояв.

— Мне показалось, что у вас рука оборвалась.

— Да... ну что же, если б я точно упал?

— Что тут хорошего — разбились бы!

— И прекрасно было бы!

— Очень весело! перепугали бы меня.

— Ну в таком случае я не хотел бы,— язвительно сказал Граблин.

— Вы думаете, что я вас не жалею? — быстро перебила Лиза, которая стояла теперь, закинув одну ногу на другую, и держалась, вытянув руку, за одну веревку, прислонив к рукам голову. Эта небрежная поза удивительно обрисовывала ее стройный и пышный стан. Граблин весь задрожал, ноги у него подкосились, и он сел на качели.

— Вы не верите? — вкрадчивым голосом спросила Лиза.

— Я не верю ни в какое счастье! — грустно сказал Граблин.

Лиза засмеялась и сказала:

— Тут еще нет счастья, так вы можете поверить...

Граблин побледнел и схватился за веревку.

— Что с вами?

И Лиза присела к нему.

— Так, ничего!

Качели сами собою качались, а Лиза, сидя на доске, смотрела с участьем на Граблина, который, приложив голову к веревке, бессмысленно глядел вдаль.

— Степан Петрович, не любите меня! — умоляющим и полным слез голосом вдруг сказала Лиза.

Граблин сделал движение, чтоб соскочить с качели; но Лиза удержала его за руку и тем же умоляющим голосом продолжала:

— Я не могу никого любить! это не каприз мой! Вы не смотрите на меня, что я иногда с вами ветрена и шалю — это уж мой характер; если мне даже очень грустно, я всё шалю...

— Кто? и как вы узнали, что я вас... люб...— глухим голосом спросил Граблин, не подымая глаз на Лизу.

Лиза лукаво усмехнулась; лицо ее отуманилось грустью, и она тихо сказала, наклонясь к уху Граблина:

— Я сама люблю!

Граблин вздрогнул. Лиза, сжав ему крепко руку, прошептала:

— Он далеко, кого я люблю!

Граблин с ужасом посмотрел ей в глаза и плачущим голосом сказал:

— Если он далеко, то, верно, не любит вас.

Лиза печально усмехнулась и, покачав головой, сказала:

— Он очень меня любил, но я так ветрено поступила с ним... так оскорбила его, что он унизил бы свою любовь, если б остался возле меня.

— Он знает, что вы его любите?

— Нет!

— Он, может быть, вас забыл, он любит другую!

— Вы скоро меня забудете?

— Я!.. никогда! — твердо сказал Граблин.

— Вот и он мне то же сказал, и таким же голосом, как вы; вот почему я избегала вас, как только заметила, что вы глядите на меня, как он глядел. После него мне многие говорили, что любят меня, но всё не так, как он... и как вы,— помолчав, прибавила Лиза с тяжелым вздохом.

Качели медленно покачивались, кольца жалобно скрыпели, как будто плакали вместе с несчастным Граблиным.

На глазах у Лизы блеснули слезы, и она с участьем сказала:

— Не скучайте, забудьте меня; я не стану вам лгать, что вы мне нравитесь, но также и не стану вас просить любить меня, как сестру.

— Позвольте хоть это! — в отчаянии сказал Граблин.

— Да этого нельзя!

— О, будьте уверены, что я ни одним словом...

— Не уверяйте меня, мне и вам скоро надоест такая любовь. Да и что в ней!

И Лиза стала шаркать своими ножками по земле и раскачивать качели.

Долго они сидели молча, покачиваясь под жалобный скрып качелей.

Глава V

НОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ В СТРУННИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

Прошел еще год, но о нем уже нельзя сказать, как о предыдущем, что он не принес с собою никаких перемен в Струнников переулок. Нет, перемены произошли, и значительные. Столь знакомый читателю дом девицы Кривоноговой украсился новой дощечкой над воротами с ярко-красной надписью: «Дом поручицы Доможировой». Как! Доможиров женат? Доможиров соединился неразрывными узами с первейшим своим врагом? Увы, нет сомнения! Бедный Доможиров не избег плена своей соседки; впрочем, и обстоятельства были слишком важные,— трудно было удержаться! Началось с того, что явился престранный господин, которому так понравился дом Доможирова, что он предложил ему чуть не вдвое дороже, чем стоил дом. Озадаченный Доможиров кинулся за советом к благоразумной деве; совет был дан ему ловкий, доброжелательный: он продал дом и перебрался к девице Кривоноговой, в ту самую комнату, где жила прежде Полинька, с прибавлением еще двух соседних комнат.

Девица Кривоногова, казалось, переродилась. Характер у ней стал шелковый, она была необыкновенно кротка и заботилась о своем жильце с нежностью супруги или матери, а также и о сыне его, который уже достиг возможности ходить в халатах своего родителя, неперешитых и неурезанных: так благотворно действовала привольная уличная жизнь на его физическое развитие. Коты были всегда кормлены досыта. Девица Кривоногова до того простирала свою заботливость, что в жаркие дни собственноручно ставила даже в клетку скворцу блюдечко с водой и радостно наблюдала, как он принимался полоскаться. И нередко, с умилением указывая на благоденствующую птицу, она говорила растроганному Доможирову:

— У меня уж такое доброе сердце: я люблю, Афанасий Петрович, чтоб все в моем доме были довольны, до последней крохотной птички!

Случалось, что, разбирая в сундуках свое добро, она показывала Доможирову банковые билеты и горящее как жар серебро, приговаривая с тяжелым вздохом:

— Вот, кажись, всё есть, да кому достанется мое добро, как умру? А я чувствую, что скоро, скоро умру!

Доможиров сомнительно качал головой и произносил: «И-и-и...», но в голову ему невольно западала мысль: что, если б жениться на девице Кривоноговой да к своему капиталу присоединить еще десятитысячный банковый билет?

Он боролся мужественно против такого соблазна; но пришел срок платить за квартиру и решил всё, помрачив его рассудок. Двадцать лет не знал он, что значит платить за квартиру, быть жильцом — звание, которым он гнушался; двадцать лет платили ему жильцы, а теперь сам должен платить...

— Не дам! нет у меня денег! — с негодованием отвечал он девице Кривоноговой.— Погодите!

К удивлению его, она кротко вынесла отказ. В следующий срок, когда приходилось платить вдвое больше, он опять отказался еще энергичнее. Тут уже она не выдержала и завыла, приговаривая:

— И не стыдно вам сироту обижать?

Взволнованный Доможиров оскорбился таким упреком и раскричался.

Девица Кривоногова прижалась к стене, будто со страху, и, всхлипывая, проговорила:

— Нет! уж видно, и точно сиротам жить нет никакого средствия: кто хочет, тот и обижает! А я, дура, еще вчера отказала чиновнику-вдовцу: через одну куму мою сватался... и, говорят, дети такие почтительные и милашки...

Доможиров вытянул физиономию.

— Да я пошутил... я так! — сказал он вкрадчивым голосом.

— Хороши шутки с сиротой! — проговорила обиженным тоном девица Кривоногова.

Доможиров уже тянул концы своего кушака, и когда кушак достаточно впился в его бока, он крякнул и нерешительно спросил:

— А небось, за меня не хочет идти?

Девице Кривоноговой ничего не нужно было больше: так давно желанное слово слетело с языка Доможирова,— остальное она уже кончила сама, наговорив много трогательных вещей и пообещав еще при жизни передать Доможирову всё свое имущество.

— Ну кому,— говорила она со слезами умиления,— и следует всё отдать, как не законному супругу?

Доможиров не замедлил сделаться им. Их свадьба привела в волнение весь Струнников переулок; даже с примыкавших к нему улиц и переулков сбежались полюбоваться брачным торжеством .

Гостей было множество. Невеста нарядилась в краснорозовое платье, к которому не совсем подходили цветом открытые руки и шея, совершенно красные. Голова была убрана измятыми белыми цветами и грязным вуалем, кончик тощей рыжей косы исчез, совершенно подавленный ради такого торжественного случая белокурой массивной косой; брильянтовый фермуар с бусами и тяжеловесные серьги — подарок счастливого жениха — дополняли невестин наряд. Жених, выбритый тщательно, чего уже не случалось с ним лет двадцать, в белом галстухе и светло-синем фраке не слишком нового покроя, гордо озирался кругом и только страдал немного по поводу туго накрахмаленных воротничков манишки, так как хорошо выбритые его щеки были в тот день слишком чувствительны.

За роскошным пиршественным столом, между двумя вазами с потертой позолотой и полинялыми цветами, молодые сидели в скромном молчании. Массивная рука молодой была вложена палец в палец в руку молодого; по временам они разлучали свои руки, протирали их платком и снова вкладывали по-прежнему. После двухдневного пира дом девицы Кривоноговой украсился вышепрописанной надписью. Тот день был роковой в жизни Доможирова; тут только увидал он, что попался впросак. Нечего и говорить, что супруга и не подумала передавать ему капитал свой и дом. Нет, она даже лишила его наслаждения кушать серебрянными ложками, хоть он был с ними так деликатен, что, подержав в руках, каждый раз принимался тереть платком, чтоб серебро не теряло своего блеску. Временная кротость бывшей девицы Кривоноговой миновалась невозвратно; брань, упреки не умолкали, и дошло до того, что Доможиров, познакомившись через Граблина с любителем похоронных процессий, стал бегать по клад-

бищам. Там искал он забвения супружеских бурь и скоро так вошел в интересы кладбища, что вызубрил все надписи памятников, узнал всех нищих, которые увидели в нем кровного врага: всегда недовольный и раздражительный, он читал им, не исключая слепых и безруких, мораль о вреде праздности, причем часто почерпал красноречие из слов своей супруги, упрекавшей его в лености. Там не раз встречал он знакомого нам Волчка с его старухой матерью. И сын и мать вечно были ненатурально веселы и ссорились. Несчастный Доможиров понемногу начал уходить в самого себя, сосредоточиваться и наконец стал вести свой дневник, вспомнив, что и Каютин иногда записывал разные свои мысли. Вот образчики его записок:

«10 мая. Опять бранилась и спрятала серебро; говорит: мое!

12 мая. Купил тараканов: думал, вот угощу скворушку. Не тут-то было! всех утопила! говорит: „Разведешь в моем доме нечистоту“. Да скажите, пожалуйста, разве может от мертвого таракана что-нибудь развестись? Поди втолкуй ей! „Я,— говорит,— коли узнаю, что давал птице хоть единого, так разрежу ее и выну таракана!“ Ну, женщина!

14. Правду пословица говорит: рыжий да красный — самый человек опасный.

17. Сига купила пребольшущего и всего сама уплела! Уж не доведет ее до добра такое обжорство!

19. Пристала как с ножом к горлу, нечего делать: высек Митю!

20. Опять Ваську била, да он молодец: порядком ручищу ей расцарапал...»

И так далее. Он вписывал в свой журнал малейшие подробности, думая с отрадой: «Пусть узнают, какую вел я жизнь!..»

Даже учить сына пропала всякая охота у безнадежного Доможирова, может быть, и потому, что «Посрамленный Завоеватель» был давно выучен наизусть, а других книг, кроме какой-то растрепанной грамматики, не водилось. Однако ж супруга недолго терпела такое упущение. Раз, пообедав, Доможиров лежал на двуспальной кровати в прежде чистенькой Полинькиной комнате, где теперь была спальня супругов, и щурил глаза, готовясь уснуть, как вдруг дверь с шумом распахнулась,— супруга

его, вся в пламени, притащила своего пасынка за ухо и, толкнув к Доможирову, закричала:

— Хоть бы ты, лежебок, поучил своего родного сына, ведь он скоро лопнет с жиру! Вот что значит чужой хлеб-то есть, а не тятенькин. Прежде драл же с ним горло так, что через улицу покоя не было...

Доможиров молчал, а пасынок, теребя свой нос, украдкой дразнил языком мачеху.

— Я тебе говорю,— кричала она,— что терпение мое лопнет, я жалобу подам: муж должен кормить жену, а не жена мужа!

— Возьми книгу! — строго скомандовал Доможиров своему сыну, стараясь не замечать криков супруги.

Митя взял книгу и пискливым голосом принялся читать, покачиваясь, чему учит грамматика. Мачеха его смотрела в окно, поминутно оглядываясь, что делают супруг и пасынок.

Соскучась слушать, чему учит грамматика, Доможиров вздумал проэкзаменовать своего сына:

— Лучше скажи-ка, где мы живем?

— В Струн...— начал было Митя, но Доможиров остановил его грозным криком:

— Дурак! в каком городе?

— В Санкт-Петербурге! — самодовольно отвечал сын.

— Хорошо!.. Ну а сколько Азиев?

— Азиев?..— Митя задумался и потом нерешительно отвечал:— Одна, тятенька!

— Врешь! подумай!

Митя думал долго, чесал то нос, то голову... не помогло! Он молчал с тупым видом.

— Глупый! три, три! — наконец сказал Доможиров, сжалившись над сыном.— Уж сколько раз тебе говорил. Ну хоть какие, не помнишь?

Митя долго помолчал и робко проговорил:

— Не помню-с.

— Ну, слушай же: Европейская Азия, Азиатская Турция и сама по себе Азия,— наставительно, с расстановкой произнес Доможиров.

Митя слушал разиня рот и за каждой Азией закладывал палец на память.

— Ну а кто богаче всех в Европе?

Митя молчал.

— И то забыл! Родшмит, Родшмит,— сказал Доможиров.

(Бледный остаток знакомства с Каютиным! Считая самого себя небедным человеком, Доможиров, бывало, интересовался, кто богаче его, и Каютин наз<ы>вал ему Ротшильда.)

— Ну а в Петербурге?

Митя опять ни слова.

Доможиров молча указал ему на аршин, лежавший на столе.

— Купец Аршинников! — резко крикнул Митя.

(Почему Аршинников? Раз Доможиров случайно попал на пирушку к купцу Аршинникову, где встречали шампанским чуть не на лестнице, по комнатам летали соловьи и горело сто двадцать ламп. С той поры Доможиров убедился, что нет в Петербурге богаче Аршинникова.)

— Ну а в Струнниковом переулке?

— Вы, тятенька! — без запинки отвечал сын.

— Ну а какие самые злые люди бывают? — шепотом спросил Доможиров.

— Рыжие, тятенька! — так же тихо отвечал сын.

И они оба усмехнулись.

Не будь супруга слишком занята дракою соседних петухов, она непременно обернулась бы на смех своего сожителя,— и горе было бы ему! Но внимание грозной сожительницы было до такой степени поглощено петушиной дракой, что она в праздном своем любопытстве не заметила даже другого, еще более важного явления. Оглянувшись влево, она увидела бы неподалеку от своего дома шедшего скорыми шагами мужчину с загорелым мужественным лицом, с черной красивой бородой,— мужчину, которого никто прежде не видал в Струнниковом переулке и который, значит, представлял интерес совершенной новости. Незнакомец поглядывал в ворота, кивал головой детям, окликал по имени лохматых собак, покоившихся посреди улицы. Завидев дом бывшей девицы Кривоноговой, он кинулся к нему чуть не бегом, оглядел нижний этаж, приподнял шляпу и спросил взволнованным голосом:

— Не знаете ли, куда переехал башмачник?

— Немец? — спросила Доможирова, пристально разглядывая его.

— Да! — отвечал он.

— А вот... видите, немного подальше... кривой домишко!

И она указала своим массивным пальцем вдаль.

— А не знаете ли, где живет Климова?

— Климова? Палагея Ивановна?

Чернобородый господин кивнул головой.

— А кто ее знает, где она таскается!

Господин быстро пошел прочь.

— Да на что вам? — кричала вслед ему госпожа Доможирова.— Вернитесь!

Но он не вернулся и медленно шел своей дорогой, глубоко задумавшись.

Изгнанный девицей Кривоноговой, башмачник поселился в кривом доме, принадлежавшем малолетним наследникам. Домишко долго стоял пустой; и точно, нужно было слишком много отважности или слишком мало денег, чтоб поселиться в нем, презрев явную опасность погибнуть под его развалинами. Но опекуны назначили самую низкую цену, и башмачник, дела которого были сильно расстроены продолжительной болезнью, решился нанять его. Обитаемы были только кухня да небольшая комната, а другую комнату так перекосило, что ходить надобно было чуть не по стене, а пол превратился в крутую гору.

В мрачной кухне с огромной неуклюжей печкой сидело на полу двое маленьких детей, у кровати, на которой лежала больная женщина, закутанная в платок и изношенный ватный капот. Карл Иваныч, с лицом испитым и печальным, расхаживал по кухне, укачивая на руках шестимесячного ребенка, и пел немецкую песню, вероятно с целью заглушить болезненные и слабые крики ребенка. Лицо башмачника так изменилось, что он казался вдвое старее своих лет. Его кроткие глаза выражали тупое страдание. За писком детей и собственным пением башмачник не вдруг заметил появление чернобородого мужчины, который, отворив дверь, стоял на пороге как ошеломленный.

— Кого вам угодно? — спросил башмачник, наконец заметив гостя и продолжая укачивать ребенка, который закричал сильнее прежнего.

Гость не отвечал. Он внимательно оглядывал детей, больную женщину, слегка приподнявшуюся посмотреть вошедшего, и наконец остановил долгий взгляд на бледном лице башмачника.

Лицо гостя слегка передернулось, и он произнес нетвердым голосом:

— Карл Иваныч! неужели?..

Башмачник вздрогнул и попятился, дико вглядываясь в гостя.

— Неужели вы не узнали меня?

Башмачник радостно вскрикнул и кинулся к гостю, который принялся обнимать его. Они с жаром поцеловались, жали друг другу руки. Башмачник не знал, куда девать ребенка, повторяя:

— Ах, гер Каютин! гер Каютин!

Не скоро образумился башмачник, обрадованный неожиданным появлением Каютина, которого считал уже погибшим.

— Ах, да как же вы переменились! как загорели! какой молодец стали! — говорил он, с любовью оглядывая Каютина, которому черная борода и смуглый цвет кожи придавали красоту мужественную и строгую.— Пойдемте, пойдемте!

Он увел его в другую комнату, столько же мрачную и с такою же обстановкой.

— Садитесь, садитесь. Вы хотите знать...

Карл Иваныч побледнел, вздрогнул и, сжав руку Каютина, тихо произнес:

— Я всё сделал, что мог... Она...

Голос у него замер. Он быстро отвернулся.

— Верю, верю вам, благородный Карл Иваныч! — печально сказал Каютин, положив ему руку на плечо.— Она одна во всем виновата!

— Не сердитесь на нее! — умоляющим голосом воскликнул башмачник.

Каютин язвительно усмехнулся.

— Я сержусь,— сказал он,— только не на нее... Я обвиняю самого себя! можно ли быть столько глупым, чтоб поверить словам ветреной...

— Зачем ее бранить! — с упреком возразил башмачник.— Вы ее сами бросили; а где мне, бедному мастеровому, было защищать ее, когда тут богачи?.. А если б я мог, уж верно... Ведь я сам ее любил не меньше вашего!

Последние слова были произнесены таким потрясающим голосом, что Каютин вздрогнул; теперь только сделалась ему понятна самоотверженная привязанность башмачника к Полиньке.

Высказав свою тайну, Карл Иваныч вдруг спохватился, покраснел, но потом, будто в оправдание свое, прибавил спокойнее:

— Теперь всё равно: вы также не имеете никаких надежд...

— Скажите мне всё, Карл Иваныч! я должен знать истину; может быть, презрение уничтожит глупую страсть, которую я всё еще, против воли, питаю к пустой, недостойной женщине...

— Ах, опять вы ее браните! — со слезами сказал башмачник.— Ее надо жалеть. Она несчастная...

— Где она теперь?..— в волнении спросил Каютин.

Башмачник покачал головой.

— Не знаю,— отвечал он с тяжелым вздохом.— Я ее много, долго искал. Видно, уехала...

До поздней ночи просидел в тот день Каютин у башмачника. Карл Иваныч подробно рассказал ему всё, что было с Полинькой со дня их разлуки, и, как ни был он деликатен в выражениях, Каютин убедился, что Полинька забыла его, изменила ему, сделалась недостойной женщиной, в чем и сам башмачник был твердо уверен. Потом Карл Иваныч рассказал Каютину всю историю своей любви к Полиньке, видя в нем уже не счастливого соперника, но товарища по несчастию, и в первый раз его сердце облегчилось признанием. Он рыдал, передавая Каютину свои страдания, муки ревности, тягостного и беспрестанного самоотвержения... Несколько раз покушался он на самоубийство, хотел бежать из Петербурга, но участь несчастного семейства, оставшегося на его руках по смерти одного бедного соотечественника, удерживала его...

— Лучше бы я никогда не знал ее! — с отчаянием сказал Каютин, выслушав башмачника.— Она сделалась бы вашей женой, и оба вы были бы счастливы... потому что у ней доброе сердце... но деньги, деньги погубили ее!

— Вот теперь вы правду говорите,— с радостью сказал башмачник, довольный, что Каютин наконец похвалил Полиньку,— у ней точно доброе, очень доброе сердце...

Их толкам о Полиньке не было конца; они оба любили одну женщину, которая равно была обоим им недоступна и существовала только по воспоминаниям.

Каютин поселился в Струнниковом переулке. Радость Доможирова при свидании с ним была трогательная. Он почувствовал к нему глубокое уважение, может быть, и потому, что Каютин уже не был его жильцом, отчего Доможиров приходил в неописанное отчаяние, называя себя

олухом. Торжественно, даже при сыне, согласился он с Каютиным, что не три, а только одна Азия; всякий день раз двадцать забегал к нему посмотреть, здоров ли он, послушать его рассказов и был счастлив, если Каютин уделял ему несколько минут. Описав яркими красками свое горестное супружество, он вручил Каютину свой журнал, сказав:

— Вы перенесли много бед, изъездивши три стороны света, а вот я, посмотрите, что вынес, не оставляя Струнникова переулка,— только в другой дом переехал!

Невесело жилось Каютину в Петербурге. Он ходил как убитый. Уверял, что не думает о Полиньке, а между тем только и думал о ней и, с надеждой встретить ее, часто по целым дням бродил по городу. То же самое желанье увидеть Полиньку привело его и в Петербург. Весной открылось ему поручение препроводить в Охотск значительную партию бобровых шкур и другой мягкой рухляди. В Охотске шум ли моря, вой ли собак, дыханье ли весны, или всё вместе нагнало на него такую нестерпимую грусть, такое неотвязное желание увидеть Полиньку хоть затем, чтоб сказать ей, сколько она зла ему сделала, что он уже не воротился в Америку, а пустился в Петербург, поручив докончить дело Хребтову.

Но вот он в Петербурге, а Полиньки не видал еще! Напрасно старается он встретить ее, напрасно разведывает.

Побывал он и у Надежды Сергеевны, но и Надежда Сергеевна, насказав ему много недоброго о поведении Полиньки, ничего не могла сказать о том, где теперь Полинька. Кто же знает?

В рассказах Карла Иваныча услыхал он о Граблине, который передал Полиньке его письма.

— Не знает ли Граблин?

Каютин пошел отыскивать Граблина.

Глава VI

ПАРТИКУЛЯРНАЯ РАБОТА

Пока длилось лето, Граблин еще крепился. Но когда наступила осень с холодом и дождями, спряталось солнце и в окнах явились зимние рамы, когда нельзя было ни подслушать голоса Лизы в саду, усеянном желтыми листь-

ями, ни увидеть ее мельком в окне, он впал в отчаяние и горько раскаялся, что дал Лизе слово не искать случаев встречаться с ней, не ходить к ним более одного раза в неделю. И он видимо чах, мучимый столько же страстью своей, сколько и работой. В состоянии влюбленного нет ничего разрушительней принужденной работы, когда потребна вся сила воли, чтоб сосредоточить свое внимание, направить к определенной деятельности ум, полный печальными мыслями, неопределенно блуждающими...

И он постоянно подвергал себя такой пытке, приискав себе особенного рода партикулярную работу.

Дело было зимой, перед праздником. Граблин пошел к одному неизвестному еще в литературе приезжему автору, которому он много уже переписал разных сочинений, оставляя, по его желанию, широкий пробел после каждой строки на случай разных поправок. Но приезжего автора уже не оказалось в Петербурге: уехал! Последняя надежда пропала. В кошельке Граблина одиноко обитал четвертак, занятый утром на извозчика, но который он предусмотрительно сохранил, вооружась твердостию ног и характера. Хоть сильно морозило, однако ж Граблин не очень торопился домой, припоминая угрозы хозяйки. Сенная, через которую лежала ему дорога, невольно остановила его своим обыкновенным предпраздничным оживлением. Народ толпился у возов, наполнял кульки, взваливал на плечи, на санки всяких съедомых животных; торговцы и торговки страшно кричали, спорили и перебранивались между собой. Увлекаясь гамом и толкотней, Граблин тоже очутился у одного воза с разной дичиной, будто и ему что-нибудь было нужно. Тут между прочими находилась толстая женщина в капоте, с большим кульком, которая звонко и скороговоркой предлагала цены выбираемым птицам, далеко не соответствующие запросу.

— Тетерька — двадцать. Берешь?

— Ничего менее!

— Ну, двадцать две.

— Ничего менее!

— Экой какой! А гусь — шесть гривен, более не дам!

— Девять гривен, тетка... Проходи, служба, коли ничего не надо! — прикрикнул тут торговец солдату, который подошел было близко к возу в шинели, надетой внакидку.

— Да уступи,— продолжала баба,— за шесть-то гривен! Ведь гусь-то поджарый такой, почитай что некормленый — на зуб нечего взять.

— Что ты, тетка! Эк выдумала: некормленый!.. Диви бы дело говорила, а то сморозила такое, что, уж подлинно, на зуб нечего взять!

Раздался смех.

Тут к толстой кухарке с большим кульком подошла другая женщина, тоже с кульком и тоже в капоте.

— Что ты стоишь тут, Потаповна?

— А! Тимофеевна! Да как, что стою: вишь, гроша не хочет спустить, окаянный!

— Эх, простынища ты! А еще в Москве, говорит, жила! Да разве не видишь, что здешний! Ты гляди прежде на купца, а после на товар. Вон там с краю навезли всего издалека... Пойдем, покажу!

Пошли. Граблин за ними — взглянуть на мужиков, прибывших издалека.

Мужики, перед которыми остановилась Потаповна, в самом деле заметно отличались от здешних наружностью, особенно же величиной шапок, которые охватывали и голову и шею и походили на увеличенные в несколько раз шлемы древних витязей. Вообще они отличались странностию одежд, ухваток и языка; слышались даже слова, совершенно незнакомые. Из встречи, сделанной хозяином воза Потаповне, нетрудно было смекнуть, что она ему не совсем чужая. Он, точно, дешевле запросил за такого же на взгляд гуся и такую же тетерьку, как и у первого, здешнего торговца, только лежавшая тут же рядом говядина чересчур была постная, что и заметил ему один покупатель.

— Да что же в жирной-то! — подхватила защитница издалека прибывших мужиков.— Не на свечи сало топить! Да еще долго ль до греха: прошлого года сама купила жирного поросенка,— сам-то, вишь, любил жирное,— да покойник, не тем будь помянут, разговевшись, лег отдохнуть, да и богу душу отдал; кажись, отчего бы? а дофтур сказал отчего: жир-то, вишь, весь в нем застыл!

Так отстаивала своих мужичков Потаповна, баба-кулак, как смекнул Граблин.

Несмотря на наступающую темноту, народ всё еще продолжал толкаться от одного воза к другому. Граблин хотел было идти, вспомнив, что у него нет ни на крупные, ни на мелкие расходы, и не желая дождаться, пока прого-

нит его тот или другой торговец от воза по причине шинели, надетой внакидку; но в ту минуту хозяину воза, у которого он стоял, с соседних возов крикнуло несколько голосов: «Гляди! вон, гляди — утащил!» Граблин вздрогнул и побледнел. Мужик бросился и вмиг вцепился в похитителя с криком «Отдай!». Граблин всматривался в наружность пойманного, оторопевшего от страха и стыда и трепетавшего в дюжих руках мужика. Он был очень молод.

— Отдай, говорю! — кричал мужик, тряся за грудь пойманного, а между тем приискивал кого-то глазами, озираясь на обступившую толпу, в которой раздавалось: «Мазурик! мазурик!»

— Что тут такое? — раздалось из-за толпы; и в предчувствии скорой развязки толпа радостно раздвинулась, дав дорогу полицейскому солдату.

Улика действительно оказалась налицо, и вора связали. Его бледное лицо, дрожащие губы и вырвавшийся тяжелый вздох окончательно успокоили толпу, что порок будет наказан.

В нем Граблин узнал прежнего мальчика, которого Кирпичов обещал сделать человеком, принимая его от погоревшего старика. Он почти побежал домой. Какое-то тяжелое чувство, похожее на тоску или непонятный страх, сильно давило ему грудь и било его лихорадочной дрожью. Он подходил уже к дому, но не придумал еще, что бы сказать квартирной хозяйке; шаги его начали постепенно делаться менее, менее, наконец он совсем перестал подвигаться, продолжая только переступать с ноги на ногу и постукивать ими о скрыпевшие деревянные мостки...

Вдруг, откуда ни возьмись, очутилась перед ним старуха, низенькая, худая, одетая во что-то, не похожее ни на капот, ни на салоп; на бледно-синем лице ее видны были следы пробежавшей извилинами слезы. Она шевелила губами и кланялась.

— Что тебе, старуха?

— Батюшка, не оставьте...

И, закашлявшись, она подала что-то завернутое в тряпку.

— Пашпорт,— продолжала старуха,— праздник настает, так прошеньице бы...

«Отчего ж,— подумал Граблин, не написать прошение старухе, рассчитывающей поправиться к празднику на счет чьей-то благотворительности»,— и повел ее к себе.

К счастию, хозяйки не было дома. Смело и радостно вошел он к себе в комнату в сопровождении старухи; заглянул за перегородку: мать его спала, навьючив на себя всё, что могло согревать если не теплом, то тяжестью... Он бросился к печке: она была холодна, как его руки, хозяйка сдержала свое условие. С отчаянною решительностью вбежал он в комнату хозяйки, взял с печки несколько поленьев и положил на место их сохранившийся четвертак, который, по его расчету, должен был значительно ослабить взрыв гнева хозяйки за такое своеволие. Старуха вызвалась затопить печку, а он с ожесточением напал на какое-то кушанье, приготовленное матерью против его ожидания, потому что утром он оставил денег на обед только для нее одной.

— Ела ли ты сегодня? — спросил он старуху, когда голод поутих.

— Сыта, батюшка, сыта, благодетель,— отвечала она, кланяясь.

Старуха успела уже поосмотреться и смекнула, что уделить-то ему нечего.

— Вот погреться-то,— продолжала она, суя руки в самый огонь,— редко удается; хозяева фатерные уж так ли скупы на дрова, Христом-богом не выпросишь лишнего полена!

Старуха угадала и точку мыслей Граблина о квартирных хозяевах, приняв, вероятно, для того в соображение, с одной стороны, далеко не надлежащее количество поленьев, которые к тому же с большим трудом разожгла, а с другой — господствовавшие в комнате сырость и холод.

— Кому же ты хочешь,— спросил Граблин,— подать прошение?

Старуха назвала ему своего благотворителя со всем его титулом.

— Да почему же непременно ему, а не кому другому?

— Да так уж... очередь пришла,— отвечала старуха, развернув паспорт и подавая Граблину клочок бумаги с адресами нескольких значительных и богатых лиц.

Граблин принялся писать. Рука его плясала над бумагой от холода, как ни старался он прижимать ее, налегая всем корпусом. Кончив, он отдал старухе прошение, сказав ей, что читать не нужно и что известно, как пишутся подобные прошения.

— По смерти, мол, мужа моего,— объяснил он ей, однако ж,— там-то служившего, осталась я без куска хлеба, к приобретению коего, по старости лет и слабости сил, не имею, дескать, возможности; а тут сейчас и самая просьба...

Старуха благодарила. Вдруг Граблин поспешно спросил:

— А что, если ты — ведь вашей братьи много здесь — будешь присылать ко мне всех живущих прошениями, которых ты знаешь, будет ли какой доход? Ведь платят же они кому-нибудь за писание?

— Как же, благодетель, только я... теперь-то у меня...

И озадаченная старуха замялась.

— Я не затем тебя спрашиваю,— сказал Граблин.

— Как не платить! — продолжала она, оставив в покое свой карман, в котором принялась было шарить.— В прошлый раз уговаривалась я с Головачом за пятиалтынный, да копейки недоплатила,— так, поди, как выбранил! да еще говорит: платок, попадешься, сорву с головы, коли не донесешь копейки, седые твои волосы...

— А что это за Головач?

— Да, знать, фамилия у него такая, или прозвали так за то, что прошения всякие сочиняет. Я стала знать его по покойнице Егоровне — нищая тоже, за милостыней к нам, бывало, приходила. В ту пору я только что сына, кормильца моего, схоронила.

— Ты схоронила сына? — спросил вдруг Граблин, встревоженный внезапной мыслию...

— Схоронила, батюшка. Бились мы с ним, правда, бедно жили, да всё ж была надежда. Служил уж он другой годок, и усердный такой был, да здоровья-то бог не дал: поработает побольше и захворает. А тут слег — и потерял место. С тех пор стал, сердечный, пуще прежнего чахнуть, чахнуть...

Старуха тут захлебнулась слезами, вскипевшими вдруг при этом воспоминании о давно минувшем горе.

— И умирал-то, бедный,— продолжала она, оправившись,— всё тосковал обо мне: маменька, говорит, вы проситесь в богадельню, не ходите по миру...

— Да!.. он говорил это? — прервал Граблин под влиянием страшно терзавшей его мысли.— Что ж ты не в богадельне?

— Ходила, благодетель, раз десять в три-то года ходила, да уж, видно, счастье мое такое — всё очереди-то

нет. А ласковый такой начальник-то, сам велит приходить да наведываться; покойница Егоровна тоже про него говорила.

— Тоже! — сказал Граблин в раздумье.

— Тоже, батюшка... Так вот, приходит она по-прежнему ко мне за милостыней, после похорон-то сына, а я говорю ей: самой, мол, приходится просить, да не знаю, к кому идти. Тут она, царство ей небесное, почувствовала, видно, нашу хлеб-соль: да поди, говорит, к Головачу... он тебе напишет, как глазом мигнуть, к кому хочешь; у него, говорит, и список есть всех наших благодетелей. Я и пошла: в доме-то просить было некого. Прихожу туда, а он лежит под лавкой замертво; сказали, что разве к завтрему очнется; прихожу на другой день — опять то же, да уж едва в пятый, никак, раз застала не совсем того... А уж больно-то мне, больно было! Сроду не хаживала, батюшка, в такое место, да вот привел же бог!

Состязание с Головачом сначала устрашило Граблина, но потом нужда сделала свое. Так пробился он зиму, а летом им всегда было житье полегче: дров не надо да и угол свой не так мрачен, когда солнце светит в него...

Глава VII

СУДЬБА ДУШНИКОВА

Граблин ничего не мог сказать Каютину о том, что сталось с Полинькой, где она теперь, но подробно передал ему свое свиданье с ней, не забыв ни ее горьких слез, ни упреков и гнева при чтении некоторых его писем, ни жалоб на то, что все против нее ожесточились, покинули ее, считают ее бог знает какой женщиной...

Рассказ Граблина произвел глубокое впечатление на Каютина. В первый раз теперь пришла ему в голову мысль, что, может быть, поведение его невесты не так перетолковано, что, может быть, она ни в чем не виновата! Он знал, Полинька была горда и довольно было раз оскорбить ее неблагородным подозрением, чтоб заставить ее молчать, как ни были бы несправедливы и страшны обвинения.

И любовь с новой силой кипела в его груди. Совесть мучила его. Что, если Полинька точно не виновата ни в чем?

И он бегал по целым дням, отыскивая ее.

Усталый прибегал он вечером к Граблину и в сотый раз переспрашивал его, что говорила ему Полинька, как плакала, как жаловалась, что все, бог знает почему, оставили ее, с каким негодованием разорвала письмо...

Они виделись каждый день. Каютин скоро смекнул, как незавидно положение Граблина, и тихонько помогал старушке. Она повеселела, и не было у ней гостя дороже Каютина...

Однажды, когда Каютин сидел у Граблина, дверь с шумом распахнулась. Соня, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Вас барышня зовет! скорее, скорее! — сказала она и в ту же минуту выбежала.

Граблин хотел бежать за Соней, но вдруг послышался звонкий голос Лизы, которая радостно кричала ему:

— Степан Петрович, скорее! посмотрите!

Лиза стояла у своего окна с огромным листом бумаги, скрывавшим ее лицо. На листе была нарисована красками огромная женская голова с смуглым лицом, с черными волосами, в которых красовался венок из красной рябины.

— Похож... а? — кричала Лиза сконфуженному Граблину, который тревожно смотрел на Каютина.— Сличите?— прибавила Лиза и показала свое лицо.

Голова ее была тоже убрана кистями пунцовой рябины, листья которых касались ее смуглых плеч. Лукавая улыбка выказывала во всем блеске необыкновенную белизну ее зубов.

Каютин вскрикнул и кинулся к окну.

— Ее зовут Лизой? — спросил он в волнении.

Граблин вздрогнул. В одну секунду в голове его блеснула тысяча ревнивых мыслей. Он машинально кивнул головой.

— Как похожа, боже, как похожа! — твердил Каютин, отходя от окна, потому что Лиза убежала.

— Вы давно ее знаете? — тревожно спросил Граблин.

— Да я сейчас ее узнал; я видел ее портрет: как две капли похож на нее!

— Так вы по портрету ее узнали? — свободно вздохнув, спросил Граблин.

— Да.

Соня опять вбежала в комнату и повелительно объявила Граблину, что его зовет барышня.

Граблин кинулся за Соней. Через десять минут он воротился и с улыбкой сказал Каютину:

— Она вас просит к себе. Хочет непременно знать, где вы видели ее портрет... да вот и она сама!

Граблин указал на окно, у которого стояла Лиза. В ее черных волосах уже не было венка из рябины; она нетерпеливо манила их к себе.

Лиза встретила гостей у самой калитки, и первые слова ее к Каютину были:

— Какой и чей вы видели портрет, который так похож на меня?

Каютин немного смешался таким приветом, но вспомнил ее характер и решительно отвечал:

— Я не могу вам этого сказать!

Лиза нахмурила брови, но тотчас же приняла кокетливый вид и насмешливо проговорила:

— Очень приятно с вами...

Граблин спохватился и начал рекомендовать его Лизе. Она небрежно кивнула Каютину головой и обратилась к Граблину.

— Вы довольны моим подарком?

— Каким?

Лиза взяла его за руку и потащила в сад, приглашая за собой и Каютина. Она привела их в довольно жалкую беседку из акаций.

— Вот вам мой портрет, что я обещала! — сказала Лиза, указывая на лист с огромным смуглым лицом, высоко повешенный на дереве.

Лиза помирала со смеху, глядя на Граблина, у которого навернулись слезы.

— Что же, вы недовольны? — важно спросила она.

— Я у вас просил вашего портрета, а не эту...

Граблин остановился; он был возмущен смехом Лизы, которая едва могла успокоиться.

— Вы, верно, любите рисовать? — разглядывая портрет, спросил Каютин, чтоб вывести Граблина из затруднения.

Лиза пытливо поглядела на Каютина и резко отвечала:

— Терпеть не могу!

Граблин с удивлением посмотрел на нее.

— Вы что так смотрите? — сказала она ему с сердцем.— Ну да! терпеть не могу. А то еще ничего не значит, если я по целым часам рисую.

— Нет, по целым дням! — перебил ее Граблин.

— Ну, пожалуй, и дням! — с досадою возразила Лиза.— Я это делаю для того, что после целого дня рисованья, которое я ненавижу, мне всё-таки не так скучно.

— Неужели вы скучаете? — спросил насмешливо Каютин.

Лиза вспыхнула и холодно отвечала:

— Вы, кажется, очень мало меня знаете, чтоб сомневаться в моих словах.— Потом она вежливо прибавила: — Пойдемте к бабушке, я вас познакомлю.

Когда они раскрыли дверь, две старушки горячо спорили. Перед ними были разложены карты. Мать Граблина, загадав, скоро ли будет свадьба ее сына с Лизой, не могла вынести, что король заложил валета. Заговорив Лизину бабушку, она в первый раз в жизни попробовала схитрить, но, по неопытности, была поймана. Вспыхнула ссора.

— Я недоглядела, матушка! право, недоглядела!

— Как можно недоглядеть! Король на валете лежит, а вы преспокойно его берете.

Лиза положила конец спору; она кинулась к столу, смешала карты под общий крик старушек и, указывая на Каютина, сказала:

— Бабушка, к вам пришел гость!

И, как ни в чем не бывало, она села в угол и, сложив руки, насмешливо смотрела на свою бабушку и Граблина, который представлял бабушке Каютина.

После обычных приветствий все уселись кругом стола. Сделалось молчание. Тогда Лиза встала, придвинула стул и, усевшись между Каютиным и Граблиным, взяла карты и сказала:

— Кто хочет, я буду гадать?

— Погадайте-ка моему Степану! — заметила старушка Граблину.

Лиза с презрением посмотрела на Граблина, который едва скрывал свою досаду на Лизу за шутку с портретом: день тому назад, как ему показалось, она серьезно обещала ему свой портрет!

— Я и без карт ему угадаю! — надменно отвечала Лиза.— Если выкинете разные глупости из головы,—

тихо шепнула она Граблину,— то будете иметь,— продолжала Лиза громко,— и чины, и деньги, и всё!

— Я вам не верю,— иронически сказал Граблин.

Лиза вспыхнула, но сдержала свой гнев, блеснувший у ней в глазах, и пресерьезно стала раскладывать карты по столу.

— Позвольте мне погадать вам,— сказал Каютин, чувствуя необыкновенное желание побесить Лизу.

Она с радостью передала ему карты и надменно сказала:

— Только с условием — не позволяйте вмешиваться бабушке: она везде видит свадьбу!

Старушки значительно переглянулись. Граблин тяжело вздохнул.

Каютин попросил Лизу снять карты и сказал:

— Думайте!

Лиза закрыла глаза, прошептала что-то над картами и потом, передавая их Каютину, сказала:

— Задумала.

Каютин, раскладывая карты, тихо спросил Лизу:

— Вы не боитесь посторонних: я ведь очень верно всё отгадываю!

Лиза засмеялась и с гордостью отвечала:

— Я ничего не боюсь, да и нет колдуна во всем свете, который бы мог угадать, что я думаю! — и, обратясь к шептавшимся старушкам, она повелительно сказала: — Слушайте же, бабушка!

Все обратили внимание на Каютина, который, раскладывая карты, сказал:

— Я прежде сам не верил картам.

— Как можно! что вы! — быстро возразили старушки.

— Но один из моих товарищей, странствуя со мною по пустынным землям, так хорошо отгадывал на картах содержание всех писем, которые я получал, что я стал верить им. Он-то мне и передал тайну угадывать чужие мысли.

Лиза лукаво глядела на старушек, которые с жадностию слушали Каютина. Они принялись экзаменовать его, спрашивая о значениях карт; Каютин сбивался; Лиза от души смеялась.

— Право, я не виноват; меня так учил мой приятель Душников! — сказал Каютин, сделав на фамилию осо-

бенное ударение, и устремил глаза на Лизу, которая вся содрогнулась, будто от электрического удара.

Старушка радостно вскрикнула и со слезами на глазах, робко глядя на Лизу, спросила Каютина:

— Батюшка, как я рада! так вы его знали? какой хороший и добрый человек он! Ах, господи, да где он? как вы его знали?

Лиза молчала; она то бледнела, то краснела.

— Лизанька, что же ты не спросишь об Семене Никитиче? — заметила бабушка.

Лиза гневно окинула всё собрание своими огненными глазами, принужденно улыбнулась, смешала карты и встала из-за стола. Она села в угол, подозвала к себе Граблина и стала шутить и кокетничать с ним.

Каютин был возмущен равнодушием Лизы к человеку, который так ее любил и столько через нее вытерпел! Она даже не спросила, жив ли он!

Начались расспросы: как и где Каютин познакомился с Душниковым, которым старушка интересовалась от чистого сердца, поминутно похваливая его.

Рассказывая свое знакомство с ним, Каютин много высказал Лизе ядовитых колкостей, непонятных остальным.

Лиза делала вид, будто не слушает его, но раза два принужденный ее смех замирал, и она переставала болтать.

Узнав, что он так много путешествовал, старушка пристала к нему с просьбами рассказать что-нибудь. Лиза тоже присоединила свою просьбу, которая, впрочем, походила больше на приказание.

— Хорошо,— сказал Каютин.— Я расскажу вам мои похождения в киргизских степях.

Уселись кругом стола, воцарилась тишина, и Каютин начал рассказывать:

«У меня был приятель, человек бедный, но с необыкновенным талантом, и, рано ли, поздно ли, ему готовилась блестящая роль. Не так вышло. Он любил в своей жизни, и любил больше, чем несчастливо: любовь сначала улыбнулась ему, поманила его своими радостями,— и вдруг всё для него кончилось, и еще как! без всякого повода с его стороны, без всякой видимой причины, вернее всего, по какой-нибудь пошлой и непростительной прихоти разбито было сердце благородное и любящее, достойное лучшей участи! Это наложило на его характер

печать мрачности и глубокого уныния. Ничто в жизни не интересовало его. Он жил потому только, что надо было жить. Будь богат, он поехал бы странствовать, но денег не было, и он выбрал себе занятие...»

— А как звали вашего приятеля? — равнодушно спросила Лиза.

— Позвольте мне умолчать его имя,— резко отвечал Каютин.

Затем он рассказал о Душникове всё то, что уже известно читателю, и продолжал:

«Утром Хребтов разбудил нас криком: киргизы! киргизы! Я взглянул, точно: вдали, за небольшим покатым пригорком, виднелось до тридцати кибиток; лошади бродили около них.

— Что ж нам делать? — спросил я Хребтова.— Не подкрасться ли тихонько?

Хребтов улыбнулся.

— Ты думаешь, они нас не видят? — сказал он.— Да киргиз даром что узкоглазый, а в десяти верстах видит!

Решились прямо наступать и требовать выдачи товарищей. Ножи уж у нас были с вечера выточены, винтовки заряжены. Благословясь, пошли. Но только сделали с полверсты, как в ауле поднялась сумятица: дикари кричали, бегали, ловили лошадей и запрягали в кибитки. Еще через полчаса впереди поднялась пыль столбом: весь аул, кто верхом, кто в кибитках, пустился бежать!

— Подлые трусы! — сказал Хребтов.— Вот так они всегда!

Постояли мы, подумали и опять пошли. Шли с час и наконец завидели аул. Он расположился у небольшой реки, на берегу которой росли камыши. Мы тоже остановились, чтоб собраться с силами. Но только что, отдохнув, стали подходить к нему, как он опять снялся и поскакал.

Так продолжалось весь день. Разбойники подпускали нас довольно близко, и пока мы стоим, стоят и они, а поднялись мы — их и след простыл! На одном месте их кочевья нашли мы обшлаг рукава, какие бывают у русских армяков, оторванный, казалось, зубами,— не было больше сомнения, что наши товарищи в их руках! Мы забыли всякое благоразумие и решились продолжать преследование, которое становилось с каждым шагом опаснее: чем глубже подавались мы в степь, тем больше

являлось вероятности наткнуться на несколько аулов разом... что тогда ожидало нас?

Дело шло к вечеру. Измученные, мы быстро подвигались вперед, ничего не встречая среди песчаной степи, кроме обширных равнин ослепительной белизны: то были высушенные летними жарами соленые озера. Наконец, когда уже начинало темнеть, снова завидели мы киргизов, но только их было впятеро больше. Что делать? безрассудно было идти вперед, бесполезно отступать. Мы были уверены, что они теперь сами нападут. Однако ж многие настаивали воротиться. Как ни было больно расстаться с мыслью освободить приятеля и других товарищей, я должен был покориться общему голосу. Мы повернули, но не успели сделать ста сажен, как заметили, что и дикари следуют за нами. Мы остановились — остановились и они; мы двинулись — и они двинулись.

Так продолжалось с час. Наконец мы стали, решась не делать более ни шагу в тот день. Тогда и они стали.

Между тем совершенно стемнело. До нас доходили дикие крики и песни киргизов, топот и ржание лошадей. Небольшая партия киргизов отскакала немного в сторону и воротилась с охапками камышей. Вспыхнул огромный костер, аул осветился, и мы довольно ясно видели смуглые плоские лица наших врагов: иные варили пищу, сидя у костра; другие плясали; третьи хвастались проворством своих лошадей, обгоняя друг друга и выкидывая на лошади разные штуки. Непрерывный шум стоял над аулом.

У нас, напротив, было тихо. Мы также развели костер, но больше затем, чтоб не показать врагам уныния своей дружины; пища никому не шла на ум. Мы решительно не знали, что делать, и трепетали за жизнь не одних своих товарищей, но и свою собственную. Мы лежали молча и наблюдали движенье в стане дикарей. Иные, выскакав к нам довольно близко, дразнили нас, осыпали бранью и насмешками. Тогда мы, чтоб не уронить своего достоинства окончательно, вскакивали тоже, принимались браниться, прицеливались и иногда стреляли. Наконец какой-то смельчак подскакал к нам так близко, что почти можно было достать его пулей. Один промышленник наш спустил курок; раздался пронзительный крик, лошадь брыкнула и понеслась в аул, сбросив всадника, вероятно раненного...

— Что ты наделал? — закричал Хребтов стрелявшему промышленнику.— Да они нас растопчут теперь!

В ауле сделалось страшное движение. Несколько человек подскакали, подняли раненого и принесли к костру. Скоро раздался вопль женщин и детей, показавший нам, что рана была смертельная. Потом пронеслись дикие проклятия и угрозы. Мы ждали, что весь аул кинется на нас, и держали наготове винтовки. Некоторые вслух творили молитву.

Но злодеи придумали другое ужасное мщение! Прежде всего они подкинули тростнику, и костер, раздуваемый поднявшимся ветром, угрожавшим превратиться в бурю, запылал ярким пламенем. Густой дым стоял над аулом, в котором вдруг воцарилась глубокая тишина. Но она продолжалась только минуту; с диким криком кинулось несколько человек к одной кибитке. Мы видели, как оттуда вынесли человека; толпа расступилась, и вынесшие его остановились против самого костра, лицом к нам. С неистовым, мстительным криком подняли они его над головами своими, как будто с тем, чтоб мы увидали и узнали его.

И я узнал его: то был мой приятель!

Потом они с тем же криком несколько раз подкинули его и наконец со всего размаху бросили в пылающий костер!

Пронзительный крик долетел до нашего слуха. Он был тих, но в нем слышалось столько потрясающего, зовущего к защите и мщению, что мы, не говоря ни слова, все разом как безумные кинулись вперед с готовыми ружьями.

Дикари мигом вскочили на своих лошадей. Некоторые из нас выстрелили, хоть выстрел еще не мог сделать никакого вреда врагам, другие продолжали бежать, ободряя товарищей.

— Не робей, товарищи! беги! пали! — кричал в совершенном исступлении промышленник Демьян Путков, выскакав вперед на жалкой кляче, которая была при нас.— Не дадим в обиду товарищей! Вперед, братцы! с богом, вперед!

И он неистово забил в барабан, застучал своими литаврами.

Конечно, он, да и никто, не ожидал действия, какое произвел барабан.

Дикие лошади киргизов, не привыкшие к барабанному стуку, всполошились и понеслись в разные стороны.

Картина была ужасная: ничего, кроме степи и неба, не было кругом, густой дым стоял над аулом; испуганные лошади сталкивались, сбрасывали всадников, летели во весь опор. Их топот, их дикое ржанье смешивались с воплем раздавленных жертв и воем бури, которая быстро усиливалась. Костер пылал, освещая кровавым блеском картину всеобщего смятения. Демьян продолжал с возрастающей силой исступленно стучать в барабан, греметь литаврами. Мы делали беспрестанные залпы, смекнув дело...

В несколько минут пространство около костра опустело. Осталось только несколько кибиток, несколько лошадей, привязанных к ним или бегавших в смятении, без всадников.

Мы кинулись к костру. Я вбежал почти в огонь, собственными руками раскидал горящие головни...

Увы! мы нашли только обгорелый труп, в котором едва узнал я моего несчастного друга!»

Между слушателями пронеслось восклицание ужаса.

Каютин остановился и поглядел на Лизу. Она сидела, как статуя, не мигнув глазом; губы ее были белы как полотно, глаза необыкновенно тусклы; ее била лихорадка.

— А другие ваши товарищи? — спросила Лизина бабушка.

— Все они были живы,— отвечал Каютин.— Мы нашли их в кибитках связанными.

«Вы не знаете, что такое буря в степи, где и посредственный ветер довольно ощутителен. Но делать нам было нечего: дикари могли воротиться! И мы, несмотря, что буря усиливалась, стали пробираться к берегу с помощью оставшихся киргизских лошадей и кибиток. Не успели мы отъехать двух верст, как слух наш, сквозь дикий свист бури, поражен был ужасными звуками: человеческие крики и конское ржанье сливались в один отчаянный предсмертный вопль, как будто вблизи сотни людей и лошадей гибли самой ужасной смертию».

— Что ж тут такое происходило, батюшка? — спросила Лизина бабушка.

«Нужно вам сказать, что в киргизских степях есть огромные пространства, называемые грязями: они наполняются водой только зимой, летом вода высыхает;

остается только ил, покрытый тонким слоем соли; топкость таких грязей до такой степени велика, что ни проехать, ни перейти через них нет возможности; кто зайдет туда — гибель неизбежна. Беспрестанно случается, что буря загоняет в грязи конские табуны, и тогда гибнет в одну ночь по две и по три тысячи лошадей.

Мы были свидетелями такой картины, но только она была еще ужаснее: вместе с лошадьми гибли люди! Буря загнала на грязи наших врагов, которых лошади притом еще были напуганы барабаном. Мы долго стояли на окраине грязей и при тусклом свете луны, изредка выходившей из-за туч, смотрели, как бесполезно боролись несчастные с неизбежной гибелью, как то выскакивали они, то погружались в топкий ил, как человек искал опоры у лошади, лошадь у человека и оба неизбежно гибли! Какие крики вырывались из груди людей! какие стоны, какое хрипенье испускали несчастные лошади! Не меньше первых, если не больше, были жалки последние. Признаюсь, картина была ужасная, волос вчуже становился дыбом, и, если б в тот самый день не видал я, как в моих глазах сожгли лучшего моего друга, я сказал бы, что ничто в жизни не производило на меня более сильного впечатления».

— Бог наказал рабойников! — заметили в один голос старушки.— Ну, батюшка, чем же кончились твои похождения?

«К утру прямым путем добрались мы до камышей, нашли свои лодки и поплыли к баркам. Тихо и ровно, впереди других, плыла моя лодка, в которой были Хребтов, два гребца, я да обгорелый труп моего приятеля. Мы не хотели кинуть его в степи, да и некогда было копать могилу. В унылом молчании подвигались мы вперед. Утро было прекрасное; волны, бушевавшие всю ночь, казалось, неохотно стихали, отражая пышно восходящее солнце; береговые птицы кружились над нами с обычным криком... я глядел на мертвое обезображенное лицо товарища, и целая драма, полная горькой и потрясающей истины, проносилась в голове моей. Он был благороден и добр, он был рожден для жизни тихой, для сладких и прекрасных трудов, для любви, а судьба кинула его в самые жаркие житейские битвы, окружила нищетой, невежеством, изменой, и душа его ожесточалась, мертвела, прекрасный талант не развивался, а любовь его разрешилась страданьем! И какая любовь! забытый, отверженный существом, может быть, ничтожным, недостойным его, он не переставал

любить ее со всем безумием страсти, и ни одного упрека не послал он ей! Напротив, он вспоминал о ней с самым теплым чувством, как вспоминают о человеке, которому всем обязаны: он благословлял ее и молил простить его... И такого человека можно было отвергнуть!»

Каютин взглянул на Лизу. Она быстро отвернулась.

«Какая тоска душила меня, какая желчь кипела во мне против женщины, не умевшей оценить моего друга, я не могу вам рассказать. Молча доплыли мы до наших барок, перенеслись в них, и со всеми обрядами, принятыми в таких случаях у мореходов, с молитвой и со слезами кинули труп несчастного моего друга в море. Так вот где суждено было успокоиться душе, рожденной для счастия и никогда не знавшей счастия. Вот где безвестно сложил свои кости человек, могилу которого знали и чтили бы многие люди, если б талант его развился и проявился во всей силе своей!

Море — могила просторная и почетная, лучше многих могил; море мрачностью своей сходно с угрюмым нравом несчастливца; у моря есть только звуки печальные да торжественно-грозные, оно не оскорбит несчастливца непривычным звуком радости,— не оттого ли в море нашел он могилу свою? Мир его праху на дне пропасти, среди темных и недоступных подводных равнин, под непроницаемым покровом волн, убаюкивающих погребальными песнями вечный сон покойника! И чем мрачней, чем заунывней будут напевы моря, тем слаще и крепче будет спаться моему бедному другу, не любившему и не знавшему веселых звуков!

Так думал я, медленно снимаясь с якоря и отплывая к родному берегу...»

Рассказ Каютина нагнал на всех порядочную тоску, не исключая самого рассказчика. Никто не обратил внимания на Лизу, которая давно уже глядела как безумная и дико улыбалась. Все были еще под тяжелым впечатлением рассказа и молчали, когда Лиза выбежала из комнаты. Через четверть часа Соня подала Граблину записку: в этой записке Лиза просила сказать Каютину, что желает переговорить с ним в саду.

Был довольно свежий осенний вечер; луна в легком паре высоко катилась по небу, испещренному звездами и черными тучами. Но Лиза не замечала холоду и вышла в сад с открытой шеей. Она встретила Каютина нежным пожатьем руки; волнение ее было так сильно, что она

долго не могла говорить, и, прислонившись к дереву, стояла молча. Наконец она грустно сказала:

— Вам, может быть, покажется странным мой поступок... А впрочем, мне всё равно! — прибавила она с презрением.— Я призвала вас сюда, чтоб вы мне сказали: истинное ли происшествие, что вы говорили?

И она смотрела на Каютина, дрожа всем телом.

— Да,— отвечал он печально.

— И этот несчастный... это был он? — почти с воплем сказала Лиза, закрыв в ужасе лицо.

— Да.

Лиза заглушила свой стон, прижав к губам весь уже смоченный слезами платок. Глухое рыдание ее могло сравниться только с рыданьем Душникова, когда он прощался с ней.

— Пойдемте в комнату, здесь сыро! — с участьем сказал Каютин.

Лиза, громко зарыдав, махнула ему рукой и кинулась бежать по аллее.

Каютин возвратился в комнату.

Граблин, узнав, что Лиза плакала, побежал к ней, но нигде не нашел ее и возвратился в комнату в сильном волнении.

— Степан Петрович, где Лиза? — спросила старушка, видя, что он пришел один.

— Не знаю, ее нет в саду.

— Где же она? — тревожно воскликнула бабушка и прибавила спокойнее: — Верно, наверху!

— Я был там сейчас, ее нет! — с испугом заметил Граблин.

Все засуетились и кинулись в сад, взяли фонарь и стали искать Лизу.

Бабушка в отчаянии кричала в саду:

— Лиза! Лизанька! где ты?

Даже Соня, бледная, бегала по саду и кричала:

— Барышня, барышня! где вы? вас ищут!

В слезах привели бедную перепуганную старушку обратно в комнату; рыдая, звала она свою внучку. Граблин бегал как сумасшедший из саду наверх, потом опять в сад.

Но вдруг вбежала Соня и радостно объявила, что барышня очутилась у себя в комнате.

Все пошли наверх, но дверь была заперта на ключ; стали стучать, никто не откликался. Бабушка первая, ед-

ва сдерживая слезы, звала Лизу. Ответа не было! Граблин рвал на себе волосы и в исступлении кричал:

— Надо выломить дверь, может, с нею что-нибудь случилось!

Кто-то кинулся к двери.

— Не сметь! оставьте меня в покое! — резким голосом произнесла Лиза и еще раз повернула ключ в замке.

— Лизанька, голубушка, покажись! что с тобою? — радостно сказала старушка, услышав голос своей внучки.

— Оставьте меня, молю вас, оставьте меня! — таким раздирающим голосом отвечала Лиза, что все стоявшие попятились от двери, переглянулись и замерли в каком-то недоумении, потом на цыпочках сошли вниз.

Уселись вокруг стола, пробовали завести разговор, но он не вязался. Гости разошлись, остался один Граблин с бабушкой, которая сильно горевала, что сделалось с Лизой?

В тот вечер они не дождались Лизы: она не вышла из своей комнаты; то же было и на другой день; она ничего не ела, даже не откликалась на нежные просьбы бабушки.

Старушка наконец пришла в такое отчаяние, что разрыдалась и, упав на колени перед дверью, решительно сказала:

— Я не встану, пока ты не отворишь мне двери, Лиза. Пусть тут умру я, старуха!

Дверь растворилась, и Лиза, с распухшими глазами, бледная, с воплем кинулась к своей бабушке и, целуя ей руки, твердила в отчаянии:

— Я не виновата, я не виновата!

Долго бабушка и внучка плакали вместе — одна от радости, другая от угрызения совести...

Лиза совершенно изменилась: в ней не осталось и тени детской резвости; в ее взгляде, в походке и во всех движениях выказывалась томительная грусть.

Бабушка часто не узнавала свою внучку и с беспокойством иногда спрашивала Граблина:

— Что с ней? да моя ли это Лиза?

Между тем Лиза была, казалось, покойна, даже предупредительна ко всем, особенно к Граблину, и если видела его скучным, то жала ему руку и умоляющим голосом говорила:

— Не скучайте, мне очень тяжело!

Или она горько плакала, уверяя, что она злодейка, что она отравляет жизнь всех, кто близок к ней.

Вместо смуглого и полного жизни цвет лица сделался у ней желтый, болезненный, щеки впали, глаза сделались еще больше, но лишились своего чудного огня. Лиза часто от слабости лежала по целым дням в постели, жизнь ее горела...

Глава VIII

ГОРЕ И РАДОСТЬ ПЕРЕМЕШАНЫ В ЖИЗНИ

Усердно искал Полиньку Каютин. Рассказы Граблина пробудили в нем темную надежду, что, может быть, она не виновата и счастье их еще возможно. Но поиски были напрасны, и он наконец с отчаянием прекратил их, решив, что она или умерла, или уехала куда-нибудь. И в уме его уже рисовался план самому пуститься снова в дорогу, забраться куда-нибудь подальше, к новым картинам природы, к новым трудам и впечатлениям; авось угомонится томительная тоска, которою полно было его сердце! Он ждал только весны, чтоб оставить Петербург.

И как было найти ему Полиньку? Встретив в самую тяжелую пору своей жизни неожиданную покровительницу в полоумной рябой лоскутнице, тихо, незаметно жила она в самом отдаленном углу огромного города, редко покидая темную лачужку и почти не показываясь в большие улицы.

С отъезда Каютина жизнь ее исполнена была стольких страданий, что она дорого ценила мрачную и уединенную лачужку, заваленную тряпьем, в котором целые дни рылась лоскутница, напевая дребезжащим старческим голосом заунывные песни. Однообразна была жизнь Полиньки, полная утомительного спокойствия, невозмутимой тишины, которую дорого ценят несчастные. Одна была забота у ней — облегчать труд и горе бедной старухи, которая приняла в ней участие. Но скоро не стало и наружного спокойствия в бедной лачужке. Здоровье лоскутницы быстро разрушалось. Иногда ум ее так помрачался, что она переносилась воображением за несколько лет назад и жила в прошедшем. Лоскутница разговаривала с Полинькою, как с ее матерью; ворчала, бранилась ежеминутно. А потом, очнувшись, страдала мыслью, что мучит бедную Полиньку, целовала ее и со слезами упрашивала не жалеть ее, бросить...

— Я не стою, моя красавица,— говорила она,— чтоб ты глядела своими ясными очами на меня, безобразную злодейку. А ты еще убиваешься и скучаешь! оставь меня, брось, пусть я как собака издохну, пусть, когда умирать стану, некому будет подать мне воды промочить горло, пусть умру одна-одинехонька, как прожила свой горький век!

Полинька успокоивала лоскутницу, как могла, уверяла, что не тяготится ею, что ей даже приятно быть полезной хоть кому-нибудь, что жизнь ее также безотрадна и одинока. Но лоскутница и тут находила себе страдание; в ее слабой голове теснились разные подозрения и быстро принимали чудовищные размеры; ей казалось, что Полинька обманывает ее, что она хочет тихонько убежать от нее. Тогда старуха не выпускала Полиньку ни на минуту из своей мрачной комнаты, держала дверь назаперти, закрывала ставни и заколачивала гвоздями. Ночью она не смыкала глаз, сторожа ее, и часто вскакивала с постели и садилась на пол возле дивана, где спала Полинька. Как ни клялась Полинька, что не думает бежать, лоскутница твердила одно:

— Ведь мать твоя убежала же? а я ее так же любила!

Единственным развлечением Полиньки было расспрашивать лоскутницу о своей матери и родных, но и того она скоро лишилась: лоскутница всё хилела; память у ней так ослабла, что она настоящее смешивала с прошедшим и часто говорила такой вздор, что Полинька, как ни жалела старуху, невольно улыбалась. В Дарье же явилась вдруг необыкновенная деятельность: целый день она разбирала лохмотья, порола, чинила их, снова порола починенное и опять принималась чинить. Часто она делала наставления и экзамены Полиньке, воображая, что та непременно наследует ее должность. Набрав старого тряпья на руки, надев сверх женской истасканной шляпы такую же мужскую, она кричала во всё горло, воображая, что бродит по толкучему, и приставала к Полиньке, чтоб та купила у нее что-нибудь. Если Полинька давала дорого, лоскутница страшно сердилась, и наоборот, смеялась с дикой радостью, если Полинька выкидывала какую-нибудь хитрость, чтоб приобресть покупку. Иногда лоскутница собирала свой хлам, раскладывала его по ровным кучкам и спрашивала Полиньку, какую кучку она скорее купила бы? Если Полинька ошибалась, указывая на тряпье, по мнению лоскутницы, никуда не годное, тогда

старуха горячилась, осыпала ее упреками и горько сетовала, что Полиньку всякий дурак надует!

Подарив Полиньке какую-нибудь вещь, Дарья на другой день непременно выменивала эту вещь на другую, и если ей удавалось надуть Полиньку, она в первую минуту была весела, а потом снова предавалась сожалениям о простодушии своей наследницы. Таким образом, беспрерывный торг кипел между лоскутницей и Полинькой, которую очень утомляли такие сцены.

Ей казалось, что живет она в каком-то совершенно незнакомом, чужом городе. Вечное одиночество пугало ее, и тут только стала она сочувствовать своей покровительнице, которая провела так две трети жизни.

Печально и медленно тянулись для Полиньки дни за днями, без всякой перемены в настоящем, без всякой надежды на перемену к лучшему в будущем. Наконец однообразие нарушилось: болезнь лоскутницы так усилилась, что она слегла в постель.

Ни днем ни ночью Полинька не отходила от ее кровати; лоскутница постоянно держала ее за руку, из страха, чтоб Полинька не ушла от нее.

— Уж немного тебе быть со мною: я завтра, непременно завтра умру,— говорила каждый день старуха, думая такой хитростью подкрепить измученную Полиньку и удержать ее от мнимого бегства.

Но эти слова не утешали, а, напротив, пугали Полиньку, которая, в отчаянии упав на колени перед лоскутницей, горько плакала, думая с ужасом:

— Я останусь опять одна в целом свете, снова всякий вправе будет унижать, преследовать меня, клеветать на меня. Куда я пойду?.. что я буду делать одна?

И у бедной девушки невольно вырывался вопль, в котором слышалось имя Каютина!

Как бы ни была светло и роскошно убрана комната, но, если в ней умирает человек, она принимает печальный и тусклый колорит, как будто потускневшие глаза умирающего везде оставляют свои следы. Лачужка, и без того сырая и мрачная, заваленная тряпьем и лохмотьями, стала еще мрачнее: в ней медленно умирала лоскутница. Вытянувшись на кровати во весь свой длинный рост, она лежала неподвижно. Седые всклокоченные волосы в беспорядке падали на исхудалое рябое ее лицо; глаза дико вращались кругом, губы шевелились, старуха несвязно бормотала. Полинька, измученная бессонными ночами, как

полотно бледная, сидела у кровати, не спуская печальных глаз с больной. Вдруг голос старухи стал тверже, и она повелительно сказала:

— Поди же! ведь она меня за вас всех простила. Подите! мне и без вас очень тяжело!.. Ах, боже мой, что же они не идут!

И она тоскливо заметалась головой по подушкам.

Полинька тихонько взяла за руку лоскутницу, которая пугливо уставила на нее свои дикие глаза, долго-долго рассматривала ее лицо и наконец, закивав головой, шепнула:

— Спасибо, спасибо: ты их выслала; они только тебя и боятся.

— Здесь никого нет,— заметила Полинька.

Лоскутница опять тоскливо замотала головой и, указывая на угол, где было навалено тряпье, пугливо сказала:

— Вот они, всё оттуда приходят; только что ты отвернешься от меня, они так и обступят мою кровать и смотрят на меня, и все такие бледные, худые да страшные, а пуще всего твоя бабушка... У-у-у! как она сердито на меня смотрит!

И старуха, вздрогнув, спрятала лицо в одеяло и продолжала:

— Ты скажи им, что я тебе отдам всё, всё, что имею! Достань-ка из-под кровати старый сапог!

И, сделав усилие, Дарья села на постели. Полинька подала ей старый сапог, валявшийся под кроватью. Лоскутница прижала его к груди и упала в изнеможении на подушки. Отдохнув, она поманила к себе Полиньку и на ухо шепнула ей:

— Всё продай, что есть у меня, только этого сапога никому не отдавай, я нарочно его бросаю под постель... Я всякого вора перехитрю! — прибавила она самодовольно.

Полинька печально слушала лоскутницу, которая что-то считала на иссохших своих пальцах.

— Позови мне... вон этих-то!

И лоскутница указала сердито на стену, из-за которой слышались голоса детей шарманщика.

Полинька позвала всё семейство шарманщика. Лоскутница встретила их сердито:

— Ага! небось, рады, что я умираю: вы, чай оберете ее-то... а?..

Дарья указала на Полиньку, которая была вечная защитница бедных своих соседей: иногда даже выпрашивала для них у лоскутницы денег, вследствие чего старуха и вообразила, что шарманщик с женой непременно обкрадут Полиньку.

— Слушайте! — грозно сказала старуха.— После моей смерти вы ничего от нее не дождетесь... я ей запрещу баловать вас!

И она приказала Полиньке подать из угла разного хламу и принялась наделять семейство шарманщика: каждому дала по две пары истасканных башмаков, жене, сверх того, старый изорванный капот, а шарманщику измятую шляпу и жилет, с которого прежде велела Полиньке спороть медные пуговицы, сообразив, что с пуговицами подарок был бы уж слишком роскошен.

— Ну, довольны?.. не поминайте же лихом! Ух! устала! Идите вон отсюда! да смотрите же, не ждите ничего больше!

Дарья упала на подушки и закрыла глаза.

Семейство шарманщика удалилось, обливаясь слезами: оно теряло в лоскутнице опору своего существования.

Когда Полинька снова осталась одна с лоскутницей, старуха открыла глаза и слабым голосом сказала:

— Палаша! я уж недолго проживу, что-то очень тоскливо мне; и давно пора бы умереть, да одного жаль: не успела продать мой товар!

Лоскутница тряпье свое называла товаром.

— Тебя обманут, оберут, мою голубушку, мою ласточку. Подойди-ка ближе ко мне, дай мне насмотреться на тебя. Ведь ты одна из всех людей, что я знала, не бранила меня, не обижала, не говорила мне, что я безобразная; ты не гнушалась, ела мою хлеб-соль! ты ходила за мной, больной, как будто я твоя мать! Ох, господи, господи! зачем же, кажись, и умирать мне теперь? А, статься может, я не стою такой жизни!

Полинька заплакала.

— Не плачь; в сапоге ты найдешь билеты банковые, и деньги найдешь, и мою духовную.

— Мне ничего не надо! — зарыдав, сказала Полинька и упала к ногам лоскутницы.

— Голубка моя, полно, не плачь! стою ли я, чтоб ты обо мне хоть слезинку пролила. Если б я выздоровела, я б тебя устроила, я купила бы дом моей голубушке Полиньке! А-то... послушай! разберем поскорее мое добро,

я тебе скажу всё — что за него надо просить, за что можно отдать...

— Оставьте, я ничего не хочу,— отвечала Полинька.

Лоскутница рассердилась, застонала и потянулась так сильно, что кровать заскрыпела.

— Последнюю-то мою волю не хочешь исполнить! — прошептала она отчаянным голосом.

Полинька кинулась исполнять желание старухи; она поднесла лохмотья к кровати. Лоскутница дрожащими руками вертела каждую тряпку и назначала ей цену. Голос ее всё слабел более и более, так что Полинька должна была наклоняться к ней, чтоб слышать ее.

Странный, если не страшный, вид представляла в ту минуту мрачная лачужка: Полинька, обливаясь слезами, сидела посреди полу, окруженная кучею изношенных башмаков, искала в них цельных и составляла пары. Умирающая лоскутница, окруженная старыми платьями, судорожно держала в руках измятую и полинялую шляпку с цветами, которые она старалась отшпилить; но вдруг руки ее упали, она вытянулась, в неподвижном положении, с открытыми глазами.

Полинька подошла к кровати и сказала:

— Три пары цельных башмаков и пять пар изношенных, посмотрите!

Но тут она пугливо нагнулась к лицу лоскутницы, открытые глаза которой подернуты были как будто слезами. Полинька приложила руку к ее губам: они были холодны и судорожно сжаты.

С отчаянным криком Полинька упала на грудь умершей старухи.

. . . .

Прошло три дня. Полинька, в глубоком трауре, возвращалась с похорон лоскутницы; она шла как убитая, страшно было ей воротиться в мрачную комнату, в которой умерло последнее существо во всем Петербурге, любившее ее. В черных красках рисовалась ей будущность... вдруг дребезжанье дрожек, ехавших около самого тротуара, по которому она шла, вывело ее из задумчивости. В дрожках сидел статный и красивый мужчина средних лет, с черной бородой и необыкновенно смуглым лицом. Взглянув на него, Полинька вздрогнула и остолбенела. Дрожки промчались мимо; она было кинулась бежать за ними, но слабые силы изменили ей; бледная, она прислонилась к стене и, полная отчаянной тоски, следила за

удалявшимися дрожками. Когда они почти уже скрылись из виду, Полинька, собрав последние свои силы, пустилась бежать по их направлению.

Полинька узнала Каютина. Как ни изменилось его лицо, опаленное солнцем степей и полярными морозами, вытерпевшее бури и вихри трех стран света, как ни изменяет вообще лицо борода,— Полинька с одного взгляда узнала Каютина! Какие чувства проснулись в ней, какую бурю поднял в ее печальной душе один взгляд, случайно упавший на человека, которого она часто считала погибшим, еще чаще недостойным воспоминания и во всяком случае не существующим для нее! Сильна была ее радость, и, кроме радости, никакое другое чувство не примешивалось к первому впечатлению неожиданной встречи, о которой она отвыкла думать, которую считала невозможною!

Первым движением ее было бежать за дрожками, остановить их за колеса, если можно, кинуться на грудь любимого человека и, рыдая, передать ему и свое долгое, долгое горе, ни с кем не деленное, никому не ведомое, и свою бесконечную радость, если только можно выразить ее словами.

Но силы скоро ее оставили. Явилось и сознание своего положения. «Куда я иду? что, если он женат?» — подумала Полинька; и кровь бросилась ей в лицо, и слабые ноги несчастной сами собой повернулись в другую, противную сторону, к мрачной лачужке, откуда еще только утром вынесли страшную покойницу...

А Каютин между тем, ничего не подозревая, не видав Полиньки, потому что думал тогда о ней, повесив голову, добрался до Струнникова переулка, мрачно засел в своей одинокой комнате и целый день продумал, какие бы еще новые пути открыть, чтоб найти Полиньку или хоть узнать, где она, в каком положении? Он ничего не придумал. Но если б он в тот же день, когда солнце погасло, когда наступил серенький осенний вечер и все предметы слились в полумраке, если б он прошелся по своему переулку или хоть заглянул пристально в свое окошко,— он увидел бы небольшую стройную фигуру женщины, всю в черном, с опущенным вуалем, которая медленно проходила по переулку, останавливалась и долго глядела в окна; он увидел бы, как она целый час не отходила от гнилого, полуразрушенного домика с вывеской башмачника над двумя кривыми окнами, слабо освещенными; как она то под-

ходила к нему, то удалялась, то опять подходила, будто решаясь и не решаясь войти,— и как наконец медленно, неохотно начала она удаляться, поминутно оглядываясь, и наконец постепенно исчезла в темноте.

И в другой вечер и в третий повторилось то же и то же, и никто не заметил таинственной женщины, а если кто и заметил, то не обратил внимания, потому что жители Струнникова переулка, как и всех других переулков и улиц, удостоивали своим вниманием только то, что сопровождалось блеском или хоть странностию, приезжало в коляске или шло в медвежьей шубе навыворот.

И часто с тех пор появлялась таинственная фигура по вечерам в Струнниковом переулке и больше всего бродила около дому башмачника и не раз уже заносила ногу на ветхое крыльцо, но потом медленно и печально удалялась, поминутно оглядываясь.

Дело шло к вечеру. Каютин сидел у башмачника. Как всегда, они говорили о Полиньке. Карл Иваныч уже перестал дичиться Каютина, перестал видеть в нем соперника и в сотый раз пересказывал ему, как любит он Полиньку, как любил ее. Как умели, они утешали друг друга в общем одинаковом горе. Вдруг в кухне, где было бедное семейство, жившее с башмачником, послышалось движение. Дверь отворилась, Каютин оглянулся и, будто двинутый электрической силой, кинулся к двери, где показалась женщина, одетая в черное.

В ту же минуту и она, с такой же стремительностию, так же молча, кинулась к Каютину.

Они встретились посередине комнаты и — прежде чем успело вырваться слово, мелькнуть в голове мысль — были уже в объятиях друг друга.

Куда девались желчные упреки, которые они готовили друг другу, злость и досада, копившиеся почти пять лет, куда девались мрачные подозрения? Не говоря ни слова, они поняли, что ни в чем не виноваты друг перед другом, и плакали, плакали слезами любви и счастья на груди друг друга...

Карл Иваныч, зарыдав, выбежал из комнаты.

Долго любовались они друг другом. Полинька гладила его черные кудри; он целовал ее глаза, расплел роскошные волосы. И ничего не говорили они, но только смотрели в глаза друг другу таким светлым, счастливым взглядом, что дай бог вам, читатель, испытать в жизни хоть один такой взгляд и дай вам бог столько любить, так

глубоко чувствовать, столько ощущать блаженства в собственном сердце, чтоб и ваши глаза загорелись таким же чудным блеском в ответ взгляду любимой женщины!

Когда прошел первый порыв радости, Каютин достал с своей груди полновесный бумажник и так же молча передал его Полиньке.

Но она, отбросив небрежно бумажник, принялась гладить его прекрасную бороду, которая, казалось, больше занимала ее.

— Пересчитай, Полинька! — были первые слова, которые произнес Каютин.— Для них переплыл я моря, исходил три стороны света, для них тысячу раз подвергал я жизнь опасности, и много кровавого пота выжали они из твоего друга!

Полинька принялась считать. Давно уже насчитала она пятьдесят тысяч, а денег всё еще было много; вот и еще пятьдесят тысяч отсчитала она, а еще надо считать.

Полинька вопросительно взглянула на Каютина.

— Всё лишнее за то, что я пробыл больше трех лет,— сказал он.

Наконец всё было сочтено, и они снова бросились друг другу в объятия.

Счастливы были они своим свиданием. Счастливы были они, что любили, что были молоды... но еще больше были они счастливы, что имели деньги, без которых непрочно было бы их счастье!

Глава IX

ОТЪЕЗД

В Семеновском полку, на дворе серенького домика, происходила суматоха. У ветхого крыльца стояла старая дорожная коляска, запряженная тощими косматыми лошадьми, которые, повесив морды в спокойном ожидании, то щурили, то совсем закрывали глаза. Соня и небритый пожилой лакей суетились около коляски, укладывая разные узелки и корзинки. В комнатах всё стояло вверх дном; мешки, узлы, калачи, разная одежда были разбросаны на стульях и запыленных столах.

Две старушки, Лизина бабушка и мать Граблина, сидели друг против друга. Гостья плакала, а хозяйка сердито ворчала:

— Полноте, Марья Андреевна, ну, что делать! Верно уж так богу угодно, чтоб мы не породнились! Всё, что могла, я сделала,— не приневоливать же мою Лизу!

— Да я уж не о том плачу,— всхлипывая, отвечала гостья.— А что будет с моим Степаном, как вы уедете?

И она еще сильнее заплакала.

— А что делать! что делать! такие ли еще есть несчастия! Поглядите-ка на мою Лизу: ведь краше в гроб кладут! — с тоской сказала хозяйка и продолжала, как бы рассуждая сама с собой: — И в мои ли годы из города в город ездить? а что делать? она не виновата, что, кроме старой бабушки, у нее никого нет! Будь жива мать, может статься, жить ей лучше было бы... я старуха, мне всё тяжело. Матушка! — с сердцем прибавила она, обратясь к гостье.— Матушка, вы-то хоть уж не плачьте, а то, кажись, у меня силы не хватит и в коляску сесть!

Гостья замолчала, но слезы так и душили ее.

— Хоть бы скорее ехать! всё готово; где же Лиза? — ворчала хозяйка, украдкой отирая рукавом своего капота слезу, быстро покатившуюся по щеке.

Лиза в то время сидела в старой полуразвалившейся беседке, которая была совершенно прозрачна. Листья у акаций все облетели; оставались одни голые прутья. Граблин сидел возле нее, закрыв лицо руками и опираясь локтями на запыленный стол, весь усыпанный полупочернелыми сухими листьями. Лиза от черного платья казалась еще бледнее и печальнее; глазами, полными слез, смотрела она на Граблина, и ее руки судорожно мяли соломенную шляпку, которую она держала на коленях.

— Послушайте! — дрожащим голосом сказала Лиза.— Мне страшно оставить вас в таком состоянии духа; вспомните ваше обещание, данное мне,— беречь свою старуху мать и себя. Клянусь вам, что я люблю вас!

Граблин крепче сжал свою голову и замотал ею.

Лиза печально усмехнулась и продолжала:

— Да, я люблю вас, сколько мне позволяют мои силы. Если б один мой каприз, неужели бы я дошла до такого состояния? Мне всё скучно, мне плакать хочется. Я люблю бабушку, но...

Лиза остановилась, тяжело вздохнула и тихо продолжала:

— Но я иногда не могу ее видеть. Мне кажется, не будь ее... я бы... одним словом, я давно бы уж не скучала!

Граблин с испугом посмотрел на Лизу, которая ласково и грустно улыбнулась ему и, остановив на нем свои печальные большие глаза, сказала:

— Я еду, может быть, мы...

Она горько улыбнулась и скороговоркой прибавила:

— ...даже наверно, не увидимся больше.

Он невольно вздрогнул.

Лиза придвинулась к нему ближе; слегка покраснев, взяла его за руку, слабо пожала ее и сказала:

— Выслушайте исповедь мою... может быть, она вам покажет, что я не стою никакой любви.

Мертвою бледностью покрылось ее лицо, и, помолчав немного, она начала твердым голосом:

«Я была еще очень молода, с нами познакомился один художник; он... полюбил меня; я тогда была совершенно другая, чем теперь: ветреность, надменность и страшная злоба — вот отличительные были мои достоинства. Как дитя играет с огнем, точно так и я тешилась своею властью над его благородными чувствами; я гордилась, если мне удавалось его унизить и уничтожить в нем всякую волю; я хотела, чтоб он не имел своих желаний. Бывали минуты, когда я увлекалась сама его страстною любовью, я горела, как он, и тогда он мне казался красивым, я делалась кротка, послушна, я не уклонялась от его ласк; но скоро это проходило, и я мучилась своею слабостью. Мне казалось, что он гордо смотрит уж на меня, думая, что я его страстно люблю. Ложная гордость брала верх. Я старалась презрением и злыми насмешками выкупить свое минутное увлечение... Он посватался за меня, добрая моя бабушка обрадовалась и дала согласие. Я в жизнь мою не видала такой радости и такого счастья, когда он прибежал ко мне объявить согласие моей бабушки. Не знаю отчего, мне ужасно хотелось видеть его грустного, даже в отчаянии; я уже приготовилась его встретить разными утешительными словами: что я убегу с ним, что я умру без него. И, противься бабушка, я бы непременно это сделала, но ее доброта и его радость всё испортили; у меня кровь закипела, и я сказала ему, что теперь я прошу времени обдумать, и требовала, чтоб он никому не объявлял, что я его невеста. Я это выдумала, чтоб помучить его. Он пришел в отчаяние, но один мой ласковый взгляд опять успокоил его. Я сама чувствовала, что-то во мне было необыкновенное. Я не могла быть спокойной без того, чтоб его не мучить; мне страшно нравилось, бывало, когда он

побледнеет, у меня сердце у самой кровью обольется! одно незначительное слово или взгляд, который я мимоходом ему брошу, и он оживал! В такие минуты я чувствовала необыкновенную гордость. Будь он строже ко мне и не люби меня так, я бы не сделала ни ему, ни себе столько зла. По его просьбе, что ли, только бабушка стала собираться прежде времени в Москву. Приехав туда, она стала готовить мне приданое; а он только и говорил, что о своем счастии, и всё приставал, чтоб я ему говорила, что я его люблю. Мне стало надоедать, и я просила, чтоб отложили свадьбу на год. Он, как дитя, расплакался, бабушка стала меня упрашивать; всё это так меня возмутило, что я еще решительнее объявила им, что „я не хочу так скоро замуж идти". В Москве у меня были приятельницы, которые, узнав всё это, стали смеяться надо мною, что мой жених беден, что он мещанин, что я тоже буду мещанка. Моей ли ветреной и гордой голове было рассуждать? После многих страшных сцен с ним я объявила ему, что не хочу идти за него замуж. Рассердись он на меня, наскажи мне самых обидных упреков, я бы испугалась своего безрассудного поступка, но он молчал! и когда я встала и пошла от него, я всё еще думала: вот он кинется к моим ногам, будет меня молить, как обыкновенно он это делал; но на этот раз он сидел как истукан. Я приписала всё это тому, что он не верит и думает, что я его страстно люблю. Я уехала гостить к своей приятельнице, сказав бабушке, что я не хочу его видеть, что он мне противен. Бабушка стала меня упрашивать, сама расплакалась; это только значило поджигать меня. Мне было скучно без него, но я хотела показать характер; к тому ж у приятельницы моей часто были гости, она мне рассказывала, что и тот и другой влюбился в меня. Однако мне стало очень скучно, а всё я не решалась первая сделать шаг, чтоб видеть его. Раз бабушка прислала за мной; я ужасно обрадовалась, но приняла вид, будто сержусь, зачем меня зовут домой. Я предчувствовала, что увижу его. И точно, он был у нас, только уж готовый к дороге. Я не поверила, сердце у меня сжалось; я как дура слушала его прощальные слова, я хотела ему сказать, чтоб он остался; но вдруг пришла мне мысль: что, если они с бабушкой сговорились, чтоб поймать меня! и я вооружалась силой, хоть слова его раздирали мою душу. Когда он стал окончательно прощаться со мною, он так зарыдал, что я... мне кажется, что я слышу его слезы еще теперь...»

Граблин не сводил глаз с Лизы; она была бледна, губы ее дрожали.

«... Когда он уехал, я, сама не знаю отчего, стала плакать, но слова бабушки: „Что, Лиза! грустно стало?" — придали мне прежнюю силу. Мне казалось, что бабушка торжествовала, что хитрость их удалась. Я вымыла глаза, чтоб не заметила моя приятельница, и уехала к ней; пробыла там с неделю и страшно соскучилась; мне показались молодые люди все гадкими и скучными. Я возвратилась к бабушке; мне было весело и легко дома, я как ребенок везде бегала, смеялась,— будто сто лет я не была дома. Я чувствовала, однако, точно мне чего-то недоставало; впрочем, я надеялась, или, лучше сказать, я была уверена, что он скоро воротится. Я ждала его всякий день; мне казалось невозможным, чтоб он далеко уехал от меня; при малейшем шуме я вздрагивала, сердце у меня так и стучало, но я старалась принять равнодушный вид; да всё это было напрасно! Он не приезжал, я плакала по ночам и свои слезы приписывала оскорблению, которое он нанес моему самолюбию, и своей злобе; а неотвязчивое желание видеть его — тому, что хочу насладиться мщением. А за что??.. Я не старалась обдумывать свои чувства!

Я устала его ждать. Писем от него также не было; наконец я решилась упросить бабушку написать ему письмо; и когда она стала писать, я нарочно прыгала и пела перед ней. Бабушка спросила меня: „Ну, Лиза, что писать от тебя Семену Никитичу?" — я отвечала, кружась: „Напишите, что я делаю". Столько было во мне злости, что я всё делала наперекор самой себе! Как я узнала после, он не получил письма бабушки, но тогда я приписала его молчание гордости и так огорчилась этим, что чуть не захворала. Я тихонько написала ему сама письмо, где даже просила у него извинения, только чтоб он воротился. И тут я всё-таки не отдавала себе отчета, зачем так делаю? И на мое письмо не было ответа! на время это меня взбесило. Тут за меня стали свататься женихи, но я всем отказала: мне ровно были все противны. Прежде всё, что он любил, я делала наперекор ему, теперь же я со страстью предалась рисованью, разоряла бабушку на учителей, на бумагу и карандаши. Меня тешила мысль, что когда он приедет (меня ничем нельзя было уверить в противном), как будет удивлен! Я готовила к его приезду разные картины, нарисовала на память его портрет; я, кроме белого платья, никаких других цветов не надевала,

потому что он ужасно любил меня видеть в нем, а это редко ему удавалось: я назло ему тогда надевала другие. Я не хочу вам рассказывать всех ничтожных мелочей, которые приняли для меня какой-то важный вид. Я страдала, жестоко страдала, но всё приписывала посторонним обстоятельствам: однообразию нашей жизни. Узнав это, бабушка стала меня возить всюду и гостей принимать; я всё так же скучала, даже еще больше, потому что мне мешали рисовать или плакать. Тут только я стала отдавать себе отчет, отчего я о нем всё думаю? Я испугалась своих чувств, я уже забыла свое мщение, я просто желала его видеть. Я уговорила бабушку ехать в Петербург именно для того, чтоб видеть выставку в Академии, и была уверена, что если не увижу его, то по крайней мере увижу его картину. Долго я упрашивала бабушку ехать в Петербург, наконец она согласилась...»

Лиза остановилась, грустно покачав головой, и продолжала:

«Когда я познакомилась с вами, вы мне так живо напомнили его, что я испугалась... В то же время я видела его каждую ночь во сне, я просыпалась вся в огне... я чувствовала, что не могу никого любить, кроме его; я убегала вас: я боялась повторения истории...»

Вдруг Лиза помертвела. Долго она молчала и наконец дрожащим голосом проговорила:

— По странному случаю, я узнала о его смерти!

— Он умер? — радостно воскликнул Граблин.

Лиза вздрогнула и с горькой усмешкой сказала:

— Смерть его была и моей. Разве я живу? разве это называется жизнью? Вы помните рассказ вашего приятеля Каютина о несчастном их товарище, который погиб в киргизских степях?

— Так это был он? — с ужасом сказал Граблин.

Лиза кивнула ему головой и едва внятно прошептала:

— Да! Видите, я причина его смерти! это-то и разрывает мою душу. Я скрываю от бабушки, но я еду посмотреть его могилу, которая, верно, будет и моей!

Граблин стал молить Лизу изменить свое решение. Он рассказал ей всю свою жизнь, проведенную в нищете и страданиях, и с отчаянием воскликнул:

— Даже ни одной минуты счастья не хотел никто мне доставить!

Лиза, схватив его за руку и сжав ее крепко, отчаянным голосом сказала:

— Это не в моей власти, не вините меня! верьте, это не в моей власти! я любила его одного, и я умру от любви моей, как и он. Мне жаль только бабушку, а то, уж наверно, я не говорила бы теперь с вами.

Граблин невольно вскрикнул.

— Не бойтесь, если в первую минуту, когда я узнала об его смерти, я не решилась убить себя, хотя в моих руках был уже нож... но я вспомнила о моей доброй бабушке и осталась жить.— Лиза закрыла лицо руками и с ужасом сказала: — Я дошла до такого состояния, что жду с нетерпением смерти бабушки, после которой я уж ни одной минуты не буду жить. Теперь скажите, могу ли я принести кому-нибудь счастье? Всё, что я могу, я готова для вас всё сделать, чтоб хоть сколько-нибудь вас утешить! говорите!

Граблин быстро поднял голову; в красных сухих глазах его блеснула радость; он долго смотрел на Лизу, которая, вся вспыхнув как зарево, надменно глядела на него; в глазах Лизы было столько дикого отчаяния, что Граблин, закрыв опять лицо, с ужасом проговорил:

— Пусть я один страдаю!

Лиза, взяв его за плечо, сказала:

— Если бы я была уверена, что вы не испугаетесь трупа... я б...

И Лиза судорожно схватила Граблина за обе руки, долго смотрела ему в глаза, потом, закрыв себе лицо, упала к нему на грудь.

Граблин как сумасшедший целовал Лизу, клялся ей в вечной любви. Она не защищалась, да и не могла. Бледные ее губы были стиснуты, глаза закрыты, и даже жаркие поцелуи Граблина не могли вызвать румянца на ее помертвевшие щеки. Граблин испугался.

Через несколько минут Лиза открыла глаза, грустно улыбнулась и, слабо пожав его руку, тихо сказала:

— Не жалуйтесь на меня!

Граблин кинулся целовать ее холодные руки и, обливая их слезами, просил у ней прощения.

— Я вас прощаю, только помните, что нет страшнее для меня огорчения, как ваше уныние и пренебрежение вашей старухи матери. Я уж и так ей много слез доставила!

— О, зато ее сын будет век благословлять вас! — с увлечением сказал Граблин, становясь перед ней на колени.

Лиза смотрела на него с покойною грустию. Она положила его голову к себе на колени и гладила его волосы...

Раза три докладывали Лизе, что всё готово, но Граблин молил подождать еще минуту.

Он ничего не говорил, да ему и не нужно было слов; Лиза позволяла ему целовать ее руки и черные длинные косы. Она тоже ласкала его, прикладывая к раскаленной его голове свои как лед холодные руки.

Стало смеркаться. Лиза решительно встала. Граблин готов был разбить себе голову с отчаяния.

Лиза опять села и, обвив его шею руками, целовала его в глаза, из которых катились слезы.

— Я высушу твои слезы, с тем чтоб ты не смел больше плакать! — говорила она с принужденной улыбкой.

Граблин сжал ее в своих объятиях, Лиза высвободилась и побежала в комнату.

Старушки, как ни скучали ожиданием, но упрека не сделали Лизе, которая в каком-то отчаянии сказала:

— Скорее, я готова, ради бога, скорее!

Старушки стали прощаться; они обнялись и долго, долго оставались обнявшись. Лиза в нетерпении говорила:

— Ради бога, скорее прощайтесь!

Старушки заплакали и стали просить друг друга не забывать и писать.

— Бабушка! — повелительно закричала Лиза.

Старушка кинулась одеваться. Тогда Лиза, взяв мать Граблина за руку, отвела ее к окну и дрожащим голосом сказала, упав перед ней на колени:

— Простите меня!

— Ах, матушка, полноте! Христос вас простит! — отвечала старуха, заливаясь горькими слезами и поднимая Лизу.

— Он обещал мне не скучать! — сказала Лиза, поцеловав ее, и кинулась из комнаты.

Лизина бабушка уселась уже в коляску, но внучка ее опять пропала. Она была в беседке с Граблиным. Отрезав свои роскошные косы, она отдала их Граблину.

— Вот вам на память от меня! — сказала она и, тряхнув головой, с странной улыбкой прибавила: — С него и так довольно!

Добрая старушка, рыдая, простилась с Граблиным, который уже решительно потерял всякое сознание.

Лиза, пожав в последний раз ему руку и поцеловав его мать, кинулась в коляску; она прятала голову на колени своей бабушки и душила свои рыдания, изредка повторяя:

— Скорее, скорее, ради бога, скорее!!

Коляска двинулась под отчаянный крик матери Граблина:

— Прощайте, мои голубушки!

Граблин бессмысленно смотрел вокруг себя, и когда коляска выехала из ворот, он с диким криком кинулся за ней.

Лиза, заслышав его голос, остановила коляску; высунувшись из нее, она еще раз крепко поцеловала подбежавшего Граблина, упала на колени к бабушке и раздирающим голосом сказала:

— Бабушка, скорее, скорее!

Долго бежал Граблин за коляской, стараясь хоть еще раз взглянуть на Лизу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель уже догадался, что Кирпичов и горбун погибли в ту ночь, когда полубезумный сын не хотел признать своего преступного отца. Ночь была глухая и безлюдная: помощь, призванная предсмертными криками утопающих, пришла поздно. Несчастные были найдены уже мертвыми. Ужасно было отчаяние Кирпичовой при вести о трагической смерти мужа; но радость и горе перемешаны в жизни! Тульчинов доказал права детей Кирпичова на имущество Добротина, и богатое достояние горбуна поступило в распоряжение Надежды Сергеевны. Она отдохнула; кончились страдания нищеты. Спокойно и тихо жила Кирпичова в уединенном доме горбуна, посвящая всё свое время воспитанию детей, с которыми вместе учились Катя и Федя: их мать была гувернанткой у Кирпичовой. Каютин объяснил Надежде Сергеевне поведение Полиньки, и нет нужды прибавлять, что подруги свиделись и с тех пор не расставались.

Таким образом, согласие, довольство и счастие водворились в маленьком кругу, вытерпевшем много сокрушительных бурь.

Только бедный Карл Иваныч не мог быть искренно весел среди старых друзей. Он нелицемерно радовался их счастию, но ему тяжело было видеть и Полиньку и Каютина, и он редко посещал их.

— Карл Иваныч! за что вы нас обижаете? Не грех ли, не стыдно ли забывать старых друзей? — сказал ему однажды Каютин.

— Я и совсем скоро не буду ходить к вам,— отвечал, бледнея, башмачник.

— Почему?

— С вами у меня нет тайн. Я вам скажу...

И он откровенно высказал, почему убегает их.

Душа благородного ремесленника до такой степени была чужда зависти, полна самоотвержения, так искренно

радовался он счастию Каютина и Полиньки, что Каютин невольно обманулся было: он уже начинал думать, что страсть его кончилась, как обыкновенно кончаются страсти безнадежные. Но теперь он пришел в ужас, увидав, как еще сильна была любовь к Полиньке в сердце башмачника.

— Мне лучше совсем отсюда уехать! — заключил Карл Иваныч, отвернувшись, чтоб скрыть слезы.— Вы много путешествовали; назовите мне, нет ли в России города, где мало башмачников?

Каютин долго думал. Ему тяжело было вообразить добродушного Карла Иваныча в провинциальном городе, совершенно одного.

— Поезжайте в Архангельск,— наконец сказал он,— город небольшой, но там вам будет лучше: там много иностранцев, ваших соотечественников.

И через несколько месяцев в Архангельске можно было видеть новую вывеску с надписью: «Карл Бризенмейстер, башмачник из Санкт-Петербурга».

Добрый, чувствительный немец и тут не изменил своей натуре: ежегодно присылал он по нескольку пар маленьких башмаков Полинькиным детям!

Иная судьба суждена была Граблину, столько же несчастному своею любовью. Он скоро умер. Разбирая бумаги бедного труженика, Каютин нашел недописанную страницу и прочел следующее:

«Эх, матушка! Всё собирались мы пожить да отдохнуть с тобой. Видно, нам не суждено здесь отдыха: недостало у твоего сына и железного здоровья, которым ты его наделила... Хоть бы умереть-то нам вместе, а то нет! Еще один удар готовится тебе... И поплетешься ты отыскивать Головача, лежащего там где-нибудь замертво... и растреплет он твои седые волосы за недоплаченную копейку...»

Далее было еще несколько строк, но так неразборчиво написанных, что Каютин разобрал только два слова: Лиза и смерть; притом мешали пятна, похожие цветом на кровь.

Опасение, которое так тревожило несчастного в последние минуты, не сбылось: Кирпичова и Каютин призрели его старую мать и ей не довелось прибегать к Головачу.

А что Доможиров и его супруга? Полинька давно уже забыла о существовании их, как вдруг получила следующее письмо, писанное нетвердой рукой и испещренное рядами точек:

«Милосливая государыня Палагея Ивановна!

. . . .

. . . .

Сии точки суть мае слезы. Защитите несчастную, которая при живом муже, а, можно сказать, круглая сирота. Вы теперь в богатствии и счастии (бог услышал мае грешные молитвы, а уж как я молилась: пошли ей господи, она стоющая), помогите злоключимой супротив мужа-злодея. Господи! да кабы я знала, что он такой изверг, да я без приданого бы за него не пошла! и сын его, разбойник, туда же, а я, горемычная, лежу без движения и горькие лию слезы. (В доказательство чего опять было выведено три ряда точек.) Надо вам знать, матушка, что я вот уж скоро год лежу, с постели не встаю, еле правой рукой владею писать к вам, благодетельница, а левая так совсем без владения. И что они делают со мной, злодеи! кофию не дают, чай жидкой такой; а пуще всего сынишка его: рожи мне строит, в глаза смеется,— вот до какого сраму дожила: молокосос язык показывает, а ты лежи да смотри! пробовала бранью, да у него у самого горло широко, а я при слабости моей теперь и голосу такого не имею... совсем дрянь стала! Пожаловалась мужу, так и так, говорю: „Высеки Митьку!“ — упрямится! я и погрозила ему: „Наследства лишу, дескать, всё откажу бедным!“ (у меня, знаете, матушка, сердце доброе). Испугался, упал на колени перед кроватью: „Высеку,— говорит,— матушка! высеку!“ Позвал Митьку и, слышу, в другой комнате сечет; Митька плачет, кричит: не буду! Подлинно доброта моя, говорю: „Будет, Афоня!“ — и перестал. Только Митька не унялся. По-старому насмешки стал делать и такое мне говорить, что благородной и слышать стыдно! Я терпела, терпела, да и опять пожаловалася отцу. Он еще высек дурака пуще прежнего, да всё не помогало! как ни посечет, озорник опять свое. Просто я диву далась: розга не свой брат; кажись, как не унять? и сек он его таково хлестко! Да однажды, как он сек его, я и повытяни шею: дверь, почитай, до половины отворена, да в нее ничего не видать, а как глянула ненароком в щель меж косяком и дверью, так всё поняла, открылся злодейский умысел! Вижу: сожитель мой хлещет прутом по кожаному дивану да приговаривает, бессовестный: „Не смейся, не дразни языком, не озорничай!“ А Митька стоит перед ним, ревет благим матом и вопит: „Не буду, тятенька! не буду, помилуй!“ И оба смеются, проклятые, рожи корчат. Взвыла я, горемычная! уж

как они меня не улещали потом, да я стою на своем, не видать им добра моего... Всё откажу неимущим, и в том моя просьба к вам, голубушка вы: помогите написать духовную, навестите сироту убогую и проч.

Ваша всенижайшая слуга Василиса Доможирова».

Каютина заинтересовало послание Доможировой, и он побывал в Струнниковом переулке. Вот что он узнал.

В то время как Доможиров впадал уже в совершенное отчаяние и готов был спиться с кругу, печальный случай неожиданно облегчил его домашнюю жизнь. Выкушав много кофе и тотчас же сильно разгневавшись на Митю, супруга его остановилась вдруг на половине энергической фразы, затряслась и упала. Нежные попечения Доможирова сохранили ей жизнь, но — увы! — лишенная употребления левой руки и правой ноги (паралич хватил ее наискось), она не могла уже сойти с постели. Доможиров повеселел; кошки начали благоденствовать; скворцы жирели, объедаясь живыми тараканами, которых развелось в доме множество... Нередко госпожа Доможирова с ужасом слышала звук серебра, но успокоивалась, ощупав под подушкой свои ключи; а между тем серебро точно было в ходу: Доможиров подобрал другие ключи ко всем сундукам.

Каютин примирил супругов, предложив отдать Митю в гимназию, с чем Доможиров, глубоко уважавший его, тотчас согласился.

Реже, но продолжал Доможиров свои странствования по кладбищам и по городу и вести свой журнал. Между прочим, в нем можно было прочесть следующее:

«23 марта. Бродил в Коломне. Увидал толпу у одного дома, подошел. Говорят, персиянец, что ли, какой выскочил из четвертого этажа. Эк, угораздило сердечного! Хорошо, что персиянец, а то бы жаль. Видел его остатки, безобразные такие... страшно стало! да и сам, должно быть, некрасив был, покойник, нос один какой! Толковали тут, что, видно, не в меру опиуму хватил, а то жил всегда смирно, не пьянствовал, самовольных поступков не делал. А тут вдруг, не спросясь никого, скок! поминай как звали! Ну да, может, ему чудились красавицы и он думал, что подхватят его и понесут прямо в свой рай... Ведь у них и стар и молод, а до самой смерти только о красавицах и думают... Дал бы я ему мою Василису Ивановну...»

«29 октября. Бродил по Смоленскому кладбищу. Новый великолепный памятник прибыл,— я думаю, тысяч пять стоит. И подписано: „Покоится прах рабы божией Сары Алексеевны Бранчевской...“ Сара! странное имя! Должно быть, цыганской породы была, а может, и русская: Сара, говорят, есть и русское имя. Пятидесяти лет умерла. Будет! пожила довольно: жалеть нечего! Василисе далеко еще до пятидесяти лет... А памятник важный — весь мраморный и тяжести, должно быть, неимоверной...»

Если бы он знал, если б он мог понять, какая душа угомонилась под этим тяжелым памятником!..

Ничего еще не сказано о Тульчинове. Он продолжал сладко кушать, собственной особой доказывая глубину своих гастрономических познаний: он толстел с каждым годом и, казалось, не старелся. На закате дней судьба порадовала старика чудным открытием. Досталась ему усадьба, в которой давно никто не жил. Стали копать на барском дворе колодезь и неожиданно докопались до ямы: оказалось, что в старину был тут погреб; нашли даже несколько бутылок. Тотчас уведомили Тульчинова; старик сам поскакал в деревню, и когда увидел ряд старых бутылок с рейнскими и другими винами бог знает которого года, слезы градом хлынули из глаз старика и он воскликнул в умилении:

— Чем заслужил я, что ниспосылается мне такое сокровище?

— Добротой своей, батюшка Сергей Васильич, благодеяниями своими,— отвечал стоявший тут управляющий, тронутый радостью своего барина.

И Тульчинов твердо верил, что такое сокровище могло быть послано ему только за добрые дела, и с новым рвением принялся творить их. Блажен, кто, подобно ему, может делать добро и запивать его превосходными винами!

Через год после свадьбы, когда у Полиньки был уже маленький Каютин, с глазами матери и смуглым лицом отца, молодых навестил Хребтов. Полинька узнала его по описанию мужа и, лишь успел он войти, принялась, откинув всякую чопорность, обнимать и целовать его. Старик был тронут ласками хорошенькой Полиньки, также угадав в ней жену Каютина. Каютин, выскочив из своего кабинета, молча глядел на эту сцену, и воображение его

уносилось далеко: он вспомнил свое плаванье на Новую Землю, когда, стоя на мели среди моря, он мысленно благословлял Хребтова и думал: «Когда-то поблагодарит его за меня Полинька?»

Весело провели они тот день в воспоминаниях о своих трудных странствованиях.

— Не хочешь ли опять на Новую Землю? — с улыбкой сказал Каютину Хребтов, лукаво взглянув на Полиньку.

— Нет, благодарю! — отвечал Каютин, которому уже в то время досталось большое поместье после дядюшки его Ласукова, погибшего от собственной руки своей при посредстве отличных домашних медикаментов, обходившихся крайне дешево.— Я вот съезжу лучше в Ласуковку!

— Теперь уж разве я поеду с тобой, Антип Савельич,— смеясь, сказала Полинька.

— А что ты думаешь? — возразил Хребтов (он и ей говорил ты).— Да ты бойчей его будешь. Поди-ка ко мне в команду годика на два, так ли вышколю! Ты, вижу я, прыткая. Он куда! в подметки тебе не годился, как я с ним встретился.

— Жаль, что нельзя покинуть вот его,— отвечала Полинька, укачивая своего маленького сына.— А то я с радостью...

— Лучше останься ты с нами, Антип Савельич,— серьезно сказал Каютин.— Что тебе? постранствовал довольно, натерпелся и нужды, и голоду, и холоду, не раз со смертью лицом к лицу стоял. Право, пора отдохнуть.

Хребтов задумчиво поглаживал бороду. Полинька также стала его упрашивать.

— Нет, други! — грустно сказал Хребтов.— Люблю вас, люблю с вами, а остаться не останусь. Уж такая была моя жизнь, что мне сиднем жить — голову сложить! Опущусь, думать начну... тоска сгубит.

В голосе Антипа было столько грустной решительности, что Каютин и Полинька больше не возражали ему.

— Ты еще обещал мне, Антип Савельич, рассказать свою историю,— сказал Каютин.

— Да изволь, расскажу! и тогда сами вы, други, увидите, что такая была моя жизнь, что нет лучше, как размыкивать мне кручину свою по широкому белому свету, пока бог грехам терпит. Коли охота есть, слушайте!

И он начал свой длинный и печальный рассказ.

История Антипа Хребтова, исполненная разнообразных и занимательных похождений, составляет отдельный роман.



КОММЕНТАРИИ

Печатается по тексту первой публикации со следующими исправлениями в названиях глав части седьмой: «Охота» (глава VI) вместо «Действие происходит в лесу»; «Крутой поворот» (глава IX) вместо «Возвращение» (по всем отдельным изданиям).

Впервые опубликовано: С, 1848, № 10 (ценз. разр.— 30 сент. 1848 г.), с. 169—274, № 11 (ценз. разр.— 31 окт. 1848 г.), с. 39—148, № 12 (ценз. разр.— 30 ноября 1848 г.), с. 307—410; 1849, № 1 (ценз. разр.— 31 дек. 1848 г.), с. 165—274, № 2 (ценз. разр.— 31 янв. 1849 г.), с. 315—418, № 3 (ценз. разр.— 28 февр. 1849 г.), с. 107—230, № 4 (ценз. разр.— 31 марта 1849 г.), с. 279—380, № 5 (ценз. разр.— 30 апр. 1849 г.), с. 73—172, с подзаголовком: «Роман в осьми частях» и подписями: «Н. Некрасов.— Н. Станицкий» (перепечатано: главы V—VII, X части четвертой — Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений, 1849, № 314—316, под заглавием: «Сцены из жизни русских промышленников.— I. Гонка барок через Боровицкие пороги.— II. Мореход Хребтов», с подписями: «Н. Некрасов, Н. Н. Станицкий»; глава VI части четвертой (фрагмент) — Собрание стихотворений и отрывков в прозе для первоначального изучения русского языка. Изд. Ф. Студицкого. СПб., 1849, под заглавием: «Гибель барок на Боровицких порогах», с подписями: «Н. Некрасов, Н. Станицкий»; глава II части третьей, переделанная в драматический этюд,— Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей, т. 3. СПб., 1856, с. 253—281, под заглавием: «Осенняя скука. Деревенская сцена», с подписью: «Н. А. Н—в» и датой: «1848»; глава III части третьей («История мещанина Душникова») — Для легкого чтения..., т. 4. СПб., 1856, с. 228—274, под заглавием: «Портретист. Повесть», с подписью: «Н. Н. Станицкий»; глава X части четвертой — Литературная ералашь из повестей, рассказов, стихов и драматических сцен современных русских писателей. М., 1858, с. 50—88, под заглавием: «Ледовитый океан»,

с подписями: «Н. А. Некрасов и Н. Н. Станицкий»; полностью: *Некрасов Н.* и *Станицкий Н.* Три страны света. Роман в осьми частях, т. I, ч. 1—3 (ценз. разр.— 18 дек. 1848 г.), ч. 4, т. II, ч. 5—8 (ценз. разр.— 1 июня 1849 г.). СПб., 1849; *Некрасов Н.* и *Станицкий Н.* Три страны света. Роман в осьми частях, т. I, ч. 1—4 (ценз. разр.— 9 мая 1851 г.). 2-е изд. СПб., 1851 (т. II присоединен из нераспроданной части тиража издания 1849 г., с прежними выходными данными); *Некрасов Н.* и *Станицкий Н.* Три страны света. Роман в восьми частях, т. I—II. 3-е изд. СПб., 1872).

В собрание сочинений впервые включено: Собр. соч. 1930, т. IV (с купюрами); ПСС, т. VII (полностью).

Автограф не найден. Беловой автограф стихотворения «Когда горит в твоей крови...» (глава II части третьей) — ГБЛ, ф. 195, ед. хр. 10786, л. 34.

1

Роман «Три страны света» известен только в печатной редакции. Об истории его написания можно судить лишь по немногим косвенным данным.

В редакционных объявлениях «Современника» об издании журнала в 1848 г. «Три страны света» еще не упоминаются. Подписчикам был обещан роман Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см.: С, 1847, № 9—10, с. 7—8 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 115). В последний раз обещание было подтверждено в объявлении «Московских ведомостей» (№ 26) от 26 февраля 1848 г. (см.: наст. изд., т. VIII, с. 714). Однако вместо этого романа были опубликованы — без предварительных сообщений — «Три страны света».

Причина столь неожиданной перемены в планах Некрасова объясняется ужесточением цензурных запретов и полицейских мер после революционного переворота во Франции. Предписанием начальника III Отделения графа А. Ф. Орлова от 23 февраля литераторам вменялось в обязанность строжайшее соблюдение благонамеренности.[1] «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» новым цензурным требованиям не отвечали. В изменившейся ситуации журналу требовался большой роман, привлекательный для массового читателя («провинция любит длинные романы» [2]), надолго

[1] См.: *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, с. 175—176.

[2] Замечание А. В. Дружинина, принимавшего ближайшее участие в делах «Современника» в эти годы (см.: *Ахматова Е. Н.* Знакомство с А. В. Дружининым.— Рус. мысль, 1891, № 12, с. 124).

обеспечивающий редакцию материалом и «благополучный» с точки зрения цензуры.

Работа над «Тремя странами света» начинается, по-видимому, не ранее, чем в апреле—мае, и становится особенно напряженной в летние месяцы. Об этом можно судить по тому, что за вторую половину апреля—август 1848 г. не зафиксировано ни одного некрасовского письма. Возможно, часть писем не сохранилась. Но главной причиной прекращения переписки была интенсивная работа над «Тремя странами света». «Вот по причине этой-то работы,— писал Некрасов Тургеневу 12 сентября,— мне и некогда было написать вам письма».

В августе Некрасов, по-видимому, занят только романом. Если в июне он успевает еще писать для своего журнала рецензии и заметки, то в августе эту работу он оставляет (за июль сведения отсутствуют).[1] В начале этого месяца, однако, еще не была готова часть пятая, ибо в ней использованы материалы из «Очерков Архангельской губернии» В. П. Верещагина, опубликованные в августовской книжке журнала «Звездочка».

Окончание основной работы над текстом можно датировать по письму Некрасова, приведенному выше. 12 сентября Некрасов сообщает Тургеневу о завершении романа в «8 частей и 60 печатных листов». Указание на общий объем рукописи лишний раз убеждает в том, что к сентябрю рукопись была налицо. «Примечание для гг. цензоров „Современника“ к роману „Три страны света“», помеченное 6 сентября и содержащее «либретто» романа (см.: ПСС, т. XII, с. 40—41), говорит о том же.

Роман был написан, таким образом, преимущественно в летние месяцы 1848 г.

По воспоминаниям Панаевой, авторы приступили к работе не ранее августа—сентября. Первая часть романа была написана в связи с тем, что «нечего было набирать для ближайшей <октябрьской> книжки» (Панаева, с. 174). В подтверждение этих слов Панаева сообщает: цензура запретила «все шесть повестей, назначенных в „Современник“», и «роман Евгения Сю»; «оставалось пробавляться Ламартином» (там же, с. 174—175). Отсутствие документов не позволяет проверить, какие статьи были представлены Некрасовым в цензуру и какие исключены. Но едва ли были запрещены «все» повести, подготовленные к печати, и «нечего было

---

[1] См.: *Гаркави А. М.* Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове.— Учен. зап. Калинингр. гос. пед. ин-та, 1958, вып. 4, с. 116—117.

набирать для ближайшей книжки». Все произведения, обещанные подписчикам на 1848 г., благополучно прошли через цензуру. Из числа этих произведений не были опубликованы лишь повесть Я. П. Буткова, отвергнутая Некрасовым, и «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», замененные «Тремя странами света». К октябрьской книжке, в которой появилась первая часть «Трех стран света», редакция журнала располагала достаточным количеством материала. В этом убеждает содержание последних трех номеров «Современника» за 1848 г. Здесь — одновременно с первыми частями «Трех стран света» — продолжалась публикация «Тома Джонса» Г. Филдинга, «Встреч и рассказов» А. Н. Майкова, были напечатаны «Где тонко, там и рвется» Тургенева, «Капельмейстер Сусликов» Д. В. Григоровича и некоторые другие беллетристические произведения. Кроме того, уже в сентябре Некрасов располагал двумя рассказами Тургенева из «Записок охотника» (см.: Тургенев, Соч., т. IV, с. 590; С, 1848, № 11, с. 7 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 129) — для первых номеров журнала на следующий год. Что касается Ламартина, то его «Признания» находились в распоряжении редакции с начала 1848 г. (см.: С, 1848, № 2; ПСС, т. XII, с. 118) и стали печататься лишь с мартовской книжки журнала за 1849 г.; Некрасов не спешил с их публикацией.

Говоря о первых главах романа, Панаева далее пишет: «Некрасов сдал их в типографию напечатать для октябрьской книжки „Современника“, хотя мы не знали, что будет далее в нашем романе» (Панаева, с. 175). Недостоверность этого свидетельства доказывается приведенным выше сообщением Некрасова об окончании романа к началу сентября 1848 г. и авторской аннотацией произведения в «Примечании для гг. цензоров „Современника“ к роману „Три страны света“», относящейся к этому же времени. Кроме того, уже в ноябре 1848 г. «Современник» известил подписчиков о том, что в следующем году будут напечатаны романы Н. Станицкого «Актриса» и «Озеро смерти» (последний в соавторстве с Некрасовым) (см.: С, 1848, № 11, с. 7 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 128—129). Об этом не было бы объявлено, если бы вся работа над «Тремя странами света» была еще впереди.

Не вызывает доверия и другое указание Панаевой: «Мы долго не могли придумать сюжета. Некрасов предложил, чтобы каждый <...> написал по главе <...> Я написала первую главу о подкинутом младенце <...> Моя первая глава и послужила завязкой романа; мы стали придумывать сюжет уже вдвоем...» (Панаева, с. 175).

Первой главой Панаева называет «Пролог» (эта неточность указывает, помимо всего прочего, на то, что Панаева писала свои

воспоминания, не сверяясь с текстом романа). Но «Пролог» не мог быть написан без предварительного согласования плана всей вещи в целом, ибо в нем описываются события, предвосхищающие сюжет двух предпоследних частей. Не план возник из «Пролога», а «Пролог» создавался по плану (составленному «вдвоем») — еще одно указание на то, что, сдавая первую часть романа, авторы несомненно знали, «что будет далее».

История написания «Трех стран света», изложенная в воспоминаниях Панаевой, противоречит и тому, что рассказала сама Панаева в беседе с А. М. Скабичевским в начале 1878 г., за десять лет до того, как были написаны цитированные выше воспоминания. «По свидетельству г-жи Авд. Як. Головачевой (бывшей Панаевой) <...>,— писал А. М. Скабичевский,— сначала Н. А. Некрасов с г-жою Панаевой составляли общими совещаниями сюжеты романов <речь идет о «Трех странах света» и о «Мертвом озере»>, а потом распределяли, какую кому из них писать главу...» (Скабичевский, с. 394).[1] Это свидетельство более достоверно.

17 декабря 1848 г., после того как первые части романа уже появились в печати, Некрасов пишет Тургеневу: «Если увидите мой роман, не судите его строго: он написан с тем и так, чтобы было что печатать в журнале,— вот единственная причина, породившая его в свет».

Первые три части романа были напечатаны в октябрьской— декабрьской книжках журнала, особенно важных для привлечения подписчиков, и были обещаны в виде бесплатного приложения подписывающимся на следующий год (см.: С, 1848, № 11, с. 2, 8 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 130).

Расчеты Некрасова не вполне оправдались. Общее число подписавшихся на «Современник» сократилось в 1849 г. на 700 человек.[2] Тем не менее в июне того же года, сразу же после опубликования в журнале, роман был переиздан. Однако полностью разошелся лишь первый том. Текст издания 1849 г. отличается от журнального лишь указанной выше заменой названий глав VI и IX части седьмой.

В 1851 г. Некрасов предпринимает второе издание, анонсируя его в февральской книжке «Современника»: «...кроме трех тысяч экземпляров, отпечатанных в журнале, „Трех стран света“ разо-

---

[1] См. также: *Скабичевский А.* Н. А. Некрасов.— В кн.: *Скабичевский А.* Соч., т. 2. СПб., 1890, с. 360. Рассказ Панаевой здесь соотнесен только с «Тремя странами света».

[2] См.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50-е годы. Л., 1934, с. 254.

шлось еще до тысячи экземпляров, отпечатанных отдельно, и так как требования продолжаются, то авторы ныне приступили к новому изданию своего романа» (С, 1851, № 2, отд. III, с. 39; ПСС, т. XII, с. 262).

Для второго издания набирался лишь первый том — с тем чтобы реализовать неразошедшийся тираж второго тома (в первом издании). Издание осуществлялось книгопродавцем С. В. Вагановым, к услугам которого прибегали обычно, когда требовалось распродать остатки неразошедшихся изданий.[1]

По выходе второго издания «Современник» еще раз оповестил читателей об успехе романа: «Романа этого первоначально было напечатано в „Современнике" 3100 экземпляров; потом выпущено в свет отдельно 1200 экземпляров; летом нынешнего года оказалось нужным еще издание, которое и выпущено книгопродавцем Вагановым. Всего в течение трех лет в журнале и отдельно разошлось „Трех стран света" до пяти тысяч экземпляров» (С, 1852, № 1, отд. VI, с. 174).

Издание 1851 г. (том первый) подверглось лишь лексико-орфографической правке, принадлежавшей, по-видимому, корректору («шкап» вместо «шкаф»; «пальто» в мужском роде вместо среднего). Опечатки издания 1849 г., перешедшие из журнального варианта, не исправлены.

Третье издание — последнее при жизни Некрасова и Панаевой — появилось в 1872 г. Роман был издан С. В. Звонаревым, бывшим комиссионером «Современника», владельцем книжного магазина, в котором Некрасов был пайщиком. Имя Некрасова на титульном листе было выделено жирным шрифтом.

Сведений о тираже третьего издания и о его распространении не сохранилось. Неизвестно также, кому принадлежала инициатива переиздания и подготовка книги к печати.

Текст романа перепечатывался с издания 1851 г. с изменением в названии главы VI части восьмой («Партикулярное место» вместо «Партикулярная работа»), а также с изъятием двух эпизодов из главы IV части первой (с. 46—48, 49 первой книги т. IX) — сцены с франтом, преследующим Полиньку на Невском проспекте (фрагменты «Говор и шум усилились ∾ А вот» и «— Подождите! позвольте мне к вам прийти! ∾ вошла в дверь, которая в ту минуту отворилась...») и сцены в детской на квартире у Кирпичовых (фрагмент «— Дети еще не спят ∾ Полинька от души смеялась»). Исправления и купюры в тексте издания единичны и незначитель-

[1] См.: *Свешников Н. И.* Книгопродавцы-апраксинцы и букинисты.— ИВ, 1897, № 7, с. 92.

ны и не могут быть объяснены ни цензурными обстоятельствами, ни художественной необходимостью. Многочисленные дефекты текста указывают на полную непричастность авторов к чтению корректур. Отмеченная выше правка не выражает последовательно осуществляемой авторской воли и не позволяет считать текст издания 1872 г. новой редакцией произведения в целом.

2

Цензурная история «Трех стран света» начинается с «Примечания для гг. цензоров „Современника" к роману „Три страны света"». Авторы «Примечания...» формулируют главную цель своего романа и, излагая его общую фабулу, уславливаются о порядке представления рукописи в цензуру.

Некрасов и Панаева обещают, что отрицательные персонажи «торжествовать не будут, а погибнут за свои проделки» и что «все лучшие качества человека: добродетель, мужество, великодушие, покорность своему жребию — представлены в лучшем свете и увенчаются счастливой развязкой»; главный герой романа преодолеет свои слабости и в результате «терпеливого и добросовестного труда» обретет «прочное благосостояние»; из остальных персонажей «собственно дурных только двое» и представлены они лишь для того, чтобы оттенить «хорошие стороны человеческой природы», другие же изображены «более с смешной, чем с дурной стороны», а также с тем, чтобы «интереснее запутать интригу» (ПСС, т. XII, с. 40—41).

Комментарием к «Примечанию...» может служить упомянутая выше записка Орлова от 23 февраля 1848 г. В записке, одобренной императором, указывалось на недопустимую «крайность», в которую впадают некоторые писатели «натуральной школы», изображающие по преимуществу «пьяниц, развратников, порочных и отвратительных людей».[1] В соответствии с этим документом цензоры ввели строгий лимит на изображение отрицательных персонажей и поставили непременным условием цензурности произведения благонамеренность главных героев и благополучный исход событий.

Эпизод с «Примечанием...» излагается в воспоминаниях Панаевой: «Цензор потребовал, чтоб ему представили весь роман, не соглашаясь иначе пропустить первые главы. Некрасов объяснил, что роман еще не весь написан. Цензор донес об этом в Главный

---

[1] *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., с. 176.

цензурный комитет, который потребовал от авторов письменного удостоверения, что продолжение романа будет нравственное. Я ответила, что в романе „Три страны света“ „порок будет наказан, а добродетель восторжествует“. Некрасов подтвердил своей подписью то же самое; и тогда Главное цензурное управление разрешило напечатать начало романа» (Панаева, с. 175).

В хорошо сохранившихся архивах Главного управления цензуры и С.-Петербургского цензурного комитета не числится, однако, бумаг, из которых явствовало бы, что «Примечание...» было написано по особому требованию высшего цензурного начальства. Некрасов следовал здесь общему правилу, по которому произведения, представляемые в цензуру по частям, должны были сопровождаться определенной гарантией относительно благонадежности целого (см., например, аналогичную записку И. И. Панаева, направленную цензору А. Л. Крылову 18 декабря 1851 г. в связи с предстоявшей публикацией романа «Лев в провинции»,— ЦГИА, ф. 777, оп. 1, ед. хр. 12, л. 153).

В «Примечании...» не говорится о том, что «роман еще не весь написан»,— напротив, речь идет о законченном произведении. Некрасов просит лишь о разрешении — в случае непредвиденных задержек — «представлять исключенное место вторично, на особых листках, в исправленном виде», ибо «при запутанности действия и множестве лиц значительное исключение может привести к неясности и бессмыслице при дальнейшем ходе романа» (ПСС, т. XII, с. 41).

Наконец, не Некрасов «подтвердил своей подписью» обязательство, данное Панаевой, а Панаева сделала это под документом, написанным и подписанным рукою Некрасова (см.: ЦГИА, ф. 777, оп. 1, ед. хр. 1961, л. 2).

Меры, принятые Некрасовым, достигли своей цели. Из сопоставления текста с аннотацией содержания, помещенной в «Примечании...», видно, что авторам не пришлось существенно отклоняться от первоначального плана. Придирчивость А. Л. Крылова, цензуровавшего «Три страны света», возможно, несколько умерялась и тем, что в записке шефа жандармов «Современник» был отнесен к числу «лучших наших журналов», которые «по справедливости уважаются публикой», а о Панаеве и Некрасове сказано, что они — в отличие от Белинского — «не имеют важного влияния на дух журнала».[1] Тем не менее совершенно избежать столкновений с цензором, по-видимому, не удалось. 31 декабря, в канун 1849 г., А. Л. Крылов писал председателю С.-Петербургского цензурного

[1] Там же, с. 175, 177.

комитета М. Н. Мусину-Пушкину: «Возвратившись от Вашего превосходительства, я решился приготовить себе досуг на завтрашний день и прочитал всю находившуюся у меня часть романа „Три страны света“. Резона останавливать нет никакого; а между тем одна сцена безотраднее другой. Все зависит от развязки, но тут ее предвидеть нельзя. Считаю долгом испросить позволения Вашего превосходительства подписать эту часть и возвратить редакции. Часть эта в том же духе, как и предшествующая, меняется только местность; действие происходит здесь частию в Петербурге, частию на Боровицких порогах». Председатель цензурного комитета вернул рукопись цензору, предписав ему «руководствоваться в отношении ее цензурным уставом».[1]

Несомненное цензурное (или автоцензурное) вмешательство наблюдается лишь в главе I части третьей — в тексте стихотворения («Когда горит в твоей крови...»), где вместо эпитета «свободный» («Свободный пó сердцу союз») поставлены точки.

Другие случаи цензурного вмешательства не обнаружены. Но если верить Панаевой, они были нередки: «Мы встречали немало досадных препятствий со стороны цензора: пошлют ему отпечатанные листы, а он вымарает половину главы, и надо вновь переделывать. Пришлось бросить целую часть и заменить ее другой» (Панаева, с. 176). Возможно, отдельные главы и пострадали; вряд ли, однако, была вымарана и заменена другою целая часть. Столь значительное изъятие было бы невосполнимо — и потому, что все сюжетные связи оказались бы разорванными, и потому, что написать заново целую часть (при среднем объеме каждой части в семь печатных листов) было бы невозможно в короткий промежуток времени между выходом смежных журнальных книжек (роман печатался без перерывов).

Пройдя более или менее благополучно через цензуру, роман (в издании 1851 г.) попал на рассмотрение в Комитет 2 апреля (так называемый Бутурлинский), контролировавший деятельность цензурного ведомства. Заключение о романе дал член Комитета Б. М. Федоров. В донесении, представленном в Комитет 10 января 1852 г. (см.: ЦГИА, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 143, л. 303—305), Федоров, отметив некоторые литературные достоинства романа («рассказ отличается живостью»), указал на «страсть к преувеличениям в выставке грязных сторон жизни», выказываемую в нем, и выразил сожаление по поводу того, что «молодые писатели тратят свой дар на подобные предметы».

---

[1] *Гаркави А. М.* Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой. Калининград, 1966, с. 271.

Федоров руководствовался официальным предписанием, обязывавшим не допускать «идеи и выражения, противные нравственности и общественному порядку».[1] Возможно, однако, что он сводил и личные счеты: издания, в которых сотрудничал Некрасов, нелестно отзывались о его, Федорова, сочинениях (см., например, анонимную рецензию Некрасова на «Князя Курбского» (ЛГ, 1843, 30 ноября, № 47; ПСС, т. IX, с. 123—127) и, возможно, принадлежавший Некрасову отзыв о «Русском крестьянине, или Госте с Бородинского поля» (ОЗ, 1846, № 5, с. 53—54; ПСС, т. IX, с. 639—640).

Свое донесение Федоров сопроводил многочисленными примерами.

В части первой романа отмечены две сцены: «Сцена преследования героини романа (Полиньки) на улице толстым господином (часть 1-я, стран. 46 и 47), сцена с Каютиным, потчующим ее шампанским (часть 1-я, стран. 89),— совершенно во вкусе Ретив де ла Бретона и Феваля».

О части третьей Федоров писал: «Но как роман легко может быть прочтен и молодою девушкою, то лучше бы не допускать и исключить стихи вроде следующих, обращенных к замужней женщине (часть 3-я, стр. 17)» (далее приводится полностью стихотворение «Когда горит в твоей крови...»).

Докладывая начальству о втором томе романа (части пятая—восьмая), Федоров указал на «весьма любопытные очерки Новой Земли и Камчатки», но и в этом томе нашел эпизоды, «несогласные с нравственным чувством». Так, отрицательную оценку получила часть шестая, в которой «сцены художника и двух натурщиц (т. 2-й, стр. 86—103), так же как и многие другие в этом романе, отклоняются от благопристойности». «Лицо натурщицы Дарьи отвратительно. Она уходит с художником за перегородку; после просит застегнуть ей платье... После представлена пьяной и говорит: „Мать ваша и ты так меня приняли, что я чуть вас всех не убила“».

Не укрылось от Федорова и то обстоятельство, что второй том романа одобрен к печати в 1849 г., «хотя на обертке книги и выставлен 1851 год». Федоров знал, что этот том в издании 1851 г. не перепечатывался, а комплектовался из нераспространенных экземпляров издания 1849 г. Нарушения цензурных правил здесь не было. Тем не менее выходило так, что второй том в издании 1851 г. получил цензурное разрешение раньше, чем первый. По этому поводу Федоров написал: «...это на будущее время едва ли

---

[1] *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., с. 176.

может быть допускаемо, дабы не дать возможности появиться сочинениям, не соответствующим требованиям цензуры в настоящее время».

Неизвестно, какая судьба постигла бы «Три страны света» и его авторов, если бы не вмешательство высшего начальства. Статс-секретарь М. А. Корф, занимавший руководящий пост в Комитете 2 апреля, признал донесение Федорова неосновательным: «Не только в нашей письменности, но и в заграничной часто встречается напечатание первого или первых томов после следующих, и я не вижу в этом ничего, подлежащего замечанию, если и первый, и последний пропущены цензурой. Романы пишутся не для девушек, а грязные картины и картины сладострастия встречаются на каждом шагу не только в древних классиках, но и в ветхозаветных книгах Св. Писания. Всякое произведение письменности должно, смею думать, обсуживать по его роду и цели, а роман — не учебник и не школа нравственности...» (ЦГИА, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 143, л. 303).

Некрасов, видимо, имел в виду в первую очередь Корфа, когда в поэме «В. Г. Белинский» (1855) писал о Комитете 2 апреля:

По счастью, в нем сидели люди
Честней, чем был из них один,
Фанатик ярый Бутурлин...

(наст. изд., т. IV, с. 8—9).[1]

3

Незадолго до смерти Некрасов писал: «...повести мои, даже поздние,[2] очень плохи — просто глупы...» (ПСС, т. XII, с. 24).

С оценкой Некрасова нельзя не считаться. Достаточно вспомнить, с какой целью и в какие сроки был написан огромный роман, чтобы понять, что Некрасов не преувеличивает. Было бы, однако, ошибкой всецело основывать на этой оценке суждение о романе. Известно и другое высказывание писателя. По воспоминаниям Н. Г. Чернышевского, в романе не было «ничего такого, что казалось бы впоследствии Некрасову дурным с нравственной или обще-

---

[1] О позиции Корфа в Комитете 2 апреля см.: *Ильинский Л.* Герцен и III Отделение.— ГМ, 1918, № 7/9, с. 91.

[2] Под поздними повестями Некрасов подразумевает прежде всего романы «Три страны света» и «Мертвое озеро». Других поздних прозаических произведений, которые можно было бы назвать повестями, написанными «из хлеба», среди его сочинений нет. Некрасов не делал строгого различия между терминами «роман» и «повесть». Роман «Три страны света» назван однажды повестью (см. с. 46 книги первой т. IX).

ственной точки зрения» (Чернышевский, т. I, с. 749).[1] Несмотря на уступки цензуре, торопливость в работе и журнально-коммерческие расчеты, роман носил несомненный отпечаток передовых идей своего времени.

«Три страны света» прежде всего роман-путешествие. Странствования Каютина по России — от Новой Земли до Каспия, от Новгородской губернии до русских владений в Америке — образуют сюжетную канву произведения. Подобный замысел был созвучен мыслям Белинского, писавшего в предисловии к «Физиологии Петербурга» (1845): «У нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев <...> Сколько материалов представляет собою для сочинений такого рода огромная Россия!» (Белинский, т. VIII, с. 376—377). Некрасов отозвался на этот призыв романом, целью которого было «показать на деле ту часто повторяемую истину, что отечество наше велико, обильно и разнообразно и представляет для путешественника не менее любопытных в своем роде и достойных изучения предметов, как Англия, Франция и т. под.; другими словами: возбудить в соотечественниках желание путешествовать по России и изучать ее» (ПСС, т. X, с. 40).

Главным героем романа выступает молодой дворянин, обратившийся к промышленной деятельности. Выбор героя отвечает идее, которую в кругу друзей незадолго до смерти развивал Белинский: «...внутренний прогресс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» (Белинский, т. XII, с. 468).[2]

Руководитель Каютина в странствованиях и промыслах — Антип Хребтов — уникальная фигура не только в романе, но и во всей прозе Некрасова. Это идеальный тип мужика, каким его представлял себе Некрасов: трудолюбие, смекалка, отвага, скромность, сообщительность, добродушный юмор. В характеристике Хребтова выразились одновременно и некрасовское народолюбие,[3] и важней-

[1] Чернышевский мог слышать эти слова в годы своего сотрудничества в «Современнике» — между 1853 и 1862 гг. Наиболее вероятным поводом для высказывания Некрасова можно считать появление резкой статьи в «Сыне отечества» (1856, № 2) (см. ниже, с. 339).

[2] См. об этом: *Чуковский К.* Тема денег в творчестве Некрасова.— В кн.: *Чуковский К.* Люди и книги. 2-е изд. М., 1960, с. 289—290; ср.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 127—130.

[3] См. об этом: *Семенов Н. А.* Фольклор в художественной прозе Некрасова 40-х годов.— Вісник Київського держ. ун-ту ім. Т. Шев-

шая идея романа — мысль о сближении образованного дворянства с народом,[1] созвучная провозглашенному «Современником» призыву «обратиться на самих себя, сосредоточиться, глубже вглядываться в свою народную физиономию, изучать ее особенности, проникать внимательным оком в зародыши, хранящие вековую тайну нашего несомненно великого исторического предназначения» (ПСС, т. XII, с. 121).[2] Неслучайно и среди эпизодических персонажей романа выделяются представители вольной неземледельческой Руси — архангельские поморы и новгородские лоцманы (см.: ПСС, т. VII, с. 839—840).

Любовные эпизоды в романе заключают в себе комплекс идей, не менее важных для руководителей «Современника». Мысли о праве человека на счастье (история горбуна) и трагических следствиях сословных предрассудков (история Душникова) родственны идеалам утопического социализма.

Особо должны быть отмечены экскурсы в прошлое персонажей. В них с наибольшей отчетливостью выражена «программа» романа. Барский дом, помещик, взявший в наложницы крепостную, издевательства дворни над незаконнорожденным (прошлое горбуна); мастерская басонщика, побои и непосильный труд (прошлое Карла Иваныча); швейная мастерская, приставания хозяина к девочке, придирки и брань хозяйки (прошлое Полиньки); каморка на Васильевском острове, бедствующий художник, его сестра, ставшая натурщицей для того, чтобы он мог писать, его мечты об Италии и смерть от чахотки (история Полинькиных родных) — в этих картинах всеобщей нищеты и бесправия намечены контуры широкого социального полотна.

4

В романе явственно ощутимы недавние впечатления некрасовской молодости: скитальческая жизнь в Петербурге в конце

ченко, 1959, № 2, сер. філол. та журн., вип. 2, с. 26—28; *Лурье А. Н.* 1) Народ в романе Н. А. Некрасова «Три страны света».— Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1959, т. 198; 2) Фольклор в прозе Н. А. Некрасова.— В кн.: Русский фольклор, т. 7. Л., 1962, с. 98—105.

[1] См. об этом: *Евгеньев В.* Николай Алексеевич Некрасов. М., 1914, с. 161; см. также: Ст 1920, с. XXIX.

[2] О «славянофильских» тенденциях в программе «Современника» 1848 г. см.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50-е годы, с. 298; *Мельгунов Б. В.* Некрасов в общественно-литературной борьбе 40—70-х годов (к проблеме исторических судеб России).— РЛ, 1979, № 1, с. 31—32.

1830 — начале 1840-х гг.,[1] знакомство с журнальным и книжным миром столицы, поездки в провинцию.

Некрасовский Петербург в романе — это Невский проспект и улочки окраин и захолустий — Московской части, Васильевского острова, Петербургской и Выборгской сторон: адреса и маршруты Некрасова в первые годы проживания в столице.

В эпизодах, где действие происходит на Невском проспекте, указываются столь очевидные топографические приметы, что петербургские читатели «Трех стран света» не могли не соотносить их с определенными домами и лицами.

Магазин дамских уборов и швейная мастерская при нем в доме за Аничковым мостом; огромный двор, населенный мастеровыми; напротив дома трактир — все приметы соответствовали зданию на углу Невского и Фонтанки, где помещалась шляпная фабрика.

Но это лишь видимость точного соответствия, дразнившая воображение читателя своей кажущейся реальностью. Адрес, названный в тексте романа, не предназначался для точного опознания. Вымышленные фамилии владелицы дома и содержательницы магазина и мастерской могли ассоциироваться и со зданием, находившимся также возле Аничкова моста, но на другом углу Невского и Фонтанки, где был еще один дамский магазин с мастерской.

По утверждению А. М. Скабичевского, «все подробности о книгопродавческой фирме Кирпичова и К° представляются фотографическими снимками с одной из известнейших в то время книгопродавческих фирм» (Скабичевский, с. 394). Считается, что в образе Кирпичова изображен В. П. Поляков, издатель журналов, в которых сотрудничал молодой Некрасов. Но «видный мужчина» и мот Кирпичов не похож на невзрачного Полякова, хорошо знавшего свое дело и не склонного к кутежам.

По адресу, указанному в романе,— Невский проспект, против Казанского собора,— располагались книжные лавки с библиотеками для чтения А. Ф. Смирдина и В. П. Печаткина (к последнему перешли книги разорившегося М. Д. Ольхина). Ни один из этих

---

[1] С этим временем соотнесены основные события романа. Начало действия отмечено датой: «183* года, в августе». В июне следующего года Каютин встречается с Хребтовым, который вспоминает о недавней зимовке на Новой Земле с покойным Петром Кузьмичом Пахтусовым. Пахтусов — историческое лицо — умер вскоре после зимовки, в ноябре 1835 г. Встреча Каютина с Хребтовым произошла, следовательно, не ранее июня 1836 г. После этого Каютин странствует почти пять лет и возвращается в Петербург, таким образом, не ранее чем в начале 1840-х гг. В эпилоге описываются события нескольких последующих лет.

книготорговцев, однако, не был единственным прототипом героя. В истории Кирпичова соединились факты из биографий ряда книготорговцев — Смирдина, Ольхина, А. И. Иванова, А. А. Плюшара.

В памфлетном образе литератора Кругоолобова, эксплуатирующего купеческое невежество в своекорыстных целях, отразились рассказы знакомых Некрасова об А. Ф. Воейкове и непосредственное знакомство с приемами издательской деятельности Булгарина, о котором в романе напоминают и слегка измененные названия его книг. Отвечая на выпад противника,[1] Некрасов наносит ему ответный удар колким намеком на неуспех его сочинений.

Лишь одно эпизодическое лицо отмечено полным фотографическим сходством с его прототипом — Данков, копия Г. М. Толстого, помещика Казанской губернии, у которого Некрасов гостил летом 1846 г.[2] Поездка к Толстому подсказала Некрасову искомую сюжетную ситуацию — встречу порвавшего с праздным дворянским существованием главного героя романа с помещиком, мыслившим благородно, но не способным действовать в соответствии с проповедуемыми идеями.

Часто черты одного прототипа распределяются между разными персонажами. Так, артистизм и открытый характер некрасовского приятеля К. А. Даненберга повторились в Каютине, а его трагическая судьба — смерть от чахотки — отразилась в истории Мити (см.: Вацуро, с. 139, 143—144).

Автобиографические реалии вовлекаются в повествование мельчайшими крупицами фактов, представляющих в совокупности все эпохи прожитой жизни — от детства до возмужания. Звуки азартной псовой охоты, напоминающие Каютину о разорении его предков — причине его нищеты; школьные тексты, терзающие память Граблина; его горячая благодарность судьбе, избавившей от поступления в Дворянский полк; старые домашние лечебники Енгалычева, Удена и Пеккена — авторов, бывших любимцами дяди Каютина; стихи к замужней женщине, призывающие ее осознать свое право на счастье; поденная работа молодого неизвестного литератора, «сплеча» отделывающего в журнале статьи; рукопись сочинения, привезенного в Петербург неизвестным в литературе автором,— эти и многие другие подробности слагаются в образ автобиографического героя, скрыто присутствующий в романе.

Живой, ребячливый характер Каютина и меланхолическая на-

---

[1] См. роман Булгарина и Н. А. Полевого «Счастье лучше богатырства», где Некрасову, выведенному под именем Куропаткина (по аналогии с псевдонимом: «Перепельский»), приписываются журнальные махинации (см.: БдЧ, 1847, янв., с. 50—51, 58—59).

[2] См.: *Чуковский К.* Григорий Толстой и Некрасов.— В кн.: *Чуковский К.* Люди и книги, с. 7—43.

тура Граблина равно близки некрасовскому «я». Повествуя о противоположной судьбе этих героев, Некрасов размышляет и о своем жизненном выборе — о труде, в котором соединялись поэзия творчества и предприимчивость журналиста, о личной жизни с ее «каютинским» материальным благополучием и «граблинской» душевной тоской, с ее одиночеством, не восполнявшимся «свободным союзом» с любимой женщиной.

Обилие авторских размышлений — прямых и от имени персонажей — позволяет увидеть в романе своеобразный «дневник писателя»: «горестные заметы» и «холодные наблюдения» о человеке в несчастье, о людях, не способных солгать, об участи молодых деревенских женщин и о многом другом.

Антропонимика «Трех стран света» содержит в себе дополнительные свидетельства об источниках авторского воображения. Эпизодические персонажи романа либо наследуют имена близких знакомых и домашних Некрасова (повар Максим, воспитательница Полиньки Марья Прохоровна), либо наделены «говорящими» фамилиями (Ласуков, Лачугин), либо заимствуют фамилии от лиц, упоминаемых в литературе (Водохлебов, Смиренников).

5

Литературные источники «Трех стран света» — «журнального» импровизированного романа — весьма многочисленны и разнообразны. В романе соединились сюжеты и жанры давнего и новейшего времени, западноевропейского и отечественного происхождения. Мотивы странствования (приключения Каютина), тайны рождения (история Кирпичова), испытания верности (приключения Полиньки), возмездия за грехи (история горбуна) — атрибуты «классического» романа — сочетаются с популярными романтическими мотивами и с реалистически трактованными характеристиками.

В романе не могли не сказаться ни талант Некрасова, возбуждавшийся родственными его природе сюжетами, ни установка на поспешное сочинительство.

Бóльшую часть романа составляют собственно «романические» истории с преобладанием «авантюрного» элемента.[1] На этом фоне выделяются такие эпизоды романа, как прощание Каютина с Полинькой, диалоги Кирпичова с приказчиком, сцены супружеской

---

[1] О фабульной схеме «авантюрного романа испытания» в «Трех странах света» см.: *Карамыслова О. В.* О жанре и композиции романа Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света». — Некр. и его вр., вып. 3, с. 53.

ревности в мастерской дамского магазина Беш, описание осеннего вечера в доме скучающего помещика Ласукова, рассказ Дарьи Рябой о ее жизни в деревне, обладающие достоинствами «малых» жанров. Обычно же заданные и заимствованные сюжетные схемы приобретают в «Трех странах света» самодовлеющее значение, унифицируя характеры персонажей. Живые лица, талантливо обрисованные во вступительных эпизодах романа, постепенно превращаются в маски: Каютин символизирует мужество, горбун — неистовую любовную страсть, Полинька — постоянство, Хребтов — находчивость. Другие герои выступают в романе изначально в одном амплуа: башмачнику свойственна беззаветная преданность, Тульчинову — добродушие, Саре — гордость.

Жанр своего романа Некрасов определяет термином «легкая беллетристика» (ПСС, т. X, с. 116).[1] Обращение к этому жанру естественно для Некрасова, начинавшего в том же роде, и симптоматично для «Современника», вступившего в 1848 г. в трудный период своего существования.

Определение Некрасова уточняется воспоминаниями Панаевой: «Некрасову пришла мысль написать роман во французском вкусе» (Панаева, с. 175). Действительно, изощренная изобретательность вымысла, особенно в сфере интриги, резкая типажность характеров, тщательно выписанные детали, мелодраматические эффекты и водевильный комизм — все это перешло в «Три страны света» преимущественно из французской беллетристики 1840-х гг.

Сходство с романами новейшей французской школы наблюдается и в отдельных сюжетных мотивах. В «Парижских тайнах» Э. Сю (рус. пер.— 1844)[2] фигурируют, например, швея, соединяющая свою судьбу со вчерашним студентом (Риголетта и Жермен; ср. Полинька и Каютин), гордая аристократка, оплачивающая расходы своего любовника (герцогиня де Люсне и виконт Сен-Реми; ср. Бранчевская и дон Эрнандо). В романе того же автора «Агасфер» (рус. пер. под заглавием «Вечный жид» — 1846) действие происходит в трех частях света — в Европе, Азии и Америке. Заглавие пролога — «Две части света» (ср. заглавие некрасовского романа). В романе П. Феваля «Сын дьявола» (рус. пер. под заглавием «Сын тайны» — 1847) изображены старый ростовщик (Араби; ср. с горбуном) и добрый шарманщик, влюбленный в швею (Реньо;

---

[1] См. отрицательное высказывание Тургенева о «легкой беллетристике» («littérature facile») в рецензии на трагедию Н. В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль» (С, 1847, № 1, отд. III, с. 81; Тургенев, Соч., т. I, с. 296, 576).

[2] Некрасов был знаком с зарубежной литературой только по переводам.

ср. с Карлом Иванычем и с немцем-шарманщиком, влюбленным в Катю). Здесь же представлены сцены в танцевальном заведении и картины маскарада в здании Большой Оперы (ср. аналогичные эпизоды в «Трех странах света»). Такого рода переклички весьма многочисленны.

К французским литературным нравам следует отнести прецедент коллективного авторства — например, романы Дюма, написанные совместно с О. Маке и другими.

Можно, вероятно, обнаружить точки соприкосновения и с другими произведениями французских писателей.[1] Однако точность, с какою может быть зафиксировано литературное происхождение героев и ситуаций, разумеется, весьма относительна, ибо здесь возможно одновременное воздействие нескольких произведений с аналогичным сюжетом. Так, некоторые типажи «Парижских тайн» — добродетельная швея, светская львица — дублируются в «Сыне дьявола» (Гертруда, Сара де Лоранс).[2]

Исследователями Некрасова отмечены также следы воздействия английской литературы.[3] В этой связи упоминают роман Диккенса «Николас Никльби» (рус. пер.— 1840), имея в виду сюжетную линию ростовщика, виновника разорения и гибели своего

---

[1] См.: Собр. соч. 1930, т. IV, с. 8 (здесь, в комментариях Е. Мустанговой к «Трем странам света», кроме Сю названы В. Гюго и А. Дюма, без указания произведений), а также рукопись неустановленного лица «Французские источники романа Некрасова и Станицкого „Три страны света“» (МКН, п. 16, ед. хр. 19), где кроме «Парижских тайн» и «Сына дьявола» перечислены следующие авторы и произведения: Э. Сю («Матильда»: Люгарто, похищающий девушку по подложному письму,— ср. похищение Полиньки); Поль де Кок («Воспитание любви»: старый муж и молодая жена — ср. главу «Свадьба» части третьей; нравы семейства Шокор — ср. супружеские отношения Доможирова и Кривоноговой; изображение модной мастерской и танцкласса — ср. главы «Душеприказчик» части первой и «Как кутит Кирпичов» части второй; «Жоржетта»: ср. историю Жоржетты с историей Дарьи; «Господин Труно и его дочка»: изображение улицы Папораль — ср. изображение Струнникова переулка); О. де Бальзак (очерк «Провинциальная дама», не переведенный на русский язык: ср. сцену с акушеркой в «Прологе»); произведения ряда авторов из книги очерков «Французы, изображенные ими самими», не переведенной на русский язык (ср. описание Сенной площади, мастерской басонщика); Ж. Жанен («Мелкая промышленность Парижа»: описание книжного магазина — ср. главу «Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках Кирпичова и Комп.» части второй).

[2] См.: Зимина, с. 191 (здесь же говорится о сходстве Сары Бранчевской с героиней «Парижских тайн» Сарой Мак-Грегор).

[3] См.: Собр. соч. 1930, т. IV, с. 10 (без указания имен и произведений).

сына.[1] В том же романе фигурируют швейная мастерская с ревнивой хозяйкой, девушка, преследуемая хозяином мастерской, и ряд других персонажей и эпизодов, представленных в «Трех странах света».

Другим произведением английской литературы, отозвавшимся в «Трех странах света», можно считать роман Г. Филдинга «Том Джонс» (рус. пер.— 1848). Здесь наблюдается сходство в «Прологе»: богатому помещику, известному своей добротой, подкидывают младенца.

Во всех отмеченных случаях зарубежный образец дает первоначальный творческий импульс и присутствует в романе лишь в виде общей сюжетной схемы.

Реминисценции из русской литературы менее очевидны.

Отмечено общее воздействие Гоголя — в портретных характеристиках, жанровых сценах, диалогах, сравнениях, лирических отступлениях (см.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 150—151). Прослеживается некоторая аналогия с «Портретом»: бедный художник, снимающий комнату на Васильевском острове, квартирный хозяин, угрожающий ему выселением, богатый и безжалостный ростовщик, обитающий в захолустье, старухи, промышляющие поношенным платьем.

Из рядовых отечественных беллетристов должен быть назван И. Т. Калашников, автор романа «Камчадалка» (СПб., 1834; 2-е изд. СПб., 1843).[2] В этом романе широко используется ученый труд Крашенинникова (в издании 1818 г.) «Описание Земли Камчатки» (1755). К тому же источнику в «Трех странах света» обращается и Некрасов, причем в подборе имен и описаний он во многих случаях идет непосредственно за Калашниковым. Более того, сюжетная линия горбуна (отец, преследующий своего неузнанного сына; старик, склоняющий к сожительству девушку) повторяет в схеме историю ведущего героя «Камчадалки» Антона Григорьевича.

---

[1] См.: *Гин М. М.* Диккенсовский сюжет у Некрасова.— В кн.: Страницы истории русской литературы. М., 1971, с. 136—139.

[2] В 1843 г. Некрасов высоко оценил этот роман на страницах «Литературной газеты». В своей рецензии он, в частности, отмечал новизну материала («...обычаи и нравы камчадалов, картины сибирской природы <...> представляют вам предмет совершенно новый и в высшей степени интересный») и призывал автора написать еще одну книгу о том же крае: «Мы так мало знаем эту часть нашего отечества, и верная ее картина, начертанная образованным и умным пером, была бы истинным подарком для русской литературы» (ЛГ, 1843, 30 ноября, № 47; ПСС, т. IX, с. 127). В этом призыве уже просматриваются истоки «Трех стран света».

Изображение развалин барской усадьбы (часть седьмая, главы I, V) напоминает соответствующую картину в повести А. А. Марлинского «Латник» (1835).

Другие случаи сходства указывают скорее на совпадения, чем на влияние или заимствование.[1]

Весьма широк круг источников, относящихся к специальной литературе. Кроме упомянутого труда Крашенинникова, в роман вошли материалы (нередко и тексты) многих книг и статей,[2] с которыми Некрасов знакомился в Публичной библиотеке (см.: Панаева, с. 176),— о Сибири и о русских владениях в Америке («Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова...», ч. 1—2; 1810—1812), о киргизах (книга А. Левшина «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей», ч. 1—3 (1832), статья А. П. Соколова «Астрахань в ее прошлом и настоящем» (1846) и др.), об Архангельском крае и о Новой Земле («Очерки Архангельской губернии» В. Верещагина (1847—1848); опубликованный А. П. Соколовым штурманский дневник И. Н. Иванова «Опись берегов Северного океана, от Канина Носа до Обдорска...» (1847); книга Ф. П. Литке «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге „Новая Земля“ в 1821—1824 годы» (1828); «Дневные записки» П. К. Пахтусова (1842—1845) и др.), о Вышневолоцкой водной системе (статья И. Ф. Штукенберга «Боровицкие пороги»; 1836).

Перерабатывая специальную литературу в беллетризованный текст, Некрасов стремится прежде всего к занимательности рассказа и обращает преимущественное внимание на необычное, экзотическое. Гонка барок через пороги; редкостные картины и явления природы — громады льдов в океане, северное сияние, миражи, вы-

---

[1] А. Зимина обратила внимание на сходство горбуна с героем повести Е. П. Гребенки «Приключения синей ассигнации» (1847) (см.: Зимина, с. 85). По-видимому, имеются в виду подробности, относящиеся к ростовщику Канчукевичу: дом на пустынной улице, нищенского вида мальчик, впускающий посетителя, тщательный опрос и осмотр входящего, дребезжащий старческий смех. К. И. Чуковский проводит параллель между Каютиным и Анатолием — героем романа П. Сухонина «Спекуляторы» (1847) (см.: *Чуковский К.* Тема денег в творчестве Некрасова, с. 284). В той же работе упоминается роман Ф. Корфа «Как люди богатеют» (1847). Оба романа трактуют тему наживы. Сюжетных перекличек с «Тремя странами света» в них, однако, не наблюдается.

[2] См.: *Лурье А. Н.* Романы и повести Н. А. Некрасова. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Л., 1961, с. 11. См. также: Собр. соч. 1930, т. IV, с. 14 (со ссылкой на М. Н. Выводцева); ПСС, т. VII, с. 840; *Лукашевский А. А.* Неизвестный источник романа «Три страны света».— РЛ, 1976, № 4.

сокие горы и бескрайние степи, жестокий мороз и палящий зной; вид и повадки редких животных — моржей, китов, морских коров, сивучей: быт и нравы народностей, населявших окраины Российского государства,— ненцев (самоедов), лопарей, хантов (остяков), киргизов, якутов, ительменов (камчадалов), коряков, чукчей, эскимосов, индейцев — такова панорама «стран света» в «географической» части романа. Вся эта литература, включающая и труды почти столетней давности, не всегда соотнесена с современной действительностью с соблюдением исторической и географической точности.

6

Авторская принадлежность текстов в «Трех странах света» условно определяется по немногочисленным мемуарам, по отразившимся в произведении фактам из биографий авторов, по преемственности мотивов романа с прежними произведениями авторов.

Мемуарные свидетельства очень скупы и далеко не во всем достоверны.

Свидетельство самого Некрасова о работе над «Тремя странами света» сохранилось лишь в пересказе А. С. Суворина. Оно не содержит подробностей, относящихся собственно к этому произведению, а касается составления книжек «Современника» в годы, когда печатались и «Три страны света», и «Мертвое озеро»: «У меня в кабинете было несколько конторок. Бывало, зайдет Григорович, Дружинин и др. Я сейчас к ним: становитесь и пишите что-нибудь для романа,— главу, сцену. Они писали. Писала много и Панаева (Станицкий). Но всё, бывало, не хватало материала для книжки. Побежишь в Публичную библиотеку, просмотришь новые книги, напишешь несколько рецензий — всё мало. Надо роману подпустить. И подпустишь. Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу» (*Суворин А. С.* Недельные очерки и картинки.— НВ, 1878, 1 янв., № 662; см. также: ЛН, т. 49—50, кн. 1, с. 203—204).

Заметка Суворина побудила Панаеву обратиться к биографу Некрасова А. М. Скабичевскому с опровержением рассказанного о Григоровиче и Дружинине. С ее слов Скабичевский писал: «...лишь г. Григорович сделал было попытку написать одну из глав романа, но ландшафтная поэзия г. Григоровича оказалась не подходящей к духу и характеру романа. Г-н Григорович <...> всю главу посвятил описанию лунной ночи; глава эта так и не вошла в роман, и затем г. Григорович ничего более для романа не писал» (Скабичевский, с. 394—395).

Трудно поверить этому сообщению, проникнутому неприязнью к Григоровичу. Автор «Деревни» и «Антона Горемыки», имевших

сильнейший общественный резонанс, назван вопреки очевидности представителем «ландшафтной поэзии». Глава, целиком посвященная описанию лунной ночи, не в духе творчества Григоровича; кроме того, она невозможна и в контексте романа.

В позднейших воспоминаниях Панаевой эта глава превращается в «две странички описания природы», сверх которых «Григорович решительно не мог ничего придумать» (Панаева, с. 175).

Из воспоминаний Панаевой выясняется лишь самый факт приглашения Григоровича к авторскому участию в «Трех странах света». Этот факт не покажется неожиданным, если вспомнить, что у Григоровича был опыт совместной работы с Некрасовым — фарс «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (1846), написанный при участии Достоевского. В бумагах Григоровича сохранились наброски плана к роману «Петербургские тайны» (см.: ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 38), с замыслом которого, возможно, и было связано его предполагавшееся участие в «Трех странах света».

Ссылаясь на сообщение Панаевой, Скабичевский упоминает, не называя фамилии, еще об одном лице, помогавшем Некрасову: «...если в романе участвовало третье лицо, то оно парадирует в виде какого-то купца, который рассказал Некрасову во всех подробностях, как проводят барки через Боровицкие пороги. Руководствуясь этим рассказом, Некрасов переделал 6-ю главу 4-й части романа, так как он никогда не был на Боровицких порогах и описал было не совсем верно крушение барок Каютина» (Скабичевский, с. 394—395). На основании этого глухого упоминания можно лишь предположить, что если Некрасов кому-то дал прочитать главу о Боровицких порогах, то это произошло не в процессе писания романа, а незадолго до помещения главы в январской книжке «Современника» за 1849 г., т. е. в ноябре или декабре 1848 г.

Позднее, в 1889 г., публикуя свои мемуары, Панаева не повторила сообщения о купце, консультировавшем Некрасова, но заметила, что две главы были написаны «по просьбе Некрасова Ипполитом Панаевым» (Панаева, с. 175). Обилие неточностей в воспоминаниях Панаевой не позволяет безоговорочно признать ее сообщение достоверным. Существенно, однако, то, что Ип. А. Панаев пользовался ее уважением и несомненно был одним из первых читателей ее воспоминаний. Какие главы он мог написать по просьбе Некрасова, трудно предположить. Известно, что он и сам в это время пробовал свои силы в литературе. Летом 1848 г., когда писался роман, он находился в Новгородской губернии, недалеко от Боровицких порогов. С конца ноября 1848 г. Панаев был в отпуске в Петербурге (см.: ЦГИА, ф. 207, оп. 16, ед. хр. 145, л. 123). Возможно, Панаев мог внести дополнения и поправки в главу о Боро-

вицких порогах перед ее сдачей в набор. Это тем более вероятно, что в бытность студентом Института путей сообщения он получил разносторонние сведения о Боровицких порогах из лекций инженер-полковника В. Р. Трофимовича. По воспоминаниям В. А. Панаева, описание вышневолоцкой системы в лекциях Трофимовича принимало «характер поэзии» (*Панаев В. А.* Воспоминания.— РС, 1893, дек., с. 398—399).

В распоряжении Скабичевского находился экземпляр «Трех стран света» с пометками Панаевой, согласно которым «все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежит перу г-жи Панаевой; Некрасов же на свою долю избрал аксессуарную часть, комические сцены, черты современной жизни и описание путешествий Каютина» (Скабичевский, с. 394).

Из сообщения Панаевой явствует, что, работая над романом, авторы пошли по пути узкой специализации и даже в пределах отдельных глав строго разграничивали свои темы и жанры. Получается, что в работе над главами любовного содержания Панаева каждый раз ставила точку там, где нужно было ввести бытовой эпизод или описать обстановку, и призывала на помощь Некрасова; Некрасов же, выполнив свое задание, предоставлял дальнейшее развитие интриги Панаевой. Свидетельство Панаевой в записи Скабичевского, получившее признание исследователей (см.: ПСС, т. VII, с. 827—828), рисует неправдоподобную картину совместной работы над произведением. Оно расходится также и с данными литературной деятельности Некрасова и Панаевой в годы, предшествовавшие написанию «Трех стран света». Некрасов, как известно, охотно обращался к сюжетам, построенным на любовной интриге; Панаева же постоянно вводила в свои повести и рассказы черты современной жизни и «аксессуарную часть»; встречаются в ее произведениях и «комические сцены».

В своих мемуарах Панаева замечает, что главы, действие которых происходит в Петербурге, написаны ею (см.: Панаева, с. 176). Это свидетельство также неубедительно. Роман объемом более 55 печатных листов был написан, как уже говорилось, в три-четыре месяца и сразу же по окончании отдан в печать. Если бы дело обстояло так, как об этом пишет Панаева, это означало бы, что на долю начинающей беллетристки пришлось бы до двух третей от общего количества глав романа.

«Писалось легко»,— рассказывает Панаева в своих мемуарах (Панаева, с. 176). Но из ее писем видно, что литературную работу приходилось сочетать с обременительными хозяйственными заботами. Лето 1848 г. Панаевы проводили в Парголове. Приезжало много гостей. «...я хлопочу на даче о питании всех,— сообщала

Панаева М. Л. Огаревой 5 июня,— потом пишу разные глупости, в ожидании, что это мне сколько-нибудь принесет денег» (Черняк, с. 350). К тому же слова «пишу разные глупости» могли относиться не только к «Трем странам света», но также и к обещанным подписчикам в следующем году роману Панаевой «Актриса» и роману Некрасова и Н. Станицкого «Озеро смерти» (будущее «Мертвое озеро»).

Панаева также называет себя автором «Пролога». Пролог состоит из двух главок. Первая — о роженице и акушерке,— вероятно, принадлежит Панаевой. Вторая, в которой изображен помещик Тульчинов, принявший в свой дом подкинутого младенца, имеет «некрасовский» отпечаток.

Из прямых указаний Панаевой на главы, принадлежащие ей в «Трех странах света», известно еще одно — письмо к М. Л. Огаревой от 21 января 1849 г.: «Скажи С <оркату>, что „Историю мещанина Душникова" в романе „Три страны света" я душевно ему посвятила» (Черняк, с. 338; цитируемое письмо ошибочно датировано здесь 1848 г.). Предполагать, что Панаева посвятила своему приятелю, С. М. Воробьеву, текст, ей не принадлежащий, нет оснований, тем более что она перепечатала его особо — в сборнике «Для легкого чтения» под своим псевдонимом. Впрочем, Панаевой здесь скорее всего принадлежит лишь письмо Душникова (об авторском участии Некрасова в главе III части третьей см. ниже, с. 334).

Сопоставление «Трех стран света» с произведениями, созданными Панаевой ранее, не выявляет ярко выраженного сюжетного сходства. Можно указать лишь на самые отдаленные соответствия некоторых героев и ситуаций. Так, в «Семействе Тальниковых» (1847) гувернантка наружностью и характером несколько напоминает девицу Кривоногову в «Трех странах света». Есть сходство в манере держаться между другой героиней той же повести — маменькой — и Сарой Бранчевской. Бабушка рассказчицы — жена бедного музыканта, похожа на бабушку Лизы. Сама рассказчица в наружности и поведении имеет нечто общее с Лизой. Отношения робкого Якова Михайловича и сестры рассказчицы Софьи отчасти напоминают роман Душникова и Лизы, а сцена прощания рассказчицы с ее братом Мишей в некоторых подробностях сходна со сценой прощания Полиньки и Каютина. Героиня рассказа «Неосторожное слово» (1848) неожиданно оказывается в карете с мужчиной; в рассказе «Безобразный муж» (1848) богатый старик уродливой наружности склоняет к супружеству бедную молодую девушку — ситуации, варьирующиеся в «Трех странах света». Отмеченные соответствия, однако, имеют слишком общий характер,

слишком немногочисленны, чтобы основывать на них гипотезы о существенном авторском вкладе Панаевой.

Из реалий, отразившихся в романе, с жизненным опытом Панаевой могли быть связаны поездка в Казанскую губернию и заграничное путешествие, а также летний отдых в пригородах Петербурга. К 1848 г. из двух соавторов лишь Панаева (с мужем) побывала в Париже,— поэтому можно предполагать, что в детальном описании толпы участников маскарада перед зданием Большой Оперы (часть седьмая, глава VII) отразились личные впечатления писавшего. Тем не менее о принадлежности этого текста Панаевой с полной уверенностью говорить не приходится, ибо незадолго до этого тот же маскарад, с теми же подробностями, был описан в «Парижских увеселениях» И. И. Панаева (см.: ПСб, с. 251—252), и Некрасов вполне мог воспользоваться этим источником. Следует отметить также, что в Казанской губернии летом 1846 г. супруги Панаевы были вместе с Некрасовым, да и вообще круг жизненных впечатлений Некрасова и Панаевой в середине 1840-х гг. во многом сходен.

Само собой разумеется, что Некрасов, инициатор романа и несравненно более опытный автор, изначально взял на себя бо́льшую часть работы. При этом главы, предназначенные Панаевой, должны были позволять параллельную работу, т. е. быть относительно обособленными от текстов, над которыми работал Некрасов. Но в романе таких глав немного.

При отсутствии документальных источников бесспорные выводы относительно авторской принадлежности текстов исключаются. Однако предположительная атрибуция — на основании косвенных признаков, указывающих на принадлежность одному и тому же автору отдельных глав и — соответственно — определенных сюжетных линий, сцепляющих целый ряд глав, по-видимому, возможна.

В сюжетных линиях каждого из героев, играющих важную роль в романе, прослеживаются некрасовские мотивы.

Линия горбуна (первая подглавка «Пролога»;[1] часть первая, главы IV, VI; часть вторая, главы I—III, VI, VII; часть третья, глава V; часть четвертая, глава IX; часть шестая, главы VI, X; часть седьмая, главы I—IX, XI) соединяет в себе два сюжета — преследование Полиньки и разорение Кирпичова. Оба сюжета, как уже отмечалось в литературе (см.: ПСС, т. V, с. 612), ранее были развиты в некрасовском «Ростовщике» (1841) — рассказе, в котором старик ростовщик домогается бли-

[1] О возможной авторской принадлежности этого текста Панаевой см. выше, с. 310, 330.

зости молодой и беззащитной особы и, сам того не подозревая, разоряет и доводит до гибели собственного сына. Варианты последнего мотива — сын не узнает матери, сын и дочь не узнают отца — встречаются в «Повести о бедном Климе» и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 50—55, 279—280). Этими аналогиями сходство не ограничивается (ср. рассказ Кривоноговой о том, как она выжила умиравшего жильца-бедняка (часть вторая, глава I), сцену западни (там же, глава III; часть третья, глава V), а также сцену столкновения румяного кавалера с неловким прохожим (часть первая, глава V) с соответствующими эпизодами названных выше произведений). Указывалось и на сходство между умирающим купцом Назаровым и героем стихотворения «Секрет» (1846) (см.: ПСС, т. VII, с. 830).

Главы, повествующие о Кирпичове (часть первая, глава V; часть вторая, главы IV—VI; часть шестая, главы I—IV; часть седьмая, глава X), несомненно принадлежат Некрасову, до тонкости знавшему мир петербургской книжной торговли (см.: ПСС, т. VII, с. 830). О Некрасове как авторе говорят и сюжетные переклички. Так, в главе V части первой встречаются персонажи, реалии, ситуации, перешедшие из «Жизни и похождений Тихона Тростникова»: немка, владелица дамского магазина (ср. также стихотворение «Убогая и нарядная» (1857) — наст. изд., т. II, с. 39); кавалер, пытающийся очаровать девицу стихами, написанными другим (см.: наст. изд., т. VIII, с. 134—135, 148—149). В главе X части седьмой фигурирует излюбленный персонаж позднейших некрасовских стихотворений — ванька с измученной клячей (например, «О погоде» (1858—1865)) (см.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 137, 152).

Главы, в которых прочерчена сюжетная линия Полиньки (часть четвертая, главы III, VIII; часть шестая, главы VII—IX), вводят в мир ранней некрасовской прозы. Здесь и петербургские углы, и уличный музыкант, и старуха старьевщица. Здесь же и беспрецедентное в русской литературе по своей жесткой реалистичности описание крестьянской семьи. Наблюдается явное сходство между Дарьей (в молодости) и Матильдой («Жизнь и похождения Тихона Тростникова»): и та и другая сироты, превратившиеся по воле своих опекунш в содержанок; обе прогоняют стариков, которым они достались; обе влюбляются в бедных молодых людей свободной профессии. Есть сходство и между историями Полинькиной матери, Кати, и Александрины из рассказа Некрасова «Жизнь Александры Ивановны» (1841): девушка из бедной семьи становится любовницей молодого аристократа и, брошенная им, умирает от нужды и горя. Кроме того, Александрина оказывается незаконной дочерью графини. Отголосок этого мотива мы на-

ходим и в сюжетной линии Полиньки: Бранчевская подозревает, что Полинька ее незаконнорожденная дочь.

В главах, посвященных Тульчинову (вторая подглавка «Пролога»; часть третья, глава VI; часть четвертая, главы I, II; часть шестая, глава X), особенное значение для атрибуции Некрасову имеют эпизоды главы I части четвертой: рассказ молодого человека, напоминающего своим обликом и суждениями отчасти Белинского, отчасти самого Некрасова (см.: ПСС, т. VII, с. 830), о страхе перед голодом, сохранившемся с юности; изображение голодного мальчика, которого праздные господа угощают ветчиной с сахаром,— сюжеты типично некрасовские. Существенно и то обстоятельство, что образ Тульчинова напоминает тип «новейшего Фальстафа» из стихотворения «Признания труженика» (1854).

В сюжетной линии башмачника Карла Иваныча, проходящей через многие главы романа (часть первая, главы III, VII; часть вторая, главы II, VII; часть третья, глава VI; часть четвертая, главы I—IV; часть шестая, глава V; часть восьмая, главы V, VIII), важно отметить главы I и II части четвертой, где явственно слышатся отголоски ранней биографии Некрасова и мотивы его позднейших произведений (о главе I см. выше; в главе II примечательно описание детского труда (ср. «Плач детей» (1860 и сцены в мастерской басонщика)).

Из глав, относящихся преимущественно к Каютину, бесспорно принадлежат Некрасову те, в которых описано его путешествие по трем частям света. К ним следует добавить главы VII и VIII части восьмой и «Заключение». Глава VII включает в себя пространный киргизский эпизод странствований Каютина, а в следующей главе появляются Полинька, рябая Дарья, башмачник, квартирные хозяева Доможиров и Кривоногова — герои ряда других глав, атрибутированных Некрасову (см. выше). В «Заключении» фигурирует Антип Хребтов, который изображен в главах, описывающих путешествие Каютина и, следовательно, принадлежащих Некрасову. Здесь же содержится обещание написать особый роман, излагающий историю Антипа Хребтова. Такое обещание мог дать только Некрасов, ибо Панаева деревенской жизни почти не знала и народного романа обещать не могла.

Ряд деталей, встречающихся в других главах, в которых действует Каютин (часть первая, главы I, II; часть восьмая, глава У), также указывают на авторское участие Некрасова. Главы I и II части первой содержат эпизоды, перекликающиеся с некрасовской биографией (см.: *Пыпин А. Н.* Некрасов. СПб., 1905, с. 212). В описании места действия — Струнникова переулка — отмечаются топонимические особенности, восходящие к впечатлениям молодости Некрасова. В главе II обращает на себя внимание реплика

Каютина: «Недаром говорят <...> что отечество наше велико и обильно». Это же выражение употребляется в «Примечании для гг. цензоров „Современника" к роману „Три страны света"», где Некрасов напоминает «ту часто повторяемую истину, что отечество наше велико, обильно и разнообразно». В «Примечании» говорится также о «терпеливом и добросовестном труде», приводящем к «прочному благосостоянию» (ПСС, т. XII, с. 40). Близкую к этому мысль высказывает и Каютин: «...решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда».

В ряду глав, посвященных Граблину (часть шестая, главы I—V; часть восьмая, главы II—IV, VI и IX), безусловно принадлежат Некрасову первые четыре главы части шестой, в которых представлен книжный магазин Кирпичова. В части восьмой изображен хорошо знакомый Некрасову захолустный Семеновский полк. Здесь же встречаются фигуры и эпизоды из ранних произведений Некрасова. Сочинитель прошений Головач имеет своего предшественника в лице Калины Павловича из «Жизни и похождений Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 270—274); этим же именем и отчеством наделен и «градской акушер и кавалер» из некрасовской «Хроники петербургского жителя» (1844) (см.: ПСС, т. V, с. 385). Эпизод встречи Граблина с нищей старухой, которой он пишет прошение, ее рассказ об умершем сыне, вызвавший у героя внезапную тревогу, варьируют соответствующую зарисовку в «Повести о бедном Климе» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 51—55). Рассказ о несостоявшемся самоубийстве Егорушки соответствует аналогичной сцене в рассказе «Двадцать пять рублей» (1843) (см.: наст. изд., т. VII, с. 122—123). Наконец, сцена поимки вора на Сенной площади предвосхищает сюжет некрасовского стихотворения «Вор» (1850) см.: ПСС, т. VII, с. 840).

В главе III части третьей (см. о ней выше, с. 330) допустимо предположить частичное авторское участие Некрасова. Оно представляется вероятным в рассказе Данкова о Душникове. Сын мещанина, пристрастившийся к живописи и учившийся тайком от отца в церкви у старого живописца, пишет портрет, которому отдает все силы своей неутоленной любви. Элементы этой сюжетной схемы присутствуют и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова»: дочь крепостного Параша, прирожденная художница, тайно от отца берет уроки у старого художника, с болезненной страстью пишет портрет своей умершей матери; ее брат, отданный в учение к иконописцу, становится художником (см.: наст. изд., т. VIII, с. 221—228). Некрасовым написаны и эпизоды, обрамляющие (в пределах главы) «Историю мещанина Душникова» и связанные с рассказом о странствованиях Каютина.

Приведенные соображения позволяют предполагать, что подавляющее большинство глав романа, в том числе и по линии «интриги и вообще любовной части романа», принадлежит Некрасову.[1]

7

Рассчитанный прежде всего на читательский интерес к занимательной беллетристике и на малоразвитые литературные вкусы, роман пользовался успехом у молодежи.

В январе 1851 г. Н. А. Добролюбов — в те годы еще подросток — записал в своем дневнике: «Этот прекрасный роман я уж читал, но снова перечитал некоторые места».[2] Особенно понравилась Добролюбову часть шестая.[3]

В ряду любимых книг своего детства называет «Три страны света» известный педагог В. П. Острогорский: «Были тут и Пушкин, и Гоголь, и баллады Жуковского, и „Таинственный монах“ Зотова, и „Два брата“ Загоскина, и „Избранный немецкий театр“ Шишкова, и „Три страны света“, и „Гернани“ Гюго, и „Преступление“ Мюльнера <...> и „Король Энцио“ Раупаха».[4]

О том, как был воспринят роман в читательской массе, можно судить по воспоминаниям Панаевой: «В редакции было получено много писем от иногородних подписчиков с благодарностями за „Три страны света“, но получались и такие письма, в которых редакции предлагали роман, написанный десятью авторами, под названием „В пяти частях света“, и писали, „что этот роман будет не чета вашему мизерному, бездарнейшему роману“» (Панаева, с. 176).

В кругу литераторов, сотрудников «Современника», роман подвергся взыскательной критике.

Краткий отзыв о первой части «Трех стран света» содержится в письме Н. П. Огарева к Н. А. Тучковой от 2—3 января 1849 г.: «Я вам скажу несколько слов о романе Некрасова и Студницкого <так!> (ведь он писан ими вдвоем). Я прочел несколько глав. Канва великолепна. Но слишком много скучного. Бесконечные подробности и больше подробностей описательных, чем относящихся к характерам. Действие живее, чем действующие лица, и подробнее

---

[1] Подробнее об этом см.: *Бессонов Б. Л.* Об авторской принадлежности романа «Три страны света».— Некр. сб., VI, с. 111—129.

[2] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. Горький, 1961, с. 75.

[3] Там же.

[4] Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник, ф. В. П. Острогорского, ед. хр. 9450.

разработано. Не знаю, что будет дальше, но то, что я прочел, могло бы быть сокращено наполовину и оттого выиграло бы в энергии. Впрочем, у меня нет веры в роман, который писан a duo <вдвоем>».[1]

Несколько дней спустя, 5 января, Огарев вновь делится впечатлениями о романе. На этот раз он пишет лишь о сцене прощания Каютина с Полинькой: «Боже ты мой! Как это хорошо, друг мой! Как это из сердца и из жизни вырвано! Как это просто, живо! <...> Я заплакал от того, что это так юношески хорошо. <...> Я будто сам был Каютин и любил Полиньку и будто мне было лет 20. Да что ж? Я разве хуже бы мог любить теперь в 35?».[2]

Незадолго до того, как были написаны эти строки, Огарев расстался с Тучковой, и сцена прощания Каютина с Полинькой была созвучна его настроению.

Дневниковые записи А. В. Дружинина сделаны по прочтении двух первых частей романа. «„Три страны света",— писал Дружинин,— спекуляция довольно ловкая, которая может понравиться публике, несмотря на свои недостатки. В этом романе нет ничего своего, все украдено. Начиная с Полиньки, идеальной гризетки (Rigolette), до персиянина, выведенного на сцену с целью описать действие опиума, все взято из модных романов. Вопрос не в том, понравится ли роман публике, а в том, заметит ли она, что все эти лица списаны, очерчены второпях, что происшествия сшиты на живую нитку, что гибель промахов и противоречий встречается на каждом шагу» (ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, ед. хр. 97) (запись от 7 ноября 1848 г.).Дружинин отметил в романе оригинальную тему, но она показалась ему развитой недостаточно: «Кажется мне, что авторы до этого времени упустили из виду одно обстоятельство, до крайности способное придать роману живой и глубокий интерес. Я говорю о странствовании Каютина по России. Это странствование, судя по началу, обрисовано как-то слабо и без той привлекательности, которую так легко ему придать» (там же; запись от 9 ноября).

Панаева приводит в своих воспоминаниях высказывание В. П. Боткина. «Нельзя, любезный друг, нельзя срамить так свой журнал — это балаганство, это унижает литературу»,— будто бы говорил Боткин И. И. Панаеву, имея в виду то обстоятельство, что под романом стоят две подписи. «До этого времени,— поясняет Панаева,— в русской литературе не было примера, чтобы роман писался вдвоем» (Панаева, с. 175). Коллективное авторство было

---

[1] Русские Пропилеи, т. 4. М., 1917, с. 61, 66 (пер. с франц.).
[2] Там же, с. 73.

в те годы, действительно, редкостью, хотя в 1845—1847 гг. в «Библиотеке для чтения» печатался с перерывами роман Ф. В. Булгарина и Н. А. Полевого «Счастье лучше богатырства». Весьма возможно, что Боткин, подобно Огареву, не признавал совместного творчества.

В дальнейшем, вспоминает Панаева, Боткин «изменил свое мнение и с участием осведомлялся о ходе <...> работы» (Панаева, с. 176). Это свидетельство не вызывает доверия уже потому, что перемена в отзывах Боткина связывается мемуаристкой с читательским успехом романа. Боткин был не из тех критиков, которые изменяют свои мнения под влиянием отзывов публики. Кроме того, осведомляться о «ходе работы» в связи с читательским успехом невозможно было и потому, что авторская работа была завершена до появления романа в печати. Наконец, Боткин приехал в Петербург лишь в январе-феврале 1849 г., когда уже была напечатана первая часть романа (не имевшая ожидаемого успеха у публики). В это время он действительно посещал Панаевых и, надо полагать, высказывал свои суждения о романе — какие, остается покамест невыясненным.

Первоначальные печатные отклики на роман имели характер реплик и принадлежали редакторам литературных журналов.

Редактор «Москвитянина» М. П. Погодин усматривал в «Трех странах света» худший образец «натуральной школы»: «...г. Некрасов, вместе с г. Станицким, начинает повесть „Три страны света“ описанием женщины в родах. Пощадите, господа натуралисты! Младенца подкинули. Кто-то пошел смотреть его: он лежал красный и сморщенный. Пощадите, господа натуралисты!» (М, 1848, т. 6, с. 185).

Редактор «Сына отечества» К. П. Масальский, не сказав ничего о романе по существу, сделал двусмысленное замечание о взаимных отношениях авторов: «Не скоро исходишь три страны света. Блуждать вдвоем авторам не так скучно» (СО, 1849, № 3, «Смесь», с. 34).

То обстоятельство, что соавтором Некрасова выступала дама, накладывало отпечаток на суждения некоторых осведомленных критиков. Редактор «Северного обозрения» В. В. Дерикер, не называя Панаеву по фамилии, раскрывал «женскую» тайну ее псевдонима: «Видимое присутствие в некоторых местах и женского пера заставляет предполагать, что имя Н. Н. Станицкого — псевдоним, под которым скрывается новая русская писательница, явление отрадное и приятное на широкой улице нашей литературы. От души желаем, чтобы и на дальнейшей прогулке башмачки прекрасной знакомой незнакомки сохранили художественную чистоту и пре-

лесть».[1] Собственно о романе в рецензии говорилось: «Роман „Три страны света" читается весьма легко, занимателен, представляет верные очерки характеров, ловкую интригу и искусную живопись». В эпизодах, изображающих северную окраину России, критик с удовлетворением отметил материалы из «описаний очевидцев-путешественников».[2]

Предварительную характеристику романа (части первая—третья) дали «Отечественные записки». Автор отзыва — Аполлон Григорьев — отмечал в романе «легкий разговорный язык и занимательность внешних происшествий» и особо выделял две главы — «История мещанина Душникова» и «Деревенская скука», считая их лучшими и противопоставляя их главам, написанным во вкусе «новейших французских романов» (ОЗ, 1849, № 1, отд. V, с. 35).

Тот же автор — год спустя — выступил с развернутой оценкой издания 1849 г. Григорьев особо отметил главы, изображающие путешествие Каютина по Новой Земле: «Похождения героев здесь и проще, и имеют более смысла,— может быть, оттого, что многие здесь описания заимствованы из других книг...». И вообще в романе, по мнению критика, заметны «задатки чего-то хорошего и талантливого».

В целом же роман Некрасова и Станицкого квалифицировался Григорьевым как произведение, профанирующее высокие задачи литературы. «Не ложная или чудовищная мысль,— писал Григорьев,— но ложный и чудовищный вкус породил это произведение; он же дал ему и минутный успех, вследствие которого на изумленных смелостью читателей хлынул целый поток сказок, одна другой бессвязнее и нелепее, сказок, по большей части повторявших одна другую, употреблявших всегда одинакие и одинаково верные средства успеха, которого основы не делают чести ни вкусу читателей, ни совестливости производителей <...> Главное здесь — не лица, не образы, а пестрая канва романа, занимательная для праздного и грубого любопытства, утомительная для всякого, кто способен к наслаждению чем-нибудь повыше» (ОЗ, 1850, № 1, отд. V, с. 20—21).

Роман Некрасова и Панаевой дал Григорьеву повод выступить с резкой критикой новейшей французской литературы и ее русских последователей. В «Трех странах света» он увидел повторение «многотомных спекуляций Дюма и компании», Сю и Феваля: «Горбун по прямой линии происходит от одного лица в „Mystères de

[1] Сев. обозр., 1849, т. 1, «Смесь», с. 283. Некрасов перепечатал в «Современнике» этот отзыв, сопроводив его ироническим примечанием (см.: С, 1849, № 9, «Смесь», с. 166; ПСС, т. XII, с. 251).
[2] Сев. обозр., 1849, т. 1, «Смесь», с. 282—283.

Paris" («Парижских тайнах»), а Сара (она же и Клеопатра) носит все признаки родства с одним женским характером в романе Поля Феваля „Le fils du Diable" («Сын дьявола») и с некоторыми другими женщинами-пантерами, львицами, змеями и т. п. образами». Персонажи всех этих романов разделяются, по наблюдению Григорьева, на три разряда: «приторно-идеальные» (в «Трех странах света» — Каютин, Полинька, Карл Иваныч), «нелепо-чудовищные» (Сара, горбун) и «просто грязноватые, без всякого смысла» (Кирпичов, Лукерья Тарасьевна) (там же).

Несколько позднее, в качестве сотрудника «Москвитянина», Григорьев так характеризовал типологию произведений новейшей французской школы и ее русского варианта: «Взять какого-нибудь физического или морального урода, сочинить которого не стоит большого труда, заставить его преследовать неистовой любовью или неистовой враждой несколько бедных невинностей, которые сочиняются так же легко, перепутать эту интригу бесконечными похождениями разных лиц, связанных судьбою с уродом или с невинностями, развести все это водою описаний разных местностей, сладких излияний и проч., и выйдет „Вечный жид", „Мартин Найденыш", „Старый дом",[1] „Мертвое озеро" или „Три страны света"...» (М, 1851, март, кн. 1, с. 77; см. также: июнь, кн. 2, с. 488, окт., кн. 1—2, с. 267—268).

Издание 1851 г. прошло незамеченным. Внимание критики переключилось на другой роман Некрасова и Станицкого — «Мертвое озеро» (1851); лишь однажды, в 1856 г., обозреватель «Сына отечества», упрекая редакцию «Современника» в непоследовательности, упомянул «Три страны света», заметив, что «смертельные приговоры невинному автору бесконечных „мушкетеров", принесенному в жертву требованиям строгого вкуса и искусства», совмещались в журнале с публикацией «бесконечных романов <...> где герои переплывали моря на китах», и что «автор „Забытой деревни" <...> в то же время и автор „Трех стран света"» (СО, 1856, № 2, с. 31—32).

Издание 1872 г. вновь обратило на себя внимание критики. Журнал «Дело» поместил статью П. Н. Ткачева (псевдоним: «Постный») «Неподкрашенная старина», в которой перепечатка «Трех стран света» рассматривалась как угрожающий общественно-литературный симптом. «Началась литературная реставрация <...>,— писал П. Н. Ткачев.— Она вполне соответствует „духу современности". <...> Для этого у нас имеется бесспорное дока-

[1] Первые два романа принадлежат Э. Сю, третий — В. Р. Зотову.

вательство. Г-н Звонарев <издатель романа; см. с. 312> знает этот „дух“ наилучшим образом. Кому же и знать, как не ему?» (Дело, 1872, № 11, с. 7).

Основной тезис статьи заключался в том, что эпоха 1840-х гг., с характерной для нее неразвитостью и отсталостью общественной мысли, не могла не сказаться самым пагубным образом даже в «одном из лучших» романов того времени — «Три страны света» (там же, с. 9).

Отмечая в романе «протест против тогдашних порядков», Ткачев вместе с тем утверждал, что этот протест «не шел далее весьма деликатного указания на мрачные стороны помещичьей власти и бессмыслие помещичьего времяпрепровождения <...> на самодурство богачей, развращенных крепостным правом, вроде Добротина, Кирпичова, на бедность и страдания „честных тружеников“, вроде Граблина, дяди Полиньки, матери ее, ее самой, Душникова и т. п.» (там же, с. 11).

Главная мысль романа формулировалась в статье так: «... „чистая любовь“ все преодолевает и над всем торжествует; она дает силу и капитал приобрести, и невинность сохранить; она украшает человека в борьбе с жизнью и ведет его, в конце концов, к высшему земному счастью — счастливому браку и богатству». Авторы выступали перед читателями прежде всего в роли утешителей, «возвышая в их собственных глазах ценность того единственного богатства, которым они обладали,— способности трудиться». Такого рода оптимизм «извращал протест; преувеличивая значение личных добродетелей человека, он тем самым низводил почти к нулю значение общих условий жизни» (там же, с. 22, 11, 12).

Поскольку русская действительность 1840-х гг., развивал свою мысль Ткачев, абсолютно исключала торжество добродетели и наказание порока, авторы «Трех стран света» по необходимости должны были обратиться к фантастическому вымыслу, «уснащая» роман «„неожиданными встречами“, неправдоподобными „превращениями“, эффектными „столкновениями“, чудодейственными „спасениями“ и тому подобными театральными вычурами и прикрасами». Отсюда же и психологическая неубедительность характеров: «Каждая фигура воплощает в себе одну, две, три каких-нибудь идеи, и этим воплощением исчерпывается ее роль», так что «любой лубочный романист, вроде вечной памяти Булгарина или Зотова, не сочинит ничего глупее и бестолковее» (там же, с. 13, 21, 18).

Проблески литературного таланта Ткачев видел в романе лишь там, где авторам доводилось «срисовывать» те «простые, обыденные личности», которые «случайно стояли в узком районе авторских наблюдений». Аналогичным образом оценивал Ткачев и главы,

изображающие окраины русского государства: «Очевидно, что он <автор> делает выписки из какого-то старого заброшенного путешествия; но скомпилированное путешествие может ли произвести эффект художественной картины?» (там же, с. 26—27, 15).

В заключение статьи Ткачев ставил вопрос, на который не давал ответа, предлагая сделать это читателям: «Когда этот человек говорит искренно: тогда ли, когда решает вопрос, „кому на Руси жить хорошо", или тогда, когда в сотрудничестве с г. Станицким пишет „Три страны света"?» (там же, с. 29).

Статья Ткачева вызвала полемический отклик В. П. Буренина. Полным непониманием того, «ради чего написан был в свое время роман», объяснял Буренин самый факт подробного и придирчивого разбора «Трех стран света» на страницах журнала «Дело». Буренин соглашался с Ткачевым в том, что «романические эффекты» в романе «пошлы, избиты, неправдоподобны», что «картины <...> малеванные, вывесочные» и «внутренний замысел романа беден». Но, пояснял критик, все это имело «вынужденный характер» и «объяснялось особыми целями» авторов и «особенными обстоятельствами» создания романа, а именно тем, что «такие романы писались нарочно для чтения массы», так как в те годы «более тонким искусством, менее декоративной живописью масса не могла бы завлечься»: она нуждалась в «грубых и банальных эффектах», требовала «чисто внешней интересности содержания», признавала только «прописную мораль и прописные тенденции». Своим романом, рассчитанным на «материальную поддержку в публике», Некрасов «в свое время поддержал интерес к „Современнику"» (СПбВ, 1872, 23 дек., № 352).

В рамках своей задачи авторы, полагал Буренин, обнаруживают «полное понимание беллетристического дела», «имеют достаточный запас фантазии», «владеют рассказом», знают «те пределы, до которых следует доводить банальные эффекты».

Переиздание романа Буренин считал ошибкой, но отводил упрек от Некрасова, предъявляя претензию лишь к Панаевой: «Может быть, г. Некрасов вовсе не желал видеть новое издание своего забытого произведения, но был принужден согласиться на таковое ввиду желания г. Станицкого» (там же).

С. 6.* *...старше только двумя месяцами Оли исправниковой...*— Исправник — начальник уездной полиции.

С. 7. *...ломбардные билеты возила с собою...*— Ломбардный билет — квитанция, выданная в счет денег, помещенных на хране-

* Здесь и ниже указаны страницы первой книги т. IX наст. изд. При отсылках ко второй книге тома страницы обозначены курсивом.

ние в ломбард при Приказе общественного призрения (см. примеч. к с. 63).

С. 12. *...кабалистические знаки в каком-нибудь волшебном замке.*— Распространенный мотив «готического» романа. Кабалистика — здесь: чародейство.

С. 13. *...с длинной фалбалой...*— Фалбала — оборка.

С. 15. *— Тубо, Фингал!* — Команда, означающая: «Стой!», «Не тронь!», «Спокойно!».

С. 18. *...голландский диван, с которого, неизвестно почему, тотчас вскакивали...*— Жесткие, с высокой спинкой диваны голландского гарнитура были в 1840-е гг. принадлежностью небогатых квартир. Модные в петровское время, позднее приобретались по дешевой цене на Щукином дворе (см. примеч. к с. 93).

С. 20. *Катехизис* — основы учения христианской церкви.

С. 21. *...не издавал звуков, похожих на «ко-ман-ву-пор-те-ву» или «бон-жур»...*— «Ко-ман-ву-пор-те-ву» (франц. «Comment vous portez-vous?») — «Как поживаете?»; «Бон-жур» (франц. «Bon jour») — «Добрый день».

С. 21. *...павловское гулянье.* — Воскресное гулянье в парке Павловска, пригорода, связанного с Петербургом Царскосельской железной дорогой.

С. 24. *...на свою Петербургскую сторону...*— Топографические и топонимические подробности, упоминаемые в последующих описаниях (см. примеч. к с. 34, 40), соотносятся с другой частью города — Московской, где Некрасов проживал в начале 1840-х гг.

С. 25. *...темный шерстяной бурнус...*— Бурнус — род верхней женской одежды, стилизованной под арабский плащ; в России вошел в моду в начале 1840-х гг. (см.: *Муллер Н.* Андриенн, берта и епанечка.— Наука и жизнь, 1975, № 4, с. 154).

С. 25. *...завязанный в фуляр.*— Фуляр — шелковый шейный или носовой платок.

С. 29—30. *Недаром говорят* ∽ *что отечество наше велико и обильно!* — Измененная цитата из Летописи Нестора: «...вся земля наша велика и обилна, а наряда в неи нет...» (Летопись Несторова. М., 1824, с. 12). Выражение стало крылатым после того, как вошло в переводе на современный русский язык в «Историю Государства российского» Н. М. Карамзина (т. I, гл. IV; 1-е изд. СПб., 1816), а затем в учебники истории (см., например, известный Некрасову: *Устрялов Н.* Начертание русской истории для учебных заведений. СПб., 1839, с. 6). В ироническом контексте выражение это встречается в письме Некрасова к А. А. Буткевич от 22 сентября 1844 г.: «Отечество наше велико и обильно, и чиновников в нем без меня очень много». Цитируется оно также и в «Примечании для гг. цензоров „Современника“ к роману „Три страны света“» (см.: ПСС, т. XII, с. 40).

С. 34. *В Струнниковом переулке...*— Вымышленное название,— возможно, по фамилии петербургских домовладельцев — купчихи Струнниковой, которой принадлежал дом по Итальянской улице, № 40 (ныне улица Жуковского, № 39) (см.: Нумерация домов в С.-Петербурге... СПб., 1836, с. 101 и 55 доп.), и мещанина Петра Струнникова, владевшего деревянным одноэтажным домом (ср. с. 19) на 4-й линии Семеновского полка, № 50 (ныне Можайская улица, № 43) (см.: Нумерация домов в С.-Петербурге, с. 71, 212). По при-

бытии в Петербург в июле 1838 г. Некрасов часто бывал на квартире Ферморов (см.: *Гамазов М.* К воспоминаниям А. Я. Головачевой.— ИВ, 1889, № 4, с. 255—256), проживавших по Итальянской улице, № 38 (см.: *Нистрем К. М.* Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837, с. 1175), рядом с домом купчихи Струнниковой. В 1840—1842 гг. он жил недалеко от дома Петра Струнникова в Свечном переулке и на Разъезжей улице (см. примеч. к с. 40). К концу 1830 — началу 1840-х гг., однако, указанные дома сменили владельцев.

С. 34. *Переулок приходился почти на краю города...*— См. примеч. к с. 24, 40.

С. 37. *...два горшка месячных роз.*— Т. е. роз, цветущих ежемесячно.

С. 37. *...мещанка Кривоногова...*— Кривоноговы — известная в Петербурге купеческая фамилия. Виноторговец Кривоногов упоминается в «Кому на Руси жить хорошо» (см.: наст. изд., т. V, с. 78).

С. 38.— *А вот что, гер!* — Гер (нем. Herr) — господин.

С. 40. *...для чаю воды приготовила ∽ лучше, чем из канала.*— Подробность, указывающая на то, что прообразом описываемой местности была улица возле канала. В 1839—1842 гг. Некрасов жил возле Лиговского канала по адресам: Лиговский канал, № 28 (квартира Н. А. Полевого в доме А. Ф. Смирдина; ныне Лиговский проспект, № 25) (см.: *Полевой К. А.* Записки. СПб., 1888, с. 428; Вацуро, с. 137; см. также: Нумерация домов в С.-Петербурге..., с. 33 доп.), Свечной переулок, № 17 и Разъезжая улица, № 25 (см.: ПСС, т. XII, с. 60, т. X, с. 35; *Рейсер С. А.* Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957, с. 48, 51).

С. 43. *Зато какой салоп сатантюрковый сшил ей...*— Имеется в виду шелковая ткань «турецкий сатин».

С. 46. *Было около семи часов вечера ∽ на улице становилось темно...*— Художественная вольность. В августе, когда происходит действие романа, в семь часов вечера в Петербурге еще светло.

С. 46—48. *...в одной из главных петербургских улиц. ∽ Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках.*— В Петербурге 1840-х гг. было около десяти библиотек для чтения. Все они находились на Невском проспекте или на прилегающих к нему улицах. Наиболее крупной была библиотека при книжной лавке А. Ф. Смирдина (о Смирдине см. примеч. к с. 136, 136—137, 138, 140), помещавшаяся в доме лютеранской Петропавловской церкви (ныне Невский проспект, № 22) (см.: *Гриц Т., Тренин В., Никитин М.* Словесность и коммерция. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1928; *Смирнов-Сокольский Ник.* Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957). В конце 1830-х гг. Некрасов был абонентом этой библиотеки (см.: ПСС, т. XII, с. 12; ЛН, т. 49—50, кн. 1, с. 200). Ср. также в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова»: «Я пришел в один великолепный магазин с библиотекой для чтения, занимавшей целый этаж на лучшем месте Невского проспекта» (наст. изд., т. VIII, с. 90, 730). Библиотека Смирдина, знакомая и Панаевой (см.: Панаева, с. 215), помещалась во втором этаже трехэтажного дома и имела огромную вывеску (см.: Панорама Невского проспекта. Воспроизведение литографий, исполненных И. и П. Ивановыми по акварелям В. С. Садовникова... Изд. подгот. И. Котельникова. Л., 1974). В 1846 г. она была переведена на Итальянскую улицу, в дом Католической церкви (ныне улица Ра-

кова, № 5), где вскоре сменила владельца — им стал бывший приказчик Смирдина П. И. Крашенинников. На вывеске значилось: «Книжный магазин и библиотека для чтения Крашенинникова и К°» (Иллюстрация, 1847, № 130). Тогда же на Невском проспекте, № 61 (ныне № 56), открылась библиотека для чтения при книжном магазине М. Д. Ольхина (см.: СП, 1846, 28 авг., № 192). Через год Ольхин (см. о нем примеч. к с. 53, 136, 138, 140) разорился и продал библиотеку управляющему Ольхинской (Кайдановской) бумажной фабрикой А. К. Шателену, переместившему фонды библиотеки в декабре 1847 г. в книжный магазин В. П. Печаткина (см.: ЦГИА, ф. 1286, оп. 13, ед. хр. 2110, л. 25—30) на площади Казанского собора, № 3 (ныне Невский проспект, № 25). В те же годы на Невском проспекте находились библиотеки для чтения на немецком, английском и французском языках — А. Я. Исакова (№ 79, ныне № 29), Шмицдорфа (№ 4, ныне № 3), Ю. А. Юнгмейстера (№ 19, ныне № 18) и др.

С. 49. *...в синей сибирке...*— Сибирка — короткий кафтан с перехватом и сборками.

С. 49. *...гордо отвечал артельщик.*— Здесь: особо доверенный служитель (петербургское словоупотребление).

С. 52. *...щедро натерты были фиксатуаром.*— Фиксатуар — помада для приглаживания волос.

С. 53. *...для почтеннейшего нашего Василия Матвеича!* — В имени и отчестве Кирпичова соединены имена известных петербургских книгопродавцев — Василия Петровича Полякова (см. примеч. к с. 139—140, 140, 162) и Матвея Дмитриевича Ольхина.

С. 53. *...к цыганам...*— Имеется в виду хор московских цыган, ежегодно приезжавший в столицу. В холерный 1848 год, события которого отразились в романе (см. примеч. к с. *230*), хор гастролировал в увеселительном заведении Излера в Новой деревне (см.: *Пржецславский О. А.* Беглые очерки (воспоминания).— РС, 1883, авг., с. 507—509).

С. 53. *...к Матрене Кондратьевне...*— Матрена Кондратьевна — примадонна хора московских цыган. Ср. в «Говоруне» (1843—1845): «Я с пляшущей *Матреною* Пустился было в пляс!» (наст. изд., т. I, с. 393).

С. 54. *...то в театре, то у цыган, то на попойке, то у себя банкет задает...*— Сюжетная параллель к истории книготорговца А. И. Иванова, жившего не по средствам и разорившегося (см. о нем: Материалы для истории книжной торговли, с. 24—25). О нем же как об одном из прототипов Кирпичова см. в примеч. к с. 138, 148. Ср. также историю разорения книгопродавца А. А. Плюшара (*Веселовский Н. И.* В. В. Григорьев по его письмам и трудам. 1816—1881. СПб., 1887, с. 64).

С. 56. *Пунш* — крепкий спиртной напиток, приготовляемый из рома с сахаром и кипятком и употребляемый обычно в горячем виде.

С. 58. *По истечении сорока дней...*— Сороковой день — большие поминки по усопшем.

С. 59. *...к имени его Дорофей стали прибавлять: Степаныч, прибавилось прозванье: Назаров.*— Герою присвоены имя, отчество и фамилия купца, торговавшего в Петербурге (см.: Книга адресов всего с.-петербургского купечества... СПб., 1858, с. 163).

С. 59. *...в городе Шумилове...*— Это вымышленное название отнесено в последующем повествовании к У * (Уфимской) губернии (см. примеч. к с. *114, 115*).

С. 60. *...записался в вильманстрандские купцы...*— Вильманстранд — уездный город Выборгской губернии (ныне входит в состав Финляндии под названием Лаппенранта). Вильманстрандский — приписанный к купеческому обществу Вильманстранда.

С. 63. *...и билеты здешнего Приказа...*— Имеются в виду квитанции, которые выдавались в счет денег, принятых на банковское хранение Приказом общественного призрения — учреждением, ведавшим устройством сирот, престарелых, умалишенных и т. п.

С. 66. *...перейдя Аничкин мост ∽ виднелись шляпки, чепчики и наколки.*— В 1840-е гг. на Невском проспекте, за Аничковым мостом, в доме № 71 (ныне № 68), принадлежавшем купцу Ф. А. Лопатину, находилась шляпная фабрика Прюсса (см.: Городской указатель, с. 491). Некрасов, проживавший поблизости с осени 1846 г. (набережная Фонтанки, № 16, ныне № 19; см.: ПСС, т. X, с. 53), часто бывал в доме Лопатина, где снимал квартиру Белинский и где с конца 1846 г. помещались контора редакции «Современника» (см. объявление об открытии конторы — СП, 1846, 8 ноября, № 253) и «Контора агентства и комиссионерства Языкова и К°» (см. примеч. к с. 148). На другом берегу Фонтанки, в доме купчихи Е. П. Медниковой (Невский проспект, № 69, ныне № 66), находились магазины дамских уборов Диля и Лантш (Ляланш) (см.: Городской указатель, с. 491; Цылов, л. 43).

С. 66. *...и пошел в трактир напротив.*— Напротив упомянутой выше шляпной фабрики Прюсса был трактир (Невский проспект, № 42, ныне № 43) (см.: Городской указатель, с. 444).

С. 68. *...за Аничкиным мостом, в доме купчихи Недоверзевой.*— См. примеч. к с. 66.

С. 69. *...пеструю бонбоньерку.*— Бонбоньерка — коробочка для сластей.

С. 69. *...работали мастеровые всех родов...*— Примета домов Ф. А. Лопатина и Е. П. Медниковой (см. примеч. к с. 66). Здесь находились мастерские башмачников, портных и некоторых других ремесленников (см.: Городской указатель, с. 23, 170, 249 и др.). Ср. также описание дома, населенного мастеровыми, в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (наст. изд., т. VIII, с. 98—99).

С. 73. *...у Большого театра.*— Имеется в виду нынешнее здание Оперной студии консерватории (Театральная площадь, № 3).

С. 73. *Он уговорил ее войти в кондитерскую...*— Кондитерская возле Большого театра находилась на Офицерской улице, № 31 (ныне улица Декабристов, № 32) (см.: Цылов, л. 24; Городской указатель, с. 139).

С. 73. *Оршад* — прохладительный напиток, миндальное молоко с водой и сахаром.

С. 73. *...требующий рижского бальзама.*— Рижский бальзам — марка ликера.

С. 74. *...свидетели будут и нас окликнут...*— Окликнуть — здесь: гласно объявить в церкви о предстоящем вступлении в брак.

С. 74. *Когда с тобой — нет меры счастья ∽ И сердце принесут к тебе!..*— Пародия на романсы 1830-х гг. Ср.:

Когда с тобой, тогда ночные мраки
И ветр осенний, дикий вой
Мне кажут милые призра́ки,
Когда с тобой, когда с тобой.

(*Гурьянов И.* Полный новейший песенник, ч. 12. М., 1836, с. 77).

См. также примеч. к с. 151.

С. 76. *...я ее высеку на съезжей!* — Съезжая — управление полицейской части. Телесные наказания женщин в Петербурге 1840-х гг. обычно не применялись.

С. 76. *...я и его выс... жаловаться буду!* — Сокращенное написание «выс...» может в данном случае обозначать «высочество» (титул великого князя).

С. 93. *...продана на Щукин двор...* — Рынок, где торговали подержанными вещами; находился в Чернышевом переулке (см.: Цылов, л. 37), возле нынешнего Апраксина двора.

С. 94. *...с двумя картузами табаку в руках.* — Картуз — здесь: бумажный мешок.

С. 95. *...напевая вальс Вебера...* — По-видимому, богемский вальс из оперы «Волшебный стрелок», входившей в 1830—1840-е гг. в постоянный репертуар петербургского Большого театра.

С. 96. *Вот мчится тройка удалая Вдоль по дороге столбовой!* — Популярная песня 1830—1840-х гг., представляющая собой положенное И. А. Рупиным на музыку стихотворение Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825) (см.: Песни и романсы, с. 336—337, 927—928, 1008, 1070).

С. 99. *Славно! точно в кабриолете.* — Кабриолет — двухколесный экипаж.

С. 106. *...халат... из тармаламы...* — Тармалама — плотная шелковая или полушелковая ткань.

С. 109. *Всего беленькую ассигнацию нашел!»* — Беленькая — здесь: двадцать пять рублей.

С. 110. *Поручик* — военный чин двенадцатого класса.

С. 111. *...а прежде в ней жил какой-то дворянин* ∽ *на другой день и умер.* — Близкий по содержанию эпизод, с упоминанием о Разъезжей улице (расположенной рядом с местностью, которая изображена в романе под вымышленным названием Струнникова переулка,— см. примеч. к с. 34), встречается в устных рассказах Некрасова, сохранившихся в записях А. С. Суворина (см.: ЛН, т. 49—50, кн. 1, с. 201) и С. Н. Кривенко (см. там же, с. 208), а также в «Повести о бедном Климе» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 24—34) и «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см. там же, с. 248—249). Автобиографическое содержание эпизода документами не подтверждается.

С. 118. *И он показал ему целковый.* — Целковый — серебряный рубль.

С. 120. *Хочешь два четвертака?* ∽ *дай три рублика!..* — Имеется в виду три рубля ассигнациями; в переводе на серебро — 85 копеек. Два четвертака — 50 копеек.

С. 125. *...из книги «Странствование Надворного Советника Ефремова* ∽ *Год 1794...»* — К этой книге Некрасов, по-видимому, обращался в работе над главами, изображающими странствования

Каютина (см. переиздание: *Ефремов Филипп.* Десятилетнее странствование. М., 1950).

С. 136. *...книгопродавец, издававший в течение многих лет его сочинения ∽ платил бы чистыми деньгами.*— Намек на А. Ф. Смирдина, субсидировавшего издания ряда маститых литераторов-журналистов. См. письмо В. И. Даля к С. П. Шевыреву от 26 января 1842 г.: «Смирдина съели совсем; любопытно послушать его с часик, как в течение последних лет Полевой, Булгарин, Греч и Сенковский перебрали у него удивительно ловко сотни тысяч и посадили на мель» (РА, 1878, № 5, с. 65). Как писал П. В. Анненков, Смирдин пострадал при издании книги «Живописное путешествие по России», автор которой нарушил контракт, воспользовавшись необразованностью издателя (см.: Анненков, с. 130; мемуарист ошибается, называя автором книги Булгарина, и неточно приводит ее заглавие; книга называлась: Картины России и быт разноплеменных ее народов. Из путешествий П. П. Свиньина, т. 1. СПб., 1839). На издании книг Булгарина — Полного собрания сочинений (из предполагавшихся десяти томов вышло семь — последний в 1844 г.; бо́льшая часть тиража пошла в макулатуру), исторической монографии «Суворов» (СПб., 1843) и неоконченного романа (в соавторстве с Н. А. Полевым) «Счастье лучше богатырства» (1845—1847) разорился также М. Д. Ольхин (см.: ЦГИА, ф. 1286, оп. 13, ед. хр. 2110).

С. 136—137. *...книгопродавец — настоящий двигатель литературы, душа...*— Ср. ироническое замечание Белинского: «Вы помните, как почтеннейший А. Ф. Смирдин, движимый чувством общего блага, со всею откровенностью благородного сердца объявил, что наши журналисты потому не имели успеха, что надеялись на свои познания, таланты и деятельность, а не на живой капитал, который есть душа литературы...» (Белинский, т. I, с. 98). См. также в воспоминаниях П. В. Анненкова о Смирдине: «Честный, простодушный, но без всякого образования, он соблазнился <...> ролью двигателя современной литературы и просвещения» (Анненков, с. 130).

С. 138. *...многие за честь почтут сделать такого человека корреспондентом, комиссионером...*— Крупные петербургские книготорговцы охотно брали на себя обязанности комиссионеров по подписке на периодические издания и по продаже книг. А. Ф. Смирдин был комиссионером Российской академии и Вольного экономического общества, А. И. Иванов (см. о нем примеч. к с. 54, 142) распространял издания того же Общества и «Свод законов Российской империи», М. Д. Ольхин (под фирмой А. А. Ольхиной) — издания Министерства финансов и Главного управления путей сообщения и публичных зданий, П. А. Ратьков — атласы и периодические издания Гидрографического департамента Морского министерства, Ю. А. Юнгмейстер (см. о нем примеч. к с. 46—48) — издания Медико-хирургической академии и Археографической комиссии при Департаменте народного просвещения.

С. 138. *...подарил ему на память первого знакомства свое сочинение «Воспоминание об Адаме и Эве»...*— Намек на изданные М. Д. Ольхиным три первые части «Воспоминаний» Ф. В. Булгарина (СПб., 1846—1847).

С. 139—140. *Жил в Петербурге богатый барин ∽ оставив бо́льшую часть своей библиотеки в залоге.*— Ср. воспоминания Д. В. Гри-

горовича, связывавшего историю подобного рода с именем книготорговца В. П. Полякова: «Быв старшим приказчиком в какой-то книжной лавке, он, закрывая ее вечером, уносил ежедневно по одному тому, выбирая их таким образом, чтобы разрознивать полное собрание сочинений такого-то автора. Так продолжал он долгое время. Хозяин умер. Наследники принялись за оценку библиотеки, которая оказалась разрозненной; лавка пошла с торгов за бесценок. Поляков купил ее, вставил один за другим недостающие томы и пошел торговать с легкой руки» (Григорович, с. 85). Эта версия не подтверждается данными биографии Полякова. Приказчик у И. И. Глазунова до 1837 г. (см.: Материалы для истории книжной торговли, с. 34—35), Поляков открыл собственную торговлю, не причинив ущерба бывшему хозяину, продолжавшему торговать в своем магазине с прежним успехом. Некрасов работал у Полякова в конце 1830 — начале 1840-х гг.

С. 140. *...нанял великолепное помещение ∽ с надписью: «Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках, Кирпичова и Комп.»* — См. примеч. к с. 46—48.

С. 140. *Во все концы огромного нашего государства ∽ на горизонте нашей книжной промышленности...* — Ср. замечание Некрасова о М. Д. Ольхине в рецензии на «Очерки русских нравов» Ф. В. Булгарина (1843): «...книгопродавец, которому передана продажа нового сочинения г. Булгарина, рассылает во все концы русского царства громкое ловко составленное объявление...» (ОЗ, 1843, № 5, отд. VI, с. 27; ПСС, т. IX, с. 91).

С. 140. *Газетные фельетоны и журнальные известия наполнились похвалами новому двигателю литературы.* — Намек на рекламу, которую создавали своим кредиторам и комиссионерам — А. Ф. Смирдину, В. П. Полякову, М. Д. Ольхину — Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. См., например, о Смирдине: «...А. Ф. Смирдин есть настоящий двигатель нашей литературы» (СП, 1840, 4 ноября, № 250; ср.: наст. изд., т. VIII, с. 730). См. также примеч. к с. 136—137.

С. 140. *День открытия магазина ознаменовался великолепным пиром, на котором некоторые литераторы плясали вприсядку...* — См. описание литературного обеда, устроенного 6 ноября 1837 г. купцом В. Г. Жуковым по поводу открытия типографии на имя А. Ф. Воейкова: «Литературная оргия кончилась пляской. Полевой, Кукольник и Яненко пустились вприсядку» (Панаев, с. 81; см. также об этом: *Сахаров И. П.* Записки.— РА, 1873, № 6, стб. 946). Перекличка комментируемого текста с воспоминаниями, написанными значительно позже публикации «Трех стран света», указывает на устный источник сведений Некрасова. Пляшущие вприсядку на этом обеде Полевой, Кукольник и Яненко изображены в карикатуре Н. А. Степанова (см. в кн.: Русский художественный архив, вып. 3—4. СПб., 1892, <л. 16>).

С. 140. *...подхватили Кирпичова на руки и стали качать.* — См. описание банкета, состоявшегося, как вспоминает А. Я. Панаева (со слов неизвестного нам очевидца — скорее всего, И. И. Панаева), в честь издателя «Пантеона» И. П. Песоцкого по случаю выхода первой книжки журнала (речь может идти о «Репертуаре русского и Пантеоне всех европейских театров», печатавшемся с 1843 г. под редакцией В. С. Межевича): «...говорились речи, провозглашались тосты за Песоцкого и качали его на руках» (Панаева,

с. 105—106). Вероятно, об этом же празднестве вспоминает и Д. В. Григорович, который, однако, связывает его со свадьбой Песоцкого (см.: Григорович, с. 80). Некрасов, сотрудничавший в изданиях Песоцкого, по-видимому, был в числе приглашенных.

С. 141. *«Я почитаю себя счастливым ∾ почтеннейший, умнейший, аккуратнейший и деятельнейший Василий Матвеич Кирпичов».*— Ср. воспоминания И. И. Панаева об А. Ф. Воейкове и В. Г. Жукове (см. выше): «Воейков в глаза и за глаза прославлял Жукова, называл его честнейшим, умнейшим, просвещеннейшим русским человеком, твердил ему, что он частичку из своих богатств должен употребить как меценат на пользу литературы и уговорил его дать капитал на заведение типографии, прибавив, что он охотно возьмется, несмотря на свои многочисленные литературные занятия, управлять типографией и блюсти выгоды почтеннейшего Василия Григорьевича» (Панаев, с. 79).

С. 141. *— Милостивый государь! ∾ В ту минуту, когда воздается почесть заслуге, вы смеетесь... вы...*— Ср. воспоминания Д. В. Григоровича о свадьбе И. П. Песоцкого, во время которой В. С. Межевич сделал выговор офицеру, рассмеявшемуся после тоста в честь Н. А. Полевого: «Милостивый государь, в то время как воздается почесть талантам, вы смеетесь — это и дерзко, и неприлично» (Григорович, с. 80).

С. 141. *...торговавший прежде гужами и хомутами ∾ попал в книжную торговлю...*— Ср. биографию книготорговца В. А. Терскова, торговавшего прежде посудой (Материалы для истории книжной торговли, с. 60).

С. 142—143. *Все конверты ∾ были с пятью печатями...*— Имеются в виду письма с денежными вложениями.

С. 147. *...в плисовой поддевке...*— Т. е. из бумажного бархата.

С. 148. *...требовал и еще разных вещей, кроме книг ∾ охотничьи вещи...*— В Петербурге 1840-х гг. было две комиссионерских конторы, известных Некрасову. Книготорговец А. И. Иванов открыл в 1843 г. при своем книжном магазине, где помещалась и контора «Отечественных записок», «Контору агентства», через которую «обещал высылать иногородним все — от булавки до бриллиантового перстня» (Материалы для истории книжной торговли, с. 24—25). Осенью 1846 г. открылась «Контора агентства и комиссионерства Языкова и К°» (см. примеч. к с. 66), в течение нескольких лет ведавшая подпиской на «Современник». Через эту контору — «надежнейшее прибежище авторам» — можно было, «начиная с книги, выписывать все на свете до зубных щеточек» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 3. СПб., 1896, с. 355). Главную роль в конторе играли М. А. Языков, соиздатель некрасовского «Петербургского сборника» (1846), и Н. Н. Тютчев, посредник Панаевой в так называемом «огаревском деле» (см.: Черняк, по указателю). По донесению жандармского офицера начальнику III Отделения, в конторе Языкова происходили собрания литераторов с участием Герцена, Белинского, И. И. Панаева, А. А. Краевского (см.: *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., с. 182). Считается, что в «Трех странах света» (часть шестая, глава IV) описана «история крушения» этой конторы (см.: *Ч<ешихин>-Ветринский.* Из писем Н. А. Некрасова.— В кн.: Огни, т. 1. СПб., 1916, с. 289; *Чуковский К. И.* Комментарии.— В кн.: *Панаева (Головачева) А. Я.* Воспоминания. М., 1956, с. 424). Здесь,

однако, не наблюдается аналогии, поскольку дела конторы шли хорошо до начала 1850-х гг. (см.: *Герцен А. И.* Полн. собр. соч., т. XXII. Под ред. М. К. Лемке. Л., 1925, с. 48; *А. Р.* Былое.— РС, 1901, № 10, с. 148—149; см. также: наст. изд., т. I, с. 430, 692; т. VIII, с. 424—425, 774). В романе, возможно, нашли отражение некоторые курьезные эпизоды из переписки Тютчева и Языкова с иногородними клиентами (ср.: «...поступали просьбы о рекомендации учителей и гувернанток <...> выписывались семена, книги, мануфактурные товары, фортепиано, биллиарды и т. п.» (*А. Р.* Былое, с. 148); см. также наст. том, с. *19—20*).

С. 150—151. ...*Трофим Бешенцов — человек лет сорока* ∾ *По званию он был актер.*— Некрасов наделил своего героя фамилией оперного певца, выступавшего в Ярославском театре 1840-х гг. (см.: *Никулина-Косицкая Л. П.* Записки.— РС, 1878, № 2, с. 304).

С. 151. ...*а напьется — кричит: «Велик Бешенцов! велик!..»* — Ср. в воспоминаниях А. Я. Панаевой о возгласах Н. В. Кукольника в подобных случаях: «Кукольник велик!» (Панаева, с. 62). См. также воспоминания И. И. Панаева, относящиеся к 1839 г., о кутежах трагика П. С. Мочалова с купцами, сопровождавшихся восклицаниями: «Я гений! Я Мочалов!» (Панаев, с. 157). Трагик Бешенцов в романе, подобно Мочалову, кутит с купцами и пишет стихи (см. след. примеч.).

С. 151. ...*Бешенцов помог ему советом и стихами.*— Ср. свидетельство неустановленного мемуариста об аналогичном случае в биографии молодого Некрасова: «Некий купец Адельханов был влюблен в петербургскую немку Курт, которая потребовала у него стихов. Адельханов рассказал об этом Некрасову, и поэт вызвался написать для немки стихи, если Адельханов напоит его кофеем» (ПССт 1927, с. 526). Г. М. Адельханов (Эдельханов) — реальная личность, торговец шелковыми материями и турецкими шалями (см.: Городской указатель, с. 445; Книга адресов всего с.-петербургского купечества..., с. 228). Герой некрасовского романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» также сочиняет стихи по заказу влюбленного купчика по фамилии Курыханов (см.: наст. изд., т. VIII, с. 148, 736). Речь идет, по-видимому, о стихотворении, подобном включенному в настоящий роман (см. с. 74), либо о том же самом стихотворении. Упомянутый выше мемуарист называет другое стихотворение — «Поэзия» (см.: наст. изд., т. I, с. 192, 646), вошедшее в сборник «Мечты и звуки» (1840), но оно слишком серьезно для данного случая. Обращение к возлюбленной со стихами — общая особенность любовного этикета в различных слоях русского общества. Некрасов вспоминает, что ему довелось править любовное стихотворение директора императорских театров А. И. Сабурова (см.: ЛН, т. 48—50, кн. 1, с. 160). Подобный эпизод имел место и в биографии Белинского, направившего своей невесте М. В. Орловой стихи, которые были написаны специально для этого случая его другом поэтом В. И. Красовым (см.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 565; *Красов В. И.* Соч. Архангельск, 1982, с. 43).

С. 152. ...*в коричневом персидском казакине...*— Т. е. в полукафтане без пуговиц, на крючках, со сборками сзади.

С. 154. *Бильярдные герои* ∾ *значительными кушами.*— Речь идет об известных в 1840-х гг. «героях» — например, маркере из трактира В. П. Палкина ярославце С. Тюре, виртуозном бильярдном

игроке. Некрасов упоминает о нем в «Говоруне» (1843), в сцене, изображающей ресторацию Лерхе: «И гений Тюри носится Над каждой головой» (наст. изд., т. I, с. 402, 682). О Тюре вспоминает Панаева, встречавшая его в доме отца, актера Александринского театра Я. М. Брянского (см.: Панаева, с. 28).

С. 154. *Человек, который вечно хохочет* ∾ *но много прошло пощечин.*— Тип Ноздрева из «Мертвых душ» Гоголя.

С. 155. *...компания отправилась в театр. Урываев взял себе коляску.*— Комическая подробность: подразумеваемый здесь Александринский театр находился от места действия, книжного магазина у Казанского собора (см. примеч. к с. 46—48, *6*), в нескольких минутах езды.

С. 155. *...историческая драма «Боярская шапка», переделанная на русские нравы с испанского.*— Намек на псевдонациональный стиль пьес из репертуара Александринского театра 1840-х гг. В вымышленном заглавии драмы, возможно, обыграны названия трагедии Н. В. Кукольника «Боярин Федор Васильевич Басенок» (сезон 1844—1845 гг.) и драм П. Г. Ободовского «Боярское слово, или Ярославские кружевницы» (сезон 1841—1842 и 1842—1843 гг.) и «Русская боярыня XVII столетия» (сезон 1842—1843 гг.) (см.: История русского драматического театра, т. 3. М., 1978, с. 225, 308). Ироническое замечание о переделке «на русские нравы с испанского» близко к отзыву Белинского об упомянутой трагедии Кукольника: «Это тысяча первая попытка на воспроизведение итальянских и испанских страстей и отравлений, но одетых в quasi-русскую речь, в охабень и сарафан» (Белинский, т. IX, с. 35). См. также принадлежащую Белинскому насмешливую характеристику «Русской боярыни XVII столетия» Ободовского: «переложение русской истории на римские нравы, по незнанию русских нравов» (там же, т. VIII, с. 157). Ср. с ироническими рецензиями Некрасова на эту же драму (ЛГ, 1846, 2 янв., № 2) и на трагедию Кукольника (там же, 1844, 13 апр., № 14) (ПСС, т. IX, с. 517—518, 622—631). «Боярская шапка» и ее сочинитель, напоминающий Ободовского, фигурируют и в романе Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 181, 744).

С. 155. *Туда значило теперь: в танцкласс.* ∾ *сплошную стену, возвышавшуюся по другой стороне переулка.*— Приметы городского пейзажа указывают на популярное в Петербурге 1840-х гг. танцевальное заведение (танцкласс) Луизы Графемус-Кессених, помещавшееся в доме Т. В. Тарасовой на набережной Фонтанки, № 103 (см.: Цылов, л. 97; ЛГИА, ф. 841, оп. 1, ед. хр. 163; ныне № 114, Измайловский сад (бывший сад Буфф)). Содержательница танцкласса упоминается в стихотворениях Некрасова «Новости» (1845) и «Прекрасная партия» (1852) (см.: наст. изд., т. I, с. 30, 110, 577). «Физиологическая» характеристика петербургских танцклассов, популярность которых возросла после 1845 г., в период всеобщего увлечения полькой, дана в романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 217—218). О Луизе Кессених см.: СП, 1844, 19 янв., № 14; РС, 1884, № 2, с. 448, а также: Салтыков-Щедрин, т. XI, с. 52; т. XIII, с. 410.

С. 156. *...вплоть до самого буфета* ∾ *Софокла, Сократа и Эврипида, довольно удачно изображенных на потолке.*— Буфет, украшенный изображениями греческих классиков, был кабинетом при бывших владельцах особняка, в котором поместился танцкласс,—

графе Н. Д. Зубове и княгине Е. Н. Вяземской (см.: ЛГИА, ф. 841, оп. 1, ед. хр. 126, л. 337—349).

С. 159. ...*восторженно пела «Черную шаль»...*— Романс А. Н. Верстовского на слова Пушкина, встречающийся в песенниках с 1825 г. (см.: Песни и романсы, с. 166).

С. 162. *Полное собрание сочинений князя Хвощовского, в шести томах, с картинками и чертежами.*— Сочетание титула и фамилии «князь Хвощовский» напоминает о графе Д. И. Хвостове, издавшем к концу жизни собрание своих сочинений в семи томах (СПб., 1828—1834) (картин и чертежей в издании не было). На вечерах у Хвостова бывал И. И. Панаев (см.: *Панаев И. И.* Воспоминания о графе Хвостове.— С, 1860, № 5, отд. II, с. 93—98). Некрасов, возможно, воспользовался его рассказами, изображая неразборчивого издателя сочинений сановных и титулованных литераторов-графоманов. О Хвостове писал и Д. В. Григорович: «Граф Хвостов писал тайно всю жизнь до 75 лет и вдруг брякнул 12 томов in 8^0 страшной гили: тут были и трагедии, и комедии, романы и критические статьи» (ЦГАЛИ, ф. 138, оп. 1, ед. хр. 38, л. 34). Анекдот, рассказанный Григоровичем, изобилует вымышленными подробностями, но он примечателен тем, что принадлежит предполагавшемуся соавтору «Трех стран света» (см. выше, с. 327—328). Издателем (правда, номинальным) сочинений Хвостова был, по утверждению В. П. Бурнашева, книготорговец И. В. Сленин (см.: *Петербургский старожил В. Б. <Бурнашев В. П.>*. Мое знакомство с Воейковым и его пятничные литературные вечера.— РВ, 1871, ноябрь, с 138, а также: *Касьян Касьянов. <Бурнашев В. П.>* Наши чудодеи. СПб., 1875, с. 21). Намек, заключенный в упоминании о «полном собрании сочинений князя Хвощовского», может относиться и к неустановленному издателю «Некоторых забав отдохновений Николая Назарьевича Муравьева, статс-секретаря его императорского величества...» (ч. 1—13. СПб., 1828—1839). Автора многотомных «забав» — статей на всевозможные темы, нередко с картинами и чертежами,— называли «Хвостовым в прозе» (*Петербургский старожил В. Б. <Бурнашев В. П.>* Мое знакомство с Воейковым..., с. 151).

С. 162. ...*«Средство вырощать черные усы и густые черные брови»...*; см. также с. 163: ...*«Средство сохранить навсегда густые волосы и предохранить лицо от морщин до глубокой старости».*— В названии этих и перечисленных ниже книг пародируются заглавия шарлатанских медицинских изданий, весьма многочисленных в 1840-е гг., например: Самое лучшее средство <...> редкие волосы делать густыми, вырощая их на головных плешинах... СПб., 1840. О последней книге, изданной В. П. Поляковым, Некрасов вспомнил в рецензии на «Очерки русских нравов» Ф. В. Булгарина (см.: ОЗ, 1843, № 5, отд. VI, с. 27; ПСС, т. IX, с. 92).

С. 163. ...*Нет более паралича»?* — Ср.: *Д-р Макензи.* Нет более геморроя. СПб., 1846.

С. 163. ...*«Лечение всех болезней физических и нравственных портером и мадерою»?..*— Ср.: Польза от пьянства и как оной достигать должно. СПб., 1839.

С. 163. ...*«Тайна быть здоровым, богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу»?* — Ср.: Нет более несчастья в любви, или Истинный и вернейший ключ к женскому сердцу. СПб., 1847.

С. 166. *...посреди Петропавловской площади, где тогда еще не было парка.*— Петропавловский парк был заложен в 1844 г. (см.: *Столпянский П. Н.* Петропавловская крепость. Старый Петербург. М.-Пг., 1923, с. 47).

С. 168. *...томы Свода законов в старинных переплетах...*— Первое издание «Свода законов Российской империи» вышло в 1832 г., второе — в 1842 г. См. также примеч. к с. 138.

С. 171. *...сбегать в Коломну...*— Коломна — часть Петербурга между Фонтанкой, Невой, Мойкой и Крюковым каналом.

С. 184. *...как только могут говорить одни сидельцы...*— Сиделец — лавочник, торгующий от хозяина. Имеется в виду утрированно-предупредительный тон их обращения с покупателями.

С. 187. *...баба с вальком, странно согнувшаяся в глубине оврага на лаве...*— Лава — мостик для стирки белья.

С. 187. *...и заседатель, едущий на обывательской паре...*— Заседатель — выборная дворянская должность в уездном суде. Обывательская пара — упряжка лошадей, нанятых у местных жителей (так называемая вольная гоньба).

С. 187. *...читывал рассказы о Южной Франции, о Рейне ∾ нашептывают путнику «повесть седой старины».*— Источник цитаты не установлен.

С. 187. *...хор собак всё дружнее и музыкальнее...*— Ср. в «Псовой охоте» (1846): «лай музыкальный» и «Хор так певуч, мелодичен и ровен...» (наст. изд., т. I, с. 49).

С. 187. *...слышался ему рог прапрадеда, положившего основание нищете своего потомка.*— Автобиографический мотив. В семье Некрасовых бытовала легенда о предках, расстроивших огромное состояние.

С. 188. *...определить мальчика в Дворянский полк.*— Дворянский полк — военно-учебное заведение в Петербурге.

С. 188. *Поступить в Дворянский полк возможности не представилось ∾ горячо возблагодарил судьбу.*— Автобиографический эпизод (см.: ПСС, т. XII, с. 11, 21).

С. 191. *Но я не имею чести знать... вашей подорожной...*— Подорожная — документ, дающий право на получение почтовых лошадей.

С. 191. *Дормез* — спальная карета.

С. 191. *Курочки* — здесь: разновидность водяных, или болотных, птиц.

С. 191. *...у портрета генерала Блюхера...*— См. народные картинки, изданные в Москве в 1839 г., к празднованию Бородинской годовщины, с надписями: «Князь Блюхер фон Вальштет, прусский генерал-фельдмаршал» и «Пруской генерал-фельдмаршал и орденов разных государей ковалер Блюхер» (см.: *Ровинский Д.* Русские народные картинки, т. 2. СПб., 1881, с. 252, 261; т. 5, с. 294). Г.-Л. Блюхер (1742—1819) отличился в сражении при Ватерлоо (1815).

С. 191. *...одна картина была здесь ∾ «Наполеон, восстановляющий Францию».*— Редкая народная картинка, выпущенная, повидимому, в 1815 г. и не зарегистрированная в каталогах библиотек и музеев СССР.

С. 192. *...черная с бранденбурами венгерка...*— Венгерка — куртка для верховой езды и охоты, отделанная шнуром,

С. 194. *...мышкинские обыватели...* — Т. е. жители города Мышкина Ярославской губернии.

С. 194. *Серии* — денежные процентные билеты, выпускавшиеся государственным казначейством на определенный срок.

С. 196. *...имел все неблагопристойные качества старинного подьячего...* — Подьячий — служитель (делопроизводитель) в приказных учреждениях.

С. 199. *...достал свою берестовую тавлинку...* — Тавлинка — табакерка.

С. 199—200. *...небольшое озеро, местами заросшее осокой ∾ За озером тянулся лес, возвышались холмы...* — Пейзаж, напоминающий окрестности Грешнева.

С. 200. *Тяжело на свете ∾ То не с кем делить!* — Текст песни в печатных изданиях не обнаружен; возможно, фольклорная запись Некрасова.

С. 201. *...губернский секретарь...* — гражданский чин двенадцатого класса.

С. 201. *Штоф* — старая русская мера жидкости (обычно вина, водки), равная $^1/_8$ или $^1/_{10}$ ведра.

С. 201. *...полугару!* — Полугар — сивуха.

С. 202. *Приехал в село молодчик ∾ лежит безгласен и бездыханен.* — Ср. аналогичный сюжет в стихотворении «Похороны» (1861).

С. 203. *...на колокольне соседнего монастыря протяжно и торжественно зазвонили.* — По наблюдению А. В. Попова, эта подробность указывает на то, что прообразом изображаемой местности были окрестности Грешнева, расположенного поблизости от Бабайского монастыря (см.: *Попов А.* Н. А. Некрасов и Ярославская область.— В кн.: Альманах. Литературно-художественный и краеведческий сборник Ярославской области. М.— Ярославль, 1938, с. 86).

С. 203. *...обещал даром настрочить явочное прошение.* — Явочное прошение — объявление о пропаже или побеге.

С. 211. *Где б ни был он ∾ Ах, тяжела моя верига.* — Источник цитаты не установлен.

С. 212. *...кинулась к балкону.* — Балкон — здесь: крыльцо.

С. 215. *...сделал духовную...* — Т. е. оставил завещание.

С. 218. *Отвергни ненавистных уз Бесплодно-тягостное бремя...* — Ср. вариант позднейшего белового автографа отдельного текста стихотворения: «Постыдных ненавистных уз Отринь насильственное бремя...» (наст. изд., т. I, с. 65, 595). В стихотворении, предназначавшемся для включения в Ст 1856, по-видимому, отразились отношения Некрасова и А. Я. Панаевой.

С. 218. *...пó сердцу союз!* — В позднейшем беловом автографе опущенный по цензурным соображениям эпитет «свободный» восстановлен: «Свободный пó сердцу союз» (наст. изд., т. I, с. 65, 595).

С. 220. *...делает ренонс...* — Ренонс — термин карточной игры, означающий неимение на руках или ошибочный снос масти.

С. 228. *Приходит Максим ∾ в белой куртке и белом фартуке.* — Герой наделен именем повара, принадлежавшего отцу Некрасова (см. письмо А. С. Некрасова детям от 11 декабря 1850 г.— ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 147).

С. 231. — *Энгалычева подай!* — Имеется в виду книга П. Н. Енгалычева «О продолжении человеческой жизни, или Домашний

лечебник, заключающий в себе средства, как достигать здоровой, веселой и глубокой старости, предохранять здоровье надежнейшими средствами и пользовать болезни всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти повсюду перед глазами нашими находящихся», вышедшая в Москве в 1804 г. и выдержавшая семь изданий (последнее в 1867 г.). Князь П. Н. Енгалычев (1789—1829) — переводчик медицинских и нравственно-философских книг.

С. 231—232. — *«При ощущении тяжести в животе* ∾ *«...жару в голове, биении в висках...».*— В «Домашнем лечебнике» Енгалычева этого текста нет.

С. 232. *Вот и Энгалычев пишет* ∾ *пока болезнь совершенно не определится».*— Подобной рекомендации в «Домашнем лечебнике» Енгалычева не содержится.

С. 233.— *Подай Удина.*— Имеется в виду Фр. Уден — автор популярной ветеринарной книги «Наставление о скотских болезнях» (СПб., 1801; 2-е изд. СПб., 1807).

С. 234. *...требует еще медицинскую книгу, известную в доме под именем Пекина...*— Речь идет о книге М. Пекена (М. X. Пеккена) «О сохранении здравия и жизни» (ч. 1—3. 2-е изд. М., 1812).

С. 234. *Шпанская мушка* — нарывный пластырь.

С. 235. *Удин, Пекин и Энгалычев...*— Лечебники Енгалычева, Пеккена и Удена, памятные Некрасову лишь по фамилиям авторов, были, по-видимому, настольными книгами в доме его родителей.

С. 235. *...Ласуков (так звали старика)...*— «Говорящая» фамилия — от слова «ласый», т. е. лакомый до чего-либо (см.: Даль, т. II, с. 238). В сцене «Осенняя скука» (1856) герой именуется Сергеем Сергеичем (см.: наст. изд., т. VI, с. 180): имя и отчество дяди Некрасова, проживавшего в Грешневе.

С. 236. *...Анисья — весьма полная и краснощекая домоправительница...*— Ср. позднейший портрет героини в ремарке к сцене «Осенняя скука», намекающий на ее особое положение в доме старого холостого помещика: «...Анисья, женщина лет тридцати, очень полная, с белой болезненной пухлостью в лице. На плечи ее накинута пунцовая кацавейка, не закрывающая, впрочем, спереди платья, которое висит мешком на ее огромной груди. Голова Анисьи довольно растрепана: в ушах ее огромные серьги, а на висках косички, закрученные к бровям и заколотые шпильками. от которых тянутся цепочки с бронзовыми шариками, дрожащими при малейшем движении. На ее белой и толстой шее два ряда янтарных бус, которые тоже трясутся и дребезжат» (наст. изд., т. VI, с. 180). Ближайшим прототипом Анисьи можно считать Аграфену Федорову — экономку в доме отца Некрасова (см.: *Попов А.* Некрасов и Ярославская область, с. 87; *Чистяков В. Ф.* Старожилы некрасовщины о Некрасовых.— В кн.: Ярославский край. сб. 2. Ярославль, 1930, с. 198, 199).

С. 239. *...Энгалычева, новое издание...*— Имеется в виду шестое издание книги П. Н. Енгалычева «О продолжении человеческой жизни...» (СПб., 1848). См. примеч. к с. 231.

С. 239. *Пошевни* — сани.

С. 241. *...один богатый помещик той губернии* ∾ *его обширные*

планы, один другого остроумнее, общеполезнее.— Прототипом Данкова был Г. М. Толстой (см. об этом выше, с. 321). В 1840 г. Толстой жил в Москве, где встречался у Аксаковых с Гоголем (см.: *Аксаков С. Т.* Собр. соч., т. 3. М., 1956, с. 183). В 1844—1845 гг., проживая в Париже (см.: Панаева, с. 127), он сблизился с К. Марксом (см.: Анненков, с. 291; *Рязанов Д.* Новые данные о русских приятелях Маркса.— В кн.: Летописи марксизма, 1928, кн. 5, с. 147). Осень 1845 г. провел в Петербурге, откуда уехал в свое поместье (см.: *Панаев В. А.* Воспоминания.— PC, 1901, сент. с. 491), находившееся в Казанской губернии. К. Маркс, оспаривая воспоминания П. В. Анненкова, в которых говорилось, что Толстой возвращался в Россию «с намерением продать свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции» (Анненков, с. 291), писал: «Напротив, он сказал мне, что вернется к себе домой для величайшего блага своих собственных крестьян» (Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1979, с. 27). В 1845 г., когда Некрасов познакомился с Толстым, «известным в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника» (Анненков, с. 291), последнему было около сорока лет. Фамилия «Данков», аналогичная фамилии врача, лечившего калмыков, по-видимому, подсказана статьей Ф. Бюлера «Кочующие и оседло живущие в Астраханской губернии инородцы» (ОЗ, 1846, № 8, с. 106), к которой Некрасов обращался в процессе работы над «Тремя странами света» (см. примеч. к с. *200*). К выбору фамилии, возможно, предрасполагало и созвучие ее названию уезда (Данковский уезд Рязанской губернии), где некогда находилось родовое поместье Некрасовых (см.: К некрасовским дням.— Сев. край, 1902, 6 ноября, № 292; Некрасовский сборник. К столетию со дня рождения поэта. Ярославль, 1922, с. 78). По словам В. А. Панаева, Толстой «был тип тогдашних героев высшего круга. Он был не только хорош собою и прекрасного роста, но особенно интересен и был в полном смысле джентльменом...» (*Панаев В. А.* Воспоминания.— PC, 1893, дек., с. 543). Некрасов, И. И. Панаев и А. Я. Панаева гостили у Толстого в его имении Новоспасское Лаишевского уезда Казанской губернии летом 1846 г. Здесь было решено хлопотать о приобретении журнала при материальном участии Толстого (см.: ПСС, т. X, с. 53, 63—64; т. XII, с. 13; Панаева, с. 150, 153—154).

С. 241. *Усадьба Данкова, Новоселки, отличалась красивым местоположением...*— Ср. воспоминания А. Я. Панаевой о «живописных видах» в окрестностях Новоспасского (Панаева, с. 150).

С. 241. *...дом помещика, начатый в огромных размерах, был не достроен...*— В 1846 г. строительство дома Толстого не было завершено, и жилым помещением усадьбы служил «деревянный флигель» (см.: *Н. Котин. <Юшков Н. Ф.> Н. А.* Некрасов.— Свет и тени, 1878, № 5, с. 39). По воспоминаниям Некрасова, хозяин усадьбы поселил его «в бане», где помещался и сам (см.: ПСС, т. XII, с. 13).

С. 242. *...случилось пожить в городе К* ∾ в русской гостинице, единственной в том городе.*— Имеется в виду город с преобладающим нерусским населением,— скорее всего, Казань. Некрасов был проездом в этом городе летом 1846 г. (см. примеч. к с. 241).

С. 243. *...в черном нанковом сарафане...*— Нанка (китайка) — разновидность бумажной ткани.

С. 249. *...и стал развязывать на коленке миткалевый платок.*— Миткалевый платок — платок из ненабивного ситца.

С. 257. *...и дал мне синюю ассигнацию.*— Т. е. пять рублей.

С. 258. *...в очередь тебя упеку...*— Угроза отдать в солдатскую службу.

С. 271. *...широкая С***ская пристань ∾ по крутому и ровному берегу Волги.*— Подразумевается Симбирская пристань. Среди городов среднего и нижнего Поволжья только в Симбирске правая сторона нагорная, левая — долинная (см. ниже: «берег с луговой стороны»). Именно из Симбирска суда достигали Рыбинска (куда направлялись барки Каютина)в одну навигацию. В изображении пристани заметны личные впечатления пишущего. Но в Симбирске Некрасов, насколько известно, не был. По-видимому, под названием С***ской фактически изображается не Симбирская, а Казанская пристань, памятная Некрасову по его недавней поездке в Казань (см. примеч. к с. 241).

С. 271. *Мазуры...*— Точное значение слова в данном употреблении не выяснено. Известное значение «бурлаки» (см.: Словарь русских народных говоров, вып. 17. Л., 1981, с. 299) здесь не подходит, ибо в этом же тексте о бурлаках говорится особо. Скорее всего, слово «мазур» употреблено в значении «водолив», т. е. старший над бурлаками (см.: Даль, т. I, с. 220).

С. 272. *...вытаскивали на берег расшиву...*— Расшива — большое деревянное плоскодонное парусное судно.

С. 273. *— Прощайте, Григорий Матвеич...*— Прототип Данкова — Толстой — именовался Григорием Михайловичем. Примечательна оговорка Некрасова в его позднейшей автобиографии, где Толстой назван Григорием Матвеевичем, как и герой романа (см.: ПСС, т. XII, с. 358).

С. 274. *Данков вверял Каютину весь свой хлеб...*— Г. М. Толстой занимался хлебной торговлей. Некрасов знал о его делах (см.: ПСС, т. X, с. 63).

С. 274. *...принадлежали «временному купцу Каютину»...* Т. е. купцу, оставшемуся в прежнем (дворянском) звании.

С. 277. *...для плавания по Вышневолоцкой системе...*— Искусственный водный путь, соединявший Волгу с Балтийским морем,— важнейший до создания Мариинской водной системы во второй половине XIX в.

С. 286. *...дощечка с надписью: «Сергей Васильич Тульчинов»...*— Фамилия созвучна названию города, связанного с семейными преданиями Некрасовых. В Тульчине находился штаб 2-й армии, в составе которой в 36-м Егерском полку до 1823 г. служил отец Некрасова. Полк квартировал поблизости от Тульчина, в местечке Немиров (см.: *Попов А.* Где и когда родился Некрасов? — ЛН, т. 49—50, кн. 1, с. 607).

С. 297—298. *Под его ногами был крутой берег ∾ как скелет, торчала на обрыве.*— Судя по подробностям пейзажа, изображается местность по петербургско-московской шоссейной дороге в окрестностях реки Тосно.

С. 300. *Я так всё простил и всё забыл...*— Ср. в стихотворении «Когда из мрака заблужденья...» (1845): «Я всё простил и всё забыл» (наст. изд., т. I, с. 34) (см.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 137).

С. 301. *...стрекоза, скакавшая и треливишая...*— В 1840-е гг. слово «стрекоза» по традиции означало «кузнечик».

С. 306. *Халатник* — оборвыш.

С. 308 ...*в ученье к басонщику*...— Басонщик — мастер по изготовлению тесьмы.

С. 310. ...*с грохотом вертятся колеса* ∾ *завертелась, наконец, и самая комната, стук сделался нестерпимым громом*...— Ср. в стихотворении «Плач детей» (1860): «Колесо чугунное вертится, И гудит, и ветром обдает, Голова пылает и кружится, Сердце бьется, всё кругом идет» (наст. изд., т. II, с. 83).

С. 313—314. *Что касается до Тульчинова* ∾ *известно, что и аппетит лучше после доброго дела!* — В образе Тульчинова отразились некоторые черты наружности и особенности характера П. В. Анненкова. Ср.: наст. изд., т. I, с. 132, 618—619.

С. 313. ...*на тиковом халате*...— Тик — полосатая портяная ткань.

С. 318. ...*будкой грозит*...— Угроза сдать полицейскому-будочнику.

С. 327. — *Гут морген! — сказала старуха шарманщику.*— «Гут морген» (от нем. Guten Morgen) — «Доброе утро».

С. 337. ...*на протяжении двадцати девяти верст* ∾ *самое затруднительное место для судоходства в России.*— См. об этом: Штукенберг, с. 390—391.

С. 337. ...*на возвышенных местах Мсты* ∾ *спуск судов прекращается, пока не очистится ход.*— Источник сведений: Штукенберг, с. 395—396.

С. 341. *Ратман* — лицо, возглавлявшее посадскую купеческую управу.

С. 341—342. — *А правда, говорят, будто здесь императрица Екатерина Великая была?* ∾ *села на барку и на ней до самого Питера следовать изволила*...— Екатерина II осматривала Боровицкие пороги в 1787 г. проездом из Москвы в Петербург. В Опеченский посад прибыла в карете 10 июня. На следующий день по дороге в Боровичи в специально построенной галерее возле порога Вяз наблюдала гонку барок, в одной из которых проследовали через три порога князь Потемкин, австрийский посол граф Кобенцль, французский посланник граф де Сегюр и английский — Фиц-Герберт. От пристани Потерпилицы до Петербурга путешествие продолжалось на барках. Лоцманы и гребцы были одеты по этому случаю в зеленые кафтаны с малиновыми отворотами и кушаками; шляпы были повязаны зеленой и малиновой лентами. Кроме генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина (1739—1791) в составе свиты действительно находились обер-шталмейстер Л. А. Нарышкин (1726—1795) и исполнявший должность тверского и новгородского генерал-губернатора генерал-поручик Н. П. Архаров (1742—1814), но не было действительного тайного советника, состоявшего при государственном казначействе, А. А. Саблукова (1749—1828) и не могло быть умершего к этому времени статс-секретаря А. В. Олсуфьева (1721—1784) (см.: Камер-фурьерский церемониальный журнал 1785 года. СПб., 1885, с. 358—365, 367—368; ср.: Судоходный дорожник Европейской России, ч. 2. СПб., 1854, с. CLXXXI—CLXXXVI (отд. I); Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785—1789). СПб., 1865, с. 84). По воспоминаниям тетки Некрасова, Т. С. Алтуфьевой, Н. П. Архаров был родственником прапрабабки Некрасова по женской линии (см.: *Евгеньев В.* Николай Алексеевич Некрасов, с. 5; *Ашукин Н. С.*

Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.— Л., 1935, с. 18, а также рукопись Н. П. Чулкова «Предки Н. А. Некрасова» (ГЛМ, ф. Н. П. Чулкова, п. 55)).

С. 342. *...поярковые...*— т. е. сотканные или сваляпные из поярка (шерсти ярки — овцы).

С. 342. *..на плесе, за Витцами ∾ зовут его Винным Плесом.*— Легендарное сведение. Ср.: «Название Винного Плеса происходит еще со времен Петра Великого; он несколько раз проезжал чрез пороги и всегда приказывал на этом месте подавать себе любимой анисовой водки» (Штукенберг, с. 395).

С. 342. *...не то что в старые годы, а всё-таки поколачиеает.*— Летом 1848 г., когда создавался роман, на Боровицких порогах «бились суда повсеместно» (см. датированную 1850 г. рукопись А. Лобановского «Описание Боровицких порогов», хранящуюся в библиотеке Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, № 7117, л. 17).

С. 342. *Середипорожье* — один из Боровицких порогов, который не препятствовал судоходству (см.: Судоходный дорожник Европейской России, ч. 2, с. 106).

С. 343. *...каково поуправиться тут с баркой ∾ в опасных местах «заплыви» из бревен поделаны ∾ и откинут ее опять на фарватер, на глубину...*— Ср.: Штукенберг, с. 392, 398—399 (с иными сведениями о грузоподъемности (до семи тысяч пудов) барок). См. также: *Пушкарев И.* Статистическое описание Российской империи, т. I, тетр. 1 (Новгородская губерния). СПб., 1844, с. 78.

С. 349. — *Молись вси крещоны!* — Имитация новгородского говора.

С. 349—351. *Рык — один из замечательнейших порогов. ∾ Витцы и Опошня. <...> барка изгибалась как змея <...> Так как иногда на порогах в барке делаются проломы ∾ Они вскакивают на барки с заплывей...*— О гонке барок через пороги (без упоминания о пороге Рык) см.: Штукенберг, с. 392, 394.

С. 351. *Верст из-за пятидесяти сбираются мужики в Рядок, бросая более необходимые занятия для работы на барках.*— См. об этом: *Шт<укенберг> И. Ф.* Вышневолоцкая система.— В кн.: Энциклопедический лексикон, т. XII. СПб., 1838, с. 2668; *Я. Я. Я. <Брант Л. В.>* Деревенские письма (к петербургскому приятелю).— СП, 1846, 26 авг., № 190.

С. 354. *При важнейших порогах ∾ дежурные лоцмана с рабочими и лодками для подания в случае нужды помощи.*— См. об этом: *Я. Я. Я. <Брант Л. В.>* Деревенские письма (к петербургскому приятелю).— СП, 1846, 11 сент., № 203.

С. 356. *Комната была довольно большая ∾ закопченная люстра со стеклышками.*— По-видимому, описан трактир в Боровичах, находившийся на углу Екатерининской (ныне Коммунарная) и Порожской улиц.

С. 356. *...картины, изображающие некоторые сцены из «Душеньки»...*— Повесть в стихах И. Ф. Богдановича «Душенька» (1783) иллюстрировал в 1829—1840 гг. Ф. П. Толстой (отд. изд. в виде альбома: СПб., 1850). Других иллюстраций этой поэмы, перелагающей античный сюжет о любви Психеи и Амура, не обнаружено.

С. 356. *...похождения Женевьевы, королевы Брабантской...*— Женевьева (Геновефа) Брабантская, жена пфальцграфа Зигфрида —

легендарная личность времен Франкского королевства (первая половина VIII в.). Обвиненная по навету в нарушении супружеской верности, была приговорена к смерти, но спасена слугой, которому было поручено ее умертвить. Прожила с сыном шесть лет в пещере в Арденнах, питаясь кореньями, пока наконец не была найдена мужем во время охоты и возвращена домой. Из изданных в России гравюр, иллюстрирующих этот сюжет, известны: «Женевьева, королева Брабантская, приговоренная к смерти» (год и место издания не обозначены; см. экземпляр в фондах Государственного Музея истории искусств им. А. С. Пушкина, инв. № гр-99310); «Genevrève des Bois» (издана в Москве в 1815 г.; см. экземпляр: ГБЛ, отдел истории книги, № И 41525-63); «Королева Женевьева упрашивает своих убийц» (год и место издания не обозначены; там же, № 21832-40).

С. 356. *...полуобнаженную волшебницу, вручающую талисман ∾ мог увеселиться безденежно чтением и самого знаменитого романса...* — Народная картинка, изданная в Москве в 1833 и 1835 гг. и иллюстрирующая стихотворение Пушкина «Талисман» (1827), которое в 1829 г. было положено на музыку Н. С. Титовым, а с начала 1830-х гг. вошло в песенники (см.: Песни и романсы, с. 274—275, 1001; Лубок, ч. I. Русская песня. Сост. и коммент. С. А. Клепикова. М., 1939, с. 130—131 (Бюллетени ГЛМ, вып. 4)).

С. 358. *...осенью прошлой червяк здесь все озимя поедал.* — Действительный факт 1846 г. (см.: Журн. М-ва внутр. дел, 1846, ноябрь, с. 379).

С. 358. *...запомнил, как его прозывают...* — Здесь: забыл (см.: Словарь русских народных говоров, вып. 10. Л., 1974, с. 342).

С. 364. *...на суше таких гор не увидишь ∾ в неделю кругом не объедешь, а иную и в месяц.* — Гиперболический образ.

С. 365. — *А Пахтусов, Петр Кузьмич...* — П. К. Пахтусов (1800—1835), гидрограф, исследователь Новой Земли.

С. 367. *Епанечка* — короткая безрукавная шубейка.

С. 374—375. *Духовная была написана по форме. ∾ Полинька быстро поглядела подпись...* — Полинька узнает фамилию завещателя лишь по подписи; между тем духовное завещание, составленное «по форме», всегда начиналось с фамилии завещателя.

С. 376. *Козье болото* — площадь в Коломне возле Дровяного переулка между набережными реки Пряжки и Екатерингофского канала.

С. 380. *18** года, июля 16 ∾ на палубе «Надежды» — более пятнадцати.* — Об экипаже и снаряжении судов см.: Литке, с. 93, 94, 108, 109, 144, 199; Пахтусов, с. 21—22, 23, 81, 103, 113, 172—173; Зап. Гидрограф. деп. Мор. м-ва, 1842, ч. 1, с. 18. Лодьи (ладьи) — палубные суда, употреблявшиеся для дальних плаваний.

С. 381—382. *...тысячи купеческих кораблей и других судов ∾ Вот тоже картина!* — Описание пристани Соломбалы и ледоплава заимствовано у Литке (с. 99—100, 104—105). Ледоплав (арханг.) — весенний разлив в устье Двины.

С. 382. *...на четвертый день вышли в Северный океан.* — В экспедициях полярных исследователей, записками которых пользовался Некрасов, суда выходили в океан через 6—7 дней пути от Архангельска (см.: Литке, с. 121; Пахтусов, с. 24—25, 104, 168).

С. 382—383. *...в первые дни плавания ∾ доставляло мореходам свежую пищу.* — См.: Литке, с. 116, 121, 122, 147, 244. Весновальский

промысел (арханг.) — весенняя охота на морских животных в Белом море и Северном Ледовитом океане.

С. 383. ...*стадо белуг, числом не менее тысячи ∾ несли на хребтах своих черно-голубых детенышей.*— Ср.: «К вечеру сего числа видели стадо белуг <...> не менее как из 700 рыб, между коими часто видны были матки, несшие на хребтах своих черно-голубого цвета детенышей» (Пахтусов, с. 59; в записках и у Некрасова имеются в виду белухи — см. примеч. к с. 422).

С. 383—384. ...*вся поверхность моря покрывалась разнородными морскими животными ∾ вокруг лодей.*— Аналогичное описание см.: Пахтусов, с. 71.

С. 384. ...*вдруг появилась и начала вертеться около их лодей большая рыба из породы дельфинов ∾ Кажется, можно умереть...*— Ср.: «Все это время плавала около брига большая рыба из рода дельфинов. Она часто выходила на поверхность дышать и всякий раз распространяла в воздухе такое несносное зловоние, что невозможно было остаться на том месте, против которого она показывалась. Стадо таковых рыб, окружавшее судно во время штиля, привело бы его в самое неприятное положение» (Литке, с. 153).

С. 384. *Живут они летом в хворостяных шалашах ∾ — Да семгой больше.*— В описании быта лопарей Некрасов следует Литке (с. 152).

С. 384—386.— *Скажи, пожалуйста, что такое Обдорск? ∾ и потом принялись драться вповалку.*— Сведения о быте и обычаях остяков (хантов) почерпнуты из штурманского дневника И. Н. Иванова, опубликованного А. П. Соколовым (см.: Зап. Гидрограф. деп. Мор. м-ва, 1847, ч. 5, с. 56—57, 82—83, 85—88). Ср., например: «У остяков я видел довольно забавный обычай: неутешная вдова или опечаленный вдовец наряжает чучелу и кладет ее спать вместе с собою; поутру, как будто после умывания, подает этой чучеле утереться; за обедом сажает подле себя и дает ей чашку с кушаньем, ложку и ножик; и подобная комедия длится по муже четыре года, по жене три, хотя бы в это время, позабыв печаль, они сочетались браком с другими» (там же, с. 88). См. также включенные в это описание сведения о самоедах (ненцах): «Должно сказать, что самоеды, к стыду своему, почитают женщин существами низкими, презренными и обращаются с ними как с рабынями <...> Самоедка — самая трудолюбивая, работящая женщина» (Верещагин, с. 275—276).

С. 387. ...*Водохлебов, лоцман «Надежды», плечистый и коренастый мужик лет тридцати.*— О крестьянине Водохлебове, промышлявшем морского зверя возле Новой Земли, см.: Литке, с. 81, а также: Путешествие академика Ивана Лепехина в 1772 году, ч. 4. СПб., 1805, с. 187.

С. 387. *Отлив начинается! ∾ образовалось большое песчаное поле...*— Переложение отрывка из записок Литке (с. 118).

С. 392. *И неописанно оригинальна, полна дикой торжественности была эта картина ∾ собирающих на память раковины и каменья...*— Ср.: «Бриг был в полном вооружении, стоя на песчаном острове, окруженном бурунами, посреди моря, которому во все стороны не видно пределов. Около брига люди в разных положениях: иные, вися на лебедке, осматривают подводную часть судна, другие делают астрономические наблюдения или прохаживаются

беспечно по песчаной площадке, собирая на память ракушки и каменья,— все это внешне составляло необыкновенную картину» (Литке, с. 118—119).

С. 393—394. *Расстояние до ближайшего берега Новой Земли* ∾ *не видно было ничего ни простым глазом, ни в трубу.*— Подобный морской пейзаж см.: Литке, с. 122—124.

С. 394—395. *...отставной матрос Смиренников, бывший вместе с Хребтовым в экспедиции Пахтусова и знавший остров, к которому стремились наши мореходы.*— Об унтер-офицере Смиренникове, который, в бытность крестьянином, два раза зимовал на Новой Земле, см.: Литке, с. 124, 180.

С. 395. *Самые льды, принимавшие беспрестанно новые чудные формы* ∾ *продолжали спокойно спать, не трогаясь.*— Ср. изображение льдин и морских животных: Пахтусов, с. 128, 169; Литке, с. 53, 124, 129.

С. 395. *Уже турпаны (род уток) начали виться около судна* ∾ *огромная поляна льдов.*— Те же детали в рассказе о приближении к Новой Земле см.: Пахтусов, с. 127, 170.

С. 395—396. *«Надежда» принуждена была укрыться* ∾ *к берегу, который был отделен от льда значительной полыньею.*— Ср.: «...через несколько часов напор льда от W усилился, и якорные канаты карбаса подрезало — мы увернулись было за одну большую льдину, но и она недолго нас защищала; другие льдины обошли ее и напирали на баркас со всех сторон. В таком затруднительном положении понесло нас к прибрежному льду, и тут вся сила напора приносимых от запада льдин разразилась над слабым баркасом: он затрещал и через несколько минут треснул вдоль; вода полилась от обоих штевней. Предвидя гибель судна, мы заранее приготовились спасать нужнейшие вещи, и, когда бедствие совершилось, карты наши, журналы и инструменты были уже у меня на руках, значительная часть провизии, ружья, порох и пули вынесены на палубу, но сухарей досталось весьма мало. Через полчаса судно налилось водою до палубы» (Пахтусов, с. 127—128).

С. 397. *...часть ледяной поляны* ∾ *и быстро неслась в море...*— Ср. упоминания о промышленниках, унесенных на льдине в море: Верещагин, с. 208—209; Литке, с. 315; *Соколов Ал.* Заметки о Каспийском море.— Зап. Гидрограф. деп. Мор. м-ва, 1847, ч. 5, с. 145—146.

С. 398. *Он очнулся на берегу, представлявшем картину неописанной дикости и уныния...*— Ср.: «Все вместе представляло картину неописанной дикости и уныния» (Литке, с. 132).

С. 399. *...в старину думали, что там живут люди, умирающие в начале зимы и оживающие весной...*— Ср.: «Даже в 15 столетии верили, что там живут люди, умирающие в начале зимы и оживающие веспою...» (Верещагин, с. 15).

С. 399. *Ужас охватывает душу* ∾ *опередил крестьян многих других губерний.*— Ср.: «Эта далекая страна возбуждает в душе какое-то неотступное чувство ужаса, когда подумаешь о непроходимых и обширных тундрах и лесах, покрывающих Архангельскую губернию, о Ледовитом океане, плещущем в берега ее, об этой суровой природе...» (Верещагин, с. 9). См. там же сравнение пространств Архангельской губернии с территориями Франции и Британских островов (с. 8) и рассуждение об историческом характере поморов (с. 202—203, 236).

С. 400. *...Ледовитый океан, буйно плещущий в берега трех стран света...*— Имеются в виду Европа, Азия и Америка, которые уже по тогдашней географической терминологии принято было называть частями света (в отличие от стран света — севера, юга, запада и востока). Ср.: «Буйно катятся волны Ледовитого океана и плещут в берега трех частей света» (Верещагин, с. 315).

С. 400. *...унылая Лапландия...*— Лапландия — северная часть Скандинавского полуострова и западная — Кольского.

С. 400. *...остров, имеющий форму чудовищной сабли...*— Ср.: «...этот остров имеет форму чудовищной сабли» (Верещагин, с. 316).

С. 400—401. *С давних пор знали его русские люди ∾ была снаряжена на Новую Землю экспедиция под начальством подпоручика Пахтусова...*— Источники сведений: о давнем знакомстве русских с Новой Землей, плавании голландцев и англичан — Верещагин, с. 318—319, 328; о промыслах поморов и об экспедиции Пахтусова (см. примеч. к с. 365), снаряженной частными лицами — купцом В. II. Брантом и лесным инженером П. И. Клоковым в 1832—1833 гг.,— там же, с. 345, 349—350; Зап. Гидрограф. деп. Мор. м-ва, 1842, ч. 1, с. 10, 12. Г. Виллоуби (ок. 1500 — ок. 1554) — английский адмирал, начальник экспедиции по отысканию северо-восточного пути в Китай. В. Баренц (1550—1597) — адмирал голландского флота, участник полярных экспедиций (1594—1597).

С. 401. *...берега Новой Земли не бывают свободны от льдов ранее первых чисел августа...*— См. об этом: Литке, с. 90.

С. 402. *...приняв их не простыми работниками ∾ по-тамошнему — покрученниками.*— Покрученники — «промышленники, служащие своим хозяевам за известную долю промыслов» (Верещагин, с. 204).

С. 402. *...Каютин очутился в самом горестном, почти безнадежном положении.*— Ср. запись Пахтусова о двадцатипятилетнем Николае Крапивине, участнике экспедиции на Новую Землю: «Можно себе представить, в каком затруднительном положении находился Крапивин» (Пахтусов, с. 55).

С. 402. *К морю берег простирался ровною низменностью ∾ вот почти вся растительность острова!* — В описании ландшафта и растительности Новой Земли используются сведения из записок Литке (с. 133, 184, 230) и из очерков Верещагина (с. 323, 327).

С. 402. *Чувство глубокого и невыносимо грустного уединения охватило промышленников ∾ навсегда отделен от всего обитаемого мира...*— Ср.: «Пустота, нас тут окружавшая, превосходит всякое описание. Ни один зверь, ни одна птица не нарушали кладбищенской тишины. К этому месту можно во всей справедливости отнести слова стихотворца:

И мнится, жизни в той стране
От века не бывало.

Чрезвычайная сырость и холод вполне соответствовали такой мертвенности природы. Термометр стоял ниже точки замерзания; мокрый туман проникал, кажется, до костей <...> Оставаясь несколько дней сряду в таком положении, мы начинали уже воображать, что навсегда отделены от обитаемого мира» (Литке, с. 185).

С. 403. *Ночь провели они у разложенного костра ∾ отошли с миром в жизнь вечную.*— О погибших на Новой Земле см.: Пахтусов, с. 98—99, 128—130, 172—174; Литке, с. 226.

С. 404. *...пришли они к небольшому проливу ∾ предал земле тела несчастных своих родственников.*— Ср. аналогичный эпизод: Пахтусов, с. 68—69. Дрег — четырехлапый якорь, кошка.

С. 405. *Кто на море не бывал, тот богу не маливался.*— Ср.: «Справедливо говорит пословица: „Кто на море не бывал, тот богу не маливался"» (Верещагин, с. 241—242). Пословица входила в обиход друзей некрасовской юности (см.: Вацуро, с. 139, 143).

С. 405. *...из широкого Сибирского океана...*— Сибирский океан — вольное географическое обозначение части Северного Ледовитого океана, встречающееся и у Литке (с. 184, 227).

С. 406. *...прежде исчезли турпаны ∾ не могли они промыслить ни одной птицы.*— О птицах в открытом море см.: Пахтусов, с. 99, 170, 178—180.

С. 406. *...надвинуло мелких льдин до шести сажен в вышину...*— Ср.: «...надвинуло до 2 сажен в вышину» (Пахтусов, с. 35).

С. 407. *Ветер выл ∾ о смерти и гибели.*— Ср.: «...ветер поет песни, бесконечные песни, в которых рассказывает страшные истории о смерти, о мраке, о гибели людей» (Верещагин, с. 315).

С. 408. *...вспоминал он свою унылую тундру ∾ можно найти его среди снежной пустыни...*— Источник сведений о Заполярье: Верещагин, с. 37—38, 40—41, 58—60, 62, 80—84, 142. См., например: «...вихрем несется оно <стадо оленей> по обширной пустыне и колеблет тундру своею тяжестью так, что для непривычного странника это колебание кажется действительным землетрясением. Ослепленное страхом, стадо не смотрит на препятствия в беге своем. Встречается ли болото — олени несутся и по нему, не обращая внимания на тех, которые имели несчастье увязнуть в нем; быстрая ли река или озеро пересекают путь — олени, ловкие пловцы, бросаются в воду, по которой быстро плывут тысячи голов с ветвистыми рогами, фыркая и вспенивая воду» (с. 40).

С. 409. *Чуть подует морянка ∾ окружат ее зажженными свечами и закажут панихиду...*— Текст, на который опирается в данном случае повествование Некрасова, ср.: Верещагин, с. 221—223.

С. 410—411. *Написав свою грамотку ∾ так же поступил впоследствии Пахтусов...*— 17 августа 1833 г. Пахтусов на случай возможной гибели оставил на берегу Белужьей губы бутылку с бумагами, заключавшими сведения о Новой Земле (см.: Пахтусов, с. 81, 117).

С. 411. *...быть буре, недаром давеча зверь играл и плескался.*— Об этой примете см.: Пахтусов, с. 71.

С. 412. *...яко благ и человеколюбив!* — Несколько измененное выражение из молитв о прощении грехов (канонический текст: «яко благ и человеколюбец»).

С. 414. *Томительна и страшна была мертвая тишина ∾ с плеском волн и глухим воем моржей.*— Ср.: «Мертвая тишина прерываема была только плеском волн о льды, отдаленным грохотом разрушавшихся льдин и изредка глухим воем моржей. Все вместе составляло нечто унылое и ужасное» (Литке, с. 128).

С. 415—417. *...мимо самого края льдины, плыл огромный белый медведь. ∾ ничто, казалось, не ослабляло свирепого животного.*— Эпизод, возможно, подсказан историей вологодского крестьянина, в будущем известного петербургского ваятеля С. С. Суханова, промышлявшего в молодые годы добычей морского зверя и оказав-

шегося в Белом море на льдине, где, по его рассказам, на него напал белый медведь. Ср.: «Зверь шел прямо на него на задних лапах с раскрытой пастью и ужасным ревом»; Суханов, «оставленный своим товарищем, перекрестясь <...> берет рогатину в руки, с стремлением нападает на неприятеля своего и, к счастью, дает ему глубокую рану в бок. Медведь, увидя текущую кровь, предается бегству (белые медведи совершенно противны нравом черным. Они первые нападают на человека, но при первой ране, и самой легкой, обращаются в бегство...)» (Приключения Суханова, русского природного ваятеля.— ОЗ, 1818, т. I, с. 199). «Помяни мя, господи, егда приидеши, во царствии твоем» — цитата из «Евангелия от Луки» (гл. 23, ст. 42).

С. 418—420. *...стали тихо, осторожно подкрадываться ∾ тогда и вытягивай.*— Описание моржей ср.: Верещагин, с. 346, 347; в нем использованы и сведения Крашенинникова о камчатских тюленях («...будучи разбужены приближением человека, в безмерную приходят робость...») и морских коровах («Тулово <...> к голове и к хвосту у́же...») (Крашенинников, с. 271, 287). По принципу контаминации построен и рассказ об охоте на моржей (ср. о промысле камчатских тюленей у Крашенинникова: «...тюлень <...> с преужасною свирепостью бросался на людей, когда череп его раздроблен уже был на мелкие части <...> сперва, как его из воды вытянули на берег, покушался он токмо убежать в реку; потом, видя, что ему учинить того не можно, начал плакать, а напоследок, как его бить стали, то он остервился помянутым образом <...> должно смотреть, чтоб попасть им в голову, ибо в другом месте не вредят им и двадцать пуль, для того что пуля в жиру застаивается; однако мне удивительно объявление некоторых, будто тюлени, будучи поранены в жирное место, чувствуют некоторую приятность <...> Старые тюлени ревут так, как бы кого рвало, а молодые окают, как от побой люди» — с. 270—271). Об орудиях этой охоты и об одном из ее эпизодов, когда «разъяренный морж схватил за ногу <...> промышленника и увлек его за собою в глубину», ср.: Верещагин, с. 347—348.

С. 420—422. *Подходя к одному заливу ∾ Кожу его едва могли прорубить топором.*— Об охоте на морских коров рассказывается с подробностями, заимствованными из записок Крашенинникова (с. 286—288). Морские коровы водились у берегов Камчатки и к описываемому в романе времени вымерли.

С. 422. *Так как при промысле белух многие рабочие должны действовать по пояс в воде ∾ промышленники наши закололи спицами до семисот белух.*— Промысел белух описан по сообщениям Литке (с. 440).

С. 422—423. *...«По благословению господню, идите, святые ангелы, ко синю морю ∾ отныне и до века. Аминь. Христос воскресе».*— Слегка измененный текст оберега из публикации А. Харитонова «Врачевания, заботы и поверья крестьян Архангельской губернии» (ОЗ, 1848, № 5, «Смесь», с. 16).

С. 423. *Пахтусов первый посетил этот залив. Он назвал его заливом Литке, а острова перед его устьем именами Федор и Александр.*— Переложение текста записок Пахтусова (с. 72).

С. 424. *...мох в пазах между бревнами теплой избы пустил такие длинные, зеленые и сочные отростки, каких и летом не производит почва Новой Земли. <...> Ночи темны ∾ можно читать*

без огня книгу! — Описание жилища зимовщиков ср.: Пахтусов, с. 39—40, 179.

С. 424. *...вчера было только тридцать семь градусов, а сегодня уж с лишком сорок!* — Ср.: Пахтусов, с. 115—116, 200 (с иными сведениями о морозах на Новой Земле).

С. 425. *Малица (оленья одежда) шерстью вниз ∾ потом шерстью вверх...* — Об одежде самоедов см.: Верещагин, с. 278—279.

С. 425—427. *...избушка наших промышленников ∾ не слыхал, чтоб он сказал грустное слово.* — См. о зимовке на Новой Земле в записках Пахтусова (с. 36—40, 46—48, 75, 113—115). Об «иностранном капитане Баренце» см.: Литке, с. 53. Скорбут — цинга.

С. 427. *Время рассказа — с лишком сто лет тому назад.* — Рассказ Антипа Хребтова относится к 1729 г. (см. примеч. к с. 485—487).

С. 427—430. *...между высокими берегами, которых форма удачно определяется названием «щек». ∾ расплодились здесь в бесчисленном множестве.* — О камчатской природе и суевериях местных жителей см.: Крашенинников, с. 104, 142—143, 193, 200—203, 207—208, 210, 211, 216—217, 243, 247, 290—292, 300, 369, 448.

С. 431. *...остановилось у подножия беловатой утесистой горы ∾ самое грешное дело...* — Легенды изложены в соответствии с записками Крашенинникова (с. 142, 411).

С. 431. *Вон, гляди, олень скачет: хочешь, догоню и поймаю?* — Ср. рассказ о камчадале Федоре Харчине: «...он так резво бегал, что мог постигать диких оленей...» (Крашенинников, с. 495).

С. 431. *...супротив ведра пеннику...* — Пенник — водка лучшего сорта.

С. 435. *...гора Опальная...* — Современное наименование, встречающееся и у Крашенинникова (наряду с названием Опальская), — Камбальная сопка.

С. 435—436. *Грянул гром, сверкнула молния — явления редкие в том краю. ∾ Они и сами расписывают свои кухлянки...* — О суевериях камчадалов (ительменов) см.: Крашенинников, с. 204—205. Например: «Когда их спросишь, отчего ветр рождается? ответствуют за истину: от Балакитга <...> Сей Балакитг, по их мнению, имеет кудрявые предолгие волосы, которыми он производит ветры по произволению. Когда он пожелает беспокоить ветром какое место, то качает над ним головой <...> Жена сего камчатского Еоля в отсутствие мужа своего всегда румянится, чтоб при возвращении показаться ему краснейшею. Когда муж ее домой приезжает, тогда она находится в радости; а когда ему заночевать случится, то она печалится и плачет о том, что напрасно румянилась: и оттого бывают пасмурные дни до самого Балакитгова возвращения. Сим образом изъясняют они утреннюю зорю и вечернюю и погоду, которая с тем соединяется...».

С. 436. *Промышленники пришли ∾ лес представлял непроходимую, почти сплошную массу...* — В окрестностях Камбальной сопки растут все названные породы деревьев, за исключением пихты (см.: Крашенинников, с. 199, 224, 226, 227).

С. 436. *...шептал, как во время грома: «Свят, свят».* — Молитвенное присловье — из текста «Свят, свят, свят, господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея...» (из чина «Литургии верных»).

С. 437—438. *Два моря, с трех сторон огибающие мыс ∾ озеро с лесистым берегом, песчаным мысом и островками.* — Камбальная

сопка (см. примеч. к с. 435) расположена на мысу, разделяющем Охотское и Камчатское моря. В описание включены подробности из записок Крашенинникова (с. 142—143).

С. 438. *...примчались большим табуном дикие лошади...*— Диких лошадей на Камчатке не водится.

С. 438—439. *И каких тут не было лисиц ∾ наконец, белые! <...> Вона какой зверок ∾ а пищу держали в передних.*— О лисицах и еврашках (пищухах) см.: Крашенинников, с. 242, 246.

С. 440—441. *А уж такая прожористая ∾ ужас какая забавная!..*— В рассказе о росомахах Некрасов обращается к сведениям Крашенинникова (с. 246—247), который, однако, отмечает: «...оное неправда, будто рассамака так прожорлива, что для облегчения принуждена бывает выдавливать пожранное между развилинами деревьев; ибо примечено, что ручные столько едят, сколько потребно для их сытости. Разве есть прожорливых зверей особливой род» (с. 247).

С. 441. *Тегульчичи ∾ влияние на свою страну.*— Ср. о мышах тегульчичь (тегульчик): Крашенинников, с. 251—252.

С. 442. *В те времена завоевание Камчатки только еще начиналось.*— Первый отряд русских казаков появился на Камчатке в 1697 г.

С. 442—443. *Юкагиры, сидячие и оленные коряки, чукчи, курылы ∾ сопровождали многими другими варварскими истязаниями торжество свое.*— Сопротивление местных жителей завоеванию Камчатки подобным образом описано Крашенинниковым (с. 357—358, 402—403, 448—449, 488—490).

С. 443. *Отбутыскаться* — отбодаться; здесь: отбиться (см.: Словарь русских народных говоров, вып. 3. Л., 1968, с. 317, с пометами: симбир., север., восточ., волог.).

С. 444. *...голос Никиты, затянувшего про буйную волюшку, сгубившую молодца...*— В песенниках 1830—1840-х гг. не обнаружено.

С. 444. *...еще более страшные рассказы ∾ неожиданной помощью.*— Ср. те же детали у Крашенинникова (с. 494—497).

С. 446—447. *...было покрыто лохмотьями из собачьих кож шерстью вверх ∾ Наплясавшись, оно крикнуло повелительным голосом «Аккхалалалай!»...*— Изображение шаманки основано на материалах Крашенинникова (с. 387, 392, 430). Ср., в частности, о заклинаниях шаманок «гушь, гушь» и «хай, хай» и ритуальных возгласах стариков «алхалалалай» (с. 412, 417—418).

С. 451. *Они среднего роста ∾ таково вооружение двух путников.*— Об одежде и снаряжении камчадалов см.: Крашенинников, с. 366, 387, 403—404.

С. 451. *Брыхтатын — значит ∾ дышат огнем.*— Ср.: «Россиян вообще именуют брыхтатын — огненные люди, по причине огненного оружия, не видая прежде и не имея о стрельбе из него понятия, думали, что огонь не из ружья выходит, но что россияне огненное имеют дыхание» (Крашенинников, с. 358—359).

С. 452. *...двух камчадалов, Камака и Чакача...*— Ср. список мужских камчадальских имен: Крашенинников, с. 438.

С. 452. *Камак и Чакач вели оживленный разговор ∾ с странными телодвижениями.*— Ср. об особенностях языка и актерских способностях камчадалов: Крашенинников, с. 361, 372.

С. 452. *Иногда на пути попадались им столбы ∾ дерево всё ис-*

стреляно.— С теми же подробностями о религиозных представлениях и обычаях камчадалов пишет Крашенинников (с. 407—409).

С. 452. *Тропинка была так узка* ∾ *шли свободно.*— Ср.: «Необыкновенному по их тропам ходить крайнее мучение, для того что оные так узки, что одна нога и то прямо не устанавливается, ибо сей народ ступень в ступень ходит» (Крашенинников, с. 404).

С. 452—455. *...будь шатры ниже, звери не дадут покоя жителям.* ∾ *одного младенца непременно умерщвляли.*— Сведения о быте, обычаях, обрядах камчадалов заимствованы у Крашенинникова (с. 366, 368, 376—377, 390, 392—395, 434—438, 440, 443—444).

С. 455. *Признавая Кутху творцом своим* ∾ *чтоб бог заботился о благе их.*— О мифологии камчадалов см.: Крашенинников, с. 406, 408, 409.

С. 455. *...подружиться с Талбаком...*— Имя Талбак среди камчадальских имен, приводимых Крашенинниковым, не значится. Возможно, оно произведено в романе от названия камчатского вулкана Толбачик (ныне Плоский Толбачик).

С. 455. *...жарко истопил свою юрту* ∾ *То была обида кровная...*— Об обычаях гостеприимства у камчадалов см.: Крашенинников, с. 402, 432—433.

С. 455—456. *...раздались дикие крики* ∾ *низвергаются с вершины шатров.*— Изображение камчадальских междоусобных войн восходит к запискам Крашенинникова (с. 402).

С. 460—461. *Он вспомнил любимую песню* ∾ *Эх, сторона ты моя, сторона родимая!;* см. также с. 462: *«Сторона ты, дальная сторонушка...».*— Народная песня, известная в многочисленных вариантах по песенникам начиная с 1780-х гг. Комментируемая строка представляет собой вариант, не зафиксированный в песенниках.

С. 461. *...бражку ендовами пили...*— Ендова — широкий сосуд для разливки спиртного.

С. 462. *...взяли они меня* ∾ *а называется он Аланд.*— Правильное наименование острова — Алаид. О курильском «пустом острове» Алаид см.: «...ездят туда <...> для промыслу сивучей или морских львов и тюленей, которых там великое множество» (Крашенинников, с. 167).

С. 462. *...хозяин мой Якаяч...*— В списке мужских корякских имен дается написание: Якаяк (см.: Крашенинников, с. 459). Коряки населяли северную часть Камчатки и в районе Курильских островов зверя не промышляли.

С. 462—467. *Кругом нас лежали, бродили и дрались большущие зверищи* ∾ *и они лучше потонут все, а не кинут.*— В описании сивучей и морских котиков и охоты на них Некрасов следует запискам Крашенинникова (с. 274—283).

С. 473. *...втащил за собой байдару, тяжесть которой не превышала пуда...*— Об устройстве однолючных байдарок весом «не тяжелее пуда» см.: Полн. собр. ученых путешествий по России, т. 2. СПб., 1819, с. 287 (примеч. В. К. Вишневского к «Описанию Земли Камчатки» С. П. Крашенинникова).

С. 473—474. *Пораженные ужасом дикари перенесли свои шалаши на высокую гору* ∾ *побросались с утеса, на котором сидели, в реку.*— О способах обороны у камчадалов см.: Крашенинников, с. 403. *Через неделю гору обступил пятидесятник Шпинников...*— Речь идет о командире казачьей полусотни, сборщике ясака Андрее Штинникове (см. там же, с. 491—493, 497—498).

С. 475. — *Кениля! Кениля!* — Ср. список женских камчадальских имен: Крашенинников, с. 438.

С. 478. *Досчитав до десяти ∾ где взять?* — Ср.: «...когда им надобно считать больше десяти, тогда они, пересчитав пальцы у рук и сжавши обе руки вместе, что значит десять, остальное дочитают ножными перстами. Буде же число превзойдет двадцать, то, пересчитав пальцы у рук и у ног, в некоторое приходят изумление и говорят „мача“, то есть где взять» (Крашенинников, с. 362).

С. 479. *...у берегов Восточного моря...* — Восточное море (океан) — название Тихого океана, употреблявшееся до XIX в.

С. 479. *Коряк Гайчале...* — В списке мужских корядких имен дается написание: Гейчале (см.: Крашенинников, с. 459).

С. 480. *...жена его стала вдруг на колени посреди юрты и родила ему сына ∾ всегда прикрыты они отвратительными лохмотьями.* — Описание нравов и обычаев оленных коряков дается в романе по Крашенинникову (с. 449, 453).

С. 480. *Наехало к Гайчале коряков и чукоч из соседних острожков...* — Коряки и чукчи находились в неприятельских отношениях и в гости друг к другу ездить не могли (см.: Крашенинников, с. 448, 450).

С. 480. *Жены чукоч иные принаряжены ∾ сколько корякие женщины о своем безобразии.* — О чукотских женщинах см.: Крашенинников, с. 449—450.

С. 480—481. *Постлав среди пола рогожку ∾ и пошла потеха!* — См. о плясках у камчадалов: Крашенинников, с. 429—430.

С. 481. *...они пили кипрейное сусло, настоянное мухоморами. ∾ чтоб он торопился пасть на колени и покаяться в своих грехах.* — Именно так действие мухомора описано у Крашенинникова (с. 427—428). Например: «...большерецкой казачей сын, опоенный мухомором в незнании, разрезал было себе брюхо по приказу мухоморову, отчего насилу его избавить вспели, ибо уже в самом замахе руку ему сдержали» (с. 428). Айга, Умвевы — ср. список мужских корядких имен, где второе имя дается с написанием: Уммавы (с. 459).

С. 484. *Впереди развевалось военное знамя.* — Упоминание о казачьем военном знамени см.: Крашенинников, с. 482.

С. 485—487. *Следуя берегом реки Авачи ∾ а между тем бусу их унесло погодою.* — О расправе с японцами см.: Крашенинников, с. 491—492. Разграбление японской бусы произошло в 1729 г. По этому событию может быть определено время, к которому Некрасов приурочивает приключения Никиты Хребтова с товарищами. Сарачинское пшено — рис; камка — шелковая ткань с разводами.

С. 487—489. *«Шли мы, двадцать пять человек ∾ и с пятью басурманами-заложниками сгорели.* — Ср. описание похода Данилы Анциферова в 1712 г. (Крашенинников, с. 484). Пенжинское море — по наименованию, принятому в XVIII в., — внутреннее море Восточного океана между Камчаткой и побережьем Сибири, при впадении реки Пенжи (см.: *Щекатов А. М.* Словарь географический Российского государства..., ч. 1, М., 1807, стб. 1185—1186); современное название — Пенжинская губа.

С. 489. *Пришло наконец решение из Охотска по делу Шпинникова ∾ повесили злодея.* — По решению, конфирмованному в Иркутске, Штинников был повешен в Большерецком Остроге в 1735 г. (см.: Крашенинников, с. 497—498).

С. 489. *...готовы и японцы, которых приказано было представить в Петербург.*— Два японца с судна, разграбленного Штинниковым, были отправлены в Петербург в 1731 г. (см.: Крашенинников, с. 492).

С. 489. *...продали меня конягам, которые той порой к нашему берегу подплыли.*— Коняги — название племени эскимосов, обитающего в районе Аляски и на острове Кодьяк. Камчадалы и коняги между собою не торговали.

С. 489—490. *Лица всё разбойничьи, как блин плоские, как медь темные ∾ тоже бисер, янтарь, раковины...*— Источник этнографических сведений о конягах: Давыдов, ч. 2, с. 3, 5—6, 7—8; Крашенинников, с. 178, 180.

С. 490. *Пар десять мертвых тел было в землянке ∾ любимому сыну отказывает, словно сокровище.*— Ср., например: «Китовые промышленники даже крадут из могил мертвые тела людей, оказавших особенное искусство и расторопность,— держат оные потаенно в пещерах, носят им иногда пищу и стараются умножить сие сокровище. Отец при кончине завещает свою пещеру с трупами как драгоценное наследство тому из сыновей, которые более оказали искусства в китовом промысле» (Полн. собр. ученых путешествий по России, т. 2, с. 308); см. также: Давыдов, ч. 2, с. 197—198.

С. 490—491. *...как пустил носком ∾ только успевай ремень разматывать...*— Ср. об охоте на китов: Крашенинников, с. 292—293.

С. 491. *...режутся и топятся из пустяков. ∾ А вот розог так пуще смерти боятся.*— Ср.: «Известно, что коняги не столько боятся смерти, как того, что их секут» (Давыдов, ч. 1, с. 224).

С. 492. *Товарищи похоронили его в забое снега...*— Ср.: «...его похоронили в забое снега со всем платьем и постелью» (Пахтусов, с. 119).

С. 492. *...в конце января солнечные лучи осветили ледяные вершины гор. ∾ начало ломать льды.*— Те же детали ср. в описании новоземельской весны у Пахтусова (с. 180, 186, 187).

С. 5.* — *Партикулярное место...*— Работа по частному найму, не причислявшаяся к государственной службе.

С. 5. *...в полусгнившем домике Семеновского полка...*— Семеновский полк — ряд улиц (линий), позднее переименованных, в Московской части, поблизости от тех мест, где проживал в начале 1840-х гг. Некрасов (см. примеч. к с. 34).

С. 6. *...крестится на Казанский собор.*— Примета, указывающая на местоположение изображаемой библиотеки (см. примеч. к с. 46—48).

С. 7. *...в «зелены луга».*— Цитата из народной песни «Во лузях» («Во лугах»), известной по песенникам с конца XVIII в. и сохранившей свою популярность во времена Некрасова. См. изображение поющего эту песню подгулявшего мужичка в изданном Некрасовым альманахе «Первое апреля» (СПб., 1846).

С. 7. *«Когда земля станет между солнцем и луною ∾ следовательно, земля кругла».*— Некрасов, по-видимому, по памяти цитирует следующий текст: «Когда солнце, земля и луна придут в такое положение, что земля будет находится между солнцем и луною (что может быть каждый месяц), тогда земная тень покрывает

* Здесь и ниже указаны страницы второй книги т. IX наст. изд.

луну в виде темного круглого пятна; а как тень удерживает фигуру тела, от которого она отбрасывается, то, значит, земля кругла» (*Шульгин И.* Руководство к всеобщей географии для второклассных учебных заведений, ч. 1. СПб., 1842, с. 15). Некрасов не учился по учебнику Шульгина. Это обстоятельство позволяет предположить, что комментируемая цитата — отголосок репетиторских занятий Некрасова, о которых он вспоминал позднее (см.: ПСС, т. XII, с. 22).

С. 7. *«Озера, в кои реки впадают* ∾ *в кои реки не впадают, но из них вытекают...»* — Также цитируемые по памяти формулировки, встречающиеся во всех учебниках географии 1830—1840-х гг. (см., например: *Ободовский А.* Физическая география. СПб., 1838, с. 31).

С. 7. ...*«свет полон обмана, жизнь полна забот»*...— Источник цитаты не установлен.

С. 10. ...*наводя нужные справки в присутственном месте*...— Имеется в виду городская дума или губернское учреждение.

С. 10. ...*а Крестовский, а «Марьина роща»*...— Трактиры на Крестовском острове, где ныне находится Приморский парк Победы (см.: наст. изд., т. VIII, с. 756) и на пятой версте Петергофской дороги, посещавшиеся преимущественно купцами и холостыми чиновниками (см.: Цылов, л. 472—473; СП, 1841, 13 авг., № 179; РИ, 1843, 27 июня, № 140).

С. 12. ...*и по билету видно, что даровой.— Он сотрудник журнала*...— Имеется в виду бесплатный билет на подписное издание.

С. 21. *«Умственной пищей» именовался журнал, который раз пять уж падал*...— В заглавии, возможно, пародируется название журнала «Маяк современного просвещения и образованности», сменившего за пять лет своего существования нескольких издателей, среди которых в 1840 г. был хорошо известный Некрасову В. П. Поляков. Намек Некрасова отчасти касается и «Сына отечества», издававшегося А. Ф. Смирдиным под редакцией Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина (1838—1839), А. В. Никитенко (1840), О. И. Сенковского (1841), К. П. Масальского (1842—1844). В 1845—1846 гг. журнал не выходил. В 1847 г. его издателем стал М. Д. Ольхин в компании с К. И. Жернаковым. В 1848 г. контора журнала переместилась в книжный магазин В. П. Полякова (см.: СО, 1848, № 12, «Объявления», с. 81). В 1838—1839 гг. Некрасов сотрудничал в «Сыне отечества» при неофициальном редакторе Н. А. Полевом (см.: ПСС, т. XII, с. 12). В начале 1840 г. он хлопотал через Ф. А. Кони об участии в «Маяке» (см. письмо Ф. А. Кони от 19 февраля 1840 г. к редактору журнала П. А. Корсакову — ЛН, т. 51—52, кн. 2. М.. 1946, с. 320).

С. 24—25. ...*редактор, продавший Кирпичову право издания и продолжавший редижировать журналом* ∾ *платил им, по желанию самого Кирпичова, сколько просили*...— Намек на Ф. В. Булгарина или Н. И. Греча, бывших редакторами-издателями «Сына отечества» и оставшихся редакторами после того, как в 1838 г. издание перешло к А. Ф. Смирдину.

С. 25. ...*несколько отделов журнала взял от редактора один молодой неизвестный литератор* ∾ *отделывал эти отделы сплеча, сообразно дешевой плате.*— Автобиографическое признание, относящееся к 1840—1841 гг., когда Некрасов был сотрудником редакции «Пантеона русского и всех европейских театров» при издателе В. П. Полякове и редакторе Ф. А. Кони (см.: ПСС, т. X, с. 20—32;

Быков П. В. Н. А. Некрасов.— Живописн. обозр., 1876, № 13, с. 194—195; НВ, 1878, 5 мая, № 783).

С. 25. *...на толкучем рынке...*— Имеется в виду Щукин двор (см. примеч. к с. 93).

С. 26. *...знал, сверх того, наизусть публикованные цены ∾ и слыл за это ходячим каталогом.*— Ср. характеристику Ф. Ф. Цветаева, управляющего библиотекой для чтения А. К. Шателена (бывшей М. Д. Ольхина): он «был живым, самым верным каталогом всего напечатанного на русском языке» (Сборник памяти А. Ф. Смирдина, т. 1. СПб., 1858, с. 315—316).

С. 27. *...купил по семи копеек за рубль всё издание «Прогулки по Лифляндии», точно такой величины, и оберточка такая же, желтая...*— Намек на книгу Ф. В. Булгарина «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции в 1838 году» (СПб., 1839).

С. 28. *Как по питерской по дороженьке.*— Народная песня, бытовавшая в 1830—1840-е гг. в музыкальном переложении А. Л. Гурилева (см.: Избранные народные русские песни, собранные и переложенные А. Гурилевым. М., [б. г.]).

С. 29. *Сотерн* — сорт легкого виноградного белого вина.

С. 29. *...маскарад этот был с лотереею аллегри.*— В лотерее аллегри розыгрыш производится сразу же после получения билетов. По воспоминаниям современника, Некрасов в середине 1840-х гг. участвовал в лотерее аллегри, устроенной Обществом посещения бедных (см.: *Инсарский В. А.* Записки.— РС, 1895, янв., с. 113).

С. 31. *А то есть, правда, депозитка...*— Депозитки (депозитные билеты) — бумажные деньги в виде квитанций от государственного казначейства за денежный взнос.

С. 36. *...едет к береговым ребятам ∾ И уха была на шампанском, стерляжья уха.*— О ком идет речь, не установлено. Шлюшин — просторечное название Шлиссельбурга.

С. 37. *Флигель* — рояль.

С. 40. *— В славный город, что ли? ∾ А «Роберт» — что супротив него палкинский?* — Речь идет о трактирах, из которых «новооткрытым», по-видимому, называли филипповский, находившийся на Невском проспекте, № 55 (ныне № 52) и ранее принадлежавший В. П. Палкину (см.: Цылов, л. 43; Городской указатель, с. 444). *Славный город* — обиходное наименование трактира, о котором сведений не обнаружено. «Не одна ли во поле дороженька» — популярная народная песня, включавшаяся в песенники 1830—1840-х гг. «Роберт» — вероятно, имеется в виду исполнение на заводном органе, которым ранее славился и палкинский трактир, мелодий из оперы Д. Мейербера «Роберт-дьявол» (1831) (первое представление в петербургском Большом театре в 1834 г.).

С. 41. *Едут они по Мещанской...*— Точное название упоминаемой улицы Большая Мещанская (ныне улица Плеханова).

С. 41. *...едут по Гороховой: вот перед ними дом, где Кирпичов весело проводил время...*— Имеется в виду танцкласс К. Марцинкевича, помещавшийся на Гороховой улице, № 58 (ныне улица Дзержинского, № 57) (см.: Цылов, л. 36).

С. 41. *...переезжают Сенную, перед ними еще дом, напомнивший Кирпичову много веселых вечеров...*— В доме по Большой Садовой, № 40, выходившем на Сенную площадь (ныне площадь

Мира, № 11), находилось питейное заведение (см.: Цылов, л. 38; Городской указатель, с. 278).

С. 41. *...едут по Обуховскому шоссе...*— Обуховское шоссе — ныне Московский проспект.

С. 41. *...он читает вывеску: «Долговое отделение тюрьмы».*— Отделение долговых арестантов с весны 1844 г. до 1849 г. помещалось на Царскосельском проспекте, № 16 (ныне Московский проспект, № 17) (см.: Цылов, л. 77; *Никитин В. Н.* Должники. Исторический очерк лиц, подвергшихся заключению за долги (1555—1900).— Вестн. всемирной истории, 1901, февр., № 3, с. 115).

С. 42. *...я дело-то лучше другого крючка знаю!* — Крючок (в просторечии) — мелкий служащий, умеющий извлекать выгоду из знания законов и распоряжений.

С. 63. *Пойдемте, либе мамзель...*— Либе (нем. liebe) — милый; либе мамзель — милая барышня (в сочетании с обрусевшим французским «мамзель»).

С. 64. *В сенях их встретила старуха лоскутница.*— Лоскутница — торговка в лоскутном ряду на толкучем рынке (см. примеч. к с. *25*).

С. 66. *...и завел разговор про одну женщину, Марью Прохоровну.*— Персонажу присвоено имя и отчество жены Д. И. Успенского, приятеля некрасовской ранней молодости. О Д. И. Успенском, с которым Некрасов познакомился у Н. А. Полевого, и о его жене, урожденной Ивановой (1819—1841), см.: ПСС, т. XII, с. 12, 23; ЛГИА, ф. 19, оп. 42, ед. хр. 84, л. 181; ЦГИА, ф. 805, оп. 2, ед. хр. 24, л. 183—184.

С. 68. — *Мейн гот!* (нем. «Mein Gott!») — восклицание «Боже мой!».

С. 73. *Печальные звуки «Лучинушки»...*— Популярная народная песня, включавшаяся в песенники 1830—1840-х гг.

С. 107. *Ах, скажи, зачем меня ты полюбила...*— Источник цитаты не установлен.

С. 108. — *Ну а суп? — А ла тортю-с!* — Имеется в виду черепаховый (от франц. à la tortue) суп.

С. 109. — *Не молочничек ли?..*— Молочничек — теленок, вспоенный молоком на убой.

С. 113. *...внесите кормовые — опять поступит!..*— Кормовые — деньги, вносившиеся на содержание должника-арестанта его бывшим кредитором. При отказе платить кормовые (в 1830—1840-е гг.— 3 рубля 32 копейки в месяц) арестант отпускался на волю.

С. 113. *Забилась, сердечная, бог знает куда, за Тучков мост...*— Кирпичова переселилась на Петербургскую сторону, в район возле Малой Невы.

С. 114. — *Ты жил тогда в У** губернии?* — Прозрачный криптоним, подразумевающий Уфимскую губернию. Некрасов не был в этой губернии. Возможно, мысленным фоном событий, соотнесенных в романе с У** губернией, была для Некрасова другая губерния — Симбирская, где по семейному преданию (не подтверждающемуся фактами), некогда находились богатейшие поместья его предков (см.: ПСС, т. XII, с. 17).

С. 115. *...и поместил его на первый раз в приказчики, в ближайшем городе Ш*, к купцу Н*.*— К купцу Назарову в городе Шумилове (см. примеч. к с. 59).

С. 125. *...вроде польского кунтуша...*— Кунтуш — разновидность кафтана с широкими откидными рукавами.

С. 137. — *Что, горбун! гриб съел? а?* — Съесть гриб (идиома) — не получить, не добиться ожидаемого, обмануться.

С. 167. *Домино* — маскарадный плащ с капюшоном.

С. 178. *...множество банковых билетов...*— Банковый билет — квитанция, выданная в счет денег, помещенных на хранение в банк.

С. 184. *...с Анисьей Федотовной...*— В журнальной публикации и отдельных изданиях романа эта героиня именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Анисьей Федоровной.

С. 188. *...вынул из кармана своего засаленного архалука...*— Архалук — стеганый кафтан без рукавов.

С. 192. *Они выехали на большую и роскошную улицу ∾ скользили по деревянной мостовой.*— Речь идет о Невском проспекте, вымощенном деревянными шашками (торцом).

С. 196. *...он шел скорыми неровными шагами по Т*** мосту.*— Имеется в виду Тучков мост (см. примеч. к с. *113*).

С. 200. *По положению своему, на берегу Каспийского моря, при устье текущей из глубины России Волги, Астрахань ∾ производит зрелище странное и занимательное.*— Характеристика Астрахани и Астраханской губернии в романе основана на сведениях, сообщаемых Соколовым (ср.: *Соколов А. П.* Астрахань в ее прошлом и настоящем.— Журн. М-ва внутр. дел, 1846, кн. 12, с. 43, 177—179, 392—393). См., например: «Что особенно поражает в Астрахани, это полуевропейский-полуазиатский вид города. Строения здешние мало отличаются от таких же в других городах; несколько мечетей, и то в предместьях, да в предместиях же дома, закрытые снаружи заборами, одни напоминают азиатские города; но население, толпящееся на улицах, представляет странную смесь: армяне, татаре, хивинцы, индейцы, калмыки, киргизы и между ними православные русские мужички и солдаты; цветные и пестрые халаты, чалмы и папахи, живописные татарские чухи и белые покрывала армянок, вместе с европейскими и национальными нарядами русских; дрожки, коляски, татарские телеги, навьюченные верблюды, верховые лошади — все это поражает своим разнообразием внимание путешественника, впервые попавшего в Астрахань» (с. 392—393). Ср. также: «При первом взгляде на подобное сборище приходит на память стих Пушкина:

> Какая смесь одежд и лиц,
> Племен, наречий, состояний».
>
> (*Бюлер Ф.* Кочующие и оседло живущие в Астраханской губернии инородцы.— ОЗ, 1846, № 7, отд. II, с. 3—4).

С. 200—201. *Все каспийские воды и устья притекающих к морю рек разделены на участки ∾ нападают на промышленников, грабят и забирают их в плен.*— Подобные факты приводятся в упомянутой выше статье Соколова (с. 179—180).

С. 204. *Вдруг часовой на палубе отплывшей барки проснулся ∾ прозвонив впросонках, снова улегся.*— Аналогичный эпизод см.: *Соколов Ал.* Заметки о Каспийском море, с. 149.

С. 205. *Только ворэвски храбры они...*— Ср.: «...киргизы не воины, но только вооруженные воры...» (Левшин, ч. 3, с. 80).

С. 207. *Тра-та-та! тра-та-та! Вышла кошка за кота!* — В песенниках некрасовского времени не обнаружено.

С. 207—208. *Купим-ка, женушка, курочку себе ∾ А курочка по сеничкам: тюк-тю-рю-рюк!* — В песенниках 1830—1840-х гг. не обнаружено. По-видимому, запись Некрасова.

С. 209—210. *Лентяи такие, что боже упаси! ∾ так хотелось крови увидеть!..*— Те же подробности о быте и нравах киргизов см.: Левшин, ч. 3, с. 22—23, 40—41, 71, 87—88, 93.

С. 210—211. *Наконец завидели они длинную вереницу странных зверей ∾ А когда идут, так такие проворные, чудо...*— См., например: «...сайга спасается летом от сильных жаров следующим образом: одна из них спрячет голову в какое-нибудь отверстие или закрытое от солнца место в тени, за нею скрывает голову вторая, за второй третья и т. д. Если в сие время первая будет убита, то вторая заступает ее место, вторую заменяет третья. Таким образом убивают их весьма много» (Левшин, ч. 1, с. 131; см. также с. 125, 135).

С. 216. *...дым густой массой стоял над огромным лесом...*— Ср. описание лесного пожара в Пермской губернии: Давыдов, ч. 1, с. 8.

С. 218. *...темный зверь, которого я принял за медведя. ∾ То была огромная черно-бурая лисица.*— Ср.: «...черно-бурая была так велика, что мы приняли было ее за медведя» (Давыдов, ч. 1, с. 215).

С. 218. *Проезжий ли какой, окрестный ли мужик, пастух ли разложит костер ∾ да поди угляди за всяким...*— Сходное замечание см.: Давыдов, ч. 1, с. 8.

С. 218. *...в Сибири ужасно много лесов ∾ и сами похожи на посудину, налитую салом...*— Ср.: Давыдов, ч. 1, с. 12—13, 23.

С. 218. *...сибиряки говорят вместо «табаку понюхать» — «крошки ширкнуть в нос»...*— Искаженное сибирское выражение «прошку́ ширкнуть». См.: «Прошка, нюхательный табак. Говорят: „Он пьет прошку, или ширкает, то есть нюхает табак“» (<*Авдеева Е. А.*> Записки и замечания о Сибири. М., 1837, с. 150; см. также: *Бурнашев В.* Опыт терминологического словаря, т. 2. СПб., 1844, с. 146).

С. 219. *...ражий парень ∾ уж и не вспоминал о своей драке с медведем.*— Ср. рассказы о схватке купца Тропина с медведем (Давыдов, ч. 1, с. 119—120) и о двух зырянах, убивших медведя и содравших с него шкуру: «...продали оную <...> и никогда победою своею не хвастали» (там же, с. 121). См. также: *Н. П.* <*Полевой Н. А.*> Анекдоты сибирской храбрости.— ОЗ, 1822, ч. 9, с. 283—286 (в том числе о схватке с медведем купца, следовавшего по дороге из Якутска в Охотск).

С. 219. *...мы сами несколько раз встречались с варнаками ∾ да Хребтов выручил своей чудной находчивостью и отвагой...*— См. о встречах с варнаками и о смелой находчивости Хвостова: Давыдов, ч. 1, с. 77—79.

С. 221. *Кто поверит, что якут может съесть с лишком пуд свиного сала? ∾ точно потонула, а не продана.*— О Якутии и якутах см.: Давыдов, ч. 1, с. 55, 92, 113—115, 130.

С. 222. *«Когда якуты увидят на дороге медведя ∾ а мы нашли и косточки твои прибрали...“»* — Цитата из записок Давыдова (ч. 1, с. 137—138).

С. 222. *Признаться ∾ я душевно рад предстоящему морскому путешествию.*— Ср.: «Признаться должно, что осы, оводы, комары, варнаки, дожди, броды были такие обстоятельства, от которых или всякое терпение должно было сокрушиться, или всякая нетерпеливость окрепнуть» (Давыдов, ч. 1, с. 108).

С. 222—223. *Охотск ничем не замечателен ∾ пловцы снова сели и продолжали путь.*— Об Охотске, местном судостроении и мореплавании рассказано в романе в соответствии с изложением Давыдова (см.: Давыдов, ч. 1, с. 142, 154—160). Ср., например, об удачливом капитане: «...когда в бурное время стало приближать судно к берегу, то он, положив два якоря, съехал со всеми людьми на землю. После ветр переменился, судно унесло в море; но провидение, умудряющее слепцов, принесло судно сие чрез несколько суток опять к тому же месту, и люди снова сели на оное» (Давыдов, ч. 1, с. 159).

С. 223. *Не раз проходили мимо спящих китов. ∾ Попадается много гусей, уток и куропаток, которых мы усердно стреляли.*— Подробности путешествия по Тихому океану и островам Кодьякского архипелага взяты преимущественно из записок Давыдова (см.: Давыдов, ч. 1, с. 152, 162—163, 170—172).

С. 223. *Наконец вот и Ситха. ∾ придают ей веселый вид своей вечной зеленью.*— Некрасов описывает этот остров, пользуясь записками Давыдова об острове Кадьяк (Кодьяк) (см.: Давыдов, ч. 1, с. 186, 190). Острова Ситха (ныне остров Баранова) и Кодьяк, теперь принадлежащие США, до 1868 г. входили в состав российских владений в Америке.

С. 224. *Ситха есть самое главное складочное место Российско-американской компании.*— Российско-американская компания (1792—1868) была учреждена для промыслов и торговли на Дальнем Востоке.

С. 225—226. *...ни одного дня без дождя или снегу. ∾ он тотчас пожирает внутренности его.*— Описание образа жизни Каютина и характеристика островитян даются по запискам Давыдова (см.: Давыдов, ч. 1, с. 200, 213—223; Давыдов, ч. 2, с. 5, 32—33, 42, 50, 70—71).

С. 226. *Вчера был я на одной из самых высоких гор в Америке, да и во всем свете. ∾ хребты каменных гор, наконец, море...*— Ср.: «Поутру отправились мы с Хвостовым на высокую гору, находящуюся возле самой гавани. Прежде чем поднялись на вершину оной, должно было несколько раз отдохнуть <...> Чиньяцкая губа с островами и стоящими в море скалами, часть лесного островка и Афогнака, а далее обширное море; в другую же сторону многие хребты каменных гор» (Давыдов, ч. 1, с. 215).

С. 226—227. *...чудовищный мороз, когда ∾ и они не могут бежать скоро, задыхаясь от чрезмерной густоты воздуха...*— Ср.: «Дунув, услышишь в воздухе некий шорох; над лошадьми стоит пар столбом, издали видимый, и животные сии не могут бежать скоро, задыхаясь от густоты воздуха» (Давыдов, ч. 1, с. 280).

С. 229. *...повешены на таком гвозде, который не выдержал бы разве только колокола Ивана Великого...*— Иван Великий — колокольня в Московском Кремле.

С. 230. *...человеки и ничто человеческое им не чуждо»...*— Вошедшее в пословицу изречение «Homo sum, humani nihil a me

alienum puto» из комедии римского драматурга Теренция «Самоистязатель».

С. 230. ...*против Митрофаньевского поля...* — Митрофаньевское поле — местность у загородной границы Нарвской части, возле Царскосельской железной дороги (ныне часть города между Варшавской и Балтийской железными дорогами).

С. 230. ...*посмотреть, сколько гробов провезут мимо на Митрофаньевское кладбище.* ∾ *число гробов в то утро было значительно...* — Намек на холерную эпидемию в Петербурге, начавшуюся в июне 1848 г. и продолжавшуюся до глубокой осени. Митрофаньевское кладбище, открывшееся в 1831 г., также в холерную эпидемию, находилось в окрестностях пригородной деревни Тентелевки (см.: *Беляев В.* О кладбищах в Петербурге. СПб., 1872, с. 12).

С. 232. ...*и Вознесенский проспект упирается в Адмиралтейскую площадь.* — Вознесенский проспект — ныне проспект Майорова.

С. 232. ...*опять идти, по свистку машины на железной дороге...* — См. примеч. к с. *230.*

С. 232—233. ...*калоши Прозябаева, имевшие форму тихвинских лодок...* — У тихвинских лодок (тихвинок) заострены носы и усечена корма.

С. 243. — *А далеко отсюда Академия...* — Академия художеств, о которой идет речь, находилась на значительном расстоянии от Семеновского полка (см. примеч. к с. *5*) — на набережной Большой Невы (ныне Университетская набережная, № 17).

С. 255. ...*брильянтовый фермуар...* — Фермуар — ожерелье с застежкой.

С. 258. ...*и Каютин наз<ы>вал ему Ротшильда.)* — М. Ротшильд, парижский банкир, автор переведенной на русский язык книги «Искусство наживать деньги способом простым, приятным и доступным всякому» (СПб., 1849). В рецензии на эту книгу, опубликованной в «Современнике», о Ротшильде иронически говорилось, что он «нажил себе с небольшим несколько миллионов и некоторым образом сделался душою всего образованного и, следовательно, любящего деньги мира» (С, 1849, № 5, отд. III, с. 54—55).

С. 258. — *Купец Аршинников! — резко крикнул Митя.* — Аршинников — вымышленная фамилия.

С. 259. — *Климова? Палагея Ивановна?* — В журнальной публикации и отдельных изданиях романа эта героиня именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Палагеей Петровной.

С. 262. *Весной открылось ему поручение препроводить в Охотск значительную партию бобровых шкур и другой мягкой рухляди.* — Ср. аналогичную ситуацию в записках Давыдова (Давыдов, ч. 1, с. 197).

С. 263. ...*к одному неизвестному еще в литературе приезжему автору* ∾ *широкий пробел после каждой строки на случай разных поправок.* — По-видимому, автобиографическое свидетельство. По воспоминаниям М. А. Гамазова, Некрасов «из только что покинутой им провинции <...> привез с собой в рукописи роман, которым намеревался дебютировать на литературном поприще» (*Гамазов М.* К воспоминаниям А. Я. Головачевой.— ИВ, 1889, апр., с. 255—256).

С. 274. ...*киргиз даром что узкоглазый, а в десяти верстах видит!* — Ср.: «...стоя на ровном месте, они видят небольшие предметы верст за 10 и более...» (Левшин, ч. 1, с. 33).

С. 274. *Но только сделали с полверсты ∾ весь аул, кто верхом, кто в кибитках, пустился бежать!* — О быстром перемещении киргизских аулов см.: *Соколов Ал.* Заметки о Каспийском море, с. 147—148; Левшин, ч. 3, с. 21.

С. 275. *...обширных равнин ослепительной белизны ∾ соленые озера.*— Деталь пейзажа, заимствованная у Левшина (ср.: Левшин, ч. 1, с. 48).

С. 277—278. *«Нужно вам сказать ∾ и тогда гибнет в одну ночь по две и по три тысячи лошадей.*— Ср.: «Некоторые из этих грязей водянисты и зимой не мерзнут; другие же наполняются водою только в начале весны и в дождливую пору, и она не бывает на них глубже аршина, летом же значительно убывает, так что около берегов остается только солонцевато-глинистый ил, покрытый тонким слоем кристаллов горькой соли. Топкость этих грязей так велика, что через них невозможно ни переехать, ни перейти, и попавшему туда предстоит неминуемая гибель: в 1825 году, у киргизов ногайского рода, буря загнала в грязи табуны, причем погибло до 2000 лошадей; подобные несчастья случаются весьма нередко» (*Ханыков Н. В.* О населении киргизских степей, занимаемых внутреннею и малою ордами.— Журн. М-ва внутр. дел, 1844, ч. 7, с. 23).

С. 303. *Сара! странное имя! ∾ говорят, есть и русское имя.*— Сарра — редкое русское имя, обратившее на себя внимание в литературной среде в связи с публикацией «Сочинений в стихах и прозе» (М., 1839) рано скончавшейся Сарры Толстой (умерла семнадцати лет в 1838 г.) (см.: *Катков М. Н.* Сочинения графини С. Ф. Толстой.— ОЗ, 1840, № 10, отд. V, с. 15—50; Панаев, с. 232). О возможных литературных параллелях к имени героини см. выше, с. 324).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ[1]

Анненков — *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983.

БдЧ — «Библиотека для чтения».

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. I—XIII. М., 1953—1959.

Вацуро — *Вацуро В. Э.* Некрасов и К. А. Данненберг.— Рус. лит., 1976, № 1.

Верещагин — *Верещагин В.* Очерки Архангельской губернии.— Звездочка, 1847, ч. 21, 22, 24; 1848, ч. 25, 27.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).

ГМ — «Голос минувшего».

Городской указатель — <*Цылов Н.*>. Городской указатель, или Адресная книга <...> на 1850 год. СПб., 1849.

Григорович — *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1961.

Давыдов — Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним, ч. 1—2. СПб., 1810—1812.

Даль — *Даль Владимир.* Толковый словарь живого великорусского языка, т. I—IV. М., 1978—1980.

Евгеньев-Максимов — *Евгеньев-Максимов В. Е.* Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. I—III. М.— Л., 1947—1952.

Зимина — *Зимина А.* Некрасов-беллетрист.— В кн.: Творчество Некрасова. Сб. статей под ред. А. М. Еголина. М., 1939 (Тр. Моск. ин-та истории, философии и лит., т. 3).

ИВ — «Исторический вестник».

Крашенинников — *Крашенинников С. П.* Описание Земли Камчатки. М.— Л., 1949.

---

[1] См. дополняющие этот перечень списки сокращений: наст. изд., т. I, с. 462—464, 709—711.

ЛГ — «Литературная газета».

ЛГИА — Ленинградский государственный исторический архив.

Левшин — *Левшин А.* Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей, ч. 1—3. СПб., 1832.

Литке — *Литке Ф. П.* Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821—1824 годы. М., 1948.

ЛН — «Литературное наследство».

М — «Москвитянин».

Материалы для истории книжной торговли — Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879.

МКН — документальный фонд Музея-квартиры Н. А. Некрасова (Ленинград).

НВ — «Новое время».

Некр. и его вр.— Некрасов и его время. Межвузовский сборник, вып. 1—6. Калининград, 1975, 1977, 1979—1981.

Некр. сб.— Некрасовский сборник, I—III. М.— Л., 1951, 1956, 1960; IV—VIII. Л., 1967, 1973, 1978, 1980, 1983.

ОЗ — «Отечественные записки».

Панаев — *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950.

Панаева — *Панаева (Головачева) А. Я.* Воспоминания. М., 1972.

Пахтусов — *Пахтусов П. К., Моисеев С. А.* Дневные записки. М., 1956.

Песни и романсы — Песни и романсы русских поэтов. М.— Л., 1965.

ПСб — Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846.

ПСС — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем, т. I—XII. М., 1948—1953.

ПССт 1927 — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотворений. М.— Л., 1927.

РА — «Русский архив».

РВ — «Русский вестник».

РИ — «Русский инвалид».

РЛ — «Русская литература».

РС — «Русская старина».

С — «Современник».

Салтыков-Щедрин — *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. в 20-ти т. М., 1965—1977.

Скабичевский — *Скабичевский А.* Николай Алексеевич Некрасов (его жизнь и поэзия).— Отеч. зап., 1878, № 6.

СО — «Сын отечества».

Собр. соч. 1930 — *Некрасов* [*Н. А.*]. Собр. соч., т. I—V. М.— Л., 1930.

СП — «Северная пчела».

СПбВ — «Санкт-Петербургские ведомости».

Ст 1856 — Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.

Ст 1920 — Стихотворения Н. А. Некрасова. Изд. испр. и доп. Пг., 1920.

Тургенев, Соч.— *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М.— Л., 1960—1968.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград).

Цылов — *Цылов Н.* Атлас тринадцати частей С.-Петербурга. СПб., 1849.

Чернышевский — *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч., т. I—XVI. М., 1939—1953.

Черняк — *Черняк Я. З.* Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.— Л., 1933.

Штукенберг — *Штукенберг И. Ф.* Боровицкие пороги.— В кн.: Энциклопедический лексикон, т. 6. СПб., 1836.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА

Часть шестая

Часть седьмая. История горбуна

Часть восьмая

Подготовка текстов и комментарии

Б. Л. БЕССОНОВ

Редактор тома

Н. И. СОКОЛОВ

Николай Алексеевич Некрасов

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Том 9

Книга II

Три страны света

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Н. Г. Каценко, Н. П. Кизим*
и *Г. В. Семерикова*

Сдано в набор 06.09.84. Подписано к печати 22.11.84. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 20.16. Усл. кр.-отт. 20.16. Уч.-изд. л. 22.51. Тираж 300 000. (2-й завод 150 001—300 000). Тип. зак. № 4—390. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград В-164, Менделеевская лин., 1

Киевская книжная фабрика. 252054, Киев-54, Воровского, 24.